

А. СОЛЖЕНИЦЫН

**КРАСНОЕ
КОЛЕСО**

УЗЕЛ I

**АВГУСТ
ЧЕТЫРНАДЦАТОГО**



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНИЕ В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

УЗЕЛ I

АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

Главы 1 — 48

YMCA-PRESS

11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève, 75005 Paris

1985

Вермонт • Париж

ISBN 2-85065-021-8

World © Aleksandr Solzhenitsyn 1983

2^e édition

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНИЕ
В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

РЕВОЛЮЦИЯ

*Только топор может нас избавить, и ничто,
кроме топора... К топору зовите Русь.*

Из письма в „Колокол”, 1860

УЗЕЛ I

АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

(10 – 21 августа ст. ст.)

Главы 1 – 48

Они выехали из станицы прозрачным зорным утром, когда при первом солнце весь Хребет, ярко белый и в синих углубинах, стоял доступно близкий, видный каждым своим изрезом, до того близкий, что человеку непривычному помнилось бы докатить к нему за два часа.

Высился он такой большой в мире малых людских вещей, такой нерукотворный в мире сделанных. За тысячи лет все люди, сколько жили, доотказным раствором рук неси сюда и пухлыми грудями складывай всё сработанное ими или даже задуманное, — не поставили бы такого сверхмыслимого Хребта.

От станицы до станции так вела их всё время дорога, что Хребет был прямо перед ними, к нему они ехали, его они видели: снеговые пространства, оголённые скальные выступы да тени угадываемых ущелий. Но от получаса к получасу стал он снизу подтаивать, отделился от земли, уже не стоял, а висел в треть неба и запеленился, не стало в нём рубцов и рёбер, горных признаков, а казался огромными слитными белыми облаками. Потом и облаками уже разорванными на части, уже не отличимыми от истых облаков. Потом и их размыло, Хребет вовсе изник, будто был небесным видением, и впереди, как и со всех сторон, осталось небо сероватое, белесое, набирающее зноя. Так, не меняя направления, они ехали больше пятидесяти вёрст, до полудня и за полдень, — но великанских гор перед ними как не бывало, а подступили близкие округлые горки: Верблюд; Бык; плешивая Змейка; кудрявая Железная.

Они выехали ещё не пыльной дорогой, ещё росной прохладной степью. Они проехали те часы, когда степь звенела, вспархивала, щебетала, потом посвистывала, потрескивала, пошуршивала, — а вот уж к Минеральным Водам,

волоча за собой ленивый пыльный взмёт, подъезжали в самый мёртвый послеполуденный час, и отчётливый звук был только — мерное постукивание их таратайки, дерево об дерево, а копытами в пыль становились лошади почти неслышно. И все тонкие запахи трав за эти часы были и перешли, а теперь настоялся один знойный солнечный запах с подмесью пыли, и так же пахла их таратайка, и сменная подстилка, и сами они — но, степнякам от первой детской памяти, этот запах был им приятен, а зной — не утомителен.

Отец пожалел дать им рессорную бричку, берёг, оттого на рыси их трясло и колотило, и большую часть дороги они проехали шагом. Ехали они меж хлебов и между стад, миновали и солончаковые проплешины, перекаtywали пологие холмы, пересекали отлогие балки, с близкой водой и сухие, ни одной настоящей реки, ни одной большой станции, мало кого встречая, мало кем обогнанные по воскресному малолюдью, — но Исаакию, и всегда терпеливому, особенно сегодня, по настроению и замыслу его, совсем не тягостны были эти восемь часов, а мог бы он и шестнадцать проехать так: из-под дырявой соломенной шляпы — посверх лошадиных ушей, да придерживая возжи ненужные.

Евстрашка, младший, от мачехи, братишка, эту всю дорогу ему сегодня же ворочаться в ночь, сперва спал на сене за спиной Исаакия, потом вертелся, на ноги поднимался, разглядывая в траве, соскакивал, отбегал, догонял, полно было ему дел, ещё и рассказывал или спрашивал: „А почему, если закроешь глаза, кажется — назад едешь?“

Сейчас перешёл Евстрат во второй класс пятигорской гимназии, но сперва, как и Исаакия, его соглашался отец отпустить только в ближнюю прогимназию: остальные ведь, старшие братья и сёстры, не знали-не видели ничего, кроме земли да скота да овец, и жили же. Исаакий был пущен учиться на год позже, чем надо, и после гимназии год передержал его отец, не давая себе сразу втолковать, что теперь какой-то нужен университет. Но как быки сдвигают тяжесть не урывком, а налогом, так Исаакий брал с отцом: терпеливым настоянием, никогда сразу.

Исаакий любил свою родную Саблю и хутор их в десяти верстах, и сельскую работу, и теперь, в каникулы, ни-

сколько не отлынивал ни от косьбы, ни от молотьбы. В понимании своего будущего он как-то рассчитывал соединить свою первородную жизнь и набранное в студенчестве. Но, что ни год, выходило напротив: учение бесповоротно отделяло его от прошлого, от станичников и от семьи.

Во всей станице двое их было, студентов. Удивление и смех вызывали среди станичников их рассуждения, их вид, — и едва приехав, спешили они переодеваться в своё старое. Впрочем, одно было приятно Исаакию: станичная молва почему-то отделила его от другого студента и назвала — с издёвкой же — *народником*. Кто это первый прилепил и как это выложилось, а все дружно стали кликать его „народником”. Народников давно уже в России не было, но Исаакий, хоть никогда б не осмелился так представиться вслух, а понимал себя, пожалуй, именно народником: тем, кто ученье своё получил для народа и идёт к народу с книгою, словом и любовью.

Однако даже в родную семью возврат был почти невозможен. Три года назад уступивши непонятному университету, отец уже не менял решения, не брал назад, но испытывал как свою ошибку, как потерю сына. Только и видел он в нём прок на каникулах — взять Саньку на сельские работы, а в остальные отлучные месяцы развидеть смысла учёности не мог.

Да с отцом осталось бы у них сродно, когда б не мачеха Марфа — бойкая, властная, жадная, стягивала дом под свою руку, свобода простор для детей своих. Старшие братья и сёстры Исаакия уже отделились, по мачехе чужел и отец, и дом родной. Приглядысь, позадумывался Саня ещё и пареньком: как же тяга эта ведёт человека всего, и долго, если, за сорок овдовевши, отец привёл вторую жену двадцатилетнюю, а этакой бабе молодой проворной, сам теперь о-шестьдесят, уставу твёрдого положить не мог, и не многое сам решал.

Да и воззрения новоприобретаемые отдаляли Исаакия. В детстве знал он немудро, беспонятно посты и праздники, босиком ко всеобщей, — а потом от становой народной веры кто только его не отклонял. И Саблинская сама, и вся округа их была просеяна сектами — молоканами, духоборами, штундистами, свидетелями Иеговы, из секты была и мачеха, стал насчёт церкви теряться и отец,

споры о верах были излюбленные в их местности в досуг, Саня много ходил-прислушивался, пока воззрения графа Толстого не отодвинули ему эти все разноверия. Сумятица умов была и в городах, образованные друг друга тоже не все понимали, а учение Толстого так убедительно укладывало в мире всё, требуя одной лишь правды. Увы, и толстовская правда в отношениях с семьёй привела Саню, наоборот, ко лжи: так, став вегетарианцем, нельзя было объяснить, что делает это по совести, — позор и смех поднялся бы и по семье и среди станичных; пришлось начинать со лжи, что не есть мясного — это медицинское открытие одного немца, обеспечивает долгую жизнь. (А на самом деле, накидавшись снопами, тело до дрожи требовало мяса, и ещё самого себя надо было обманывать, что довольно картошки и фасоли.)

Отчуждение от семьи облегчило Исаакию и нынешнее решение, с чем уезжал он теперь, — но и тут открыться не мог, пришлось и тут солгать, что требуется ему ехать в университет на практику прежде времени, и саму эту *практику* придумывать и втолковывать простодушному отцу.

Три недели войны отозвались до сих пор в их станице лишь двумя царскими манифестами, на Германию и на Австрию, прочтёнными в церкви и вывешенными на церковной площади, да двумя отъездами запасных, да ещё отдельным отгоном коней в уезд, потому что числилась теперь станица Саблинская не казаками терскими, а кацапами. Во всём же другом как не было войны: не попадали в их станицу газеты, и письмам из Действующей армии было рано, — да ещё понятия такого не было „письма”, до сих пор „получать письма” в их станице было нескромностью, выделением, Саня старался не получать. Из семьи Лаженицыных не взяли никого: старший брат был уже в годах, уже сын его служил на действительной, у среднего брата не хватало пальцев, Исаакий — студент, а мачехины дети ещё малы.

И в сегодняшней полудневной езде по обширной степи тоже не послан был им никакой знак войны.

Переехав по мосту Куму, перевалив каменистым переездом через зноистое двухпутное полотно и уже едучи по травяной улице станицы Кумской, теперь Минеральных

Вод, — и тут нигде не заметили они признаков войны. Так не хотелось жизни переворачиваться! Где только могла, она текла и таилась по-прежнему.

В тени большого вяза у колодца они остановились: Евстрашка должен был здесь обгодить, остудить и напоить коней, потом подъехать к станции. Саня обмылся, обхлупался до пояса, два ведра извёл, ледяную на спину поливал ему Евстрашка тёмной жестяной кружкой, — тогда протёрся хорошенько, надел чистую белую рубаху с пояском, вещи покинул в таратайке и налегке, сторонясь от пыли, пошёл к станции.

Пристанционная площадь недавно была украшена посадкой сквера, но так и рылись куры по её окраинам да к длинному зданию станции подъезжавшие шарабаны и телеги взнимали воздушный наслей пыли.

Зато минералводский перрон, во всю длину покрытый лёгким навесом на тонких крашенных столбиках, провеваемый, прохладный, манил за собою курортами и сегодня, как всегда. У столбиков навеса вился дикий виноград, всё было привычно-дачное, весёлое, никакой войны и здесь как будто не знал никто. Дамы в светлых платьях, мужчины в чесучёвом шли за носильщиками к платформе кисловодских поездов. Продавалось мороженое, нарзан, цветные летучие шары

— и газеты. Саня купил одну, подумал — и вторую, разворачивал их уже на ходу, а потом на лавочке у дачного перрона. Вопреки обычной степенности он не дочитывал сообщений, перескакивал по столбцам — и просветлялся. Хорошо, хорошо. Наша крупная победа под Гумбиненом! Противник будет вынужден очистить всю Пруссию... И в Австрии хорошо дела... И у сербов победа!..

По хуторской привычке бережа всякую вещь, вот и бумагу, он сложил газеты не заминая, не рвя, как если б думал нужны будут вечно, встал и пошёл в кассу, узнавать о поездах. Он ровно шёл сквозь пассажирскую сутолоку, не разглядывая людей, — и вдруг из этой пересечки вырвалась девушка, он и не обернулся, как летела она, может быть на поезд, — а она к нему! он тогда и понял, когда обвила его за шею руками, притянулась, поцеловала — а вот уже и откинулась, своей смелости удивляясь, раскраснелая, радостная:

— Саня!!! Вы?? Ка-кое совпадение! А я всю дорогу из Петербурга почему-то...

Всего-то полсекунды обнимала, а всё настроение и мысли сшибла, сметнула, и он стоял растерянный, с тем летучим, что возникло в этот налётный миг, и ещё оставалось на нём, не только от губ, солнечно нагретых.

Варя. Старая знакомая гимназических лет, после Пятигорска и не виделась, сперва ещё писали иногда. Раньше — заглаженная узкая головка сироты, а теперь волосы стрижены, пышно набиты вширь, и какой-то взгляд победно-возбуждённый:

— Я почему-то так и думала: а вдруг — вас встречу? Понимала, что невозможно, а... Даже мысль была — дать вам телеграмму в станицу, только знала, что вы не любите.

Саня стоял, улыбаясь. Он сбит был — и как она изменилась от шестиклассницы, и неожиданностью, и какая, при чём тут телеграмма (разорвалась бы в доме как бомба), и ощущением нагретости её.

— А я вот четвёртые сутки всё еду! — радовалась она. — Умирает мой опекун, и надо поклониться. Не самое удобное время ехать, поезда полные... А вы?.. Тоже едете?.. Или встречаете кого?

Такая дурашливая мысль, пошутить: вас. И этот налёт её, и безо всяких усилий... Пошутить: а я по сну приехал, вы мне приснились; сразу: да не может быть? Она так и стояла, как будто всё ещё разогнанная, в наклон к нему.

Варя не бывала красива, и не похорошела за эти годы, оставался тот же твердоватый по-мужски подбородок и удолженный нос, но вспыхнуло радостное напряжение встречи, от чего она опалена и просто хороша:

— А помните?.. А помните?.. Как мы с вами на бульваре тоже вот так встречались — неожиданно, без уговора? Судьба?.. Слушайте, Саня, куда вы сейчас? Ну, найдите время! Давайте побудем вместе. Давайте, я побуду в Минеральных?.. А хотите — поедете в Пятигорск?.. Как вы решите, так и будет, а?.. — Внезапные фразы бросала она, с неожиданным значением и выражением, как налетела и как стояла, не вполне ровно.

Заколебало, заклубило, замутило всё то высокое чистое настроение, с которым Саня сегодня прозрачным ут-

ром выехал и насматривался на снежно-синий скалистый Хребет. Как Хребет расплылся, так вдруг и всё дорогое настроение его. Вечное борение с искусствами, вся наша жизнь: мяса есть нельзя — а хочется, злого делать нельзя, доброе трудно... А в Минеральных Водах только пройдишь, тут увидят свои станичные, дома расскажут... А ехать в Пятигорск — и вовсе уклонение, вздор. Гостиницы, рестораны?.. Все копейки рассчитаны на билет.

Жалко было своё сегодняшнее особенное утро. Но, с удивлением к себе: уже и жалко было бы не встретить Варю. Так Саня ощущал, что, пожалуй, способен вдруг и поехать с ней.

А она сияла, остролицая, видя его уже согласным, но по разгону повторяла с резковатыми призывками:

— А — куда вы? Куда? Зачем?

И так сама напомнила. Навела.

Отвела.

Улыбаясь рассеяннo и чтоб её не обидеть:

— Я... В Москву. — Он смотрел в сторону, вниз, как виноватый. — Сперва в Ростов заеду, там друг у меня, Константин, может быть знаете?

— Но ведь до занятий ещё три недели! — Рукой, до локтя открытой, взяла у локтя его, крепко, требовательно. — Или, думаете, вас... ? — затревожилась, потянула сильнее, — с четвёртого курса? Ни за что! Зачем же вы едете?

Вот так просто ответить на ходу — было разменно, недостойно. Саня улыбался смущённо:

— Да понимаете... Н-не сидится... на хуторе...

Она вздрогнула откинутой головой, как лошадь, увидевшая круто вниз, и напряглась, уже за обе руки спасая его:

— Да вы... не... ли... до-бро-вольно?..

Правда, они встречались раньше, даже не уговариваясь. Со скрытой надеждой ученица городского училища выходила к вечеру на главный бульвар Пятигорска, и вот ей навстречу шёл уже знакомый, на три года старше, гимназист.

А встретясь, они рассуждали. Их встречи были серьёзные умные разговоры, для Вари очень важные: Варя ни-

когда никого не помнила старшего близкого. Даже когда темнело, наставницы и наставники увидеть их не могли, и Саня вполне было уместно взять Варю под руку, — он не брал. И она особенно уважала его за такую серьёзность. (Хотя, пусть бы меньше уважала.)

Позже, переведясь в гимназию, она стала встречать Саню и на ученических балах и других собраниях, но и там больше рассуждали, а не танцевали никогда. Саня говорил, что объятия вальса создают желания, ещё не подготовленные истинным развитием чувства, и граф Толстой полагает в этом дурное. Подчиняясь его мягким разъяснениям, уверилась и Варя, что танцевать не хочет.

И ещё потом сохранялась между ними переписка, очень разумные письма писал он. Хотя в Петербурге на курсах далеко расширился варин кругозор, и много умных людей знала она теперь, но и Саню вспоминала.

А когда три недели назад у себя на Васильевском Варя прочла наклеенный на тумбе царский манифест, потом трамваем переехала через Неву, а там, на Исаакиевской площади, патриоты громили германское посольство, били стёкла, выбрасывали в окна мебель, мрамор и проткнутые картины, свалили с кровли на тротуар огромных бронзовых коней, ведомых гигантами, и все люди вокруг возбуждённо радовались, будто пришла не война, но их долгожданное счастье, — в тот смутный миг, подле чёрно-коричневых колонн Исаакия, защемило у Вари повидать бы теперь Саню. Да проезжая мимо Исаакиевского собора она и всегда его вспоминала: не любя своего имени, Саня отшучивался, что Пётр Великий ему тёзка: тоже на Исаакия родился, отчего и собор, только императору облагодзвучили имя, а степному мальчику нет.

Не предполагала Варя, внезапно вызвали её в Пятигорск: тяжело заболел её опекун, не опекун, — жертвователь, на деньги которого она и многие другие сироты учились, и сочтено было, что она должна его навестить, хотя он и не помнил всех, на кого жертвовал, и не мог приезд какой-то незнакомой курсистки с остывшими благодарностями подбодрить его. И вот, через всю ширину империи, томясь четыре дня в поездах, Варя почему-то придумывала и вызывала: „Саня, встреться! Саня, встреться!“ — как когда-то, проходя всю длину пятигорского бульвара.

Не обязательно именно Саню, сколько мужских характеров этот Толстой перепортил. А просто ехала Варя от Исаакия — через Москву, через Харьков, через Минеральные Воды, всё санины места. Грянула война — ей стало одиноко, упущенно. Не была и прежде полна её жизнь, но ощущалась полнота общего озера. А теперь как будто разверзся донный провал, и туда с кручением и гулом стала навсегда уходить вода озера — и пока не всё пересохло, надо было спешить, спешить!

А ещё: разобраться, как это сразу всё закособочилось, куда поползло? Всего месяц назад, три недели назад, кажется никакой мыслящий русский гражданин не сомневался, что глава России — презренная личность, недостойная даже серьёзного упоминания, немислимо было без насмешки повторить его слова. И вдруг в день-два всё изменилось. По виду образованные и неглупые люди, никем не понуждаемые, собирались, строгие, около тумб — и с этих тупых цилиндрических тумбленных туш им выглядело длинное титулование монарха совсем не смешным, и никем же не понуждаемые тчецы громко читали ясными голосами:

„Встаёт перед врагом вызванная на брань Россия, встаёт на ратный подвиг с железом в руках, с крестом на сердце... Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или суетной мирской славы подняли мы оружие, но ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой нашей империи, боремся за правое дело...”

Всею долгой дорогой наблюдала Варя сопутствия войны: военные погрузки, проводы. Особенно на полустанках лихо выглядело русское прощание: под балалайку выплясывали запасные на утолченных площадках, взметая пыль, и что-то развязно кричали, видно пьяные, а родные крестили их, плакали по ним. Когда ж мимо товарного поезда запасных проносился другой такой же поезд — взлетало братское „ура-а-а!” из двух поездов и растягивалось, безумное, отчаянное, бессмысленное, на длину двух составов.

И никто не демонстрировал против царя.

А Саня в белой чистой рубашке был особенно степной, загорелый, примятые волнистые пшеничные волосы,

пропалённые солнцем на крестьянской работе. Едва увидела — и кинулась к нему, на свою загадку-угадку, но и — сбить одним движением эту прежнюю тягучую робость их встреч. Так поверилось, что сейчас они всё своё бросят — и куда-то, куда-то...

Саня был простак уже и до сложности.

Меж коротко подстриженными русыми усами и диковатой порослью ещё-не-бородки улыбался мягко, раздумчиво. И в глазах, как всегда, непрерывная внутренняя работа. А уже — и заглатывающее заострение — общее — увидела на нём. *Уходил?* — добровольно?..

— Саня! Не идите! — за плечи его. — Не уходите!

Тем же водоворотом, в тот же донный провал закручивало и его... От него же занятую когда-то рассудочную ясность она теперь порывалась ему вернуть, из водоворота выхватить его назад, как успеет. Она не готовилась, само натекало на язык... Десятилетия гражданской литературы, идеалы интеллигенции, народолюбие студенчества — и всё отдать зашлёпать в один миг? Забыть этого... Лаврова, Михайловского?.. Хор-рошенькое дело! — так поддаться тёмному патриотическому чувству! изменить всем принципам! Ладно, он не был революционером, но пацифистом-то был всегда!

Со стороны показалось бы, что это она воинственно настроена, а он мягко отговаривает её от войны. Варя разгорячилась, и улыбка её стала резкой. Приподнялась и в отчаянии сбилась её шляпка — дешёвая и беззатейная, не для привлекательности выбранная, а защищать от солнца только.

Не находясь возражать, не защищаясь, Саня кивал. Грустно:

— Россию... жалко...

Урчала, гудела, уходила вода из озера!

— Кого? — Россию? — ужалилась Варя. — Кого Россию? Дурака императора? Лабазников-черносотенцев? Попов долгорясых?

Саня не отвечал, ему нечего было. Слушал. Но под хлёстом упрёков нисколько не ожесточался. Он на каждом собеседнике себя проверял, всегда так.

— Да разве у вас характер — для войны? — подхватывала Варя всё, что только можно было, что под рукой.

В первый раз она чувствовала себя умней его, зрелей его, критичней, — но от этого только холод утраты сжимал её:

— А Толстой! — нашла она ещё, последнее. — Что сказал бы Лев Толстой — вы подумали? Где же ваши принципы? Где же ваша последовательность?

На загорелом санином лице под пшеничными бровями, над пшеничными усами голубели ясные, печальные, в себе не уверенные глаза.

Плечи чуть подняв, чуть опустив:

— Россию жалко...

ДОКУМЕНТЫ — 1

23 июля

ПОСОЛ ФРАНЦИИ ПАЛЕОЛОГ — ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ II

...Французская армия должна будет вынести ужасный удар 25 немецких корпусов. Умоляю Ваше Величество отдать приказ своим войскам немедленно начать наступление. В противном случае французская армия рискует быть раздавленной.

ДОКУМЕНТЫ — 2

31 июля

Запись маршала Жоффра

... Предвосхищая все наши ожидания, Россия начала борьбу одновременно с нами. За этот акт лояльного сотрудничества, которое особенно достойно, поскольку русские ещё далеко не закончили сосредоточение своих сил, армия Царя и великий князь Николай заслужили признательность Франции.

1 августа

НИКОЛАЙ II — МИНИСТРУ САЗОНОВУ

... Я приказал великому князю Николаю Николаевичу возможно скорее и во что бы то ни стало открыть путь на Берлин. Мы должны добиваться уничтожения германской армии.

2

Это не ново было для Сани, что он запутывался в противоречиях, что его взгляды не сходятся с чувствами. Но если в противодействии мясу или танцам можно было всякий раз и от месяца к месяцу упражнять свою выдержку, то войны никто никогда и не предлагал, не хвалил, не манил ею, она казалась вовсе исключена в цивилизованный развитой век, — так некогда было к ней и подготовиться. Было усвоенное представление: война — грех. Без единой проверки легко было так считать. Но вот разразилась первая — и в раздольной бестревожной степи, под небом бес-тучным — засосало. И беззащитно почувствовал Саня, что э т у войну ему не отвергнуть, не только придётся идти на неё, но подло было бы её пропустить — и даже надо поспешить добровольно. В станице не оспаривали и не обмысливали войну как событие, которое будто бы в наших руках, могло бы быть или не быть допущено. Войну и вызовы воинского начальника там все принимали как волю Бога, как снежный буран, как пыльную бурю. Но и добровольного ухода тоже взять в толк не могли бы. И в сегод-няшней долгой дороге, поколачиваемый таратайкой и по-жигаемый солнцем, Саня решил ещё неясно, неоконча-тельно. Ещё предстояло ему в Ростове совещаться с дру-гом своим, Котей. Измена Толстому была уж и совсем

определённая. Но услышав Варю и приняв на себя взмёт возможных демократических и революционных аргументов, Саня не обнаружил среди них решающего: через тёмную бездну, зинувшую перед Россией, не бросали они никакого моста.

И он расстался с Варей более убеждённый идти добровольцем, чем до неё.

Другое: с Варей самой. Он ведь еле удержался. Она так звала, и так томительно ему, — поехал бы! По-крестьянски: ломай солому пока трещит, а девку пока верещит. Но уже в боях умирали люди. Нечестно. Поехал бы — и смял бы, сбил всё настроенье своё и, может, даже, в станцию бы вернулся.

Это всё он перебирал полночи уже в бакинском почтовом, на боковой верхней полке, только-только помещаясь в длину от макушки до подошв. Из Минеральных выехали вечером, от военного времени было переполнение: в третьем классе редкая полка пустовала.

Расстался с ней — тут и потянуло: ах, зря! Хоть вдогонку езжай. Теперь-то именно, идя на войну, как же было пренебречь?

Так заныло, лучше б не встречал. Так заныло, хоть в Харьков заезжай, к черноволосой Леночке с гитарой и романсами. А какая ж разница — Пятигорск или Харьков? Если б он поехал с ней — ничего б не стоило и всё его решение, и движенье.

Хотелось, мечталось Сане дожить — полюбить по-настоящему. Душой полюбить. И на всю жизнь.

Но теперь пока расстилалась — война.

В вагоне было душно, у Сани правая сторона по ходу, и имел он право оттянуть свою раму вниз, так открыл себе продух, а решётку складную опустил, чтоб не вывалиться. На частых остановках ходили по вагону, цепляли за простеленную санину студенческую тужурку, разговаривали за окном на платформе, — Саня просыпался, и сразу подступало всё то же ощущение беды, не собственной своей, но от этого не меньшей. Поглядывая на стеариновую свечу в стеклянном простенке, освещавшую четыре купе сразу, Саня по отгару её соображал, сколько времени прошло. На ходу пламя свечи поддрагивало, и колебались густые тени под полками.

А то слышал он название станции или высматривал её через щель решётки: он каждую тут станцию знал в лицо и мог наизусть их перечислять с полустанками от Прохладной до Ростова и наоборот.

Он любил эти все станции, и весь край здесь был его родной, в Нагутской жила одна замужняя сестра, в Курсавке другая. Но за последние годы его привязанность раздвоилась, с тех пор как Саня узнал и коренную, лесную, настоящую Россию — ту, что начинается только от Воронежа.

Из-под Воронежа откуда-то и вышли Лаженицыны. И в свой холостой год между гимназией и университетом Саня выпросился у отца съездить посмотреть места их предков (а на самом деле ещё и ко Льву Толстому метил попасть).

Дед Ефим, когда жив был, рассказывал, что на его пращура Филиппа напустился царь Пётр — как смел поселиться инде без спросу, и выселил, и слободу их Бобровскую сжёг, так осерчал. А дедова отца сослали из Воронежской губернии сюда за бунт, несколько их было, тех мужиков, однако тут кандалов не надели, и не в солдатское поселение, и не под крепость, а распустили по дикой закумской степи, при казачьей Старой линии, и так они жили тут, никто никому, не жались по безземелью, на полоски степь не делили, где пахали-сеяли, а где гоняли на тачанках, да стригли овец. Окоренились.

Через просветы между планками решётки всё было черно за вагоном. Но потом стало осветляться небо, и ещё светлеть, вот уже пересиливало свечу, и проводник пришёл погасить её. Белое небо взялось розовым, Саня покинул попытки спать, поднял решётку к потолку, избочась надел тужурку и в обдуве холодного встречного воздуха стал ждать восхода. Розовое распахивалось просторным шатром, особенно ярко находя по небу и выхватывая мелкие облачка, а в исходе своём всё накалялось — алым, багряным, и уже неудержимое выперло, расплавилось красным солнцем. И так, у мира всего на виду, всю красную щедрую мощь погнало, полило багрецом по степной шире, не жалея нисколько, до крайней западной дали не обойдя ни местечка.

В той России — много красот умеренных, разделён-

ных, обставленных лесами и взгорками, а вот таких разгарчивых, разлиvistых восходов на всю вселенную — не бывает.

Тоже вот таким ранним погожим утром, когда солнце едва взошло, ещё до шести утра, и тоже из первых дней августа, четыре года назад, Саня вышел со станции Козлова Засека — идти к Толстому. Было сочнее и свежей, чем может быть на Кубани летом. Спрося на станции, Саня спустился в овражек, поднялся по косоюру и попал в такой лес — просторный, ядрёный, широкоствольный, парадный, парковый, какого, живя на юге, не мог бы вообразить, да и на картинках никогда не видел. В росе молочной, а потом радужной, лес этот звал не пройти себя, а бродить, сидеть, лежать, остаться тут, никогда из него не выбраться, — а ещё особенным казался оттого, что дух пророка носился здесь: ведь Толстой же ходил или ездил на станцию, он здесь не мог не бывать, этот лес был уже началом его поместья!

Но нет, лес поднялся к орловскому большаку — и оборвался. Саня понял свою ошибку: только перевалив через большак, он спустился к яснополянскому парку. И пошёл вдоль него. Парк отделялся от дороги канавкою и тесной зарослюю. Дальше, за огибом, виднелись белые каменные входные столбы.

Тут Саню взяла робость. Он не нашёл сил идти через парадные ворота, по парадной аллее, отвечать на вопросы встречных. Да его могли и не пустить к Великому, скорее всего. И легче оказалось перепрыгнуть через канавку, продаться сквозь заросль — и просто, без цели, походить тем парком, где, уж без ошибки, хаживает Толстой, и присесть, где сиживает он.

Тут были петлистые аллеики, небольшой прудок, ещё один, и мостики через застоялую воду, покрытую ряской, и беседка. А дома и людей — не было видно. И в раннем солнечном переблеске, в мелкой солнечной пестряди бродя, бродя, садясь и глядя, Саня, кажется, и насытился. Он, кажется, уже мог возвращаться на юг и считать, что побывал у Толстого.

Но ещё поднялся по берёзовой аллее — длинной, прямой и узкой, как коридор. Берёзы сменились клёнами, потом липами. Тут открылась не поляна, но разрежение

парка, окружённое липовым прямоугольником, ещё разбитое вдоль, поперёк и диагонально дорожками. И — кто-то мелькал по этим аллеям, шёл довольно бодро. Саня спрятался за толстую липу, выглядывал. И увидел — Седоволосого, Седобородого! в длинной рубахе с пояском. Ниже ростом, чем ожидал, но так похожего на свои изображения, что хотелось головой тряхнуть, от миража.

Толстой шёл с палкой, смотрел в землю. Один раз упнулся палкой, остановился и едва ли не минуту неподвижно смотрел в одно и то же место, в землю. Опять пошёл. Он попадал головой то в густую утреннюю тень, то под солнечный свет — и тогда голова его, в обхвате парусинового картуза, вспыхивала как нимбом. Так он прошёл все четыре стороны прямоугольника и опять повторял их, на одном углу совсем рядом с Саней.

Саня упивался. Он мог бы и час вот так простоять, налегши грудью на липу, обнимая пальцами её дорожчатую кору, а голову выставив из-за ствола. И он не хотел мешать утреннему размышлению Пророка. Но испугался: а вдруг Толстой следующий раз уже не завернёт сюда, уйдёт к дому; или кто-нибудь появится и заговорит с ним.

И с колотящейся смелостью он вышагнул на дорожку — издали, чтобы Толстой не испугался внезапности, снял гимназическую фуражку (он тот год носил её, пока отец не отпустил в студенты) — и стоял прямо, немо.

Толстой увидел. Подходя ближе, поглядел на опущенную фуражку, на вольную косоворотку. Приостановился. Заботы и заботы были на его лице, лоб не расправлен. Но и ему же досталось первому поздороваться с немим обожателем:

— Здравствуйте, гимназист.

Кто же к кому пришёл? Кто кого искал? Как будто самого Саваофа слыша, спекшимся горлом Саня слабо ответил:

— Здравствуйте, Лев Николаевич!

И не находился, дальше что. Сам Толстой должен был отвлечься от своего, сосредоточиться на новом. Перевидел он, конечно, этих посетителей, и этих гимназистов, заранее знал, что они могут спросить и что им нужно ответить, всё это они могли прочесть в его книгах, но почему-то хотели не прочесть, а непременно слышать из уст.

— Откуда же вы, гимназист? — вежливо спрашивал великий старик, не проходя дальше.

— Из Ставропольской губернии, Александровского уезда, — теперь уже слышным, но хриплым голосом сказал Саня. И очнувшись, прокашлялся, поспешил: — Лев Николаевич! Я знаю: я нарушаю ваши мысли, вашу прогулку, простите! Но я так долго ехал, мне только услышать от вас несколько слов. Скажите, вот правильно я понимаю? — какая жизненная цель человека на земле?

Но — не сказал, как же он понимает, а ждал. Губы Толстого, не вовсе утонувшие в бороде, безуспешно сдвинулись в произнесенное тысячу раз:

— Служить добру. И через это создавать Царство Божие на земле.

— Так, я понимаю! — волновался Саня. — Но скажите — служить ч е м? Любовью? Непременно — любовью? — Конечно. Только любовью.

— Только? — Вот за этим Саня и ехал. Теперь свободней ему стало, и говорил он плавней, ближе к своей негорячей манере. Он задавал по виду вопрос, но в этом вопросе уже свой собственный ответ отчасти содержался и, по свойству юности, он хотел даже великому собеседнику вывить таким образом своё не совсем пустое мнение: — Лев Николаевич, а вы уверены, что вы не преувеличиваете силу любви, заложенную в человеке? Или, во всяком случае, оставшуюся в современном человеке? А что, если любовь не так сильна, не так обязательна во всех, и не возьмёт верха — ведь тогда ваше учение окажется... без... , — не мог договорить. — ... Очень-очень преждевременным? А не надо ли было бы предусмотреть какую-то промежуточную ступень, с каким-то меньшим требованием — и сперва на нём пробудить людей ко всеобщему благожелательству? А потом уже — на любви?.. — И пока Толстой не ответил, в этот последний миг: — Потому что, как я наблюдаю, вот на нашем юге, — всеобщего взаимного доброжелательства н е т, Лев Николаич, н е т!

Ещё свои заботы не ушли с борождённого стариковского лба, а тут гимназист задавал малооблегчающий вопрос. Из-под бровей мохнатых твёрдо посмотрев, бесколебно ответил старец, всей жизнью выношенное:

— Только любовью! Только. Никто не придумает ничего верней.

И — кажется не хотел больше говорить. Как будто затмился или обиделся за свою истину. Он хотел дальше идти по прямоугольнику и думать своё.

Болезнуня, что огорчил обожаемого человека, отдавая уже свой любимый вопрос, умягчая, но и ещё одну кроху выгадывая, Саня опять заторопился:

— Что до меня — я так и хочу, через любовь! Я так — и буду. Я так и постараюсь жить — для добра. Но вот ещё, Лев Николаич! Само-то д о б р о ! Как его понять? Вы пишете, что разумное и нравственное всегда совпадают...

Приостановился пророк, мол — да. И остриём палки чуть посверливал в твёрдой земле.

— Вы пишете, что добро и разум — это одно, или от одного? А зло — не от злой природы, не от природы такие люди, а только от незнания? Но, Лев Николаич, — духа лишился Саня от своей дерзости, но и своими же глазами он кое-что повидал, — никак! Вот уж никак! Зло — и не хочет истины знать. И клыками её рвёт! Большинство злых людей как раз лучше всех и понимают. А — делают. И — что же с ними?..

Даже пальцами губы свои прикрыл, чтобы больше не говорить, чтоб самому-то услышать!

Вздыхнул старик глубоко:

— Значит — плохо, недоступно, неумело объясняют. Терпеливо надо объяснять. И — поймут. Все рождены — с разумом.

И, расстроенный, пошагал с палочкой.

А Саня — стоял. И когда Толстой с дорожки за дом ушёл. И ещё потом стоял.

Так он надеялся в три минуты от Самого узнать и понять! Не понял.

Уж он не решился, не успел проверить у своего кумира о стихах: всё-таки — можно? хоть для себя, потихоньку? Или — решительно противоречит?.. Тайно всё равно влекло его слагать строки и рифмы. И в альбомы девицам, шутки ради, он записывал иногда. Однако и ограничив себя в стихах, тем не сберёт заметно времени и не открыл кратчайшего пути: как же служить Царству Божьему на земле?

Никогда не знал Саня уверенности в себе, каждый год вышибало что-нибудь из-под ног. Не раз отчаивался он преодолеть отцовскую волю, затыгивал его жребий степного неуча. В сельской работе провёл он тот год, после поездки к Толстому, лишь немного читая, что попадалось, больше всё Толстого же. Наконец, отпущен был в Харьков, но начав курс историко-филологического факультета, ощутил свою дремучесть, своё степное невежество среди городских студентов. А в Харькове год поучась, и найдя в себе дерзость после первого курса перешагнуть в московский университет (и Котю с собой увлѣк), он ещё долго ощущал себя отставшим, недоразвитым, не домысливающим до ядра каждого вопроса. Он запутался в избытке истин, он измучился от убедительности каждой из них. Пока было мало книг в руках, Исаакий твёрдо и хорошо себя чувствовал, с седьмого класса он считал себя толстовцем. Но вот дали ему Лаврова с Михайловским — как будто правильно, очень верно! Плеханова дали — опять-таки верно, да гладко, да кругло как! Кропоткин — тоже к сердцу, верно. А распахнул „Вежи” — и задрожал: всё напротив читанному прежде, но — верно! пронзительно верно!

И стал брать его от книг — страх, не прежняя почти-тельная радость: что никак он не научится автору противостоять, что увлекает и подчиняет его каждая последняя читанная книга. И только-только стал он сметь не соглашаться с книгами — как вот теперь война, и уже не научиться, не нагнать.

Поезд подходил к Армавиру. В полуспящем вагоне Саня окончательно прыгнул с полки, успел умыться, пока не заперли умывальника. Тут стоянка двадцать минут, меняют паровоз. На раннем чистом перроне было мирно, безлюдно, опять ничто не говорило о войне. В буфете с горячим крепким сладким чаем позавтракал Саня своими станичными запасами из мешочка, другого не брал.

Тронулись. Он остался в тамбуре. Теперь по солнечной стороне поезда несло паровозную сажу, но Саня открыл другую дверь и высовывался туда, нависая. Никогда не надоедало это кружение огромных цветных площадей уродившей земли. От каждого вагона сюда тряслась по полю продолговатая чёрная тень, ныряя в балочках, а осталь-

ная степь была вся освещена с раннеутренней, уже не розовой, ещё не жёлтой нежностью.

И хотя силы молодые радостно полнили тело и обещали жизнь, жизнь, — может быть эту степь и утреннее солнце над хлебным морем он не увидит больше никогда.

Проехали станцию Кубанскую. Саня и после неё не шёл в вагон, а всё так же стоял у открытой двери, обдуваемый ветром хода, — и смотрел, смотрел, примеряясь к прощанию.

Вот отдельно показалось имение или „экономия”, как говорят на Северном Кавказе. Среди степи здесь было густо, ровно насажено, и высоко уже раскинулось. Ехали груженные возы. Быки тянули локомотиль и молотилку. Кружились постройки жилые, хозяйственные. А вот в разрыве тополевой просадки, сопровождающей поезд, показался верхний этаж кирпичного дома с жалюзными ставнями на окнах, а на угловом резном балконе — явная фигурка женщины в белом, — в беспечном белом, нетрудовом.

Наверно, молодой. Наверно, прелестной.

И закрылось опять тополями. И не увидеть её никогда.

3

Ещё при первом разрыве сна, ещё прежде чем вспомнить, как ты молода, и какой летний день, и как можно счастливо жить, — тупым холодным вступает: ссора! С мужем в ссоре опять, со вчерашнего дня.

Глаза открыла: не в спальне. Одна.

Распахнула ставни в парк — а утро какое! а воздух с теньвым холодком! Гималайские серебристые ели держат ветви у подоконников второго этажа.

Какого счастья?.. Весь этот парк по её хотению вырос в голой степи. И любой предмет мира, и любой наряд из Петербурга, из Парижа, сейчас же может быть заказан, доставлен.

Последняя крупная ссора длилась у них три дня, —

три дня молчания, незамечания, всё врозь. Тут выдался день Преображения, и со свекровью Ирина ездила в церковь, в Армавир. Взмывающее пение литургии, добросердечная проповедь священника, и потом по кольцу церковного двора радостное освящение всецветных яблок, сложенных холмиками, и мёда в ведёрках и глечиках, при разгоревшемся солнце сверкание облачений, хоругвей, начищенных кадил и относимый ладанный дым — всё вместе так небесно настроило, а мужнины обиды показались так мелки и ничтожны перед Божиим миром, Божиим замыслом, тут ещё и войной, — что решила Ирина не только просить прощения в этот раз, хотя несколько не была виновата, но и впредь никогда не допустить ни одной больше ссоры, а чуть поссорясь — тут же виниться первой, ибо только в этом христианство. И вернувшись от преображенской обедни, Ирина просила у мужа прощения, Ромаша очень обрадовался, этого он и ждал, тут же простил жену и даже сам великодушно просил встречного прощения.

Но лишь со среды до воскресенья они прожили в ладу. И снова поссорились так обидно, что разговаривать нельзя.

В коридоре горничная шёпотом спросила у Ирины Ивановны распоряжений. Пока нет. Ирина перешла в ванную, красно-белого мрамора.

Потом молилась, перед Богородицей. Однако не было очищения.

И за туалетом, у трельяжа, не облегчил вид своей естественно-розоватой кожи, округлых плеч, волос до бёдер (четыре ведра дождевой на мытьё).

Перешла на солнечную сторону, на балкон-веранду, сощурилась на поезд, вероятно бакинский почтовый. Вид на поезда в двухстах саженях от дома Томчаков был самый живой. Никогда не надоедает глазами встретить и проводить, что-нибудь загадать, посчитав вагоны: чёт ли, нечет.

У многих, ехавших сейчас, назначенье сливалось: война, на войну, для войны.

Из-за того вчера и загорелась ссора: Ирина слишком выразительно сказала, как трудно сейчас России и как должны сыны её... Не о муже, она не думала, что так получится! Она говорила вообще о тевтонской угрозе... А

Ромаша принял на свой счёт, уязвился, обзывал, что она туполобая патриотка, дремучая монархистка, и от подобного же отца-невежды, самодура, что она не способна уразуметь, как мало в нашей дикой стране таких светлых, предприимчивых голов, как у её мужа. И последняя потаскуха пожалеет толкать мужа на войну, а она...

Вот такие ссоры у них и бывали, скорей как между мужчинами: то из-за Государя, над которым всегда смеялся Роман; то из-за веры, которой у него нисколько не осталось, лишь скрывал для приличия.

Но ещё б не так обидно, если бы Роман не вмешал ириноного покойного отца. Невежда? Да, с батраков начинал, сын николаевского солдата. Самодур? — а кому представлялся Роман и старался понравиться, ведь не дочери? И был выделен из женихов: „У этого деньги из рук не вырвутся.“

Отец долго оставался бездетен. Уже стариком заплатил сорок тысяч ставропольскому архиерею, чтобы пережениться. От той любви и родилась Орина, Оря! — только так её звал. А в семнадцать ориных лет подходил уже к смерти и спешил при своих глазах выдать замуж её, сразу из пансиона. Теперь-то видно: рано. Теперь-то жаль. Мог бы дать ей ещё поразвиться. Порезвиться. Мог бы позволить ей и выбрать самой.

Однако, свершилось. И не смела Оря не только отца покойного упрекать, но не смела ни думать, ни сожалеть о всяком другом жребии. О том, что не состоялось, сожалеют лишь неверующие души. Душа же верующая утверждает на том, что есть, на том растёт — и в этом её сила.

Свершилось — и Оря покорно признала невыбранного мужа. Весь наследный капитал отдала ему без дележа, без оговорочной записи. Вся сегодняшняя независимость, невылазное богатство, досужность, свободные вояжи по столицам и за границам — всё досталось Роману от ориного отца, не от своего, — так можно б его поминать хоть не руганью?..

Пора было спускаться к завтраку. Вела вниз внутренняя деревянная лестница. Над её верхним маршем лелеялся царскосельский вид, над нижним — пахал Толстой. (Изобразил их выписанный из Ростова художник-итальянец.)

Столовая была расписана под орех, и ореховый же буфет огромный, а кожа мебели — лягушино-замшелого цвета. Лимонные деревья в кадках заслоняли окна в парк. На серединном просторе, где раскладывался на двадцать четыре персоны, стол был сложен на двенадцать. А прибора накрыто — только два, через уголок: золовка Ксения спала, Роман и никогда к раннему завтраку не ожидался, а свёкор спозаранку частенько уганивал в степь на линейке по двум тысячам десятин. Сегодня же был он в отъезде, уже третий день в Екатеринодаре, решалась судьба Ромаши, все об этой поездке думали, никто вслух не говорил.

Желая доброго утра, Ирина нагнулась и поцеловала свекровь в полную широкую щеку. Избыточная полнота и устоявшийся покой — вот было лицо Евдокии Григорьевны после пятидесяти лет. Как будто не пробирали её сегодняшние заботы, как будто не знала она горя в прошлом — так было всё утоплено, расплыто и примирено в этом лице. А между тем была в её жизни неделя, когда она потеряла от скарлатины сразу шестерых детей — только Ксению, самую маленькую, выхватили, как из пожара, да Роман со старшей сестрой были уже взрослые. Порой негодуя на свекровь, Ирина напоминала себе эту неделю.

Она перекрестилась на икону Тайной Вечери (по содержанию повесили её в столовой), села. Шёл Успенский пост, на столе не было ни мясного, ни молочного, и кофе без сливок подала буфетная девка, сам лакей к раннему завтраку тоже не выходил.

Евдокия Григорьевна, дочь простого станичного коваля (одень её плоше — и сегодня та ж, бабка из деревни), не могла и за много лет привыкнуть — сидеть за столом барыней в кружевной шали, а всё нужное подадут. Она рада была заметить упущенное и сама поднести, а в иные дни, отстранив поварих, сготовить в ведёрной кастрюле малороссийский борщ. Уж дети, стыдясь прислуги, останавливали её, а перед гостями заставляли убрать постоянную вязку на спицах и клубок шерсти от ног.

В прачечной тщилась свекровь проверять расход мыла и древесного угля, распорядилась не принимать в стирку тонкого белья невестки („зачем дорогое надевать? кто

его видит?”), себе со стариком и всем, кому в доме могла, велела носить грубое, шитое прихожими монашками. Ведь с этим самым мужем они были когда-то в саманной хатёнке при десятке овец — и до старости не могла Евдокия Григорьевна поверить в прочность мужниного богатства. Она не могла точно уследить, где утекает, утекало везде, от богатства их черезкрайнего люди заимствовали, брали, воровали, было десять человек домовой obsługi да десять дворовой, это без казаков, а сколько служащих, рабочих — конторщики, приказчики, объездчики, кладовщики, конюхи, воловики, машинисты, садовники, — кто мог за ними уследить? И надо ли было, где пьётся, там и льётся? Это хорошо понимал свёкор Захар Фёдорович, это было в его развороте: „Так и жить, шоб людям жить давать. У мэнэ рука крыляста, там находэ, дэ самы нэ найдут.” Но Евдокия Григорьевна, смиряясь с неотвратимым течением обильного хозяйства экономии, в меру своих сил проверяла у годовой портнихи нитки и обрезки. Захар Фёдорович легко мог подарить прохожему босяку свой старый костюм — Евдокия Григорьевна, узнав, слала за босяком гонца отбирать костюм. Напротив, через её сестру Архелаю, монахиню, прознали их дом и тянулись сюда монашки, и монахи, и странники, и для них ничего не жалели, в самые расскоромные дни задавалась прислуге двойная работа: готовить ещё отдельно постное на чёрную ораву. И в Тебердинский монастырь бычьими платформами отправлял продукты Захар Фёдорович. А Ирина наоборот убеждала свёкра, что монашки — хитрые, работать не хотят, что угодней будет Богу повернуть эти продукты на рабочих и в летнее время кормить их мясом трижды в день. Так и сделали.

С той же неотвычной простотой свекровь и сейчас спросила:

— С Ромашей ночью — опять поврозь?

Ирина опустила прямо-носимую голову. Покраснела не от грубой простоты вопроса, но от восьмилетней безнадёжности родить, томившей саму её: могла быть и груба свекровь, имел право и раздражаться муж.

Простецкая голова свекрови над разнесенными плечами и грудью выражала, в меру её постоянной ровноты, — изумление:

— Чтоб жена — и сама отдельно? Не слыхано... Если б тебя он прогнал — я б тебе ничего не сказала.

Это она не только о сыне — она всякого мужчину всегда оправдывала рядом со всякой женщиной.

— А так мы никогда и не дождёмся...

Огромные пристенные стоячие куранты пробили и заиграли „Коль славен наш Господь”. (Купили их в аукционе, казна продавала вымороченное имущество пресекшегося рода рюриковичей.)

— Гордость надо нагибать, Ируша...

Ах, нагибала, нагибала, — да что ведала свекровь о гордости? Свёкор мог, осердясь, бранить её за столом, как хотел, — и Евдокия Григорьевна всё покорно сносила. Это Ирина однажды вскочила: „Ромаша! Уедем! Не будем здесь жить!” — и свёкор, вилку швырнув на пол, сам поднялся, ушёл. Верно, при жениной покорности мужья остывают сразу, и ссоры как не бывало: „Старушечка моя!” — тут же вскоре умилялся и приласкивал её Захар Фёдорович.

Ирина сама молилась о кротости и смирении, но когда кротость вкладывала в неё свекровь — упруго ответно поднималось в ней тёмное:

— Зачем вы так баловали? зачем вы так кохали вашего сына? А мне с ним — жить.

— А чем он плохой вырос?

Так простодушно удивилась, с глазами такими незамутнёнными, что не было духа напомнить ей ну хоть эту сцену перед кабинетом, при всех служащих, и началось из-за какой-то клетки, чем её засеять: „Сукин ты сын!!” — кричал и топотал Захар Фёдорович, побагровев глазами. „Ты — сам!!” — кричал ему Роман Захарович. Отец тяжёлым ореховым посохом с размаху ударил сына, а сын, в той же первобытной ярости, выхватил из английского кармана револьвер. Ирина повисла на муже: „Мама! Заприте дверь!”, только так разделили их. Роман надулся, уехал. Растревожённые родители тут же стали слать ему телеграммы — сыночек, вернись, приезжай!

Сын с отцом и сегодня были в ссоре. Это состоянье их было чаще лада.

Кончился завтрак. Ирина встала, пошла — в полотняном, вся ровная, статная, в пансионе отработанной поход-

кой. Пошла золотистым ковром, не снимаемым на лето, мимо выставки хрусталя — опять на лестницу, и по оставшимся вниз ступенькам, мимо ещё одного Льва Толстого, на этот раз с косой, вышла парадным подъездом.

Всех этих Толстых настоял изобразить Роман. Старому Томчаку объяснил он, что у людей образованных так, что великий человек России и граф. Сам же для себя почитал и выдвигал Толстого за отвержение исповеди и причастия, которые Роман ненавидел.

Со всеми службами и огородами занимала придомная усадьба пятьдесят десятин — было, куда пойти: в прачечную; в погреба — осмотреть с экономкой запасы; по казармам обойти жён рабочих-срочников; или, пожалуй, в оранжереи.

Но куда ни иди, надо решать: мириться или нет? смириться или нет?..

Ирина пошла через парк, заставляя себя не обернуться, не поднять головы на веранду их спальни, откуда наверно высматривал он. Выражая обиду, он способен затаиваться там на день и на сутки, как в тюрьме, не выходя ни по двору, ни по дому.

Прошла под гималайскими елями. Сколько с ними было тревог, что не привыкнутся: из великокняжеского крымского сада их везли уже большими, с комами земли в корзинах, и на каждой промечено было, какой стороной сажать на восток.

Дальше вились сиреневая, каштановая, ореховая аллеи.

„Шоб гроши зарабатывать — нужен рóзум”, — говаривал Захар Фёдорович. Но не меньший розум да ещё и вкус нужен был, чтоб те деньги тратить. Несчитано денег было и у Мордоренок, да как они их тратили? Долго жили почумазому, Яков Фомич вставил для красоты полон рот платиновых зубов, сыновья ж его, жеребцы, играли в орла-решку золотыми вместо медяков. Когда Томчак вместе с Чепурныхом покупали в Петербурге у братьев-графов Граббе шесть тысяч десятин кубанской земли — размахнулся Захар Томчак: „Угостим графьёв? Да нэ як вони угощать, дрэбэдэнькой”, — но чем же именно угощать, так и не мог придумать в ресторане Палкина, а велел нести побольше да подороже.

Как обставлять жизнь — Захар Фёдорович учился у сына и невестки. Со стороны железной дороги насадили тополя, бальзамических и пирамидальных, аллеями шириной на две встречных тройки. Бальзамические тополя после солнечных дней благоухали к вечеру, и диковатый степной помещик признал: „Гарно, Ируша, гарно!“ Парадный двор обсадили платанами. Придумала Ируша и выкопать близ дома пруд — с цементным ложем, купальней и сменяемой водопроводной водой, а вынутую землю перевозить и складывать в холмик, на нём же поставить беседку. Так составлялось то, что есть парк, отличающий старинные усадьбы, и чего не бывает в экономиях: самостоятельность пейзажа, отъединённость от окружающей местности, непохожесть на неё. Кругом может быть степь, лес или болото, здесь по своим отдельным законам — парк, другая страна. За парком посадили сад, перевезли со старого места, с Карамыка, из-под Святого Креста, сотни две фруктовых деревьев, — принялись. За садом — виноградник. Вкруг беседки распорядилась Ирина засеять мавританский газон, а на парадном дворе — изумрудный английский рейграсс, подстригаемый газонокосилками.

Но особую заботу Ирины составили две оранжереи: маленькая, для весенних цветов, подаваемых уже к раннепасхальному столу; и высокая, где зимовали в кадках олеандры, пальмы, юки, араукарии и сотни горшков с мелкими цветами, которые назвать по именам мог кроме Ирины только оранжерейный садовник, отдельный от общего садовника. Всех этих нежных жителей надо было пересматривать почти каждый день, кому-то помогать, летом — выносить и вносить, зимой кого-то цветущего нести в зимний сад, кого-то завядшего — назад в оранжерею.

В разнообразии запахов, окрасок и контуров, в нежности и росте цветов Ирина становилась увереннее, защищённее от мужниных обид.

Была такая фантастическая мысль у неё, что Роман, проснувшись, станет её всё-таки искать. Это невозможно было в обычное время, но когда война, не исключено расстаться, — может быть, его проберёт? Она хотела этого прихода не для того, чтоб одержать верх, но для него же больше, для его сердца.

Нет, нигде так хорошо не бывает, как дома! — и постели такой приятной, и такой голубенькой комнаты, сейчас ещё тёмной, а лучики бьют в жалюзи. И такой обеспеченной возможности полениться — день, неделю, хоть месяц!

От долгого хорошего сна к долгой хорошей жизни со сладкой-сладкой-сладкой зевотой, потяжкой, перетяжкой, Ксения сжала руки в кулачки над головой.

Правда, это жизнь осудительная, в ней опускаешься, о ней не будешь подробно хвалиться подругам, тут многое плохо и дико, — а всё равно хорошо! Что-то есть такое хорошее, что только тут, только ты и твои семейные понимают — а подруги и не могут понять. Московские радости, конечно, несравненны: танцевальные занятия, театры, диспуты, публичные лекции, да, ещё ж и курсы! — всё головокружительно, а тут с утра проснёшься — лежи, сколько хочешь. Побарствовать всё-таки очень приятно.

За дверью кашлянули, постучали.

— Ксения, ты не спишь?

— Ещё не решила, а что?

— Да мне в кассу надо, на минуту. Ну, если хочешь спать... я могу потом...

Тут-то и приятно полежать, едва проснясь... Но когда тебя ждут — всё уже отравлено.

— Ладно! — крикнула Ксения и вскочила в постели без рук, одним качком сильных ног. Путаясь в длинной сорочке и босиком по ковру добежала до двери, сбросила крючок. — Подожди, не входи! — и опять в постель нырь, зашуршала сеткой, натянула одеяльце. — Можно!

Брат открыл, вошёл:

— Доброе утро. Я правда тебя не разбудил? Очень надобилось, прости. Со света не вижу. Разреши, одну ставню открою?

Прошёл осторожно, всё-таки толкнул туалетный сто-

лик, зазвякали флакончики — и открыл наружную ставню. Открыл — и весь ликующий день ворвался в комнату, и сразу пережалилось Ксенью, что она не выспалась: выспалась! И перевалась на бок, под щеку руку, смотрела на брата.

А Роман при свете оглянулся, будто в этой маленькой комнате кроме сестры ожидал встретить врага. Из глубоких глазниц у него был режущий взгляд. А усы — как палки заострённые, не хотели расти с закрутом.

Но врага не оказалось. И в кулаке обнаруживая ключи от стенного сейфа, Роман шагнул отпирать.

— Я быстро, я сейчас уйду. Могу опять тебе затемнить.

Когда строился дом, несколько лет назад, эта комната предназначалась под кабинет Романа, потому здесь и вделали в стену стальную кассу. Потом решили, что сын будет в одном кабинете с отцом на первом этаже, а тут — Ксенья, но кассу так и оставили, для отдельных бумаг и денег Романа. Да сестра и бывала-то здесь лишь на каникулах.

Роман был складен фигурой — поджар, вёрток, в облегающем костюме английского спортивного типа, но не доставало ему роста. На нём было кэпи блекло-коричневое, в тон его костюму и штиблетам.

— Да ты не на автомобиле собираешься? — догадалась Ксенья. — Ты нас с Орей не покатаешь сегодня? В город? Или на Кубань туда, за Штенгеля?

Круглой, позорно здоровой, неприлично смуглой мордашкой на подушке Ксенья примеряла надежду и жертву: для автомобильной поездки от чего отказаться, переложить на завтра? На краю экономии барона фон-Штенгеля, превосходного соперника всех здешних экономистов, стояла столетняя дубрава, чудо степной окрестности. Автомобиль же был у Романа не какой-нибудь, но белый ролс-ройс, каких в России, говорили, только девять экземпляров. Роман, учёный англичанином, сам правил автомобилем, да даже всё в нём понимал, и чинить мог, но не любил пачкаться в гаражной яме и держал шофёра.

Однако сейчас он обиженно потрогал, помял пальцами гнутый, широкий козырёк кэпи.

— Нет, я просто в гараж ходил. Покатаю, только не сегодня. Пусть решится сперва...

— Ах, в самом деле!.. Ой, прости, Ромашечка!..

Как же можно всю память заспать, да просто всё на свете забыть с вечера до утра — даже что война идёт! вообще — что война идёт на свете!! А уж тем более — что отец поехал хлопотать о Ромаше, что с ним решается. Да, и с автомобилем же! Просто нелепо: могут заставить сдать ролс-ройс! Ну, понятно, брату не до развлечений, суеверие даже.

Хотя, если откровенно говорить, Ксения не понимала, как не стыдно мужчине уклоняться от армии. Ну, если единственный кормилец — так Роман какой же кормилец? Не обязательно под пули, но вообще пойти в армию требует простая порядочность.

Однако, он должен сам понимать, а сказать так брату Ксения бы не решилась при всей незатруднённости и дружелюбности между ними с тех пор, как Ксения выросла из ребёнка.

— А где Оря?

— Не знаю.

Роман уже отпер первую и вторую дверцы кассы и пригнулся к ней головой и плечами.

— А к завтраку ты не ходил? Там поста не отменили?

И сама же фыркнула. Роман в знак понимания слегка повернул голову, показал край уса и косою оскал губы. Нос у него был как у отца — с наливом, с нависом.

Кого тут убеждать! Из самого глупого, что велось в доме Томчаков, были посты. И сколько! Один бы великий — ладно, можно понять, привозят священника, и сплошную неделю в экономии служба, говенья, причастия, всю прислугу, всех работников спешат очистить до начала посева. На великий пост Ксения всегда в отъезде, и Роман уезжает в столицы, возвращается только к Пасхе. Но едва минует Троица, как начинается совсем уже бессмысленный петровский пост. И едва минует петровский — заряжает успенский. А чтоб до святок весёлых добраться, ещё надо с постной миной проходить рождественский. А ещё ж на каждой неделе среда и пятница! Не обидно поститься бедняку. Но с такими деньгами, с таким выбором вкуснейшего, что только есть на свете, — и полжизни увечить себя постами? Совершенная дикость.

Сестру и брата то и объединяло, что только двое они

во всей семье имели критические, передовые взгляды. Остальные были дикари, печенеги.

Так же на боку, с поджатыми ногами и кулак под щекой, Ксения размышляла вслух:

— Не знаю... Всё-таки последняя возможность мне бросить курсы — сейчас, в августе, пока год только один потерян. И — набор в школу босоножек.

Какое-то чувство интимности с кассой, да и сосредоточиться, требовало остаться с кассой вдвоём, не дать видеть сестре, что в ней и что он делает, хотя Ксения ничего бы и понять не могла и не хотела. И шелестя хрусткими бумагами, Роман загородился от сестры, сутулясь.

— Если б ты меня поддержал, — вздыхала Ксения, — я бы скакнула!

Роман возился, молчал.

— Я уверена, что папа ещё и три года не узнал бы. В Москву и в Москву, вроде на курсы... А потом — кричит, посердится, неужели не простит?

Роман возился, почти головой туда, в кассу.

— Да даже и не простит — ну что делать?.. — так и этак играла губами Ксения, оценивая. — А жизнь губить — лучше? На что мне эта агрономия?.. Зарывать наклонности — преступление!..

Роман прервался, выпрямился. Всё так же загораживая открытую кассу туловищем, обернул голову:

— Никогда не простит. И вообще — говоришь вздор. Тебе полный расчёт, единственный резон кончать именно агрономические курсы. Тебе цены не будет здесь.

Он смотрел острыми сообразительными глазами из-под чёрных густых бровей, из-под английского кэпи. Ксения и головой замотала, и сгримасничала — Роман как не видел. В чём бывал он убеждён — то выговаривал неотклонимо, и с такой мрачной строгостью, что побивались и мужчины деловые, не то что Ксения.

— Ты именно будешь сельским хозяином. Тебе во всяком случае обеспечена четверть наследства. А если мы с отцом окончательно поссоримся — то и больше. А всё бросишь — и голыми ногами по помосту? Безрассудство. Ты — не нищая девчёнка.

Но — девчёнка, но — ребёнок, доступный руководству. На целых семнадцать лет она была моложе, брат го-

ворил с ней тоном почти отца с дочерью, и Ксения слушала, хотя не убеждённая.

Опять повернулся в свою кассу. Если б он был человеком корыстным, он как раз бы подтолкнул сестру идти в танцевальную школу: только поддакнуть её напору да похвалить один-два танца. Если Ксения выйдет замуж и родит деду внука — старик, взъярённый на сына, может подписать внуку всё. Глубоко рассуждая, Роману выгодно, чтобы Ксения пошла в балет и поссорилась бы с отцом. Но он не разрешил бы себе такого бесчестного приёма, это противоречило бы избранному им английскому джентльменскому стилю. Он ей разумное говорил.

Взяв нужное и две стальных дверцы двумя разными ключами на полных два оборота каждую заперев, Роман ещё посмотрел на притихшую сестру, строго:

— И выйдешь замуж — за экономиста.

— Что-о-о?? Да-ни-за-что!! Да лопните вы все!!! — Ксения вскинулась как уколотая, сорвала ночную повязку с головы, белками арапки мелькнули весёлые глаза. И — захохотала, зазвенела, руку поднимая к потолку, однако танцевально поднимая. Это был тот испуг, когда уже смешно, смешно! У экономистов та женщина красавица, какая на двух стульях помещается. — Уходи, я встаю!!

И едва он дверь прикрыл — толчком вскочила! ставню второго окна — распахнула! — а день! а солнце! а жизнь! — и на пол прыг! и к туалетному столику, из серого гнутого дерева (весь гарнитур такой, к окончанию гимназии). Но поворотное зеркало, сколько ни наклоняй, — никак не берёт всей фигуры, —

а только во всей фигуре вместе — только в сильных! не толстых! подвижных ногах! с маленькими! маленькими ступнями! — красота Ксеньи!!

Прыжок! Прыжок! Прыжок!

И опять близко. Круглое, румяно-смуглое, слишком простоватое лицо — хохлушки, степнячки, „печенежки”, как дразнил Ярик в гимназические годы, и это очень её задевало. Хотя волосы не тёмные, и при карих глазах это — интересно. И с годами всё-таки выражение тоньше — гораздо тоньше — и интеллигентней — и задумчивей. Но всё равно, ненормально здоровый вид, совсем нет бледности, надо выработать бледность... Круглолицесть

неумная, деревенская, безнадежно степное лицо! И зубы такие уж ровные, такие уж крепкие, только без-на-дежнее выявляют его! Разве можно выразить этим лицом — как ты уже образована? как ты стала тонко-тонко-тонко чувствовать красоту? Разве по этому лицу догадаться — на каких спектаклях ты бывала? сколько фотографий развешено, сколько статуэток расставлено — и здесь, и в московской комнате? И Леонид Андреев! и несколько Гельцер! и несколько Айседор! И сама Ксенья — то в венгерской шнуровке и в сапожках со шпорами! то в воздушно-вуалевом, с медальончиком, босиком! —

вся в полёте, подхвачено пальцами платье! — первая танцовщица харитоновской гимназии! — а может быть первая из ростовских гимназисток?!.. Как устоять?.. Чем ещё можно жить? Что ещё в жизни есть? —

кроме танца? кроме танца! Какие летучие руки, недлинные! какие плечи, уже в наливе! вот шея бы выросла, ну немножечко бы тоньше и длинней! шея в танце сама говорит отдельно, она очень важна!

Умываться — не надо! Есть — не надо! Пить — не надо! Пустите потанцевать! Пустите потанцевать!

Через дверь — на балкон! А с балкона — в зал! Тут старая глупая плюшевая мебель, старикам выкинуть жалко. Вот где зеркало, вот где ты вся! Сама себе напевая — прыжок! Прыжок! Как это у неё получается! Она — как птица! Ступня удивительно маленькая, её всю можно забрать в мужскую ладонь. И такой толчок! И такой толчок! Это — школа босоножек: всей ступнёй, на носках они не ходят. Восстановить Элладу! Это даже не танец, это ор-хе-и-стическая иллюстрация! В греческой тунике склониться в отчаянии над погребальной урной. Или станцевать — молитву перед жертвенником. Слушайте, да ведь она почти как Айседора, она не уступает! И у неё ещё всё впереди, впереди!

... А уж одна горничная шла убирать зал электрическим пылесосом. А другая несла барышне нагретое на солнце полотенце: после ванны очень приятно обтираться таким.

Пока то, пока сё, пока завтрак — а степь разгоралась, жарко уже, никакая шляпа полястая не защитит, и лучше всего — в гамак, посреди сада, и — вся в белом, так легче.

Просвечивало белеющее небо, обессиленное накалом, и даже в доброй тени чувствовалась густота зноя. Размытое им, достигало сюда попыхивание локомотивов с молотбы, машинное гуденье с делового двора да общее слитное жужжанье насекомых и мух. Ветра не было ни слабого.

Потом захрустел гравий. Ксения изогнулась — это Ирина подходила, в постоянной прямизне и сдержанности движений. Ксения протянула обе руки, как бы в потяжку, а — чтоб обняться, сегодня не виделись. Ирина нагнулась. Ксения книга сама закрылась и сползла, упёрлась в ромб гамака. Ирина не упустила, кивнула укорно:

— Опять французская?

Книга была английская, но не в этом... Рассыпчатой подколкой волос откинута в тугую гамачную сетку, Ксения просительно сморщила носик:

— Ну, Оренька, ну неужели же мне — житие Серафима Саровского?..

Оря стала к стволу каштана, не касаясь его, кажется не испытывая желаний расслабиться, не отдыхая ни правой, ни левой ногой. А смотрела — скорей благожелательно-насмешливо:

— Нет, но в твоём чтении я совсем не замечаю русского.

— А — кого? — с проходящей непрочной досадой досуга отозвалась Ксения. — Тургеневы все перечитаны, надоели сто раз. От Достоевского меня дёргает, руки сводит в судороги. А вот Гамсуна мы не читаем, Шишбышевского, Лагерлёф, это тебя не беспокоит!

В этой семье Ирина застала Ксению застенчивой одиннадцатилетней девочкой и направляла до тринадцати, до отъезда в ростовскую гимназию. Та Ксения была воспитана в Боге и не знала большего упоения, чем подражать невестке в постах, молитвенном стоянии, в преданности русской старине.

С затуманенным лбом покивала Ирина, покивала:

— Отходишь ты...

— От чего? от хохлацкого? — выхватывали живенькие каренькие глазки. — Истинно хотела бы отстать, но — как? От этих женихов *экономических* дёгтем воняет, с ними разговаривать от смеха разорвёт! Мордоренко Ев-

стигней!.. — Только вспомнив, она уже душилась от смеха. -- Как он плакал, что его угонят в Париж?!..

Переняла и Оря, на её многозначительно-строгом лице нос-то был расплющен к концу, проявляя склонность к юмору, да и губы были склонны дрогнуть при смешном. У неё и малая улыбка значила, сколько ксеньин хохот на-раскат.

Этот долдон мордоренковский держал своих скаковых лошадей, им подошла пора выступать в Москве, но в чём-то провинился Евстигней перед отцом, и тот в наказание велел ему вместо московских скачек ехать в Париж. И лошадино-здоровый Евстигней, не пропускавший в экономии ни одной девки, ни даже гувернантки, тут сел и рыдал двое суток, размазывая слёзы, и просил не гнать его в Париж.

— Или как они на здешних балах женщин качают! — тряслась Ксения.

Как качают юбиляров, так пьяные экономисты на своих диких сборищах подхватывали молодых женщин, своих же жён и невесток, да подбрасывали их в дюжину рук, чтобы платья развевались, и норовя за ляжку схватить. (Надменно держась среди экономистов, Роман с таких балов Ирину уводил, чем обижал всех очень.)

— Вообще — судьба! На визитной карточке, представляешь: Ксения Захаровна Томчак! Так и несёт не то тачанкой, не то овечьей шкурой, в порядочном доме и не примут.

— Но если бы не эти овцы, Сенечка, ты б не увидела ни гимназии, ни курсов...

— Да лучше б и не увидела! Не знала б, что потеряла. Вышла б за такого печенег с десятью мельницами, фотографировалась бы как каменная баба позади мужниного стула...

— А тем не менее, — вговаривала Ирина с тихой настойчивостью, — народные основы...

— З д е с ь — народные основы?? Печенежские?!

— Вот здешнее всё, — упрямо вела Ирина, с челом прихмуренным, и напряжена была её изгибистая высокая шея с голубыми прожилками, — гораздо ближе к народным основам, чем твои просвещённые Харитоновы, равнодушные к России.

Ксенья загорячилась, заёрзала в гамаке, упёрлась в тугие ромбы:

— Боже мой, ну откуда у тебя эти неподвижные категорические суждения! Никогда ты никого Харитоновых не видела — почему ты их так терпеть не можешь? Все честные, все труженики — чем тебе их семья не угодила?!

От резких поворотов Ксеньи через ячейку гамака провалилась книжка.

Ирина уверенно покачивала голову с башенкой накрученных волос:

— Никого не видела, а всех таких знаю. Они все только клянутся народом, а к России...

— Но Харитоновых — не смей! не трогай! — уже раздражилась Ксенья.

Ну, не так повела, Ирина раскаивалась. Не надо было Харитоновых прямо. Но:

— Мне горько, Сенечка, что тебе всё здесь стыдно и смешно. Правда, многое. Но зато и народная жизнь, самая твердь под почвой. Тут — и хлеб родится, не в Петербурге. Тебе — и посты лишние. А в постах — люди вырастают.

— Ну ла-адно, — жалобно просила Ксенья. И спорить было лень, а что-то и правильно.

— Я только хотела сказать, — как можно уступчивее вывела Ирина, — что мы очень легко смеёмся, нам всё смешно. Висит в небе комета с двумя хвостами — смешно. В пятницу было затмение солнечное — смешно.

А уж Ксенья вовсе не спорить хотела, сердитость её как нанеслась, так и унеслась. Она жмурилась на листовно-солнечный потолок:

— Ну, правда же... Есть астрономия...

— Да астрономия пусть как угодно, — стояла Оря спокойно на своём. — А вот шёл князь Игорь в поход — солнечное затмение. В Куликовскую битву — солнечное затмение. В разгар Северной войны — солнечное затмение. Как военное испытание России — так солнечное затмение.

Она — загадочное любила в жизни.

Ксенья наклонилась цапнуть книжку с земли, чуть сама не вывалилась, и растрепались волосы, а из книжки выпал распечатанный конверт.

— Да! Я ж тебе не сказала! — от Ярика Харитонova письмо. Представь: их срочно выпустили, на второй день

войны! Письмо — уже из Действующей армии! А пока дошло до нас — он бьётся где-нибудь! И — радостное письмо! Доволен!

Одногодок, вместе уроки готовили, как любимый брат! — с нежностью, гордостью думала Ксения о нём.

Откуда же штемпель?

— Штемпель — Остроленка, надо у Ромаши по карте...

Прямые Орины брови сдвинулись — смущённо, и одобрительно:

— Из такой семьи — и патриот, офицер! Вот в этом я вижу *знак*.

... А — её муж?.. А с мужем ей что?..

5

В скажёном этом городе Ростове привык Захар Фёдорович делать дела, да только не такие. Больше всего он ездил в Ростов насчёт машин: все новые машины появлялись там, и можно было посмотреть и пощупать, и объяснялось хорошо, как они действуют. Покупал он там, опережая всех экономистов, а то и самого барона Штенгеля, дисковые сеялки от Сименса, и пропашники картофеля, и те плуги новые, идущие на длинных ремнях между двумя локомотивами. Иногда большие сделки на зерно и на шерсть подписывал там (самим французам зерно продавал). И конечно сам покупал: рыбу — где ж как не в Ростове рыба! — и другое из харчей и вещей. А кодась-то поехал только купить перчатки, какие хотел, — чтоб внутри беличий мех, а снаружи замша, в Армавире таких не случилось, — да уговорили чертогоны: на придаток купил ещё и автомобиль „русско-балтийскую карету” за семь с половиной тысяч. Когда-то гыркал на сына за „томаса”, твёрдо считал, что от той зверяки, как она вокруг поля объехала, — и гроза ударила, и хлеб полёг. А вот и сам подыскивал шофёра, хорошо виноградарский сынок научился в армии, он и стал.

Всю эту куплю-продажу в Ростове Захар Фёдорович справлял гладко, и нравилось ему, как швыдко все рос-

товские крутятся при делах, — а вот гимназии никогда он там не видел ни одной, где стоят, вывески не замечал. И когда подговорили его Роман с Ирой забрать Ксенью из пятигорского пансиона да в ростовскую гимназию, то с заминкою повёз он дочку в Ростов, потому что в товаре таком, как гимназия, толку не смыслил, и наверняка б его околпачили, подсунули б, какая хуже.

Но в тот раз надо было ему по делу посетить одного умнейшего жида, почтенного человека — Архангородского Илью Исаковича. Тот Архангородский был первый знаток по мельницам, и по самым новым, хоть электрическим, хоть каким хочешь, до того был знаток, что без его конторы ни одной мельницы не ставили от Царицына и аж до Баку, и когда туз Парамонов затеял в Ростове пятиэтажную, так тот же Архангородский ему и ставил. Вот и надумал Томчак, что Архангородский ему дурно не скажет, спросить его: *яка́ гимназья наилучшая, куды дочку отдать?* И Архангородский добро отгукнулся, сказал, что хоть есть казённая Екатерининская и ещё другие, но лучше бы всего он советовал отдать в частную гимназию Харитоновой, где и его дочь уже учится, Соня, в четвёртом классе. Сравнили возрастá — той и той тринадцать, так вместе и сядут, гарно.

Сразу и подружка, понравилось Захару Фёдоровичу. А что гимназия частная, не казённая, так особенно корошо: только те дела и надёжны, где сам хозяин во главе, а где казна да казённые служащие — там добра не жди никóлы.

Когда ездил Захар Фёдорович в Ростов, надевал он костюмы, по времени года шерстяные или чесучёвые, надевал и шляпу фетровую, или брал зонтик для фасону, но забывал об этом вскорѣ и так шагал и руками махал, как у себя в степу́, соскочив с дрожек в чумацком плаще и смазных сапогах. А ещё, как раз перед тем, надоумила его невестка заказать сотню визитных карточек, будто нужно так обязательно. Но только грóши гинули задарма́: у торговых и деловых людей, кого посещал Томчак, и в банках и на бирже, никто тех теребенек друг другу не совал, и вся сотня лежала в кармане целая, как неигранная карточная колода. И только когда биля Старого собора Томчак подъехал к гимназии Харитоновой — разменял он

ту сотню: первую карточку послал через швейцара наверх.

Аглаида Федосеевна оказалась барыня важная, рассудительная, только в щипоноске, уж носила б очки, а то та щипоноска с носа сваливается. Такой серьезной женщине вполне можно было доверить дочку в дальнем городе, не разбалуется, хоть по полгода её не видь.

А что сам он может начальнице не понравиться — у Захара Фёдоровича и минуты в голове не было. Все Томчаки по мужской линии отличались тем, что упрямство, хмурость и брань выворачивали дома, а при гостях и в гостях были весельчаки и лучшие собеседники. Такого общества не было и такой женщины не было, которым бы Захар Фёдорович не понравился в разговоре, когда хотел.

И действительно, картинный этот хохол, с резкими чертами, мохнатыми бровями, крупным носом разляпистым, в маскарадном городском костюме с цепочкою часов на самом видном месте, — своей, однако, открытостью, юмором, но и патриархальным достоинством, а больше всего степным ветряным напором, от которого еле бумаги не срывались со стола и календарь сам переворачивался, — ошеломил Аглаиду Федосеевну и очаровал. В обществе, где она обращалась, много знали и понимали, много вздыхали и мечтали, да не было ни у кого такой энергии, такой страсти действовать сейчас же, выскочив из кресла. Томчак и разговаривать-то приличным полуголосом не умел, в кабинете начальницы едва не кричал, будто рядом арбы скрипели и прогоняли мычащий, блеющий скот, так же громко и хохотал, — но Аглаиду Федосеевну, тонную хранительницу именно полуголоса и сдержанных манер, всё это не только не покорило, но увлекло свежестью. И даже явная его прикраса, что он четыре гимназии объехал и все ему не понравились, а эта сразу нравится, с лестницы, со швейцара, — даже наивное лукавство это умилило её. И хотя четвёртый класс у Харитоновой был укомплектован, никого больше она не собиралась принимать, да ещё какую-то дикую девочку, конечно недоученную, — но за десять минут она согласилась принять, и не только не указала, как умела насупленно, что ждут её другие занятия, а поддалась простодушию весёлого хохла, стала о нём самом расспрашивать и велела подать кофе.

Не скупясь на подробности и на шутки, уверенный,

что тут только и ждали его послушать, Захар Томчак рассказал, как в детстве был простым чабаном в Таврии, пас чужих овец и телят; как они, тавричане, приехали на Кавказ найматься батрачить, и получал он тогда много меньше, чем платит сейчас последнему приходящему рабочему, не говоря о постоянных своих мастерах; что только через десять лет дал ему хозяин десять овец, тёлку и поросят — и с того завертелось всё его сегодняшнее богатство, трудами и боками. Спросила начальница про его образование — полтора класса церковно-приходской, как раз научился, сколько надо ему: Библию читать да Жития святых, порусски, але и по-славянски, а писать — плохо совсем, а ни при одной купле его не обманешь. Про семью спросила, и поведал он, какое испытание ему Бог послал: в неделю шестеро дѣток вымерло, уся середина потомства. Стали слёзы у него, вытер платком. И потом про экономию рассказывал: как кирпича-железняка звенящего сами в печах самодельных вот выжгли миллион штук, ещё и продадут, ма́буть останется; как новѣй дом плановал с архитектором сам, окна́ нет без жалюзѣй снаружи и ставен внутри, так что жара никакая нипочѣм; четыре линии водопровода положили, своя электрическая дизельная станция у них уже стоит, теперь садѡвлят парк, а по нему расставят фонари, — да просто зовѣт он начальницу на следующее лето приезжать с детишками гостевать.

Слово за слово и начальница о себе рассказала, что она овдовела недавно, был её муж — инспектор казѣнных гимназий; что детей у неё трое: дочь кончила только что гимназию, теперь в Москве будет учиться, а старшему сыну Ярославу тринадцать, от рук отбивается: хочет гимназию бросать, да в пустоголовые идти, в кадеты.

Объявила она, что плата за обучение — двести рублей в год, в пять раз больше казѣнной, потому что... — Томчак едва не обиделся: „Скики платыть — я и сам знаю. У вас быкив нѣма, пидсо́нухив на масло нѣ жмѣтэ и квасоль нѣ растэ — на шо-то надо дитѣй содѣржуваты.“ Спросила, где девочка будет жить, — Томчак тут-то и взжалился: „Та нѣма ей дѣ дитѣся, дитѣ́ни бидной! У таком городе кружѣном як ии без глазу оставлять? А чи, може, у вас бы и жила?“ (Он это с первых минут и придумал! Он для того тут и прихотни тачал и кохвий пил и на кумыс при-

глашал, хоть его другие дела пекли, волокли.) „Как вы это понимаете?“ — чего угодно ожидала Харитоновна, не этого только. „Та шо ж у вас — комнат небогацько? Вот старшáя, кажэтэ, закинчáла, до Москвы пойдэ, — заместо ии мою и визьмить. Та вы мини хочь усих трёх своих давайтэ, я им зараэ мисто найду!“

Как это было ни дико, ни нахраписто, но после всего разговора, дружелюбия и смеха уже невозможно было вернуться к той первоначальной нерастопляемой ледяности, которою Аглаида Федосеевна умела отпугивать. Она вразумляла хохла, объясняла, почему нельзя, так не делают, ученица не может жить у начальницы на квартире, она свою собственную дочь учила не у себя, а в казённой, чтоб не было и тени благоприятствования, — ничего этого хохол не усваивал, сыпал свои прибаутки да пытался её растрогать: „А тодй куды ж мини ии? Чужим людям нэ оставлю. Назад, та за овцами ходить. А дивчина шибко разумная.“ — „А я вам кто? не чужой человек?“ — „Вы? — ни! вы — своя людына, зовсим своя!“ — так уверенно, радостно наседали хохол, что начальница и понять не успела, в чём же они с этим дикарём такие свои?

Томчак хорошо видел, как он начальнице понравился, и что дочка тоже понравится, але не надо напирать сразу. И свёл на шутку, об одном только просил: нельзя ли девочку на три дня приютить, пока он тут сделки заключает, по конторам ездит, ещё и в Мариуполь ему, а на кого дочку в гостинице оставишь? А вернётся — и найдёт ей квартиру.

И начальница сама не заметила, как дала себя уговорить. Томчак даже ручку ей поцеловал (он не умел, но видал, как делают) и порывом ушёл. Ещё прежде, чем он привёз эту пугливую девочку в домашнем клетчатом платьице с поясом-кушачком, не смевшую перед величественной дамой в пенсне ни повернуться, ни сесть, — к другому подъезду (квартира начальницы была в здании гимназии) подвезли фарфоровый бочонок осетровой икры, от Филиппова торт в квадратный аршин и ещё коробки. Не могли же не к делу быть лишние грóши хоть бы и этой образованной начальнице, хоть и в щипоноске. Да платить людям вперёд и по совести — не подкуп, не покупка, не мог бы Томчак объяснить, а про себя пони-

мал: щедро платить за всякое дело создаёт между людьми дружбу и добро.

За три дня, что Томчак был в отъезде, Ксения проявила себя чистоплотной, послушной, восприимчивой к навыкам и к урокам, это быстро замечает опытный глаз. Комната дочери пустовала, мальчиков можно было и не расселять, и решила Аглаида Федосеевна, что будет даже хорошо: при двух сыновьях пусть в доме растёт девочка, это будет влиять на них. Только вот молится ребёнок избыточно: и утром, и вечером подолгу, на коленях. Но тем заманчивей взять девочку из тёмной семьи и переделать на девушку передового толка. Условия поставила: Ксения будет ездить домой лишь на каникулы, а в году отец не будет вмешиваться ни во что. Да Захару Фёдоровичу лучше того и не надо: начальница правил строгих, чего ж для девочки ещё?

Томчак не задумывался, какое первейшее испытание возложил на дочь: жить на квартире начальницы и не прослыть меж одноклассниц фискалкой. Впрочем, от этой опасности её оберегла и начальница: дорожа либеральным духом своей гимназии, она никогда не позволяла себе и классным наставницам прибегать к осведомлению через тайные допросы и доносы учениц. Ни одного такого вопроса за годы не задала она и Ксенье. Она и её покойный муж считали главной задачей воспитания юношества — воспитание *гражданина*, то есть лица, враждебного властям.

Способности Ксении и её усидчивость превзошли догадки Аглаиды Федосеевны. Переходы между гимназией и квартирой занимали у девочки одну минуту, не час в день, как у всех, и этот час тоже шёл на занятия. Сам процесс занятий завлекал её выше гимназических наград. Ниже пяти с минусом у неё не бывало выводной отметки ни по какому предмету, а особенно расцвела она в иностранных языках, из которых ни одного не знала, придя: в гимназии Харитоновой было два обязательных, Ксения, кончая с золотой медалью; уже свободно читала на трёх. (И так любила она свою гимназию, не мысля дня пропустить занятий, такая робкая сохранялась долго, что отказалась от ориного приглашения поехать с ними в большое заграничное путешествие.)

Больше языков — больше и книг. Детскими и недет-

скими, ими уставлены были многие шкафы в квартире Харитоновых, и почти не было здесь общих с теми, что читала Ксенья у Ори, — ну разве, может быть, Гоголь да Диккенс. Когда издано было толщиной и бумагою как Библия — так не Библия была, а Шекспир со страшными картинками.

И с каждым полугодием, каждым месяцем этих четырёх гимназических лет мир прежней ксеньиной жизни разживался ей как дикий тёмный угол. Да каким позором была одна развязность отца — предложить начальнице взять дочь на постой! Приезжая домой на каникулы, Ксенья в ужас приходила от густоты домашней невоспитанности. Однажды привозила она с собой Соню Архангродскую и её глазами ещё острее увидела всю эту первобытность, и сгорела от стыда. Не подвернись агрономических, она на любые всякие другие курсы бы уехала, чтобы только обращаться в культурном мире.

Ничего не осталось и от её прежних старательных утренних и вечерних коленных молитв: помаливалась она теперь дома бегло, в церковь ездила со всей семьёй, когда нельзя уж не поехать, — а стояла рассеянно, крестилась неловко.

И спохватился Томчак, что одну только малость забыл тогда спросить у начальницы: со своей всей гимназией — верует ли в Бога она?

ДОКУМЕНТЫ — 4

11 августа

ФРАНЦУЗСКОЕ М. И. Д. — ПОСЛУ В ПЕТЕРБУРГЕ ПАЛЕОЛОГУ

... настаивайте на необходимости наступления русских армий на Берлин. Предупредите русское правительство неотложно...

Нисколько не было Роману тягостно провести наедине хоть и неделю: лишь бы всё было ему вовремя подано, а интересней и приятней самого себя он никого не знал.

Пожилому лакею с бакенбардами он подробно заказал обед себе на одного — сюда, на веранду, пока солнце ещё не заглянет. С особым вниманием спросил и отобрал рыбные закуски. (От ростовского рыбного торговца Томчакам высылался с проводником пассажирского поезда то бочонок, то пакет; на станцию выезжал казак и платил проводнику за беспокойство.) Был смысл пообедать со вкусом и без погрёков — одному, пока старик не вернулся. Вернуться он может перед вечером, там два поезда рядом. Но — в споре они, и Роман не может заискивать, встречать его на станции.

Соучастником волнений был сегодня и лакей: брат его, шофёр Романа Захаровича, подлежал призыву, однако в числе других важных работников при удаче мог быть отхлопотан *учётным*.

Роман-то был *единственный кормилец*, один сын в семье, и никак не мог бы подлежать призыву. Но слухи потянулись, что льготы эти отменят, если натурально кормильцем не является, в манифесте об ополченцах три дня назад было неясно сказано о *пропущенных* прежними призывами, — отец и поспешил к воинскому начальнику закрыть и закупорить при всех случаях.

Тут, на остеклённой веранде второго этажа, при спальне, стояла и любимая кушетка, отобранная из жениного гарнитура: с плавногнутым подъёмом изголовья, так что не лежишь, а на треть сидишь. Не подымаясь и без подушек, можно курить, читать газету или вот теперь, так повешена, рассматривать на стене карту военных действий.

Из ростовского магазина по телеграфному запросу

прислали Роману набор флажков воюющих государств для вкалывания линии фронтов. И он уже начал вкалывать, но тут как раз возникли эти слухи о снятии льгот — и весь дымок очарования и интереса как сдуло с карты, только душу щемило смотреть на кривые линии границ, кружки городов, чужие названия.

Роман поджёг золотой зажигалкой папиросу особого размера. В путешествии медового месяца, за границей, Ирина подарила мужу золотой портсигар — удлинённый, каких в России не было папирос. Как джентльмен, Роман не мог пренебречь первизной и ценой подарка, поэтому отказался от покупных папирос, а заказывал ростовской асоловской фабрике по двадцать тысяч гильз удлинённого же размера, и вызывали из Армавира специальную девицу набивать всю партию табаком.

Но и куренье никакого удовольствия не доставляло сегодня.

Сел за ломберный столик, разложил бумаги из кассы, постарался заняться расчётами. Окончил Роман всего четырёхклассное училище: тридцать лет назад на Мокром Карамыке только на ноги становились, и в голову не могло прийти, что сыну хорошо бы в гимназию. Потом начинал коммерческое училище, не кончил. Однако, цифровая хватка была у него хороша. И к хозяйствованию большие способности, но обидно быть подручным, при напористом отце, не терпящем перекоору и тоже сметливом редком удачнике. Ждал Роман своего отдельного часа! А пока капитал позволял ему хоть и совсем не участвовать в отцовском хозяйстве. Каждый год на два месяца в Москву и в Петербург, на два месяца за границу. В Москве катать на рысаках, в „Элите” на Петровских линиях брать отделение „люкс”, перебивая у иностранцев, а в Большом театре, когда уже все сидят, проходить в смокинге в первый ряд партера... В путешествиях себя особенно любил Роман. Так одеваться, чтобы даже знакомые у Нарзанной галереи тебя принимали за англичанина. А Европу поражать русской решительностью и своеобразием. В Лувре, в пурпурной круглой комнате, где Венера Милосская, но ни одного стула, чтобы никто не сидел, повелительно протянуть служителю десятифранковую бумажку: „ля шэз!” А переходя в следующий зал, показать: „Теперь — туда ля шэз,

туда!” — потому что долго ещё будет жена разные черепки смотреть, уже курить хочется, и даже обедать.

Но и — хороша же Ирина! Когда наденет эспри и движется, не наклоняясь, как статуя богини, только качаются пёрышки райской птицы воздушно. С ней и при Дворе не стыдно появиться. Самому б на вершок повыше. Да если б волосы так не выпадали, а то приходится стричься под машинку.

Нет, занятия не шли. Тянуло: с чем отец вернётся? Стал Роман расхаживать по веранде. И — думать, куря.

Больше всего он и любил себя в таких думаньях. Он разворачивал в них все свои способности — даже и государственные, ещё тайные ото всех. Чем он наверняка превосходил многих депутатов Думы — это своей резкой прямоотой с людьми. Сколько было вокруг самых диких и распущенных экономистов — все уважали Романа Захаровича, может быть не любили, но робели. Он никогда никому не только не льстил, но вершка не уступал из вежливости, но улыбки не дарил из гостеприимства, а всегда разговаривал с гордой серьёзностью, не сводя с собеседника режущего взгляда. Да вообще он минуты не разговаривал с человеком неинтересным или ненужным: даже если тот был гость — Роман Захарович открыто вставал и уходил к себе. Именно таких непреклонных людей не хватало сейчас в государственном управлении, а на самом верху — особенно.

Роман расхаживал всё твёрже и решительней. В одном конце его проходки висела на верандном переплёте фотография Максима Горького. Роман с симпатией смотрел на вызывающе вскинутое плющеное лицо знаменитого писателя. Роман везде громко хвалил его книги и пьесы. Он находил в нём свою черту: не лебезить перед теми, кто к тебе благосклонен. Романа восхищала та дерзость, с которой Горький полосовал и жёлчью поливал тузов промышленности и торговли, — они же в восторге аплодировали пряному, острому, свежему.

А за парком — две тысячи десятин кубанского чернозёма, если их наследовать. И такую прочную, богатую, обещающую жизнь, такую умную светлую голову — одна повестка воинского начальника может сорвать в грязный окоп под власть фельдфебеля!.. Вот дикость!

От Кубани не было ещё ни одного настоящего деятеля в России, Кубань никем не прославлена. Роман представлял разные виды своего выдвигания, одно интереснее другого. Да он, по сути, был бы смелее кадетов! Но левее кадетов кто ж — социалисты? Вот и Горький — социалист.

Да можно было бы подумать и о социализме, если б это не было так связано с грабежом, с отнятием законного имущества. Единственное личное воспоминание о социализме было у Романа — от Девятьсот Шестого, кость в горле, обиднейшая потеря за всю жизнь. Да если бы потеря! — с потерей можно примириться как с убытками от грозы, от засухи, от колебания цен. Потерять — не унижительно, кто не теряет! Но своими руками добровольно протянуть кровные деньги этим наглецам, этим рожам мерзавским, ни ума, ни трудолюбия не хватило б у них двадцатую долю того заработать! А весь их труд был — писарским почерком с завитушками написать и разослать всем экономистам письма: „Уважаемый Захар Фёдорович! С вас причитается сорок (с кого — и пятьдесят!) тысяч пожертвования на революционную работу, иначе вам наступит немедленная смерть. Анархисты-коммунисты.” И первых отказавшихся для подтверждения — действительно убили, всю семью.

Что было делать? Революция, все напуганы, власти в себе не уверены. А настроение образованного общества: на революцию? вы обязаны! ваш долг святой перед ограбленным народом. (Да если б на законную революцию, сбросить ненавистного царя, — так сколько бы то можно и дать.) Экономии разобщены, стоят в степи без охраны... (С тех пор Томчаки и стали держать четырёх наёмных казаков.) И пришлось ехать, на тачанке, попроще оделись, втроём: Роман, управляющий и конторщик. Отец не поехал — отец не мог бы своими руками деньги отдать, у него бы сердце разорвалось от первой тысячи.

Поехали за дальнюю гледичевую посадку. Была осень, хорошо запомнились под колёсами широкие лиловые опавшие стручки. А те приехали — из Армавира? — на фазтоне, одетые не только не просто, но богато, один даже в визитке с атласными отворотами и с бабочкой. Очень вежливо разговаривали, считали ассигнации терпе-

ливо. И — трое на трое, можно бы кинуться на них, избить, застрелить, ещё в засаду людей подсадить. И был револьвер в заднем кармане. Но не было решимости. Но вся Россия считала правоту — почему-то за ними, грозными, славными... Всё же не мог Роман отдать полные сорок тысяч, упёрся, торговался — и две с половиной выторговал у них, те ещё понасмехались: какие вы скупые, экономисты! (Отец очень похвалил за две с половиной тысячи.) И раскланялись превежливо, и уехали. И так никто никогда не узнал и не проверил: баррикады ли строили на те деньги? винтовки ли покупали? или просто три жулика хорошо поживились и поехали в Баку кутить с проститутками?..

Ещё долго, долго было до вечерних поездов. А занятый только — читать да старое перечитывать, газеты.

*БОГАТИЧИ — ЧТО ГОЛУБЫЕ КОНИ:
РЕДКО УДАЮТСЯ*

7"

(вскользь по газетам)

ЖИВОЙ ТРУП тот, кто не знает волшебного действия лецитала... Стимулол от **МУЖСКОЙ НЕВРАСТЕНИИ**...

Московская касса **ВЗАИМОПОМОЩИ НЕВЕСТ**...

Кокосовые гамаки для дам...

Лондонские духи клик-клик, эсс-букет...

СЧАСТЬЕ И СЛУЧАЙ ДАЮТ БОГАТСТВО! Участвуйте в лотерее...

... этический идеализм в общественных делах, которым так богата славянская душа, но обеднел просвещённый Запад...

На встречу ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 7 июля устраивается морская прогулка с оркестром музыки на большом первоклассном пароходе „Русь”, исключительно для фешенебельной публики.

... безразличие французской демократии к внешней безопасности страны... торжество антипатриотических партий во французском парламенте...

ПОКУШЕНИЕ НА ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА... На все расспросы отвечала: „Он — антихрист”... Оказалась крестьянкой Симбирской губ. Хионией Кузьминичной Гусевой... Жизнь Распутина вне опасности...

... отмена восприятия евреям арендовать лавки на нижегородской ярмарке...

ЗАЧЕМ ОСТАВАТЬСЯ ТОЛСТЫМ? *Идеальный анатомический пояс против ожирения... Незаменим элегантным мужчинам.*

СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА РУССКО-ФРАНЦУЗСКОГО СОЮЗА... Пребывание господина Пуанкаре... Парадный обед... Направо от Ея Императорского Величества... По левую руку Государя...

Приём депутации русских крестьян господином Пуанкаре... Глава депутации приветствовал президента и просил передать французским крестьянам...

ПАРАДНЫЙ ОБЕД на броненосце „France”... Блистательное подтверждение неразрывного союза... один и тот же идеал мира...

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ пребывания французских гостей... На предложенный вопрос, основательна ли тревога европейского общественного мнения... событиями на Балканах... Вивиани ответил: „Несомненно преувеличена”.

... „Times” отмечает, что превосходство русской армии над германской значительнее, нежели...

ДЯДЯ КОСТЯ — папиросы 10 шт. 6 коп., верх изящества и вкуса!

НЕСРАВНЕННАЯ РЯБИНОВАЯ настойка **ШУСТОВА!**

КРАСАВИЦЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ! *Снимки парижского жанра, новейшие оригиналы С НАТУРЫ!* Высылаю в **НАГЛУХО ЗАКРЫТОЙ** посылке.

... миролюбие России хорошо известно... Но Россия сознаёт свои исторические обязанности и поэтому...

... ввиду непрекращающейся забастовки, промышленники Выборгского района... закрыть фабрики и заводы на две недели...

... в Москве не вышли газеты... однодневная забастовка наборщиков...

Сегодня Б Е Г А

РЕСТОРАН „ЯР“

МИР ИЛИ ВОЙНА? Утром всюду говорили „мир“... Несчастливая Сербия... Миротлюбивая Россия... Австрия предъявила самые унижительные требования... Через голову маленькой Сербии меч поднят на великую Россию, защитницу неприкосновенного права миллионов на труд и на жизнь...

... вместо угнетающей подавленности — прилив бодрости и веры в свои силы. Такова психологическая черта всех здоровых народов.

... Народ-исполин, которого не сломили величайшие испытания, не боится кровавой тяжбы, откуда б она ни грозила.

МНОГО ОБЕСКУРАЖЕННЫХ ЖЕНЩИН *вернули себе этим кремом полную жизнерадостность...*

Государь Император Высочайше повелеть соизволил перевести армию и флот на военное положение. Первым днём мобилизации назначено 18 июля 1914 г.

А на Севере туманном
Слышно гром пророкотал:
То с крестом, в доспехе бранном
Старший брат славянства встал.

**ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ ВРУЧИЛ НОТУ
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВОЙНЫ**

Бодрое настроение в Петербурге и Москве... Запрещение торговли спиртными напитками в обеих столицах.

НА НАПАДАЮЩЕГО — БОГ!

... У Зимнего дворца — сотысячная масса на коленях со склонёнными национальными флагами...

... Вставай же, великий русский народ!.. Великий подвиг, перед которым бледнеет всё, что когда-либо видел мир... за светлое будущее всего человечества... мечтаний о братстве народов... Свет миру с Востока теперь или никогда...

ВЗДРОЖАНИЕ ПРОДУКТОВ. За последние дни в Петербурге цена на мясо... с 23 до 35 копеек... В Киеве толпа из бедняков учинила суд над торговцами, самовольно повышающими...

О приостановлении размена государственных кредитных билетов на золотую монету... Посещая сегодня столичные банки... с удовольствием констатировать... В экономическом отношении война не так страшна для России, как для Германии... Забастовочное движение сразу прекратилось...

НА НАПАДАЮЩЕГО – БОГ!

... Германию мы вывели из позора в 1812-13 годах, Австрию — в 1848...

Портреты наших врагов: Его апостольское величество император Австрии, король Венгрии Франц-Иосиф I...

ТРИУМФАЛЬНОЕ ОДНОДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 26 июля... Представителей разных национальностей и партий в этот исторический день волновала одна мысль, одно великое чувство трепетно звучало во всех голосах... руки прочь от Святой Руси!.. Мы готовы на все жертвы для охранения чести и достоинства нераздельного государства Российского... — Литовский народ... идёт на эту войну как на священную... — В защиту нашей родины мы, евреи, выступаем... по чувству глубокой привязанности... — Мы, немцы, населяющие Россию, всегда считали её своей матерью... и как один человек готовы сложить свои головы... — Мы, поляки... — Мы, латыши и эстонцы... — Позвольте мне как избраннику татарского, чувашского и черемисского населения заявить... все как один человек... бороться против нашествия... сложить свои головы... — Вся Родина сплотилась вокруг своего Царя в чувстве любви... В полном единении с нашим Самодержцем... — Все мысли, все чувства, все порывы... „Бог, Царь и народ!“ — и победа обеспечена...

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ... Европейская война не может быть продолжительной... Из опыта предыдущих войн... решительные события происходили не позже двух месяцев...

НЕПРОБИВАЕМЫЕ ПАНЦЫРИ

ВСЯКАЯ ДАМА *может иметь ИДЕАЛЬНЫЙ БЮСТ, украшение женщины! Принимайте пилюли Марбор! Строго солидно. Без разочарований.*

По случаю мобилизации открылось много вакансий...

АНГЛИЙСКИЕ СУКНА дешевле на 40%...

ГИТАРА, заочные уроки, бесплатно. Тюмень, Афромееву...

ВТОРАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА... Сообщение Генерального Штаба... Русские отряды вторглись в Пруссию... Наши лихие кавалерийские части...

... созидательные цели войны...

Нижегородская ярмарка, 1 августа... Закрыты все пивные и винные лавки вот уже две недели, и ярмарка приобрела необычайный вид. На улицах не видно пьяных, нет обычного обирания загулявших купцов... почти не стало карманных краж...

УХОДЯЩИМ

Идите, милые! Без страха и тоски
По здесь покинутым свою примите чашу...

Поляки! Пробил час, когда заветная мечта ваших отцов и дедов... Да воссоединится польский народ под скипетром Русского Царя...

НЕПРОБИВАЕМЫЕ ПАНЦЫРИ...

ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!

... Никогда русско-польские отношения не достигали такой моральной чистоты и ясности...

Чехи! Настал двенадцатый час!.. трёхсотлетняя мечта о свободной независимой Чехии — теперь или никогда!

ПРАВА ЕВРЕЕВ... Циркулярное телеграфное распоряжение всем губернаторам и градоначальникам приостановить акты массового или частичного выселения евреев...

ПРЕДСКАЗАНИЕ ГИБЕЛИ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ. Вильгельм II, в бытность свою студентом боннского университета, однажды обратился к одной цыганке с вопросом... Цыганка ответила бесстрастным голосом: „Злой вихрь налетит на Германию и разметёт”...

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕТЕРБУРГА. Выдумка о немецком десанте... совершенно исключается...

В СТРАНЕ ДИКАРЕЙ... Страна Шиллера и Гёте, Канта и Гегеля... под кулаком железного канцлера, которому они везде поставили памятников... Никто не прольёт слёз над развалинами страны лжи и насилия...

ВОЕННАЯ ЦЕНзуРА. В 7 часов вечера 3 сего августа в Санкт-Петербурге вводится военная цензура.

... осведомление населения в пределах возможности возложено на Главное Управление Генерального Штаба. Общество должно мириться со скудостью сообщаемых сведений, находя удовлетворение в том, что такая жертва вызывается военной необходимостью...

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОСЕЩЕНИЕ МОСКВЫ... Речь Государя в Большом Кремлёвском дворце... Их императорские Величества выходят из часовни Иверской Божьей Матери... Десятки тысяч верноподданных манифестируют на Красной площади...

... Примчались сербы, нам родные,
Был пышен быстрый съезд Двора,
И проходили запасные
Под клики дружного „ура”.
Из храма доносилось пенье.
Перед началом битв, как встарь,
Свершив великое моленье,
К народу тихо вышел Царь.

ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ !

ПОДВИГ ДОНСКОГО КАЗАКА КОЗЬМЫ КРЮЧКОВА... Заметил 22 всадника... С гиком бесстрашно бросился... врезался... вертеться волчком, рубился... Подоспели товарищи... первым в эту войну Георгиевским крестом...

... ввиду прекращения экспорта... небывалое понижение цен на зерновой хлеб... Хлеботорговцы переживают крайне тяжёлое время...

ШАЛЯПИН НАШЁЛСЯ! Благополучно избег немецкого плена и в настоящее время...

Письмо прапорщика... „Сегодня привели 9 австрийских шпионов... По их словам состав армии плохой”...

ДНЕВНИК ВОЙНЫ. Центральным событием дня является наше наступление в пределы Восточной Пруссии на широком фронте... Десов имеется много, но они разбиты просеками... не представляют препятствия для продвижения кавалерии и пехоты... 7 августа пришло известие о занятии нами Гумбинена... Это отдаёт в нашу власть всю Восточную Пруссию... Разбитые германские корпуса лишились способности...

ПРИЯТНОЕ ИЗВЕСТИЕ. Из самых авторитетных источников нам сообщают, что в русской армии в настоящее время не имеется ни одной части, шефами которой состояли бы особы владетельных германских и австрийских домов.

Её ввели и подтолкнули старшими женскими руками — как в полную темноту, в спальню, где он лежал.
Совсем темно не было, но обычное затмение глаз,

когда из яркого южного полдня войдёшь в заставленную комнату.

Пахло ладаном, сухой травой, лекарством.

Сразу вскоре видны лучи от щелей, в них — пляшущие пылинки, потом от этих лучевых пылинок расходуется для глаз и по комнате всей — смутная видимость. Потом и чётче, и почти уже полная.

Он лежал в междустенке на высокой кровати, высоких подушках, покрытый одной простынёй по духоте, — а как будто уже саваном, только не до верха.

Варя подошла сколько-то, за сколько-то остановилась. Говорить она совершенно не знала что, за всю дорогу от Петербурга не выдумала, боялась сфальшивить, что ни произнеси. Но отчасти эта темнота помогла ей, в темноте легче было и молчать, и освоиться.

А он-то, наверно, хорошо видел её. Но и головой не повёл. А после нескольких дыханий спросил, громче шёпота:

— Кто это?

Ответила:

— Матвеева. Варя.

— Мат-ве-ева?? — его беззвучный голос передал, однако, удивление — и ласковость. — Матвеева? — Далеко отстояло слово от слова. — Да ведь ты ж. В Петербурге.

— Приехала. Узнала — и приехала.

Что война началась — ему нельзя было говорить, не говорили. Что приехала из-за него, пусть понуждаемая разными дамами, — была почти правда. А высказалось — неловко. Благодарить благодетеля?.. И само благодетельство вообще стыдно, и благодарить — фальшиво: благодетельство есть откуп от общественного долга, так говорят. А всё же перед собой и перед этими дамами не могла Варя не признать, что ни гимназии бы не кончила, ни на высших курсах бы не училась без Ивана Сергеевича Саратовкина.

За минуты молчания и в нём что-то прошло, прошло. И он сказал уже голосней и со всё более отчётливой ласковостью:

— Спасибо, Варюша. Не ждал. Мне приятно.

Когда-то маленькую девочку может быть погладил по головке. Ей и не запомнилось, чтоб он говорил с нею осо-

бо или ласково. Да они и не встречались никогда. На петербургской улице она бы мимо него прошла, не узнала.

А сейчас этот голос — тронул её. И первый раз ей показалось, что она ехала так далеко — не зря. Хотя всю дорогу была уверена, что — зря, смешно и глупо.

Среди образованных курсисток, её подруг, стыдно было бы признаться, что она ездила к одру благодетеля, да кого? — владельца бакалейно-гастрономического магазина, — как ни назови его, купец или лабазник, всё равно чёрная сотня. (Хотя и у Гоца дед был чаеоторговец — но сотни тысяч жертвовал на революцию!)

Магазин Саратовкина на тихой Старопочтовой, на отлёте от движения, без зеркальных витрин, не такой большой и даже полутёмный, однако известен был всему Пятигорску, и Эссентукам, и Железноводску: что нет никакой такой в мире еды — всякой марки заграничного вина, швейцарского шоколада, вологодского масла или нежинских огурчиков, чтоб они не нашлись у Саратовкина. Его приказчики считали позором ответ „у нас нету-с”. И даже непонятно, какую выгоду Саратовкин преследовал не в бойкости повседневного спроса, а в том, что на всякое шалое желание у него не бывает „нету”. Скорее — гордость.

Варя приехала не зря? — однако что же было говорить дальше? Как она поняла, Иван Сергеевич уже неизлечим, и даже в днях её торопили, чтоб она поспела. Но теперь высказывать ему несбыточные пожелания здоровья было неискренне, а признать смерть — тоже нельзя. А говорить о постороннем — и совсем неестественно.

И Варя, ни шагу дальше, от натянутости переминалась, выжидая, сколько прилично надо простоять, чтобы можно уйти. И обеими руками держала сумочку перед собой, чтобы только занять их.

Уже гораздо ясней стало в комнате, и на подушке виделась круглая голова Ивана Сергеевича, редковатые волосы, всё ещё полное лицо — и большие, устало свисшие усы, как мокрые кисти.

А всё остальное — под саваном.

Не от сознания близкой смерти его, а вот от этого савана, до подбородка натянутого, её как сознобило.

А он, напротив, так покойно лежал, будто нисколько не боялся и не ему грозило.

— Пошли тебе Бог, Варюша, — с той же ласковостью сказал Иван Сергеевич, как будто она была не одна из двух десятков, ему не памятных, а его любимая дочь. — Чтоб ученье. Пошло на благо. И тебе. И людям. Свет ученья, он знаешь. Двулезый.

Последнего странного слова она не поняла. Да и не так старалась понять, а старалась выстоять прилично свои десять минут, и облегченье было, что не ей говорить, а он сам. Но его тон — очень раздобрал сердце.

— И жениха хорошего, — размышлял он, кажется и без труда. — Или есть уже?

— Не-е-ет, — простоналось у Вари.

И тут почувствовала к нему бесподдельную благодарность, что самого главного он не забыл и самого больного так коснулся мягко.

Он, правда, был хороший старик, хотя и купец. И кто-то же должен быть купцом. И кто-то же должен один взяться, чтобы город их не был хуже столицы.

А — после него?

— Всё — будет. Всё — будет, — то ли успокаивал старик. То ли успокаивался.

Замолчал.

Забыл?

И Варя молчала. Она даже хотела что-нибудь сказать, но совсем не могла придумать, как если б ей было четыре года.

И пока она стояла, ещё переминаясь и вцепясь в сумочку, она подумала искренно, не формально, что ведь когда-нибудь и она будет старой и вот так же плашмя и беспомощно будет умирать.

А Иван Сергеевич с одра смерти как будто ей помогал на тот миг.

И ещё сказал:

— Спасибо. Что посетила. Спаси Бог.

Правда, как-то хорошо получилось, неожиданно. Не так непролазно мучительно, никчемно, как ей представлялось в пути.

Из тёмной комнаты его она вышла растроганной.

Вышла наружу — а там дрожащий знойный воздух. И много виделся раскинутый Пятигорск.

Трёхэтажный дом Саратовкина стоял на углу Лермон-

товской и Дворянской. Тут поворачивали открытые маленькие трамвайчики, идущие на Провал, несмотря на войну и сегодня полные курортной публикой. Они всползали выше, выше по подножью Машука, мимо богатых белых дач, вилл, пансионов — и туда, к Эоловой арфе, к Лермонтовскому гроту. А в другую сторону, к базару, Лермонтовская круто спускалась, сразу падали крыши в зелень. На юг, поверх сниженного города, синели отодвинутые, размытые, ненастойчивые линии гор.

И — так горячо стало от этого обзорного родного вида. Пятигорск! Зачем она отсюда уехала в чужой неприветливый Петербург? Тогда казалось — к счастью.

Сирота... Но и сироте помогает родное место. Вот... вот... не отец, а... а как бы и за отца? Не отец — а сколько для неё сделал?

И — как добро пожелал. Как угадал!

И вот — уже и его нет...

Вся с детства известная привлекательная окрестность, ещё и под невидимым духом Лермонтова, — как чаша, наполитая зноем и счастьем, — томила невыносимостью.

Вот ведь, как чувствовала: и с Саней встретила. Родная земля, здесь всё возможно!

С Саней-то встретила, но только раздражилась до крайности. Такая невозможная встреча, в таком переполненном общем завихре, кажется — что только дать могла, именно по необычности положения — всего мира, и его, и её! — а ничего не дала. Уходила, урчала тёмная вода — и телом своим готова была Варя рухнуть и перегородить ту воронку. Но всё впустую. Тягостно с ним прощатались несколько часов по станции Минеральных Вод — а всё ни к чему. Эта чрезмерная его добродетель, медленная рассудительность — они уже и девчёнке-ученице претили, — а тут, в ослепительном июльском дне, стало видно до чёрточки, как Саня губит себя, — и ничем Варя не могла отвратить. И чего-то резкого ему наговорила, имея в виду свою досаду, а вкладывая в слова другого разговора, — и уехала дальше дачным, в Пятигорск.

А она так неслась, так неслась на родину, как будто не война сопровождала её всю дорогу, как будто не к последним вздохам опекуна, а летела в счастье, вся до щекучих подошв ожидая его.

Как террористки возят на себе пироксилин, в каких-нибудь местах, не доступных для полицейского обыска, под лифчиком, — так Варя везла в себе силу взрыва, уже недовозомую.

Пропадала она в этом Петербурге, никем не замеченная, не привеченная, малообразованная провинциалка. А здесь — горячая чаша родины, и здесь не может у неё не найтись друзей, знакомых, кого бы встретить. Кто-то должен её понять — и ей помочь понять свою судьбу.

И как она будет благодарна! и как отслужит!

Не мог этот приезд её кончиться — так, ничем.

Вот, на черкеске проходящего горца видела она в перепояс узкий ремешок с бляшками чёрного серебра, а с ремешка свисающий кинжал, — вот, это наше, наш мир! (Хотя никогда ни одного горца не знала.)

В дешёвой соломенной шляпке она шла по бестенному жаркому тротуару — и вдруг оказался перед её ногами, поперёк тротуара — ковёр! Расстеленный роскошный текинский, тёмно-красный с оранжевыми огоньками.

Варя вздрогнула, как вздрагивает засыпающий, сочтя уже за галлюцинацию, — огляделась: да, мягкий ковёр был расстелен поперёк всего тротуара от двери коврового магазина — и другие прохожие тоже останавливались, не решаясь наступить. Но стоял в двери пожилой коренастый турок в красной шапочке, с дымящимся чубуком, и ласково приглашал прохожих:

— Ходы́, пажалуста, ходы, так лучше будут.

Кто — всё-таки миновал, кто — смеялся и шёл. И Варя — пошла, наслаждаясь стопами от этой роскоши, — необычайный какой-то счастливый знак.

Голову набок, смеясь, покосилась на щедрого турка. И встретила хитро-властные глаза.

С сожалением соступила с ковра, покидая игру. От ковра через ноги огнём — будто вспыхнули в Варя яркость, красота жизни, уверенность в себе.

От Лермонтовского сквера к другому скверу по незастроенному месту тянулись временные лавчёлки, многие в ряд разнообразные лавчёлки и мастерские — из досок сбитые маленькие ларьки, домки с приподнятыми козырьками над своим дневным прилавком.

Варя пошла мимо них медленно и заглядывала в каж-

дый без смысла. Тут был — продавец рахатлукума и халвы. Галантерейный лавочник. Сапожник. Лудильщик. Чинильщик примусов и керосинок. А в следующей. — жестянщик: висел большой оцинкованный таз у него над прилавком как витрина, вместо названия, а из будки нёсся жестяной бой, хоть уши закрывай, резкий и даже злой.

Мимо этих жестяных ударов Варя прошла бы быстрее, но покосилась — и увидела самого жестянщика, как раз оставившего работу и поднявшегося во весь рост. В такой жаркий день в серой плотной рубашке, под цвет жести, и в чёрном твёрдостоялом фартуке наперед, это был молодой парень, черноволосый и сильно смуглый, как многие на юге, но особенное в нём было то, что при широко-раздатом лице, и во лбу и в нижней челюсти, уши у него были неожиданно маленькие.

Варя увидела — и замедлила. Она узнала?.. И через шаг остановилась уже уверенно.

С молотком в руке парень покосился на неё, без исключивой готовности лавочников и ремесленников, и даже угрюмо, как на врага, а не заказчика. Да и не было ж в руках у неё никакого видимого заказа.

А Варя улыбнулась ему во всю летнюю улыбку:

— Вы меня... Ты меня не узнаёшь?

Сама она тогда, только перейдя в полустаршие гимназистки из городского училища, едва сменила, тоже на чёрном фартуке, бретельки на зелёную пелеринку. Но две её старшие подруги, приезжие, с которыми она как сирота вместе жила на квартире, уже водились с таким Йеммануилом Йенчманом (не представлялся Эмма, а всегда Йеммануил). И взявши с Вари твёрдое слово, открыли ей однажды, что это — знаменитый анархист, и что сами они тоже сочувствуют анархизму. От Вари просто негде было им скрытничать на квартире, но Варю охватило святое чувство посвящённости. Девочки прятали то какую-то коробку, то книгу Бакунина, то газету „Чёрное знамя” — и по тайности, и запретности, в хранении жадно читали их, от общих принципов — что должен быть полностью уничтожен весь нынешний строй жизни и надо посвятить себя неукротимому неотступному разрушению, и до рецепта, как делать „македонки”: в кусок водопроводной трубки насыпать бертолетовой соли и вложить ампулку серной кислоты.

Так вот с Йенчманом раза два-три появлялся и Жорка — сильный, молчаливый паренёк, ещё не развитый, но обещающий самоучка, как говорил Йеммануил. И держал его на подмогу, на замену, для поручений. Ему тогда было лет пятнадцать.

С тех прошло? — семь лет? Варя ни разу с тех пор не видела их обоих, даже забыла совсем, вот никак не думала, что и сейчас он в Пятигорске.

Из своей полутёмной пещерки-ларька недоброжелательно искоса смотрел.

— Не узнаете, Жора?.. Я — Варя... Я — из тех гимназисток на Графской улице... куда вы... куда ты приходил с Эммануилом.

Почему-то само прорывалось „ты”. Да ведь ей тогда тоже было тринадцать, детское. Хотя вот он уже не подросток, а сильный мужчина с узластыми плечами.

А он из полутьмы смотрел на неё кособрово, ему это, видно, сильно всё не нравилось. Как-то гмыкнул, ничего ясно не выговорил, полуотвернулся, сел на низкий стул — и на выдвинутой железке стал обивать загнутый край лохани. Молотком он бил по твёрдой железке через подставленную жёсть, понемногу поворачивал лохань и снова бил, подбивал. Бил он сердито, как будто на эту жестянку сердясь, бил и подбивал, голову наклонив, оттого ещё хмурей. И на Варю даже не смотрел.

А её — как приковало к этому тёмно-деревянному нечистому прилавку с обрезками цветной жести, то белой, то жёлтой стороной наверх, и кой-где присыпом металлической пыли. Она обоими локтями оперлась, вглядывалась в крупнолицего мастера и настаивала:

— Не можете вы меня не помнить! Там было две старших гимназистки, а я — младшая, Варя. А я — так помню вас!

Пять минут назад она ничего о нём не помнила — а сейчас вдруг из трубы памяти, через раскрывшийся рас-труб, — потянуло сильным тёплым током, и она вспомнила даже клетчато-бордовую рубашку, в которой он бывал тогда, даже на каком стуле он сидел и движенья его рук. Сейчас — это всё очень помогло, — и силой вызывающего чувства она вытягивала из памяти ещё, ещё, какие-то анархистские программные фразы: разрушение не-

совместимо с созиданием... действенное разрушение и есть свобода... бороться с общепризнанными авторитетами... взрывать памятники...

А он поколачивал свою поделку со злостью, как уда-ры нанося извечному врагу, и перекошены были его силь-ные, крепкие, мясистые губы.

Варя — уже больше различала в затеньи лавчѐнки, хо-рошо видела его набок положенный гладкий смоляной чуб, только глаза от неё уходили. И — длинный негибкий чѐрный фартук, то ли прорезиненный.

Тогда — и на ней тоже был короткий чѐрный фарту-чек, но каждой складкой льнущий, как положишь.

Не мог он её не вспомнить! Она не уйдѐт иначе!

Она и не шла никуда. А из трубы памяти — выносило на помощь, и она вытягивала — с изумлением, как новое:

... Только через преодоление культуры возможно до-стижение анархистских идеалов. Долой научное насилие, долой университеты, синагоги науки! Анархист вторым делом объявляет террор науке! Похоронив религию — за-тем похоронить и науку, отправив её в архив человеческого суеверия...

Удивительные, неожиданные слова! А что, какая-то односторонняя правда есть и в этом? Наука — холодный, сухой, бессердечный путь. Особенно для молодой женщи-ны. Особенно для одинокой.

Но как это помнилось? но какой силой вызвалось сейчас?

... Формы борьбы могут быть разнообразны: яд, кин-жал, петля, револьвер, динамит... динамит, динамит...

Бил со злостью — и не узнавал? Резкий железный близкий звук хлестал по ушам Вари.

Тут ей осветилось: он не хочет узнать — из конспира-ции! Он — и по сегодня состоит в каком-то жутком чер-нознамѐнном обществе. Или не состоит, но скрывает про-шрое и опасается быть опознанным.

Да разве она — его предаст? Да она могла бы ему да-же помочь — выручить в чём-то конспиративном. Или — помочь ему в чтении, в развитии, — ведь это ему наверно трудно.

И ещё сильнее придавило её к прилавку, всем пере-дом, как вертелся каруселью весь лавочный ряд, а эта

лавочка была на них двоих, и её прижимало всей центробежной силой.

— Жора! Я никогда вас не выдам! — выговаривала она сильней, через жестяной лязг, через примусный шумок сбоку, но — и не так, чтобы соседи слышали, а ему одному. — Вы можете быть совершенно уверены! Ты можешь быть...

Через лязг, через шум и от боязни не убедить — дыхания не хватало. Но он услышал, понял. Перестал бить. И повернулся к ней. И как она видела теперь всё его возмужание за эти годы, и всю его решительность! И закрытую загадочность. А по широкому подбородку и на верхней губе — стоячая чёрная щетинка.

— Ты можешь на меня... положиться!

— А чего — положиться? — спросил он грубо. — Чего нам раскладывать? Ты себе — барышня, и проходи.

В грубости голоса его была как команда.

— Ты можешь положиться! — всё уверенней и увлечённей выговаривала Варя, так же прижатая к прилавку, и не заметила, заметила, что голым локтем раздавила лепесток сажи, перелетевший от примусника, — и тут же забыла.

Прохожие за её спиной миновали, заказчики не останавливались — и она с локтей смотрела и смотрела на отчаянного анархиста. И вспомнила, да:

...Революционер знает только науку разрушения... Холодной страстью должны быть задавлены все его нежные чувства... Он — не революционер, если ему чего-либо жалко в этом мире...

Ну конечно! Ну понятно! Он — добровольно всего лишён в этом мире. Но разве помеха — дружеское участие? светлая помощь?.. Сама сирота — как понимала Варя всякое сиротское одинокое положение!

Смотрел.

Столько горечи, столько невысказанной тяжести было в его мрачном небритом лице и чёрном взгляде.

— Наверно, у тебя была это время очень тяжёлая жизнь? — как будто могла его утешить.

— Было, — вдруг открылся он. — Предателей много. Редкий не предатель. Попался я на одном деле, укокали начальника тюрьмы. Дали арестантские роты.

— И долго? — (Так и предчувствовала она!)

— Потом — амнистия, на ссылку заменили. И выбросили в собачью жизнь, вот... Им бы такую жизнь...

Видно и не женат.

Отдал молотком по железке, трахнул вместо слов.

— Я никак не думала, что вы в Пятигорске!..

Он приоткрывал подземный, тайный, преследуемый мир — и она не смела больше говорить ему „ты”, он вырос перед ней. В этот страшный мир она не готова была вступить — но если бы он властно позвал, то может быть и... В какой бы ни форме, но — слиться с народом, кто об этом не мечтал?

— Южно-Русская Федерация?.. — ещё вспомнила и прошептала.

Когда он и не бил по жести — мешал слитный шум нескольких примусов от соседа.

Но Жора — расслышал и пришикнул как на кошку:

— Тшить!

Замерла.

— Продали Федерацию, — доверился он, услышала. — Из Киева. Сами виноваты, много психики наводили. Даже эксы стало делить нельзя. Ну, и развалились...

— А Йенчман? — спросила она, да просто напомнить их общее прошлое.

Махнул рукой:

— Он стал — пан-анархист. А я — анархист-коммунист. Они — учёные слишком. А анархист-коммунист не должен ничего читать, чтоб не поддаться чужому влиянию. Все свои взгляды он должен выработать сам, только так свобода личности.

Высказал, а лоханку проклятую доделывать. Бил.

Выше фартука ещё двигалось, а ниже — стоял дыбчатый фартук неподвижным хребтом.

Какая воля была в нём! Какая сила в подземном кузнеце!

Но если он не нуждается даже читать — то в чём она ему поможет? Но может быть — с кем-то связать, куда ему нельзя появиться? Если бы он доверил?..

Не покидало чувство, что к чему-то же сегодня счастливо лёг ей под ноги ковёр.

Остановился бить, но помахивал молотком и смотрел жгуче:

— Все-е будут ползать перед нами на коленях! У все-ех
мошну растрясём!

Непобедимые глаза!

— Всех подлецов стрелять по одному! — смотрел и
на неё, как на подлеца. — Наели шеи жирные в крахмаль-
ных воротниках. А собачку нажмёшь — мясная туша.

Варя не знала, как смягчить его, чем угодить навстре-
чу.

— А попам долговолосым — расчесать гривы, за гри-
вы вешать.

— А не жалко? — усумнилась.

— Никого не жалко, — откровенно шевелил он тяжё-
лыми губами. — Должны знать, что сила на них идёт,
пусть боятся!

Страшные он говорил слова! — но и жизнь ведь жесто-
ка. Это на Бестужевских курсах, на благополучной поверх-
ности можно так категорично оперировать моральными
правилами.

Навалило Варю на прилавок, платье не бережа.

А память подавала ей любимый спор тех лет, сейчас
так объясняющий это гордое одиночество: имеет ли право
революционер на личное счастье? Или должен постоянно
подчинять его революционному идеалу?

И жалея его, обойденного, обделённого, явно одино-
кого, загнанного, затаённого, — простонала ему через
прилавок, уже в половину его ширины:

— Жо-ора! Но вы не должны лишать себя...

А?

Перестал бить, посмотрел. Всё не расхмуренный, раз-
дражённый.

А она не уходила, не отходила, не слегала с прилавка.
Пока не захлопнется козырёк ларька.

Не бил. Молчал, смотрел, соображал. Сильные чёрные
глаза.

Но заогнились, от подземной кузницы, от скрытого
горна?

Глаза в глаза, ещё подумал и сказал:

— Ну, зайди.

Сильно шумели примусы.

Отлипла от прилавка, не видела сажевого пятна на ло-

котке, может где и платье, — и подняв доску, вступила в узкий зев прилавка.

А дальше идти и некуда: два шага на два шага, и заставлено, завешано кастрюлями, вёдрами.

Зачем сказал войти?

Поднялся — неровно, как ногу отсидев, на голову выше её. Ступнул ещё вглубь, там надавил низкую дверцу, кивнул головой:

— А ну!

Вот что! Оказывается, в ларьке ещё был скрытый задний чулан, и туда вела эта дверца — такая низкая, что даже Варе надо было голову приклонить, чтобы войти.

Какая-то тайна.

Варя бесстрашно протиснулась мимо дыбчатого фартука, наклонённого плеча анархиста — и вошла туда. Как в подполье.

Доверил? Понадобилась!

В тесноту такую, что еле повернулась — и от спины её предупредительно громыхнуло дном висящей жестяной ванны.

И чем-то сбило соломенную шляпку, попрыгала она куда-то.

Это был наглухо сколоченный чулан, но щели в разных местах, и всё же светилось.

Жора сильно пригнулся, вошёл. И ещё раз громыхнуло прогнутым железом, как глухим громом.

Так было тесно, обвешано и обставлено, что только и стояли они друг против друга.

И что же тут?

В перемежных щелях видя его, стояла.

Ужасно шумели примусы!

Но когда он сбросил фартук — тот отчётливо, твёрдо стукнул о пол.

Она — если и начала понимать, то не хотела понять!

А он — страшно молчал!

Она задыхалась от страха и жара в этом чёрном неповоротливом капкане! колодце!

И ощутила на плечах неумолимое давление его рук.

Вниз.

Иной год платили Томчаки управлению Владикавказской железной дороги шестьсот рублей, и чтоб любой скорый по их требованию останавливался на их станции Кубанской, а не протягиваться им до Армавира лишних двадцать вёрст.

В этом году управлению не платили, но скорые останавливали, как и всегда. Возвращаясь сегодня из Екатеринодара, Захар Фёдорович в Кавказской не стал ждать почтового, сел на первый скорый, тут же велел позвать к себе старшего кондуктора, приготовил на столике две красненьких, ему и машинисту, и объяснил, где надо остановить. Старший кондуктор нисколько не удивился, что деловой человек бережёт время, обещал — и сделал точно. Недалеко до вечера, но сильная жара ещё стояла, Томчак один со всего поезда, при головах, удивлённо высунутых из окон, сошёл на станционные пути без тени. От рыжего гравия возгонялся в дрожащий зной сладковатый запах мазута.

В тени склада стоял фаэтон, ожидавший целый день. (Давно уже была у Томчака не „русско-балтийская карета“, и рессорами, и спицами, и осями вполне похожая на обыкновенную телегу, а „мерседес“, но то для шику, иногда в гости, — ездил же Томчак почти только на лошадях, так чувствовал себя неестественно; в церковь и на станцию, где люди видят, — в фаэтоне.) Кучер спохватился, побежал принять от хозяина маленький баул, потом — зануздать лошадей, искусанных слепнями.

А сына — не было. Не встречал его сын — чёртова притыка, а не сын, из какого семени он вырос?

Начальник станции вышел руку пожать Томчаку, но через пути опоздал: фаэтон уже покатил, Томчак торопился, как всегда, а тем более, потеряв три дня на поездку, весь охвачен был свербежом от упущенных дел, толкалось в нём — проверять, как тут что идёт в самое горячее время. Что за плечами — то оторвано, думал Захар Фёдорович о делах — передних, не сделанных, не проверенных,

и может быть упускаемых. А ещё — от накипи сердца, что сын не встретил.

Не так далеко налево, меньше версты, он увидел и первую из молотилок в облачке взвешанной половы — и тут же бы свернул к ней, как есть, на фазтоне, да не стал людей смешить, надо всё ж переодеться и пересечь на дрожки.

Думал: про молотьбу; что карболку отправить надо к лукьяновским хуторам, вот-вот вторая стрижка мериносов; и не пора ли кукурузу ломать да кочаны убирать в новый амбар, на миллион пудов с жалюзным проветриванием (все стенки хоть открываются на продув, хоть закрываются плотно от дождя; это хранение, перенятое у немецких колонистов, если правильно заложить, обещало большой барыш).

У колонистов Томчак много чего перенял, и всегда это приносило ему барыш. Очень он уважал немцев — и войну против Германии считал бисовой дуростью, как свою драку палками в первом классе курьерского поезда с Афанасием Карпенко — из-за того, что тот назвал душой свою невестку, старшую дочь Томчака. Дура и есть дура, её из четырёхклассного училища выхватили, чтоб за богатого человека отдать, и из-за того деловым людям стыдно драться. Наоборот, всей Россией надо учиться у Германии, как хозяйство ставить. Сейчас, когда годы такие пошли, что Россия соками наливается, не воевать надо было, а по тому Ерцгерцогу панихиду отслужить да на поминках трём императорам выпить горилки.

Тем более не видел он резону отпускать на эту войну ни сына, ни мастеров своих добрых, ни казаков, верно служивших ему по вольному найму на охране имени и кассы после того случая с разбойниками. Всех он от войны освободил, кого хотел, с этим возвращался. И если б они его на станции встретили, да во главе с сыном, вот то был бы отцу и почёт, вместе бы и порадовались.

Всё ж у каменных белых въездных столбов сидели вприсядку на земле и ждали хозяина: двое казаков, дизельный машинист, один садовник да романов шофёр, брат лакея. И Томчак остановил фазтон и поднявшимся, окружившим сказал тепло, как обязанный им не меньше, чем они ему:

— Усэ будэ добрэ, хлопцы. И дрúгим майстерам ка-
жítь. Робыть як робылы, та Богови добры свички по-
ставьтэ.

И под их благодарный ропот тут же тронул. Лошади
бодро зацокали по плитам аллеи, потом парадного двора
— но с верхнего этажа выглянула только мать. А он и не
высунулся.

Кучер подал по разворотному кругу к крыльцу. Том-
чак сошёл и быстро в дом. Теперь он уже и не хотел встре-
чаться с сыном.

Ни одна половица крепкой молодой лестницы не
скрипнула под его ногой, да и сам он в пятьдесят шесть
лет поднимался, как молодой.

В верхней прихожей, выставя руки в надежде и в сла-
бости, стояла перед ним его бочкотелая жена.

— Ну як, отец? — почти даже голоса не было у неё
спросить.

А ему и отвечать шкóдило: здесь, под крышей домаш-
ней, особенно приходилось как унижение. И, лба жены
прикоснувшись чуть, он молча шёл в спальни. Она за ним.

Как отстала Евдокия от мужицкой работы, так подаг-
ра привязалась к ней и ещё дюжина болезней, и тем боль-
ше болезней, чем она лечилась больше. (А нияких доктор-
рив никóлы слухать нэ трэба! К себе-то Томчак их и не
подпускал: он *лучше усих докторив* знал, как себя когда
лечить.) Сперва покупали грязевые бочонки и сестру мило-
сердия выписывали в экономию делать хозяйке ванны, по-
том признали ей нужным ездить в Ейск, Горячеводск, Ес-
сентуки — а там только в кружевных платьях да в экипа-
жах, так донимали болезни горше.

Но сейчас поспевала Евдокия живо и в своей спальне,
пока муж на святой угол крестился, обошла его и заступи-
ла дорогу дальше. Она за грудь его держала и не спраши-
вала почти, а смотрела на его усатое, носатое, бровастое
лицо, как на Илью-пророка: ударит или не ударит?

Говорить Томчаку не хотелось. Схлопочи, принеси —
а он на диванчике будет лежать, не встанет. Добрэ було
бы — так и уйихаты у стэп, никому ничóго нэ сказав. Но
посмотрел, как мучается старá, — пожалел, буркнул:

— Присягавсь воинский начальник — бильый билет на
уюсю вийну.

Евдокия ослабла, теплела, повернулась и крестилась на главную икону:

— Ну слава тебе! ну слава тебе! Услышала Богородица мои молитвы.

— Та ни, — поморщился Захар, кидая шляпу, срывая пыльник. — Богородица тут с краю. То я трохи пидмазав, шоб нэ рьпило.

И — шёл к себе, но зорко обернулся, что она отстаёт уже, и огнём метнул из-под бровиц:

— Ты куды?! Нэ пйдэшь! Хай ему грець, шоб вин сказывается!! — Красная от ветров, с узлами вздувшихся тёмных трубок, рука его сошлась в кулак. Потряс. — Сам прыйдэ, як йому потрибно.

— Та я нэ до Ромаши, — лгала счастливая Евдокия. — Чого подать тобі, кажи?

— Нічо́го. Бальзаму выпью. У стэп пойиду з́араз.

И срывал с себя парадную тройку, всё до исподников.

Огненный дёготный рижский бальзам стал его любимый напиток, с тех пор как недавно он его в Москве узнал. Один такой глянцевоый кувшинчик стоял у него в столовой, другой в спальне, пил Захар Фёдорович по маленькой серебряной стопочке.

— Та хоть борща постного! — предлагала жена, заливая радостью. — Разогреть?

— А чо́го там грить? — квасоль чи масло пидсонечное? Холодного давай! — И ещё вдогонку крикнул: — А кажи казаку бигты до Семэна та дрожки закладать.

Спальня Захара была за спальнею жены и без отдельного выхода. „Зато в мэнэ сквознякив нико́лы нэ будэ!“ — говорил он. По степи в лыху годы́ну, в дождь и в холод мотался он не стережась, но дома боялся сквозняков и спать любил тепло. Не в размахе их жизни здешней, а подеревенски пристроена была к печи широкая кафельная лежанка, зимой Захар спал на ней. Была у него тут и касса большая, вделанная в стену, в неё он швырял на ходу, на ходу и вынимал; конторских книг лежало несколько, но никого из служащих Томчак здесь не принимал, да и сам цифрами в книгах наслаждался мало, — он был не слуга деньгам, а господин им. Деньги у него не задерживались, всегда были в землях, в скоте и в постройках; а золота Томчаки избегали, как и все получатели, как и все рабо-

чие (обранивался из кармана маленький золотой), в банке приходилось чиновнику подплачивать, чтоб не нагружал золотом, а давал ассигнации.

Однако и в конторе не сиживал Захар Томчак над цифрами или деньгами, не задерживался там дольше, чем надо было принять решение. Весь смысл его дела был в степи, у машин, у овечьих отар и на деловом дворе — там досмотреть, там управить. Весь успех его дела был в том, как степные просторы разделялись полосками посадок на прямоугольные отсеки, защищённые от ветров; как по семипольной системе чередовались пшеница-гарновка, кукуруза-конский зуб, подсолнух, люцерн, эспарцет, и что ни год всходили всё гуще и налиivistей; как порода коров сменялась на немецкую трёхведерную; как резали разом по сорок кабанов и закладывали в коптильню (ветчины и колбасы выделывал немец-колонист не хуже, чем у Айденбаха в Ростове); и, главное, как настригали горы овечьей шерсти и паковали в тюки.

Никогда не пропускал Томчак стоять самому при отправке на поезд или дальним гужом больших транспортов зерна, шерсти или мяса из своего имения. То был наистарший праздник для него: обойти глазами весь этот объём и тяжесть, которые он выдавал людям. Тем и похвастаться он любил иногда: „Та я ж Россию кормлю”, и такую же похвалу выслушать.

Пока жена ходила за борщом, Захар Фёдорович переделся в полотняный костюм, надел сапоги с двойной мягкой подошвой („шоб ноги спáлы”). Поел бы он сейчас свиного сала розового в четверть высотой или горячей чабанской каши с барашком, но надо было Успение пережить. Зато пшеничный хлеб „со вздохом”, от руки сжимаемый втрое, он полосанул длинным кухонным ножом от края до края и склонил усы над большой миской холодного постного густого борща.

А жена стояла против него, сложив руки на толстом животе, и смотрела, как он ест.

Торопился он кончать да гнать по степи на дрожках (тырдыкалку одноосную не любил). Но постучала и вошла невестка.

— Шо? Уже Роману сказали? — насторожился и от миски как пёс зарычал Захар Фёдорович.

— Та ни, ни, — виновато успокаивала жена. — Тильки Ире, ма́буць можно?

А Ирина вошла невиновато, прямая как всегда, с высокой шеей и пышной высокой причёской. Только то за весь день знала она от лакея, что муж её не умер там, в спальне: обедал, принял свежие газеты. Смотрела она, как свёкор усы мочил в борще, — не благодарила, молча смотрела, но с одобрением; с дружбой.

На всех в доме мог Захар Фёдорович кричать, громы метать, — на неё никогда, с первого дня она так себя повела и почувствовала здесь. Правда, и поперёк ему она ничего не делала, даже не надевала дома дорогих нарядов и *ца́цек* (бриллиантов) из-за того, что он не любил. Верный тон найдя, она умела убеждать его там, где никто, к примиренью с домашними, с другими экономистами. Свёкор вздыхал: „Божье дитя ты, Ируща”, и уступал. Когда в политике что случалось, сына он никогда не слушал с его газетами, а слушал, как невестка толкует, по „Новому Времени”.

— Ну, пидыйды, пидыйды, — показал он ей и, посередине борща обтерев большой плотной салфеткой рот и усы, поцеловал в наклонённый лоб. Однако не пригласил её сесть и ничего ласкового другого не сказал, а, громко чавкая и второй перекройный ломоть добирая из руки, зажёвывая, пропускал между глотками сердито: — Жалкюю, шо йиздыв я та вызволяв... Пийшов бы вин на вийну — о то була б йому прочуханка... Бисова дытына, лыха вин нэ ба́чив...

Чавкал.

И Ирина — понимала свёкра: что освободить сына — дерябило его, и только тем смягчалось, что освобождал и работников. Возразила ненастойчиво:

— Ну как, папа, вы можете так говорить?

Он ел своё, доедал, но, кажется, уже холосто глотал, ожесточаясь:

— И кажи йому: нэхай вин свое дило развёртуе, моёго нэ ждэ! А я лучше племеннику усэ завещаю. Або... — Он начинал ещё не так твёрдо, но вот лицо его потвердело, решение проступило между двумя заглотами: — ... або Ксинью зараз с курсов визьму та замуж выдам!

— Папа! Папа! — ахнула, взялась Ирина, своды бро-

вей поднялись. — Да это вы сгоряча! Для чего ж тогда было и отдавать, чтоб среди курса брать? Где ж тут резон?

Бывало, слыша о просчётах других экономистов, Захар Фёдорович говорил: „Дывысь, то ж бы и я нэ зрозумив. Трэба своёго агронома йматы. Дзесь мини такого шукаць, шоб и дило добрэ знав и работающий був, свий чоловік и нэ жулик?“ В такую минуту Ирина с Романом и уговорили его отдать Ксенью на агрономические курсы: вот уж будет свой агроном, куда ближе!.. А сейчас совсем другое высматривал Томчак мохнатым степным взглядом:

— А тот и резон. Будэ мини через год внук, а через пятнадцать — наследник.

Кончил хлебать, вытирался. Закрылась салфеткой нижняя часть лица, а верхняя выражала застигнутую боль.

Не только им, бабам, но вообще не мог Захар словами назвать, в чём его распдох и смятение. Не деньги, не имение гибло — Роман не вертопрах, но нарушался главный ясный стержень дела, душа его. Чтоб наследовать и верно вести — душа должна продолжать душу. А для этого чужого, чёрного — зачем было всё делано и налажено?

Ирина же своё бабичье выдвигала:

— И как вы можете, не спросясь её — замуж? И — за кого?

Поднялся Томчак. Рядом со стройной Ириной громоздилась его запорожская фигура:

— А там ии — за кого? За штудэнта? А вин на каторгу потом пидэ? Дурак я був, шо ии учив. На усих басурманских языках балакае, а в Бога развирылась. Та був бы сын як сын — да учись аж до сорока годив, доки на тэбэ вже и дывыться нэ будут. Э-эх, старá! — крякнул он и взял лёгкую походную палку с крючком, полированным от долгой носки. — Нэ дала ты мини дрúгого сына.

— Бог не дал, отец, — вздохнула жена, и благостно-покойно было её раздобренное лицо.

— Та я Его волю не знаю, Бога... А моя — ось така́.

И шагом сильным, крепким ушёл, и слышно было, как сбегал по лестнице.

Оря — всегда восхищалась свёкром. Он был — деятель народной жизни, как и её покойный отец. Десятки

людей работали и кормились вокруг него. И он понимал широту своей службы, ничего не жалел для работников, не трусился над богатством. Да по сути сам себе он от этого богатства не много и брал. Наверно, такие и должны быть простые герои в реальной жизни.

С юности они рисуются иначе. Герой затаённый у неё был, с девяти лет, — Натаниэль Бумпо, куперовский „Соколиный глаз”, бесстрашный благородный воин. Только такому герою должна была достаться Оря! — но ни такого, ни сходного она никогда не встречала. Лишь, своему внутреннему жребию служа, полюбила стрельбу, носила в дамской сумочке или держала в ящике трельяжа маленький дамский браунинг, а на ковре на ремне висело её английское дамское ружьё — для дробы и для маленьких пуль, пробивающих две верхковые доски. Когда в экономию приезжали в гости офицеры из гарнизонного штаба, натягивалось за скотным двором на двух столбах полотно, и Оря стреляла с офицерами, не уступая очков. Если когда-нибудь встретится её герой — она могла бы быть его достойна...

Но — где? зачем? и разве он может теперь встретиться?..

А впрочем — что мы знаем об истинных токах жизни?

Оря вообще любила — загадочное. Ей нравилось верить, что силы потусторонние таинственно действуют рядом с нами. Вот почему-то же висела над ними комета Галлея в год постройки этого дома, посадки этого парка...

Всё, что здесь нам не досказано,
Мы постигнем в жизни той...

Она любила мечтать, ходя под звёздами. А ещё даже больше — в закатном жёлтом обливе, на крайней западной аллее парка, откуда начинались уже виноградники, и через них всякий погожий летний вечер непреграждённое золотое осияние вырывало её гуляющую фигуру из этого парка, от этого дома, от этого мужа, из этого мира, — всю в солнце, никем не тревожимую.

И сегодня такой был закат. И хотелось туда уйти, побродить свободною душой, как бы без тела, без его огорчений.

Но если бы тотчас же не пошла объявить Ромаше она — поторопилась бы свекровь.

Впрочем, с этой вестью не было унижения войти первой. С такой вестью можно было войти и не прося прощения.

Никаким предупредительным шарканьем, кашлем, стуком Ирина не предварила свой приход. Подступила тихо и открыла тихо.

Сразу из двери обдал её смешанный жёлто-розовый свет: ещё просачивался сюда закат между вершинами парка, проходил веранду, и остеклённую стену с веранды в спальню, — а здесь поддерживался бледно-розовой обивкой стен, отзывом розово-золотистых покрывал и посвечиванием бронзовых столбиков двух двойных кленовых кроватей.

Так был ещё свет читать. И он сидел в низком глубоком кресле, спиной к ней. И в руках держал развёрнутую газету. Слышал дверь, не мог не угадать шагов. Но не обернулся.

Он до конца должен был выразить, как он всеми здесь обижен — но и как он твёрд.

Он так сидел, что Ирине виделось выше кресла лишь облысевшее темя его чёрной головы.

И эти глубокие взлизы лысины в тридцать шесть лет, эта знакомая беззащитная макушка вдруг смягчили Ирину. И то вязкое, что мешало ей идти дальше, — отвалилось.

Освободившимся шагом она пошла на поворот его головы, на перемесь обиды, колебания и готовности просить на этом тёмном, ещё от света отвёрнутом и сегодня не бритом лице.

И ровным голосом объявила:

— Всё хорошо, Ромаша. Папа сговорился. Обещали, что будет крепко.

И уже подошла вплотную к его креслу, так что он и встать из своего запрокида не успел — но схватил её за руки и, целуя их, говорил что-то, захлёбываясь. Не о ссоре, не о вине, своей или её. Ссоры как не бывало.

И отца — как бы не было, Роман о нём не сказал, не спросил, не потянулся благодарить.

И Ирина не решилась передать ему брань и угрозы отца.

Руки Ирины были открыты выше локтей, и Роман целовал ямочки у локтей, и выше, чистую нежную розоватую кожу её, без единого пупырышка. А дальше тугие рукава не поднимались. И, повернув её, он усадил к себе на колени, и голову прижимал к её груди.

И опять она сверху рассматривала его лысину меж коротких, жёстких, но слабых волос. И осторожно поцеловала её:

— Мушечка.

От „макушечки” или от „мужа” сложилось такое ласковое у них: мушечка. Он любил это прозвище.

Он оживлённо, радостно говорил, много. Ирина не сразу даже вникла. Он обещал ей, что после Америки, куда он давно хотел, как в самую лучшую, деловую, разумную страну, и даже прежде Америки, лишь бы вот кончилась война, они поедут по её заветному (давно высказанному, отвергнутому и затаённому) маршруту: в Иерусалим, Палестину, а потом в Индию.

— А смотреть будем как? — спросила Ирина. — Как Париж?

(На Эйфелеву поднимал скоростной лифт. — „А чего мы там не видели?” — боялся он высоты. — „Тогда я одна!” Если „одна” — тащится и он. Могилу Наполеона? — „А что нам Наполеон? Да мы, русские, утомились его лупить.”)

— Нет, нет, всё подробно, — обещал он, но уже освободил с колен, но уже мял свою удлинённую папиросу и шёл покурить на веранду, прихватывая смятую „Биржёвку”. — Ирочка, ты вели на ужин что-нибудь лёгкое нам сюда принести, вроде цыплят. Никуда не выйдем, спать ляжем.

Ещё на веранду доставало свету, а в спальне по минутам темнело, и погасли, серели все цвета. Но Ирина не заигала электричества.

Она перешла в безоконную глубину спальни. Нехотя и как тяжесть железную подняла за угол обесцвеченное в сумраке покрывало на одной из раскидистых кроватей. И так задержалась, осталась, держа поднятый, непосильно-тяжёлый угол...

За какую завесой, за каким покрывалом таится от обыденного опыта людского, от многих и всю их жизнь —

то благословение, то сожигание, какое в старости посетило отца, — чтоб не побояться ни мирского осуждения, ни Божьего суда, бесстыдно кинуться подкупать архиерея — только бы пережениться на любимой?..

Жалость к мужу как быстро посетила Ирину, так быстро и ушла. А жалко стало ей своей прошлой отдельной ночи и даже сегодняшнего томительного одинокого, но и свободного дня. Если стянуть покрывало — обнажится шахта, высохший колодец, на дне которого в ночную бессонницу ей лежать на спине, размождённой, — и нет горла крикнуть, и нет наверх верёвки. И героя — не будет никогда.

... А Роман, уже несколько часов дуревший над газетами, только сейчас ощутил весь их горячий интерес и смысл. Газеты как переменялись, как будто посочнели и запульсировали буквы. Ещё не темно было на веранде, и он подошёл к карте, смотрел на свои флажки и на линию границы.

С тех пор как граница была утверждена Венским конгрессом, вот эта прусская культяпка, выставленная к нам как бы для отсечения, никогда ещё не испытывалась: Россия с Германией не воевала с тех пор... Да больше, да лет сто пятьдесят не воевала... да самой Германии ещё не было... И вот — первая проба границ и расположений.

А старая поговорка от фридриховских времён: русские прусских всегда бивали!

Наступаем мы, наступают наши! В сообщениях штаба Верховного главнокомандующего не указывались номера армий, корпусов и дивизий, и нельзя было точно понять, куда ж именно поставить флажки. Да и флажки неизвестно что выражали, их число придумал сам Роман, как ему показалось удобно. От него самого зависело, захватить или не захватить лишних десять-двадцать вёрст Пруссии.

Осторожно, не рвя карту, он теперь переколол все флажочные булавки — вперёд, на два дневных перехода.

Корпуса шагали!

Стемнело, и у каменного двухэтажного штаба Второй армии в Остроленке зажглись электрические фонари. У ворот и у парадной двери стояли молодцеватые часовые, да прохаживались по улице двое патрульных, то входя в тени деревьев, то выходя из них.

Армия, руководимая этим штабом, уже неделю наступала на неприятеля — но здесь не было тревожного снования, прискока и отскока верховых, грохота экипажей, громких распоряжений, догона, перемен, — всё успокоилось к вечеру и дремало, как остальная Остроленка. И какие окна светились — те светились, а в каких было потушено — те не засвечивались, и в этом тоже был покой. И не стягивались к штабу переплетения полевых телефонных проводов, а спускалась со столба постоянная городская пара.

Проход по улице вблизи штаба не был запрещён жителям, и польская младость в чёрном, белом и цветном гуляла по тротуарам. Уже многих молодых поляков взяли в армию, паненки гуляли дружка с дружкой, а кое-кто и с русскими офицерами. После жаркого дня вечер был беспрохладный, душноватый, многие окна открыты, и слышалось изнедалека граммофонное пение.

Диковинно светя белыми снопами фар, качаясь и тархтя, из-за угла за квартал выехал автомобиль, прогрохотал по улице, вскрутил пыль и под честь часового въехал в ворота. Автомобиль был открытый, в нём сидел маленький мрачный генерал-майор.

Стихло опять у штаба. Проплыл по улице в сутане полный ксёндз. Поклоном всей спины и поклоном шляпы на вытянутой руке его приветствовали прохожие паны, как никто не здоровается в России с православным священником.

Показался извозчик, он вёз двоих офицеров к штабу. Офицеры расплатились, соскочили, вошли.

Старший из них, полковник, не в первом вестибюле

встретил дежурного офицера, а когда встретил — предъявил ему бумагу. Бумага оказалась серьёзная. Дежурный, придерживая на боку шашку, побежал наверх, докладывать начальнику штаба.

Тот удивился, встревожился, едва было не пошёл встречать приехавшего сам, передумал, хотел принять его в кабинете, тоже передумал, и, крупнотельный, посеменил к комнате командующего, генерала Самсонова.

Генерал-от-кавалерии Самсонов за долгие годы устоявшейся военной службы то наказным атаманом Войска Донского, то туркестанским генерал-губернатором и атаманом семиреченского казачества, привык служить размеренно, разумно и внушал подчинённым, что, следуя Создателю, каждый из нас может в шесть дней с умом управиться со всеми делами и ещё шесть ночей спокойно спать, а в седьмой день благорассудно отдохнуть. Суетуну же не управиться и в седьмой день.

Но за последние три недели жизнь 55-летнего генерала наполнилась будоражным движением и неутихающей тревогой. Непосильно стало управиться ни в будни, ни по воскресеньям, и перепутался даже самый счёт дней, вчера только к вечеру он вспомнил, что прошло воскресенье. Что ни ночь — бессонно ожидал он опаздывающих распоряжений штаба фронта и посылал свои приказания в неурочные часы. И стоял в голове постоянный шумок, мешавший соображать.

Три недели назад высочайшим повелением Самсонов был отозван от благоустройства дальней азиатской окраины и перенесен сразу на передовую линию начинавшейся европейской войны. Давно, после японской, он побывал здесь начальником штаба Варшавского округа; по той старой должности и сегодня определён сюда. Доверие Его Величества было почётно и, как всякую службу, хотел бы и эту отправить Самсонов наилучше. Но отвычка была велика, семь лет он не касался оперативной работы, лишь административной, он и корпусом никогда в бою не командовал, — а вот ему вручили сразу армию.

Давно уж и думать он забыл, что такое восточно-прусский театр, никто эти годы не знакомил его с планами войны здесь, как они составлялись и изменялись, — теперь его телеграммой вызвали из Крыма, где он лечился, и ве-

лели спешно выполнять не им составленный и даже не обдуманый им план, как должны две русских армии, одна с востока от Немана, другая с юга от Нарева, наступать на Пруссию, предполагая намертво окружить все тамошние войска.

Нуждался новый командующий в неторопливом разборе, уладке, нуждался он прежде всего один побыть, прийти в себя, оценить тот план, посидеть над картами, — ни на что не отпускалось времени ему. Нуждался новый командующий узнать свой штаб, каково добры в нём советчики и помощники, — но и на это не было льготного времени, и сам штаб был составлен с нечестностью: начальник штаба Варшавского округа Орановский, переходя на Северо-Западный фронт, забрал туда и всё лучшее из штаба. Командующий Виленского округа Ренненкампф, переходя на Первую армию, так же забрал туда свой знакомый многолетний штаб. А в штаб Второй армии ещё до приезда Самсонова наслали из разных мест случайных офицеров, друг друга тоже не знавших, не сработанных. Никогда б не избрал себе Самсонов ни этого мямлистого начальника штаба, ни этого жёлчного генерал-квартирмейстера — но они раньше его прибыли, его встречали. Да нуждался ж новый командующий и полки объехать, узнать хоть старших офицеров, посмотреть на солдат и себя показать, убедиться, что все готовы, и тогда только начинать движение в чужую страну, и то постепенно, силы войск для боя бережа и вработывая в солдатство запасных. Но если и командующий не был готов — то где уж там корпуса! Только три корпуса были варшавских, остальные подвозили издали. Вместо готовности 29 дней от мобилизации назначили наступать на 15-й день, при неготовых тылах, — такая нервная спешка всех охватила спасать Париж. Ни один корпус не укомплектовался как быть, не подошла назначавшаяся корпусная конница, пехота была выгружена из поездов раньше времени, не на своих направлениях (уже при разгрузке меняли места назначения и некоторые полки гнали пешком рядом с железной дорогой по 60 вёрст), вся армия рассредоточена на территории больше Бельгии. Интендантства застал Самсонов только ещё на разгрузке; армейские склады не имели возимых запасов на семь дней операции, как это полагалось, а

главное — не было транспорта обеспечить подвозку на всю глубину, только левый фланг мог рассчитывать на железную дорогу, остальным корпусам оставался гуж, а его недослали, вместо парных повозок одноконные, и лошади городские, не приспособленные к здешним пескам, да ещё неизвестно чьим распоряжением по ведомству военных сообщений обоз 13-го корпуса выгрузился прежде Белостока и собственными колёсами без нужды тянулся, и по пескам, полтораста вёрст до границы.

Ни на что не было отпущено времени, нависали немолимо короткие сроки, гнали телеграммы, весь мир должен был увидеть грозный шаг российских полков — и 2 августа они пошли, а 6-го, как раз на Преображение, добрый знак, перешли русскую границу — однако противника не встретили и продолжали день за днём всё так же идти и идти в пустоту, расточительно оставляя на переправах, мостах и в городках свои боевые части, оттого что не подходили второочередные дивизии на podpor дивизиям первой линии.

В характере Самсонова было — наступать смело и решительно, — однако ж не без ума. Никаких боёв не было, но при расстройстве тыла сама скорость движения становилась губительна. И насущно было — задержаться хоть на день-на два, подтянуть снабженье, боевым частям дать днёвку, да попросту осмотреться и твёрже стать. И штаб армии ежедённо докладывал штабу фронта: восьмой, девятый день движения, четвёртый и пятый день по Пруссии, опустошённой стране, откуда вывезены все припасы, а сенные стога сожжены; подвозить фураж и хлеб — всё дальше, трудней и не на чем, две трети армейского сухарного запаса уже съедено; в жару, по песчаным дорогам идут изнурённые колонны — в пустоту!

Но всё то прочитывая, главнокомандующий фронтом Жилинский, кзади на сто вёрст от Остроленки, ничего не понимал, ничего не принимал, а попугайски каркал своё: энергично наступать! только в скорости ног наша победа! противник ускользает от вас!

Были пределы, которых генерал Самсонов не разрешал себе переступать и в мыслях. Он не смел судить императорскую фамилию, стало быть и Верховного главнокомандующего. И высших интересов России он также не

смел истолковывать своевольно. Разъяснено было директивою Верховного, что так как война первоначально была объявлена нам, а Франция как союзница немедленно нас поддержала, необходимо нам по союзническим обязательствам возможно быстрее наступать на Восточную Пруссию. Ту директиву генерал Самсонов не смел подвергать сомнению. Но всё же говорилось в ней о наступлении „спокойном и планомерном” — а если происходило нечто другое, то с правом можно было приписать это штабу фронта, да ещё зная самого Жилинского — его надменность, жёлтую сухость, колкость. В штабе фронта верстовые подсчёты Самсонова подвергали неверию, если не смеху, и жалобы его приписывали его слабости. Упречные телеграммы и дёрганья от Жилинского день ото дня разжигали Самсонова — и тут не находил он в себе смирения остановиться и не судить. Упорство высшего начальника не признавать действительной обстановки почему называется *волей*? донесение низшего о том, как идёт на самом деле, почему называется безволием?

Всех-то задач было у главнокомандования фронтом: координировать Вторую армию с Первой, и больше ни с какой. Это мизерно было для такого многолюдного штаба и обрекало его мелко вмешиваться в распоряжения командующих армиями. Сама же координация с первых дней была лишь палки в колёса. Ни через штаб фронта, ни на местности, ни конною разведкой не чувствовала Вторая армия на земле Восточной Пруссии своего правого соседа. И даже три последних дня, когда приказы по фронту и вся русская печать восславили победу Первой армии под Гумбиненом, — самсоновские корпуса, идущие с юга, нигде за лесами и озёрами не ощутили подмогу корпусов Ренненкампа, идущих с востока, ни даже его многочисленной конницы, пять кавалерийских дивизий, и не заметили немцев, бегущих бы с востока на запад. Вся Россия ликовала победе Ренненкампа, и только сосед его по Восточной Пруссии не выиграл от той победы ничего.

Это всё могло бы быть иначе при другой людской расстановке. Но Жилинский и Орановский были люди какой-то чужой души, не умеющие выслушивать, не желающие столкнуться. С Жилинским в прежние годы Самсонов тесно не встречался, лишь сейчас представился ему в

Белостоке. Но и за неполный разговор, за первые же минуты понял, что никогда ничего рассудительного у него с этим генералом не выйдет. Жилинский фразы не сказал по-человечески, как с братом по оружию. Это был брезгливый погонщик, а не брат. Он показывал, что всё знает лучше и не намерен советоваться с подчинённым. В тишине кабинета он говорил без надобности резко, даже обрывал — и, наверно, себя ж в унижении считал, что так низко сидит, всего на фронте из двух армий.

Да Жилинского только этой весной, смещая с генерального штаба, куда-то надо было устроить, и назначили на Варшавский округ. (А думали Самсонова возвращать сюда, но отвергли за незнание французского языка, нужного для Варшавы. Теперь получается жаль: вернись бы он в Варшавский округ весной — уже бы вник в дела, и военные планы узнал бы раньше.)

Плохие люди все друг друга поддерживают, в этом главная сила их: Жилинского застоял Сухомлинов. А была у Жилинского заступа и выше: он близок был ко двору Марии Фёдоровны, и это давало ему самостоятельность даже от Верховного. Но здесь упирался Самсонов в предел: не ему было судить.

Да не завидовал он всем их успехам и продвижениям, не искал породниться со Двором, но складка печали ложилась в душу: наступил у России тяжкий час — всех этих блистательных хлюстов не сдует ли ветром? их имена тогда — услышишь ли?

Пускай бы возвышались они, да не портили дела. Довольно бы с Самсонова своих забот: принять, поднять и вести Вторую армию. Но — передёргивали, но — ломали всё! Даже состава армии по корпусам Самсонов не мог два дня подряд удержать постоянным: подчинили 1-й корпус — но без права его передвигать; подчинили Гвардейский корпус — и через три дня отобрали (и отобрали тайком, лишние сутки считал Самсонов, что тот по его приказу наступает, и Жилинский не предупредил, а уже сам командир корпуса доложил потом); подчинили 23-й корпус — и тут же одну пехотную дивизию, Сирелиуса, отняли в резерв фронта, другую, Мингина, — в Новогеоргиевск, корпусную артиллерию — в Гродно, корпусную конницу на Юго-Западный фронт. Потом спохватились и дивизи-

зию Мингина вернули Самсонову, пришлось ей догонять другие корпуса ещё усиленной, чем те шагали. Ещё формально подчинили 2-й корпус, далеко справа уткнувшийся в озёра и недвижимый (распоряженья ему Самсонов мог посылать — только через штаб же фронта). А вчера пришла телеграмма: 2-й корпус передать Ренненкампфу. То доходило до семи корпусов — теперь оставлен был Самсонов при трёх с половиной!

Да и это б он покойно снёс, если был бы в том толк. Но именно толка не было. Как ни поздно Самсонов приехал сюда, как ни мало было ему времени подумать и узнать, что́ тут годами трактовалось о Восточной Пруссии, но глядя на эту культу, выставленную против России, он сразу понял, что отхватывать её надо под мышкой, а не с локтя угрызать, и потому сильнейшей армией должна быть южная, наревская, его армия, а не восточная, ренненкампф-овская.

Однако со штабом фронта тянулась и тянулась разгосица: как понимать задачу Второй армии и по какому направлению ей наступать? Если не поняли друг друга, сидя через стол, то что можно по телеграфу? Как в чёрта не угодить пестом, так нельзя было ухватить и план Жилинского: что немцы будут жаться к Ренненкампфу, к самой груди, на восток, к Мазурским озёрам, — и ждать, пока накроет их сзади Самсонов. А потому де самое успешное направление для Самсонова — северо-восточное, наискосок. И всю Вторую армию Жилинский разгружал, сосредотачивал — правее, чем быть ей нужно, и лишь потом постепенно подавал налево, чем и размазывал. А только на карту глянув, сразу можно было понять, что *гораздо левей* надо армию развёртывать — у железной дороги Новогеоргиевск-Млава, единственной во всём районе наступления, тогда как у немцев подходил десяток железных дорог. Как можно было единственную дорогу оставить за флангом, а всю армию погнать по песчаному и болотному бездорожью?!

Но уже опоздав предлагать собственный план и другую дислокацию, Самсонов послал встречную записку, что — да, надо ему наступать наискосок, да только не на дурной искосок, прочерченный Жилинским-Орановским, не к северо-востоку, а к северо-западу: не обняться с Рен-

ненкампом впустую, а спешить удержать немцев в неводе, не дать им уйти за Вислу.

И уж в этом уступить было никак нельзя: надо совсем дураком себя счесть, дергунчиком на верёвочке. Жилинский слал ежедневные директивы: наискосок направо! Самсонов ежедён просил: наискосок налево! И, не упуская правого края, стал полегоньку сам загибать налево: в приказах корпусам и дивизиям по две-три деревни выбирал каждой левее. И когда уже перешли немецкую границу, и ни в первый, ни во второй, ни в третий день не встретили никаких немцев, ни одного выстрела не услышали и не сделали, — Жилинский всё видел свой вздор: что немцы замерли против Ренненкампа и ждут удара в спину, что сгрудились они в гибельном уголке у Мазурских озёр, в косом простенке между Ренненкампом и Самсоновым, и ждут терпеливо, когда их в мешке зашьют, — Самсонову же стало окончательно ясно, что Жилинский гонит его в пустоту, немцы уходят из наших клещей, льются на Запад, и последняя надежда — растворить клещи пошире.

И так — делал он, и сколько мог, отклонял левую клешню налево, а Жилинский не утверждал, держался за правую клешню, и все чувства и сердце уходили на этот спор, а корпуса между тем шли и шли, и только дерготно и зигзагами генеральский спор удлинял их путь, тратились ноги на ошибки направлений. Эти вёрсты на солдатских подошвах Самсонов ощущал, как на своих, они палили и мозоли натирали, и союзки отпарывались от ранта, — и всё же не мог он без противления выполнять обалделые приказы штаба фронта.

А ещё от этого спора — растягивался фронт веером, три с половиной корпуса редели на семидесяти верстах, и в эту растяжку тыкал и тыкал Самсонову Жилинский, и тем обиднее, что правильно: растянуто.

Самсонову всего спокойней было выполнять приказ, как он получен. Но — приказ вовсе бессмысленный? Но — приказ, заведомо в ущерб Отечеству?

Ему не давали общую армейскую задачу, а форма пусть будет твоя, — нет, и саму форму регламентировали до последнего штриха и цукали за малое отклонение. Командующему армией не оставалось никакой свободы, он был как лошадь стреножен.

Чтобы хоть как-то разорвать телеграфное непонимание, Самсонов в последней надежде вчера послал к Жилинскому своего генерал-квартирмейстера Филимонова — объяснить устно, просить разрешения наступать хотя бы без загиба, прямо на север, на Балтийское море. И настойчиво просить хоть полные права на левофланговый 1-й корпус резерва Верховного, который не разрешалось выдвигать. (И по которому приказы Самсонов узнавал с опозданием.)

Но пока генерал-квартирмейстер ездил, телеграфные аппараты стучали и настучали ещё две директивы от Жилинского — вчерашнюю и сегодняшнюю. Во вчерашней было всё то же: не трогать 1-го корпуса, а остальными тремя с половиною, обеспечивая фланги (поди попробуй, сукин сын), энергично наступать, да так энергично, чтоб не позже 12-го августа занять справа... — это просто уже с Ренненкампом плечами стукнуться, если тот правда немцев гонит, просто уже у Ренненкампа город отобрать. Бзык штабной, выталкивание немцев, а не охват. И цукал Жилинский, что медленно Самсонов идёт, недостаточно быстры его приказы, нерешительны действия, что перед ним — лишь незначительные заслоны противника, а убегающие главные силы он не успеваает перехватить.

Вот это одно и было верно: что немца перед Самсоновым нет (до вчерашнего дня — не было). Но где он? — то главный был вопрос. Не пощупав, не посмотрев, не послав кавалерии, не взяв ни одного пленного, как догадаться: где немец? Штаб армии хоть честно этого не знал, штаб фронта уверял, что знает.

И личным докладом ничего Филимонов не объяснил, потому что за час до его возвращения пришла директива штаба фронта сегодняшняя, от 11 августа: „Раньше обращал ваше внимание и ныне крайне не одобряю растягивание фронта и разброску корпусов вопреки данной вам директиве.”

Эти директивы телеграфные составлял, конечно, Орановский — волоокский вилоусый красавец, надутый, чистенький. Он составлял, а Жилинский подписывал, они дружно вот так служили.

„Крайне не одобряю”! Крайне не одобряли стараний Самсонова хоть левым боком зацепить немцев и задер-

жать. Они настаивали, чтобы Самсонов выпустил немцев всех целыми...

Теперь генерал-майор Филимонов воротился на автомобиле командующего и не отлагая минуты, не помывшись (лишь проверив, что точно к ужину будет кулебяка), обойдя начальника штаба (которого не считал за подлинного военного), постучал в комнату Самсонова. Войдя по разрешительному оклику и увидя командующего на диване без сапог, Филимонов всё же подтянулся и отмахнул честь, но коротко, не по полной форме, как в своём кругу. Вместо доклада сказал только:

— Воротился, Александр Васильич.

Сказал хмуро, устало. Постоял, подождал. Сел.

Он страдал от своего маленького роста, мешавшего возможной карьере. Как только мог, он всегда садился и брался рукою за аксельбант. Он всегда старался держаться позначительней, но много проигрывал, что стрижен был под машинку, как простой солдат.

А командующий прилёт потому, что сморился. Он прилёт потому, что сколько ни стоял в своих тяжёлых сапогах, сколько ни топтался — его войскам не было от того ни легче, ни быстрее. Вот он лежал на спине, без кителя, с руками за головой, ноги подняв на валик. Его крупное большелобое лицо, привыкшее к генеральской представительности, на треть закрытое невысевшей бородой и усами, вообще никогда не искажалось, никогда не выражало раздражения, неудовольствия. Сейчас большими спокойными глазами он повёл в сторону вошедшего, но не поднялся. Будто не очень и ждал, с чем Филимонов вернётся.

А он очень ждал! Но даже в голосе Филимонова, не богатом тонами, эти три слова „воротился, Александр Васильич”, произнесенные с опуском, выразили ему всё.

И с пригуживанием в голове, никому кроме него не слышимым, командующий по-прежнему глядел в высокий лепной потолок. Таким же кругло-спокойным, гладким, без борозды оставался его накатный лоб, и в своём постоянном широком раскрыве не щурились, не косили глаза, по щекам не пробегали змейки, спокойные толстые губы прикрывались спокойной зарослью, — но внутренне наступила шаткая безопорность, о которой признаться никому

было недопустимо, и она страшила командующего. Ни одна мысль его не успела вполне додуматься, как должны в здоровой голове вызреть уверенные мысли, ни одно решение, уже утекшее на телеграфную ленту, — прежде сформироваться вполне. И первый раз за тридцативосьмилетнюю службу, ещё от своего гусарского полуэскадрона в турецкой кампании, Самсонов чувствовал, что он — не действитель, а лишь представитель событий, они же утекают по себе сами.

Как раз Филимонов всё это в командующем видел. Вот если б *он* был командующим, он разговаривал бы с Жилинским не так. И корпусных командиров затянул бы не так. Да не было власти ему дано. В шее жёстко охваченный стоячим воротником, прибарабанивая пальцами по аксельбанту, поглядывал он на распластанного командующего.

Но Филимонов не знал, что тут случилось, пока он ездил. Убегающий противник наконец-то был настигнут или, во всяком случае, столкнулись с ним! Столкнулись ещё вчера, весть пришла сегодня, а особое удовлетворение было в том, что столкнулись именно *левым* боком *левого* из центральных корпусов — 15-го, и вели бой, повернувшись *налево*! И бой удачный! и толкнули немца дальше!

Всего часы назад победа окончательно выяснилась по донесению генерала Мартоса, аллюр три креста, в автомобиле молодой офицер с повязанной головой, — и так первый раз подтвердилась правота Самсонова, что и в безмолвной пустоте он правильно рассудил немца. Час назад, в ответ на оскорбительную директиву Жилинского, Самсонов послал ему на посрамленье своё донесение о победе. В донесение он слово в слово включил и доклад Мартоса о славном эпизоде в Черниговском полку: увидя отходящие части, полковой командир Алексеев с развёрнутым знаменем повёл в штыки знаменную полуроту. Был вскоре убит. Вокруг знамени возник рукопашный бой, но рука немца не коснулась знамени. Знаменщик был трижды ранен, знамя попало к поручику, которого тоже убили. Ночью черниговцы пробрались на нейтральную полосу, вынесли полотнище, георгиевский крест и раненого знаменщика. Теперь знамя прибито к казачьей пике.

Вот это донесение отослав, Самсонов и снял сапоги,

и лёг на диван. Ещё ничто по-настоящему не облегчилось — но проявился-таки немец, и слева! — и посрамлён был штаб фронта!

Вот почему спокойным лбом, спокойными глазами к потолку, Самсонов лежал и не хотел подробностей из штаба фронта, а неторопливо рассказывал своё..

Однако должен был знать он и всё привезенное! И без сожаления к командующему, не смягчая выражений, Филимонов сыпанул как из совка горячим угольем: Жилинский сказал и велел передать дословно: „Никакого отдыха вам не будет! Ваша армия и так продвигается медленней, чем я ожидал. А видеть противника там, где его нет, — т р у с о с т ь, а трусить я не позволю генералу Самсонову!”

И покойное крупнолобое лицо Самсонова залилось от усов до седеющих висков, до тёмного короткого зачёса — пунцовостью. И — он спустил ноги на пол. И посмотрел на своего генерал-квартирмейстера, как раненый. Тот бранился, зло вспоминая *Живого Трупа*, как прозвали офицеры Жилинского, а Самсонов — не выругался, ему дышать не хватало, при волнении у него выступала астма.

Тем он был ранен, что в хорошие времена за такое вызывали на дуэль — но увы, это отошло, а сейчас ни обжаловать по субординации, ни оправдаться. Кавалерист от младых ногтей, из-под турецкой сабли, из-под японских пуль, — он только новой двойной смелостью на полях боёв мог ответить злому обидчику. Позорно было гнуться перед ним — и нельзя было не гнуться.

Раненый багряный Самсонов слышно дышал, так и не вставляя ног в чуваки.

Тут и вошёл начальник штаба Постовский. На вид крупный (но не крупней Самсонова), это был блеклый, нерешительный, но старательный генерал-майор, не бывавший сроду ни на одной войне. Многие годы прослуживши в штабах, в штабах, в штабах, и всё больше — для особых поручений, и восемь лет уже в генеральском чине, Постовский выше всего ценил неуклонность устава и своевременный приход и уход директив, распоряжений и донесений. Только две настоящих беды знал он по военной службе: недоставку назначенной бумаги и неверную конфронтацию влиятельному лицу.

Сейчас он, сутулясь, подошёл близко, и глядя не так на потный лоб командующего, как на его разутые ноги, доложил почтительно:

— Александр Васильич! Прибыл полковник из Ставки, с бумагой от великого князя.

Самсонов очнулся, вник. Вот как! новая беда! — уже и в уши великому князю успели надуть? Пока тут с Жилинским — а уже и от самого великого князя?

— Что в бумаге?

— Бумага у него, я не читал. Я не знал, по какому разряду его встречать.

— Взяли бы да прочли.

Командующий мрачно посмотрел на Филимонова.

Да, видел Филимонов, что кулебяка откладывается надолго, упустил он перехватить прежде захода к командующему.

Кликнуто было за сапогами и кителем.

11

Самсонов не ждал добра и толка от этого полковника из Ставки: ещё один какой-нибудь штабной *момент*, посланный внушать ему, куда правильно наступать. Самсонов заранее знал, что приезжий ему не понравится, потому что хороший офицер служит в части, а не снуёт из штаба в штаб.

Но когда в кабинет командующего, куда они все перешли, прибывший вступил, испрося разрешения не подбостранно и не нагло, перешёл несколько шагов по пустой середине комнаты, выдерживая уставные движения, но без внимания и любования, — определил Самсонов против намерения, что в этом офицере, лет под сорок, ничего неприятного нет. И из-за большого стола, куда сел для солидности, командующий приподнялся.

— Генерального штаба полковник Воротынцев! Из штаба Верховного. Письмо для вашего высокопревосходительства.

Не рисуясь и не затруднённо, Воротынцев вытянул бумагу из планшетки и протянул желающему взять.

Постовский опасливо взял.

— О чём грамота? — спросил Самсонов.

Всё менее напряжённо держась, всё проще глядя в глаза командующему своими тоже крупными, тоже ясными глазами, Воротынцев сказал:

— Великий князь обеспокоен скудостью сведений, которые он имеет о движении вашей армии.

И с этим Верховный главнокомандующий прислал офицера в штаб армии, обойдя штаб фронта? Новичку это могло показаться лестно. Самсонов же ответил тяжёлыми губами:

— Я думал, что достоин большего доверия великого князя.

— Уверяю вас! — ускорил приезжий полковник. — Доверие великого князя нисколько не поколеблено. Но Ставка не может так мало, так мало знать о ходе военных действий. Одновременно со мной и к генералу Ренненкампу тоже послан, полковник Коцебу. Штаб Первой армии даже о гумбиненском сражении доложил лишь... когда весь бой был далеко позади.

Чего-то не договорил. Но так ясно, так неподозрительно приехавший смотрел, будто и здесь всё, чего он ожидал, была укрываемая, почти одержанная победа.

Победа и была, Самсонов как раз мог её выставить. Но это нескромно, да и не за победою приехал посланец Верховного. Он приехал с налёту поправлять, учить, попрекать. Невозможно было в пятнадцать минут передать ему всю сложность, сгустившуюся вокруг каждого корпуса, вокруг всей армии и в голове командующего. Бесполезно было и разговор начинать. Полезнее было идти ужинать, как и предложил Филимонов, ревниво к полковнику.

Всё же спросил Самсонов утомлённо, вежливо:

— А что именно вас интересует?

Но быстрый, ёмкий взгляд был у приезжего. Он успел уже и комнату оглядеть, где так всё хорошо обставлено и обряжено, будто штабу Второй армии стоять в этом доме всю войну; и двух генералов, кто должны были олицетворять собранный разум армии, — начальника штаба и генерал-квартирмейстера (зависелась чердач-

ная традиция называть мозговую часть квартирмейстерской — уж до чего, значит, в забросе); и снова — на Самсонова, сколько нельзя не смотреть на собеседника; и уже покашивался на глухую стену, всю завешанную склеенными трёхвёрстками Восточной Пруссии, к ней его тянуло. По карте туда и сюда переходили глаза приезжего полковника, да не с любознательностью постороннего, а с тяжёлой заботой самого Самсонова.

И вдруг через всю тоску тревожного упуска чего-то самого главного — просветило командующему, что это послал ему Бог того самого человека поговорить, которого в штабе не было.

И Самсонов сделал шаг в сторону карты.

И Воротынцев сделал два лёгких.

Офицерский Георгий и значок академии генштаба отмечали его грудь, другого не носил по-походному. Воротынцев, Воротынцев?.. хотел вспомнить эту фамилию Самсонов, генштабистов не так уж много в России, но младшие выпуски он плохо знал.

Затучнелый, с чуть выдающимся животом, Самсонов подошёл к карте ближе. На пустом пространстве комнаты можно было оценить, что его фигура не потеряется и перед дивизией. Была в ней покойная отлитость. И голос приятный и сильный.

Воротынцев, приплотнённый, но стянутый весь и лёгкий, шагнул туда же.

И вот они стояли перед самой картой, далеко впереди Постовского и Филимонова, спинами к ним. На уровне их животов воткнул был в Остроленку крупный, праздничный, ни разу не загнутый, не смятый флажок штаба Второй. Выше плеч, на уровне глаз — пять корпусных трёхцветных флажков: четыре своих и один, левый, резерва Верховного. А ещё выше — руки надо было поднимать, чтобы переставлять булавки, вился по булавкам красный шёлковый шнурок, который будто бы показывал положение фронта сегодня.

Выше же его чёрных флажков германских — не было. Безмолвие было там. Среди зелёных площадей леса глубоко синели многие озёра, на такой карте ощутимо водополные. А противника — не было.

Ладонью вытянутой руки Самсонов опёрся вперёд о

стену. Он любил крупные карты. Он говорил, что на картах, где труднее рисовать стрелки, чаще вспоминаешь, как трудно солдату эти стрелки проходить.

Он спешил ко главному: сразу проверить, противодействие или сочувствие по своему раздору с Жилинским встретит в приехавшем. Только в поглощающем этом разногласии можно было узнать, говорит ли командующий с другом, как предвещали глаза.

И он стал с надеждой толковать полковнику, ещё, ещё проверяя его глазами, почему надо наступать на северо-запад, и как Жилинский сбивает его на северо-восток, оттого получается в среднем — север и веер. Он подробно это объяснял, как бы донося самому великому князю, — да завтра-послезавтра Воротынцев и доложит.

Самсонов говорил медленно и переходил к следующей мысли не раньше, чем обстоятельно излагал предыдущую. И, как все генералы, не любил, чтоб его прерывали.

Воротынцев и не прерывал. Не мелькало возражения на его вертикальном, чистом лице, подведенном темнурой укороченной бородкой. Только быстрые светлые глаза не достаточно смотрели на Самсонова и не в согласии с его пальцем — на карту.

Сзади ближе подошёл и почтительно стоял Постовский, не вмешиваясь. Филимонов в отдалении неодобрительно скрипел креслом.

Сказал Самсонов, что по разведывательной сводке Северо-Западного фронта противник, по словам жителей, перед Первой армией бежит...

Полковник как бы чуть дрогнул головой. Как бы смущённое, виноватое появилось на его лице. И — не прямо Самсонову, а всё щурясь туда, в немое пространство карты, он тихо сказал, как надохнул:

— Ваше высокопревосходительство... Не будем слишком в этом уверены. А что говорит ваша армейская разведка?

Так и кольнуло Самсонова в сердце. Ох и ждал же он тут недоброго, так и есть!

— Так у нас — что ж?.. — с неохотой ответил он, как пожаловался. — У нас 13-й корпус Клюева даже не имеет казачьего полка до сих пор. А кавалерийские дивизии —

по своим заданиям, на флангах. Так что разведку и вести нечем.

И, чтобы вернее перехватить противника, нельзя наступать центральными 13-м и 15-м корпусами правее, чем на север, чем вот на Алленштейн. И до Балтийского моря здесь уже не так далеко, уже пройдено больше.

И так же тихо, будто от Постовского втайне, Воротынцев спросил:

— А — сколько пройдено? От мест развёртывания?

— Да... кто сто пятьдесят, кто сто восемьдесят...

— И ещё — качания?

— Качания, потому что меня штаб фронта задёргал.

— А вот тут, до немецкой границы, — Воротынцев водил внизу по карте, — всё тоже — пешком?..

Дерзкое это допрашивание полного генерала не смел бы он производить, но его глаза остановились на Самсонове не с дерзостью, а признанием совиновника. И Самсонову только согласиться осталось:

— Пешком. Да тут и железных дорог нет...

— Десять дней, — считал Воротынцев. — А — днёвок?

Лёгкими вопросами так и взрезал. Ну, тем лучше, что всё понимает.

— Ни одной! Жилинский не даёт. Вот прошу. О главном прошу!.. Пётр Иваныч, принесите наши донесения!

Постовский, приклоня голову, засеменял, ушёл. И будто спохватясь, что не найдёт без него Постовский бумага, вскочил и твёрдыми недовольными шагами ушёл Филимонов.

— Остановиться передохнуть мне больше всего сейчас надо! — объяснял командующий. (Это счастье, что в Ставке понимают, ведь обычно только погоняют.) — Но с другой стороны... и противника упускать нельзя, правда. Фронт погоняет нас, чтобы немцы не ушли за Вислу. Остановимся — выпустим. Наши орлы...

„За Вислу” — не проняло Воротынцева. Не принял, не отозвался.

План-то кампании известен полковнику?

Известен, известен... (Кивнул Воротынцев, но не очень радостно.) Охватить немцев с обоих флангов, не дать отступить ни к Висле, ни к Кёнигсбергу. План был известен

обоим, но нынче все вопросы стояли как новые, не проверенные.

— У меня, — усмехнулся Самсонов, — было и свой план появился, да поздно.

— А — какой? — насторожился полковник.

Нравился, понравился он генералу, а в таких случаях Самсонов сразу бывал откровенен.

— Да вот, если угодно. — Не хватало карты. Перешёл генерал налево, обе ручки положил на низ стены и поволок их по крашеной плоскости вверх: — Пустить бы наши обе армии рядом, по двум берегам Вислы. Тогда мы локоть к локтю. А у немца вся густота прусских дорог пропадёт. И вообще ему живо из Пруссии убираться.

Взгляд полковника повеселел, с живостью смотрел он на генерала. Так казалось, что оценил самсоновский план.

— Хорошо! Смело! — Но напрягся, соображая: — А никогда б не разрешили: Вильна и Рига без защиты.

— Не разрешили бы, — вздохнул Самсонов.

— И ещё, — теперь уж полковник не мог отстать, — самим загнаться вглубь польского мешка? а там и прихлопнут? И тыл открыт? Это — оч-чень решительно надо действовать!

— Я и не подавал, — махнул Самсонов. — Я только о *направлении* подал. На имя Верховного, 29 июля. Но — не ответили. Почему, вы не могли бы выяснить?

— Узнаю! Непременно.

Разговаривалось всё легче. Да! ведь ещё не знал приездкий главного: противник всё-таки обнаружен! Вчера. И — где? С л е в а ! Вот — Орлау, вот здесь! и — силою около двух дивизий. Наш Мартос (Самсонов поправил на карте флажок 15-го корпуса, и без того сидящий плотно) не растерялся, из походного положения развернулся — и дал бой. Горячий бой, у немцев были заранее укрепленные позиции, всё поле сражения в трупах, наших — тысячи две с половиной. Но — победа! Нами взяты тяжёлые пушки и гаубицы. И сегодня утром немцы ушли.

— Так поздравляю! — не вполне обрадовался полковник. — Это — то, что нужно! И нашли противника! А — какой корпус?

— Шольца.

— Шольца? — И тут же в щёлочку: — Преследовали?

— Да где, — вздохнул Самсонов. — Сами еле бредут.

Вот тут уместно пришлось и рассказать историю с полковым черниговским знаменем, георгиевским за 1812 год и за Севастополь. Полковой командир Алексеев с развёрнутым знаменем... Вокруг древка — смертельный бой... Георгиевский знак выламывали затвором, лёжа... Теперь прибито к казачьей пике.

Самсонов живо видел эту сцену и, пересказывая, волновался: он ощущал честность и простоту этого боевого случая. А Воротынцев не удивился, даже несколько раз кивнул, как будто знал, давно знал этот случай, а теперь только сочувствует. И:

— Та-ак, — опять рассматривал карту. — Значит, слева. Значит, нашли противника, никуда он не бежит?

— Я ж и говорю, — гудел Самсонов, — если противник обнаружен слева, если он уходит налево, и это ясно ребёнку, — зачем велят справа корпусом Благовещенского охранять до озёр, завтра братъ Бишофсбург? Эвон где! Чтобы только Жилинского успокоить — откололи корпус и гоним направо, гоним отдельно... Что это будет?.. Там — на обеспечение, здесь — на обеспечение, а наступать?

— Нашли налево — и наступайте налево! — решительно советовал Воротынцев. — Но если и две дивизии только заслон, — прощупать бы его?

— Да чем наступать? Два с половиной корпуса?

— С половиной?

— Ну, потому что: Клюев да Мартос, а 23-й раздёргали, где-то и Кондратович ездит, свои части собирает.

Воротынцев тем временем присел на пружинных ногах, растворил два пальца жёстким циркулем по масштабу карты, снова поднялся и раствором стал откладывать от живота к глазам, от Остроленки к корпусам. Он как бы для себя это, между делом, не показательно, не в науку откладывал, — но Самсонов запнулся, смолк, и глазами считал за полковником.

И покраснел.

Шесть полных раз отложился раствор от Остроленки до 13-го корпуса.

Нет, не урок! Воротынцев не с торжеством, не с превосходством, а с горечью вскинул на командующего гла-

за — он не упрекал! он хотел понять: почему? Почему не вдогонку за корпусами?

— Тут... с Белостоком связь хорошая, — сказал Самсонов. — ... Ведь спор всё время идёт. Надо разобраться... — сказал Самсонов. — ... Отсюда интендантства, обозы легче подогнать..., — сказал Самсонов.

Но краска сильнее заливала его щёки и лоб, он чувствовал. То, что не по праву, а по-подлому бросил ему Жилинский — „труса“, то имел истое право подумать сейчас полковник от Верховного.

Как это случилось? — командующий даже не понимал. Как эту простую мерку, эти шесть дневных переходов он не отложил раньше, своими пальцами сам? Ведь это сразу видно!.. Как Бог свят, он не виноват! Он насколько не трусил идти с корпусами. Но его затуркали, закружили, события напирали быстрее, чем переваривал котёл головы, весь этот вздор держал его дневными и ночными когтями...

А корпуса шли, шли.

И ушли.

Не признавая ответа, взгляд Воротынцева всё так же горел на командующем.

Нижняя часть лица Самсонова, разглядел теперь Воротынцев, была усами и бородой — государева, под Государя, и так же почти скрыты как будто спокойные, но далеко не уверенные губы. А выше всё шло крупнее — и нос, и глаза, и лоб особенно. И проседь. И как будто в вечном покое застыло всё это. Но тлелся под неподвижностью беспокой.

И прорвалось, вспомнил командующий:

— Да! сам на себя наговариваю... Приказ фронта: место штаба армии менять пореже и только по разрешению! Вот и потолкуйте с ними.

— Как же вы сноситесь с корпусами?

Полковник всё вложил, чтоб этот вопрос был не инспекторский, а дружеский. Но Самсонов насупился.

— Да плохо. Конные связные, трёхкрестовый аллюр, еле-еле за сутки доходят. Песок глубокий, автомобиль вязнет.

Этот полковник, конечно, считает себя умнее всех и здесь и в Ставке. Он наверняка думает: эх, пустили б его

командовать! Он никогда не поверит и не представит: могут так закрутить, что этих шести переходов просто не успеешь заметить.

— А лётчики?

— Да все неисправны, чинятся. А то без бензина. А немецкие всё время летают.

— А телеграф?

— Только частью, — чмокнул Самсонов сожалительно. — Рвутся провода. И не хватает. Честно говоря: Найденбург взяли 9-го, я узнал 10-го. Под Орлау начали бой вчера, я узнал сегодня. Тут о своих не знаешь, не то что о немцах.

Постовский один, без Филимонова, внёс донесения в двух папках.

Каждый день приходили вчерашние письменные донесения о том, что делали корпуса в основном позавчера, и каждый день писались к вечеру приказы на завтра, которые корпусам никак нельзя было выполнить раньше, чем послезавтра.

— Вот! — схватился Самсонов и искал в бумагах сам. — Вы говорите — днёвок...

— А искровки? — добивался всё-таки Воротынцев.

— Искровые телеграммы мы наладили, да, — с удовольствием заявил Постовский. — Правда, только со вчерашнего дня, но уже передаём.

Хоть это.

— Например, от 13-го корпуса пришла искровая телеграмма, — старался подслужиться Постовский. — Авангард продвинулся уже за озеро Омулёв, а противника всё нет.

А у них шнурок фронта проходил южнее Омулёва. Не доглядели.

— Вот! — нашёл Самсонов. — Я именно хотел третьего дня все корпуса остановить и подтянуться. И вот что мне Жилинский, телеграмма: „Верховный главнокомандующий — понимаете, не он, а Верховный — требует, чтобы наступление корпусов Второй армии велось энергичным и безостановочным образом. Этого требует не только обстановка на Северо-Западном фронте, но и общее положение...”

Палец держа, где остановился, сам смотрел на Воротынцева.

Ну, как тебе, голубчик, командуется? Что бы ты предложил умней? Осёкся?

Да, осёкся. Пожевал губами Воротынцев. Перевёл глаза на сапоги. Потом опять на карту вверх. Есть такие обороты и слова, которые, где б тебя ни застигли, надо покорно переносить, как ливень. Общее положение. Это не твоё разумение, не моё, не полководца, не Жилинского, даже не Верховного. Это удел суждений Государя. Это — спасти Францию. А нам — выполнять.

— „... Вашу диспозицию на 9-е августа, — дочитывал Самсонов, — признаю крайне нерешительной и требую...”

Туда, наверх, на север, в немое пространство совсем не маленькой Пруссии задрал Воротынцев голову и молчал.

И Самсонов, отдав папки, — туда же, это он не уставал.

А у Постовского были не походные ноги. И он попятился с папками, сел в кресло поодаль.

Ещё они не знали, что Воротынцев их обошёл: в ожидании приёма он не топтался в зале, а сразу проник в оперативный отдел, оттуда вызвал знакомого капитана и пошептался с ним за колонной десять минут: молодые генштабисты последних лет выучки все знакомы друг с другом и действуют как тайный орден. Почти всё, что Воротынцеву отвечали в кабинете командующего, он уже знал от капитана, и тому только был рад и за то уже полюбил Самсонова, что тот не врал, не прикрашивал.

От дружелюбного капитана, и здесь, у карты командующего, Воротынцев напился этой обстановкой, этой операцией — так, будто не приехал только что, а все три недели здесь лишь и вертелся, — нет, будто всю жизнь, всю военную карьеру только и готовился к этой одной операции!

Всё, что хоть раз за этот час было произнесено и названо, — Воротынцев своим воображаемым карандашом уже положил прямоугольниками, треугольниками, дужками и стрелками на эту почти пустую карту и легко охватывал нанесенное. Уже ничьи вины, ни заслуги этих генералов не имели для него значения, и отступало даже

важное — всеобщая измождённость, сухомытка, жара, безднёвщина, бесконница, дурная связь, отсталость штаба — перед сверхважным: увидеть невидимых немцев, разгадать их план, своим ребром почувствовать укол их штыка задолго прежде, чем он высунется, их первый пушечный выстрел услышать ранее, чем похлупает в высоком воздухе снаряд. Как красотка чутким телом даже со спины, не оглядываясь, ощущает мужские взгляды — так телом чувствовал Воротынцев эти жадные волны врага, текущие на Вторую армию с немой части карты. Он был уже весь — во плоти Второй армии, его покинутый стул в Ставке — ничто, бумажка, подписанная великим князем, — ноль, она не давала ему права переставить здесь ни одного солдата, а трепет его был — угадать, а рок его был — принять решение, а такт его был — представить командующему, что это — его, Самсонова, решение.

Надо всей Восточной Пруссией подвешены были роковые часы, и их десятивёрстный маятник то в русскую, то в немецкую сторону слышно тукал, тукал, тукал.

И вдруг подняв руку, как древне-римское приветствие, только левую, в откос перед собою, слева к карте, Воротынцев лопастью изогнул кисть, вниз медленно повёл её по нижней внешней дуге с выворотом и остро подал ладонью с запада — к Сольдау и Найденбургу. И держа так ладонь при карте, кинжалом на Сольдау, повернул голову к командующему:

— Ваше высокопревосходительство! А вот так вы не ожидаете?

Это не была чистая догадка его, в Ставке он узнал агентурные сведения о немецких военных играх прошлого года (успел ли узнать их Самсонов?): избрали немцы как наилучший план: отрезать наревскую русскую армию с Запада. Вряд ли их план изменился, а сейчас многое в неясной обстановке помогало туда ж.

Большеголовый, большелобый генерал внимательно следил, видел весь объёмный жест, видел широкий кинжал ладони. Его глаза моргнули:

— Так ведь если был бы хоть мой 1-й корпус! Артамоновский корпус в Сольдау — если стал бы мой из резерва Верховного! Не дают!

— Как не дают? Он теперь... ваш.

— Да не дают! Прошу — отказывают! Не разрешено его выдвигать дальше Сольдау.

— Да нет! — освобождённой рукою-кинжалом уже у своей груди был Воротынцев. — Уверю вас! Я сам присутствовал, когда великий князь подписал распоряжение: вам „разрешается привлечь 1-й корпус к участию в боях на фронте Второй армии”.

— Привлечь... ?

— ... к участию в боях.

— А дальше Сольдау выдвигать?

— Ну, если „на фронте Второй армии” — так вы его можете хоть и направо перекинуть? Я так понимаю.

— А не отберут? Как остальные? Как гвардейский? — сперва „не выдвигать дальше Варшавы”, потом забрали?

— Да наоборот же: привлечь к боям!

Самсонов раздался, раскрылся, кажется вырос плечами, колыхнулся:

— И — когда это подписано?

— Когда?.. Позвольте... По-за-по-за-вчера. Восьмого вечером.

— Так уже трое суток?! — заревел Самсонов. — Пётр Иванов!

Постовский встал.

— Вы слышите? Есть такое распоряжение о 1-м корпусе?

— Никак нет, Александр Васильич. Отказано.

— Так Северо-Западный от меня скрывает? — загромыхал Самсонов. И переступая уже рамки службы: — Да шут его раздери! Зачем вообще нам навязали этот Северо-Западный? Над двумя армиями?

Воротынцев незатруднённо поднял брови:

— А над двумя дивизиями — зачем корпус? А в дивизии — зачем две бригады? В дивизии — не слишком много генералов?

Верно, далеко это шло. Густовато начальников и штабов.

Да, сам Бог послал этого полковника. Не только всё понимает, не только расположенный и быстрый, — но вынул из кармана и подарил армейский корпус!

Самсонов шагнул к нему крупно:

— Ну, голубчик!.. — Положил ему обе руки медвежьих на плечи: — Разрешите, я вас...

И поцеловал волосато.

Стояли так, Самсонов выше, ещё не отняв рук.

— Только я должен проверить...

— Да проверяйте! Ссылайтесь на меня. На распоряжение от 8 августа. — Мягенько-мягенько Воротынцев вернулся из-под медвежьих рук, и снова к карте.

— Всё-таки как понять: „привлекать к боям“? — жался Постовский. — Это надо запросить.

— Да не надо запрашивать! Понимайте, как вам выгодно: давайте полный приказ, вот и всё! Ну, не пишите *выдвинуться* севернее Сольдау, пишите *находиться* севернее Сольдау, так и обойдём.

— Но почему он может держать трое суток, злыдень? — гневался командующий.

— Ну, почему? — лишняя отдельная часть, без неё падает значение фронтового командования. — Полковник это говорил по поверхности, а думал уже вперёд, и вот что: — Вот что. Ничего не выясняйте — а пишите приказ Артамонову, я ему сам отвезу.

Ещё изумил!

— Как отвезёте? Вы разве — не в Ставку?

— Со мной — поручик, я с донесением в Ставку пошлю его. А сам...

Предусмотрел Воротынцев и этот случай. Да никто, начиная с Верховного, не понимал, что всю посылку двух полковников изобрёл именно Воротынцев и втолковал другим. Потому что жутко было томиться высшим писарем высшего штаба, ничего не имея, кроме шелеста карт и донесений, опаздавших на сорок восемь часов, да в окошко смотреть, как кавалергард Менгден, ещё самый деятельный из шести бездельников адъютантов Верховного, свистит, не осаждаёт голубей у своей голубятни, поставленной под окнами великокняжеского поезда; остальные адъютанты не делают и того. Задохнуться можно было писарем в Ставке, когда в Пруссии начался самый опасный и самый крылатый манёвр: при всех свободных флангах сходящихся армий. Когда на северном фланге Ренненкампа уже допущены помрачительные и может быть неисправимые ошибки, и лучше б не было той гумбиненской

победы (но не смел Воротынцев передавать Самсонову плохое о Первой армии, чтоб не подорвать командующего дух). Да пока и слишком мало узнал Воротынцев в штабе Второй, чтобы с этим возвращаться к Верховному. Остриё тревоги кололо с самого западного фланга — туда и надо было ехать.

— ... Рассматривайте меня, ваше высокопревосходительство, как лишнего штабного работника, оперативно приданного вам.

Самсонов смотрел на него с самым тёплым одобрением.

И Воротынцев, как будто почтительно:

— Почему мне нужно ехать именно к 1-му корпусу — потому что именно там может что-то начать выясняться.

Там! Верно, там! — подтверждал и Самсонов:

— И правда, голубчик, поезжайте. Помогите мне 1-й корпус забрать.

— Из вашего штаба для связи никого нет в 1-м?

— Полковник Крымов, мой генерал для поручений.

— Ах, там Крымов?!.. — охладился Воротынцев. — Он, кажется, и в Туркестане был у вас?..

— Всего полгода. Но я его полюбил — и советчик, и солдат.

(Один Крымов и был ему в штабе свой, присердечный.)

Колебался Воротынцев.

— Ну, хорошо. Пишите туда приказ! Только что ж писать, когда... Аэроплана не можете дать?

— Чинятся, — извинился Постовский.

— Из двух автомобилей как раз один у Крымова, — развёл руками Самсонов.

— А как ворона летает, как ворона летает... — мерил Воротынцев, — тут девяносто вёрст. Без дорог. По дорогам — сто двадцать.

— И очень запущенная местность, — рад был предостеречь генерал Постовский. — Её так и держали, заслоном от немцев. Топкий песок, заболоченные речки, плохие мосты, мало питьевой воды.

И там-то прошагали их корпуса!..

— Вам лучше поездом через Варшаву, — благоразумно советовал начальник штаба. — На Млаву там сообще-

ние одноколейное, но к утру в среду будете, и отдохнувшим.

— Нет, — оценивал Воротынцев, — нет. Дайте мне хорошего коня, двух коней с солдатом, — и я поеду гоним, сам.

— Но какой же смысл? — удивлялся Постовский. — То ж на то и будет, только без сна.

— Нет, — уверенно качал головой Воротынцев. — Из поезда я выйду со вздором, а так всё сам посмотрю.

Стали собираться. Писали Артамонову распоряжение. (Что писать — нельзя было даже придумать: как можно было *привлечь к боям*, но не командовать полностью?) Писал и сам Воротынцев в Ставку, и объяснял своему поручику. К склеенной карте Воротынцева подклеивали ещё два листа. Это было уже при Филимонове, в оперативном отделе. Воротынцев попросил дать ему шифр искровых телеграмм для 1-го корпуса. Филимонов насупился: какой шифр? мы не шифруем. Воротынцев пошёл к Постовскому. Начальник штаба уже уставал от него, да ведь так и ужинать не даст:

— Ну, не шифруем, что за беда? Да ведь в этом коде чёрт ногу сломит, батенька. Что у нас искровые — гимназии кончали? Они ещё не тренированные, перепутают, переврут, больше будет неразберихи.

— Нет! — не понимал Воротынцев. — И расположение соседних корпусов и задачи — всё посылаете открытым текстом?

— Да не знают же немцы точного времени наших передач! — сердился Постовский. (Уж в эти штабные подробности мог бы приезжий носа не совать!) — Что ж они, круглые сутки ловят, что ли? Да может в их сторону искра и не идёт, не пойдёт... Смелому Бог помогает.

И видя изумлённое охолодение Воротынцева:

— Да мы искровки редко. Мы телеграфом больше. Но когда телеграф перерван — что ж, лучше совсем не передавать?

Собрались ужинать. Самсонов вздыхал, что плохо, конечно, надо код разработать и ввести, прямая задача начальника службы связи, просто ещё не успели. Да ведь искровые телеграммы только вчера и передавать начали, не такая беда.

Посматривал Воротынцев на приветливого взрачного командующего, на энергично-враждебного Филимонова, на затёртого, невыразительного Постовского, всех троих, сроднённых однако большим аппетитом. Понимал ли командующий, как его обманули таким штабом? Настоящий штаб обязан из пучины предположений выведать и поднять гряды, по которой шагает решение. Все сомнительные донесения он шлёт офицеров проверить на месте. Он выпукло отбирает сведения, он заботится, чтобы важные не утонули в малозначущих. Штаб не заменяет волю командующего, но помогает ей проявиться. А этот штаб — мешал.

Предлагали Воротынцеву выбрать себе лучшего солдата, но он брал только сопровождающего с возвратом (про себя понимая, что *лучшего* солдата не в штабе армии надо искать, скорей возьмёт он в полку). Он не мог войти в их обстоятельный обрядный ужин с устойчивой сервировкой. Он ел наскоро, ни рюмки не выпил, лишь крепкого чая. Он просидел, сколько было прилично, не чувствуя той кулебяки, отсутствуя.

— Да уж вы бы, голубчик, оставались до утра! — радушно настаивал Самсонов. — Что уж вы, не присевши, не отдохнувши — и дальше? Этак не навоюешь! Оставляйтесь, посидим, потолкуем.

Ему, правда, очень хотелось придержать Воротынцева; обидно казалось, что так торопится. Он встал проводить полковника и обещал завтра же до обеда переезжать в Найденбург.

Не совсем было понятно, как же они уговорились, и как теперь снесутся. Что-то из опасностей и возможностей было недосказано между ними, но по суеверию и не надо было досказывать. Поймётся там само.

Вернулись к ужину, и Постовский с Филимоновым дружно возражали командующему, что и думать нельзя перевозить завтра штаб, это значит всю работу под откос, а т а м голыми руками корпусам не поможешь.

Налётный самоуверенный полковник из Ставки был, промелькнул, уехал, а своим чередом надо сноситься со штабом фронта, запрашивать, получать разъяснения и перетолковывать их корпусам.

Тут притёк от Жилинского новый приказ: во измене-

ние предыдущего разрешается командующему Второй армии принять для корпусов общее направление на север, но для прикрытия правого фланга непременно оставить на прежнем направлении 6-й корпус Благовещенского, а для обеспечения левого фланга не продвигать 1-й. (С 1-м опять непонятно: как же его считать? Но всё же намёк, что принадлежит.)

Ещё сегодня утром Жилинский запрещал растягивать фронт. Теперь он рекомендовал растягивать. При всех случаях он будет прав...

А всё-таки: в *направлении* уступал. И слава Богу. И этого надо держаться.

Пока переработали в распоряжения корпусам — была уже ночь поздняя, телефон-телеграф куда не работал, куда и не было. Чтобы не задержать утренние марши корпусов, в те штабы послали распоряжения — искровыми. Незашифрованными.

Не должны были немцы перехватить — не могли ж они подслушивать всю ночь, не спамши.

12

Дали Воротынцеву хорошего каракового жеребца и, в сопровождение, унтера на кобылке. Выезд из города надо всегда расспросить точно, но унтер знал. Тяготясь по тихой тёплой ночи шинелью и полевой сумкой, Воротынцев приторочил их к седлу и ехал налегке.

Годами нося в груди как мечту недостижимое стратегическое совершенство (не тебе, но кому-то, один раз в столетие, удаётся его осуществить!), — подходишь к каждому генералу, входишь в каждый штаб с дрожью надежды, что это — *он!* что это — *здесь!* И каждый раз — разочарование. И почти всегда с отчаянием видишь, что нет единого ума и воли — сковать и направить к единой победе заблудившиеся тысячи.

Как будто усвоенный-переусвоенный закон, а всякий раз удручался им Воротынцев: чем выше штаб, чем выше по армейской лестнице, тем отстранённой от касания к со-

бытиям, и тем резче, непременно жди там — самолюбив, чиновлюбив, окостенелых, любителей жить как живётся, только бы есть-пить досыта и подыматься в чинах. Не оди-ночки, но целая толпа их, кто понимает армию как удоб-ную, до блеска чищенную и ковром высланную лестни-цу, на ступеньках которой выдают звёзды и звёздочки.

Так — было и в Ставке. И такое же донеслось в по-следние дни из Первой армии, чем не хотел Воротынцев расстроить Самсонова. Армия Ренненкампфа была всего три корпуса, но к ней придано — пять с половиной кавалерийских дивизий, вся гвардейская кавалерия, цвет петербургской аристократии. И командовавший ею Хан Нахичеванский получил приказ: идти по немецким тылам и рвать коммуникации, тем лишая противника передвижений по Пруссии. Но едва он двинулся 6 августа — сбоку показалась всего одна немецкая второстепенная ландверная бригада, 5 батальонов. И вместо того, чтобы мимо неё, заслонясь, спешить по глубоким немецким тылам, — Хан Нахичеванский под Каушеном ввязался в бой, да какой — сбил на 6-вёрстном фронте четыре кавалерийских дивизии, и не охватывал бригады с флангов на конях, но спёшил кавалерию и погнал её в лоб на пушки — и понёс ужасающие потери, одних офицеров больше сорока, — сам же просидел бой в удалённом штабе, а к вечеру и всю конницу отвёл далеко назад. И тем — пригласил немцев двигаться на пехоту Ренненкампфа. И так на следующий день, 7 августа, произошло Гумбиненское сражение. Отдать честь Ренненкампфу — с шестью пехотными дивизиями против восьми немецких он одержал победу! — хотя неполную, должно было дорешиться на следующий день. Но и победа эта не спасала, ибо по стратегическому русскому плану самогó решительного сражения Ренненкампф не должен был по началу давать — но лишь служить для восточно-прусской армии притягивающим магнитом, наступать же, им в спину, должен был Самсонов. А на утро после Гумбинена — немцы исчезли! они скрылись в глуби Пруссии. А Ренненкампф не кинулся преследовать их — отчасти из-за больших потерь в пехоте (но сколько же есть кавалерии!), отчасти — оттого что не стало снарядов и не подвозили их, тут и сказалась неготовность тылов, наша самоубийственная жертвенная спешка для Франции;

отчасти и потому, что не поддавался дёрганью Жилинского, а предпочитал не торопиться. В оправданье он утверждал, что немцы никуда не ушли, а укрепились близко от него. И двое суток после Гумбинена — Ренненкампф не двинулся, разве лишь вчера, — но уезжая сегодня утром из Ставки, Воротынцев ещё не знал, заметно ли тот двинулся.

Эти дни между Ставкой и штабом Первой армии натянулись другие напряжения: после Каушенского боя Ренненкампф в гневе отрешил Хана Нахичеванского от конного корпуса, а тот — любимец великого князя и всего гвардейского Петербурга, — и Николай Николаевич *просил* Ренненкампфа дать Хану реабилитироваться. А из Петербурга уже неслись первые проклятья за гибель стольких гвардейских офицеров — и все на Ренненкампфа. А Ренненкампф вдобавок ещё отрешил от бригады и младшего брата Орановского — и старший Орановский в штабе Северо-Западного негодовал.

И за этими мельтешениями скрылась главная загадка: куда же делись немцы в Пруссии? В ком не течёт суворовская нетерпеливая кровь — того не раздрает до небес эта загадка: к у д а д е л и с ь? что случилось с ними?

В этой обстановке Воротынцев и устроил, чтобы послали Коцебу в Первую армию, а его — во Вторую. Там, в Первой, оставалось много неясного, но главная загадка уже залегала вокруг Второй.

А что в штабе Второй? Никто тут не охватывал мгновенности сегодняшней войны, её отзывчивой обоюдной связи. Вторая армия шла на манёвр, достойный только Суворова, — стремительный марш, отрезать Восточную Пруссию, начать войну ошеломительно для Германии! — и начинала на *кое-какстве*! Разведка!.. — ждут сводки из штаба фронта, а те — „по словам местных жителей”. Да Самсонов и никогда в разведке не был силен, в двадцати верстах не находил конницу японской пехоты, об этом уже и немцы пишут, уже есть и русский перевод в Петербурге. Они знают, кто против них стоит, — и не ждут напора. Куропаткинская школа, „терпение” в ореоле, мы — кутузовцы... Длинноухие!.. Иметь три кавалерийских дивизии — и ни одной из них перед фронтом армии, чтобы найти же исчезнувших немцев! Окружать противника —

да какого! — столько же понимая в окружении, сколь медведь понимает, как гнуть дуги для упряжи. Но такая дуга по лбу хлопает.

И под Орлау — что ж за победа? Нашли противника! удача! Но две с половиной тысячи уложили, узнали, что противник не там, куда идёт Вторая армия, и топают себе по-прежнему не туда!

Это — Жилинский, это он!.. Но не разорваться навсюду. Рапорт — поехал к великому князю. (А великий князь, кажется, пока поехал в Петербург.) Воротынцев — едет вперёд.

Унтер не соврал, вывел точно к каменному мосту через Нарев. (Только мог бы в седле сидеть посвободней. Ста вёрст ему не проехать, придётся вернуть.)

С другой стороны подводил к мосту, видимо, объезд, прозначенный по Остроленке так, чтобы громыхание обозов от железнодорожной станции на Янувское шоссе не беспокоило штаб армии. Именно сейчас на мост вливалась голова длинного обоза. Все телеги пароконные были как одна. Все они были нагружены выше грядок мешками и покрыты парусиною. Обоз, видно, только что вышел с места, повозочные ещё не уселись на телеги, шли рядом (в штабном городе, пожалуй, наскочишь на начальника: зачем лошадей моришь безо времени?), иногда соединялись по двое, кто курил, кто перебранивался беззлобно, и все были настроены заметно весело. Выезд в путь безлунной, но тихой ночью, вызвавший бы неохоту у мирного человека, им был даже по душе. При сытых лошадях, хоть, может, ещё и не съезженных, сытые сами, не предвидя себе опасности в ближайшие дни (ещё двое суток до границы), и такие здоровяки, что хороши были бы и в пехоту, они без нужды широко размахивали руками, а один даже исхитрялся на ходу приплясывать по бульжнику, смеша товарищей.

— Не доплясал, вишь, со своей паненкой...

— Братцы, да ведь жалко-то как, — безо всякой жалобы в голосе оправдывался плясун, — с главной-то ночки и сорвали...

— Ты вот что, Ониська, — густо советовал третий ездовый. — Твоя соловая и одна потянет, так за моими и пойдёт, а гнеденькую ты отпрягай, отпросись у фельд-

фебеля, да ворочайся, доведи дело... А к утру нагонишь... На старость лет кормилец лишний будет...

Гоготали. Но увидя всадника на породистом жеребце, обгоняющего по мосту, смолкали тут же.

Шутки солдат всего медленней меняются в армии — медленней, чем оружие, чем форма и устав. Такие же шутки Воротынцев слышал и в японскую войну, такие, наверно, были и в крымскую, да и в ополчении Пожарского такие же. Они веселили не содержанием, а той освобождённой лихостью, с которой вышумливались.

Омрачённому Воротынцеву развязная уверенная бодрость ездовых пришлась кстати. И, уже мост переехав, он остановился и без надобности окликнул проворного фельдфебеля, бегущего вдоль обоза и кричащего ругань передней телеге. Тот метнул на бегу глазами, в четверть-свете звёзд и речной ленты разглядел от земли на небо, что здесь штаб-офицер, круто повернул свой бег и с такой готовностью отпечатал последние шаги по торной земле и с такой точностью остановился на уставном расстоянии, будто для этого всю дорогу и бежал.

— Чей обоз?

— Тринадцатого армейского корпуса, ваше высокоблагородие!

— От станции — сколько своим ходом?

— Пятые сутки, ваше высокоблагородие!

— Что везёте?

— Сухари, гречку, масло, ваше высокоблагородие!

— А — печёного хлеба?

— Никак нет, ваше высокоблагородие!

Ещё на эти неповоротливые „высокоблагородия” уходило столько солдатского времени, сколько нельзя было в войне XX века! Но не Воротынцеву было их отменять. Он тронул коня, унтер за ним. Фельдфебель развернулся, ещё уставно, а там пустился рысью вперевалку, крепче голоса передней телеге.

Станция Остроленка — отсюда в версте, а они пятые сутки своим ходом! Пять суток позади — да шесть переходов впереди! А и на шесть переходов не езда, корпусному транспорту не дать круговорота. А армейского нет. В штабе на картах стрёлки дивизий черти-не-черти — вот этими колёсами тележными решается сражение неслышно.

Однако весёлые, крепкие эти солдаты, признанные негодными к строевой; и лихой фельдфебель; и кони крепкие; и парусина, подвёрнутая от дождя; и хорошо подкованный жеребец под ним, скалящий зубы, когда отставала кобылка унтера, — всё это веселей и спокойней настраивало Воротынцева, чем он из штаба вышел; сильна, неисчерпаема была Россия. И силу эту чувствуя, он сам усилился.

Эта война началась при изумительной народной дружности, какой в японскую не было ни дня, какой Воротынцев никогда и не помнил. В Петербурге, рассказывали, в первый день войны, без всякого сговора и оповещения, народ выходил из домов и двигался к Зимнему, дождался там царя, и студенты даже. Бастовавшие петербургские рабочие окончили в день все забастовки. В Москве Воротынцев пробыл недолго, но каждый день шла к градоначальству манифестация, и всюду на улицах — единодушные чувств. Мобилизация грянула в горячие дни страды — и повалила деревня к воинским начальникам: „царь позвал!“ Такой слитный порыв — как можно разронить? Но уже в первых штабах в первые дни хлюпались наземь первые плески, проливались первые вёдра.

Та ковровая лестница возвышений — она должна бы обязывать больше, чем награждать. Кто легко нахватывает чинов, тому серьёзно в голову не приходит, что существует какая-то наука управления войсками, и она меняется каждое десятилетие, и надо всё время учиться, меняться и поспевать. Если сам военный министр хвастается, что за 35 лет, от академической скамьи, не прочёл ни одной военной книжки, — так ещё кому ж куда? Выслужив генеральские эполеты — куда им ещё поспевать? Ведь устроена лестница так, что лучше продвигаются по ней не волевые, а послушные, не умные, а исполнительные, кто больше сумеет понравиться высшим. Если ты действовал строго по уставам, директивам, приказаниям — и потерпел неудачу, поражение, отступил, разбит, бежал, — никто тебя не обвинит! и тебе не надо ломать голову, отчего произошло поражение. Но горе тебе, если ты от приказаний отступил, если ты действовал по собственному уму, по смелости, — тут тебе, пожалуй, и удачи не простят, а при неудаче сгрызут совсем.

Да ещё же губит русскую армию это *старшинство*! верховный неоспоряемый счёт службы, механического течения возраста и возвышения по чинам. Только бы ты ни в чём не провинился неприлично, только бы не рассердил начальство, — и сам ход времени принесёт тебе к сроку желанный следующий чин, а с чином и должность. Исключительные надо заслуги, как у генерала Лечицкого, или уж близость ко двору, чтоб обойти старшинство. И так уже все приняли эту разумность старшинства, наряду с постепенным ходом небесных светил, что полковник о полковнике, генерал о генерале первое спешат узнать — не в каких он был боях, а с какого года, месяца и числа у него старшинство, стало быть, в какой он фазе перехода в очередной чин.

Сразу после моста мощёнка оборвалась, но дорога стала как раз для копыт хороша. Она вилась под звёздами чуть светлеющей, отличимую явно полосой, с мягкими закругленьями, забирая вверх сейчас, а потом пойдёт вниз, вилась по спокойной спящей стране с угасающими последними огоньками, с загадками тёмных кущиц по сторонам. Выспрашивать нечего было. Всадники пошли бодрою ходой, но не шибче, чтобы кони к утру не притомились.

В этом бодром движении по тёмной, тихой, тёплой стране на Воротынцева быстро нисходила та прекрасная лёгкость, известная каждому военному человеку (нет, солдату реже, а именно офицеру, кто и живёт для одной войны), когда непрочные нити, припутавшие тебя к постоянному месту, обрезаны начисто, тело воинственно, руки свободны, приятно чувствуешь тягу оружия на себе, голова занята прямой задачей. Воротынцев знал в себе, любил это состояние.

Потому и не мог он ехать поездом через Варшаву, что ко всей земле, пройденной корпусами, ему надо было тоже прикоснуться, иначе он ничего понимать не будет. Потому что и смелый, и решительный, и сообразительный офицер — это тоже ещё не настоящий офицер. Ещё должен он постоянно ощущать тягу и нужду солдата, чтобы тёрло и его плечи, пока не все солдаты скинули заплечные мешки на ночлег; чтоб не шла ему в горло ни вода, ни еда, если без воды и еды осталась хоть рота в дивизии.

Прикоснуться потому нуждался Воротынцев, что жгла его, не ослабляя паленья, ещё японская война, так десять лет и жгла, не утихая. Безумное русское общество могло радоваться тому поражению — как безрассудный ребёнок радуется болезни, чтоб сегодня чего-то не делать или не есть, а не понимает, что грозит ему от той болезни на весь век остаться калекою. Общество могло радоваться и всё валить на царя, на царизм, но патриоты могли только скорбеть. Два-три таких пораженья подряд — и искривится навсегда позвоночник, и погибла тысячелетняя нация. А два подряд уже и были — крымское и японское, лишь слегка прополосенные не такую уж славной, не такой уж великой турецкой кампанией. Оттого наступившая война могла стать или началом великого русского развития или концом всякой России. Оттого-то ошибки японской войны особенно саднили сейчас истинных военных — и тянулись они, и содрогались они, как бы тех не повторить!

Прикоснуться к тому, что случится в Восточной Пруссии со дня на день и с часу на час, особенно потому нуждался Воротынцев, что в прошлые годы он был среди немногих генштабистов, кто допускаем был к обсуждению общих планов войны и составлению частных проектов, на которых потом, безымянных, годами ставили, ставили подписи и визы генералы и великие князья, а после тех лет „Соображения” были издаваемы несколькими номерными экземплярами, хранимы в негораемых шкафах, и даваемы читать, кому ведать надлежит.

Именно после японской войны, когда в армии, раскалённой поражением, разгорался „военный ренессанс”, — в Академии генштаба создалась и сплотилась малая группа военных, кто уразумел и почувствовал XX военный век, в котором ни петровские штандарты, ни суворовская слава нисколько не могли укрепить Россию, оштитить её, помочь ей, — а только сегодняшняя техника, сегодняшняя организация и быстрый кипучий разум.

Лишь это узкое братство генштабистов да ещё может быть кучка инженеров знали, что весь мир и с ним Россия невидимо, неслышимо, незамечаемо перекатились в Новое Время, как бы сменив атмосферу планеты, кислород её, темп горения и все часовые пружины. Вся Россия, от

императорской фамилии до революционеров, наивно думала, что дышит прежним воздухом и живёт на прежней Земле, — и только кучке инженеров и военных дано было ощущать сменённый Зодиак.

Пока в государстве строились баррикады, собирались и разгонялись Думы, издавались исключительные законы и искались мистические выходы в тусторонний мир, — эта группка капитанов-полковников, обозванная „младотурками“, осознавала себя, читала германских генералов и набирала сил, никем не преследуемая, но как будто и не нужная никому. Она сплотилась, но и тут же расплотилась, ибо не могли они без конца сидеть в Академии, и единого штаба такого для них создано не было, а надо было по назначению ехать каждому в разные гарнизоны и, может быть, никогда уже не увидеться друг с другом, хотя повсюду чувствовать себя частью целого, «клеточкой русского военного мозга». Ещё держалось ядро „младотурок“ — группа профессора Головина, но в прошлом году завладел Академией вкрадчивый Янушкевич — и этих последних неуслужливых разгромили, разослали тоже. Никто из них не получил реальной власти, никто не получил даже дивизии (Головина — сослали командиром драгунского полка) — ведь была долгая череда ожидающих по старшинству службы, по стажу бездарности и по придворным протекциям. Но сами между собой и перед собой они были ответственны теперь за будущее русской армии и, более всего по оперативным отделам штабов рассеянные, точностью своих разработок и убедительностью предложений рассчитывали всю армию повернуть, куда надо.

Именно они, бездолжностные и бесправные, подняли перчатку императора Вильгельма. Именно они — не балтийские бароны, не приближённые императорской семьи, не генералы с иконостасами орденов от шеи до пупа, именно они только и знали сегодняшнего врага — и восхищались им! Они знали, что германская армия — сильнейшая в сегодняшнем мире, что это армия — со всеобщим патриотическим чувством; армия с превосходным аппаратом управления; армия, соединившая несоединимое: беспрекословную прусскую дисциплину — и подвижную европейскую самостоятельность. Такие точно офицеры, подобные кучке наших генштабистов, там были во

множестве, и в силе, и во власти, даже до командующих армиями. А начальники генерального штаба не меняются там, как у нас, за 9 лет чехардою из шестерых, но — за полстолетия четверо, да не меняются, а наследуют, Мольтке-старшему Мольтке-младший. А „Положение о полевом управлении войск” не утверждается там за два дня до всеобщей мобилизации, как у нас, 16 июля. И семилетняя программа вооружения принимается не за три недели до начала войны.

Конечно, куда веселей было бы состоять с Германией в „вечном союзе”, как учил и жаждал Достоевский. (И как Воротынцев тоже бы предпочитал.) Куда веселей было бы так же развить и укрепить наш народ, как Германия — свой. Но — сложилось воевать, и гордость наших генштабистов была — воевать достойно.

А достойно — значит: не только короткие задачи этого дня и этой ночи понимать и выполнять наилучше, но понять и проверить от самых истоков, от основания: вообще т у т ли наступать? и, ещё ранее, — н а с т у п а т ь л и вообще?

Это доктрина германского генштаба: наступать во что бы то ни стало! И у Германии есть основания её избрать. Но, глядь, её перехватили французы. Глядь, её перехватили и наши: только вперёд! всегда вперёд! как красиво! — и мотыльку Сухомлинову приятно. Однако есть у военной науки принцип и повыше вперёда: чтобы задача отвечала средствам.

По договору с французами мы сами вольны себе выбирать операционные направления. Годами шло сравнение естественных двух: на Австрию и на Германию. Граница с Австрией легко проходится, озёра же Пруссии выгодны для обороны, стеснительны для наступления. Наступать на Германию — много сил, а надежд мало. Наступать на Австрию — большие успехи, разгром всей их армии, всего государства, передвижка половины Европы, — а тем временем против Германии легко обороняться малыми силами, подсунуть им наше приграничное бездорожье да широкую колею. Так и выбрали. Так и готовился Палицын, цепью крепостей Ковно-Гродно-Осовец-Новогеоргиевск.

(И конь Воротынцева, всё вязче ступая в песчаную до-

рогу, подтверждал: для того и дорог не строили тут, ни единой.)

Но пришёл в генеральный штаб Сухомлинов и с легкомысленным невежеством (столь похожим на решительность) *примирил* спор направлений: будем и туда и сюда наступать, одновременно! Из двух он выбрал наихудшее — оба. И сменивший его Жилинский в позапрошлом году уже обещал французам, сверх договора, от себя как от России: обязательно будем и на Германию наступать — или на Пруссию, или на Берлин. И как же, наша доблесть, наша честь теперь перед союзниками — чтобы их не обмануть!

А ты, осветив истоки, сам уже воюй *достойно*...

Но *или-или* томит русский ум, как это — или на Пруссию, или на Берлин? Чего проще — валяй и туда, и сюда! И в эти самые дни, когда Первая и Вторая армия только-только входили в Пруссию и всё сражение ещё было впереди, — уже на письменных столах Ставки сколачивали Девятую армию — на Берлин. И для того-то (не знал бедняга Самсонов) отобрали у него гвардейский корпус, и не разрешали Артамонова выдвигать дальше Сольдау, и, ещё замедляя его тылы, перегоняли поперёк их новые части к Варшаве.

Да что там, в прошлом году Жилинский Жоффру уже и срок начала, за счёт России, сдвинул щедро: начнём не на 60-й день мобилизации, и даже не на 30-й, но, при полной неготовности, — на 15-й! Ведь друзьям плохо, для друга слазь и в грязь, а англичане когда ещё через пролив спопáшатся!

Но как в частной жизни не должна переходить дружба в самовыстиление, это никогда не отблагодаривается, — так и тем более в государственной... Эту жертву русскую, эту нашу кровяную подать долго ли будет Франция помнить?

А ты пока — воюй *достойно*.

За полтораста вёрст вперёд, за темнотою ночи, за местностью, не виданной иначе, как по карте, за покачкою крупной жеребцовой головы и за округлостью земли на градус широты — предполагал, ощущал, представлял и просто видел Воротынцев десятки таких же генштабистов, только немцев, да едущих через ночь по твёрдым шоссе

на быстрых автомобилях, да связанных сплошным телеграфом, да кладущих рядом с картами точные разведывательные данные с аэропланов, уколом булавки и точною стрелкой — откуда и куда мы на них идём, да понятливых отзывчивых генералов, да решения, принимаемые в пять минут и в согласии с разумом, — а сзади был Жилинский, со взнесенным самоуверенным подбородком; Постовский с папками аккуратных третьеводнишних бумаг; Филимонов с бесплодной честолюбивой энергией — для себя одного; затруженный, медленный Самсонов; попереди — потерянные в песках и озёрах корпуса. И в приближении этого грозного столкновения Воротынцев мог только в огненной памяти разглядывать карту да подгонять жеребца и то не слишком, чтобы хватило ему сил.

Спешить! Конечно надо было спешить в этой операции, да не от Белостока же пеший марш начинать. Спешить, да не так же, как клоун спешит на арену, не терять же ботинок и штанов, сперва подпоясаться, зашнуроваться. И как же можно было начинать с разрывом: посылать Ренненкампфа, когда Самсонов ещё не готов? Весь смысл плана — мерк, уничтожился.

... На разговоры с унтером и времени не осталось. Проезжали населённые пункты, иногда было кого спросить, а иногда присвечивал на карту и соображал Воротынцев сам. Часа два он думал напряжённо, потом сбивчиво: и о корпусе Благовещенского, что так оторвался направо, как если бы, правда, переходил к Ренненкампфу; и ещё хуже — о 2-м корпусе, который застрял против немых пустых озёр, не помогая ни Первой армии, ни Второй; и о том, что по фамилиям генералов судя — фон-Торклус, барон Фитингоф, Шейдеман, Рихтер, Штемпель, Мингин, Сирелиус, Ропп — никак не счесть было Вторую армию русской, да ещё этой весной назначался командовать ею Рауш-фон-Траубенберг, то-то бы звучало!

Это немецкое преобладание уже так привычно распространено, что мы даже не задумаемся: да ведёт ли Россия последние два века своё отдельное национальное существование? Или, с Петра, направляют его немцы?

И о том русском генерале Артамонове думал, к кому лежал его путь сейчас и от которого завтра может быть зависеть будет вся честь России. Артамонов ещё и ровес-

ник Самсонову, уже потому будет обидно подчиниться. Служил Артамонов долго в штабах, да „для поручений”, да „в распоряжении”, был почему-то комендантом Кронштадтской крепости, хотя сухопутник, даже главным руководителем крепостных работ, — и вот теперь на армейском корпусе.

Немцы это всё себе переписывают, переписывают и смеются: у этих русских Главный Штаб даже не ведаёт такого понятия — военная специализация. Всё, что не конь и не пушка, — всё у них инфантерия...

Думал Воротынцев и о генштабисте полковнике Крымове, который опередил его в 1-м корпусе, и может быть уже всё исправляет, а может быть не видит и губит. Лично они не встречались. Но отъезжая из Ставки, Воротынцев по справочнику генералов и полковников просмотрел службу каждого, с кем приведётся встретиться тут. Крымов был на пять лет старше Воротынцева, и настолько ж опережал его в полковничком чине. Можно было заключить, что служил он как-то неровно: туповато в конце того века, полтора года мог ведать батарейным хозяйством, да и потом не острей. Но всё ж раскачался на Академию и успешно кончил её перед Японской. Воевал, видимо, храбро, бой за боем отмечены наградами. А потом лет на пять снова задремал делопроизводителем да начальником отделения мобилизационного отдела Главного Штаба. Там были и какие-то труды у него о запасных войсках, это всё нужно для великой армии, но опять: как совмещается в одном офицере?

Путь в холодающей звёздной ночи стелился и стелился. Иногда дорога была обсажена, иногда гола, а в песке — всё время. Черно и мягко миновались редкие хутора, оцепы колодцев, придорожные высокие распятия. Тиха, мирна спала северная Польша, совсем не по-военному. Правда, в двух деревнях стали на ночь обозы, окликались их дозорные. А так никто не обгонял, никто навстречу не катил. Утомлялись кони, но ещё больше унтер сквашивался. Перед утром думал Воротынцев коней покормить, два часа поспать, да унтера отправить назад, а дальше уже одному.

Постепенно мысли его углаживались, не жгли, не так быстро выпрыгивали, не толкали друг друга. Приходили

совсем другие, и все их приятно было сейчас дояснять, додумывать в долгом ночном успокаивающем движении.

Нисколько не тяготила Воротынцева бессонная ночь, и ещё завтрашний долгий путь, и потом, может быть, сквозная безумная неделя — ибо такой обещала быть Прусская битва, и может быть со смертью впритирку. Это и был его жребий. Это и были его высшие дни — те дни, для которых и живёт кадровый офицер. Ему не только не тяжело — ему крылато-легко было сейчас, и не могло иметь значения: спит он или не спит, ест или не ест.

13

А если честно говорить, была ещё одна причина нынешней его лёгкости. Ему оттого было сейчас так легко и свободно, что он уехал из дому.

Он не сразу поверил этому ощущению в себе, он поразился: никогда прежде не было радости или облегчения от разлуки. Но три недели назад в Москве, когда они в штабе округа получили приказ о всеобщей мобилизации, и во всю же голову, во всю же грудь наполненный только общим, — Воротынцев однако приметил, как между глыбами войны проскользнуло радужной ящеричкой: теперь он естественно надолго отъедет от жены. Как будто станет свободнее или отдохнёт?

Странно. Вот не думал. Отчего и было ему крылато-легко во всей жизни, во всех его движениях и планах, — что он очень удачно и быстро женился. При его острой направленности, захваченности единым Делом, ему скорей должно было не повезти с женитьбой, как многим не везёт, — а ему повезло! Для устройства счастливой семейной жизни люди тратят много внимания и забот, а ему так легко: сразу — удача! превосходная жена.

Когда-то, ещё в последний год прошлого царствования, юнкером первого года, он опоздал в училище с гимназического бала: зацеловался с гимназисткой в Неопалимовском переулке, пришлось перелезть через забор, и всё равно был обнаружен. На утро его вызвал сам началь-

ник училища генерал Левачёв, царство ему небесное. „Ну что ж, Воротынцев? Двое суток гауптвахты?“ — „Есть двое суток, ваше превосходительство“. Высокий стройный генерал ещё и разговаривал стоя, светлыми насмешливыми, а потом вполне серьёзными глазами глядя на юнкера: „Мне не жалко дать вам эти сутки, а вам не жалко их отсидеть. Но, Воротынцев, с вашими выдающимися способностями, с вашей хваткой, — я слышал, вас дразнят „начальником генерального штаба“ — (действительно, кличка такая была, и Воротынцев не считал пустой, внутренне он не исключал такую возможность годам к пятидесяти) — примите дружеский совет опытного человека. Карты да неумеренное питьё — скольких прекрасных офицеров замотали. Но незаметней того, а больше — сглодали нашего брата дамы. Поверьте, все эти ухаживания, а потом личные потрясения — пустяки, ничто, трата лучших молодых сил и времени. Не рассоритесь! Успеете. Хоть и говорится „ешь с голоду, люби смолоду“, но слишком смолоду человеку талантливому — некогда любить. Семья придёт своим чередом. А в движении к высшим военным должностям должно быть что-то монашеское. Подумайте!“

Воротынцев и подумал. И — принял. Он даже усвоил это внушение генерала Левачёва как прирождённую свою мысль, так хорошо ложилась она в план его жизни.

Да ещё раньше, ещё в детстве Георгий где-то прочёл, услышал об этом бессмертном выборе — Любовь или Долг? — и уже тогда для себя решил не колеблясь, тотчас и навсегда: Долг! Долг! Долг! И впредь — ухаживания и даже размышления над всеми этими так называемыми любовными вихрями он настолько не принял в свой опыт, что ни от товарищей по службе, ни от случайных встречных даже на досуге не выслушивал любовных историй, отводил, избегал их, не тратил времени. Совет генерала тем прочней лёг в основание его молодой жизни, что от родного отца он никогда ничего ясного на этом пути не слышал.

Отец и вообще никогда никакого своего опыта ему не передал. Единственное, чем он пытался направить жизнь сына — отдачей его в реальное училище, а не в кадетский корпус, как Георгий рвался. Но и за семь лет реального Георгий не остыл, не уклонился, и всё равно поступил в Александровское училище. Он как бы искупал измену де-

да и отца их родовой традиции: они ствратились от военной службы, и уже от того отец не заслужил полного почтительного внимания сына. Да и семейное вряд ли что отец мог посоветовать, потому что сам он счастлив не был, последние годы они жили с матерью плохо, порознь, — а почему, Георгий не вникал, и не взялись они ему объяснить, а только веяло над ним тоскливым безрадостью и безвыходьем семейной жизни — может быть и всякой семейной жизни? может быть и не бывает другого развития?

И как бы в тон этому родительскому разладу в юные годы Георгия всегда звучала в их доме фортепьянная игра матери — всегда элегическая, пронзительно-грустная. Сама для себя она много играла, и этими звуками был наполнен их московский дом, Георгий пронизался ими, любил их, пристрастился даже. Было жалко маму, но — и не умел её утешить.

А мать не упустила воспитать в сыне — рыцарственное, преклонённое отношение к женщине. Что женщине не достаёт защиты от грубого течения жизни, и мужские руки, от избытка своих сил, должны приподымать её над этой жестокостью. Георгий охотно и прочно это впитал, это согласовалось и с его характером, он и чувствовал в себе этот избыток сил, при котором не унижительно служить слабому существу.

Алину в первый раз Георгий увидел и услышал в тамбовском дворянском собрании — и тоже за роялем, в концерте, и так сразу зажглись и сплывались ему в одно впечатление: и наружность её — вот кажется такой тоненькой, поворотливой, среднего роста, среднего цвета волос, и с такой улыбкой он всегда и ждал встретить свою будущую жену! — и фортепьянная игра, да как раз шопеновские мазурки, которые так часто играла мать. Всё вмиг сплеснулось воедино! — и, кажется, ещё до знакомства, ещё до конца последней мазурки он уже решил: женью! нашёл! нечего тут и примерять, сравнивать, оглядываться — вот она, единственная женщина на земле, особо для меня созданная!

Да ещё это было — тотчас после японской войны, в послевоенном восторге бытия: я — уцелел! Теперь я долго буду жить! Теперь — я счастлив быть хочу!

Да ещё и тридцать ему исполнилось.

И как ещё совпало счастливо: никогда до того он в Тамбове не бывал, и после не бывал, всего-то приехал на три дня в мелкую служебную инспекцию. И Алина тоже была — борисоглебская, тоже они с матерью приехали из уезда лишь погостить — и вот так встретились!

Георгий для себя решил мгновенно (он всегда мгновенно знал, чего хотел и что верно), стремительно сделал предложение. Алина была ошеломлена, не сразу готова ответить. Тогда он прогалопировал бурное ухаживание. И когда вскоре всё же повёл это воздушное белое чудо под венец, то ещё опасался, как бы она в последнюю минуту не передумала.

И всё оказалось великолепно! Любовь даётся в жизни раз, и как же счастливо — растратить её безошибочно! Нежно любишь ты, нежно любят тебя, и мир замкнулся в наилучшем виде, приспособленном для твоего движения! (Мелкие размолвки не в счёт.) И всю силу воспитанного рыцарского преклонения перед женщиной, безграничного восхищения — ты знаешь теперь, кому отдаёшь.

Их первые брачные годы были — его академические страданные годы, забиравшие всю протяжённость времени, всю напряжённость ума при немыслимой плотности предметов в году: всех военных, нескольких математик, двух языков, двух прав, трёх историй, и даже славистики, и даже геологии, и потом трёх диссертаций. Да ещё это были и лучшие годы самой Академии, когда расчищали рухлядь (не всю и не надолго...), когда легенду о врождённой русской непобедимости сменяли на терпеливую работу. (Но каждый день ты шагаешь в Академию по Суворовскому проспекту, мимо Суворовской церкви, и гулко звучит в голове это славнейшее имя — какой русский офицер не мечтал о суворовском жребии!)

И при такой захваченности Академией — как счастливо текли их с Алиной тихие вечера в маленьких недорогих комнатках на Костромской улице! (И Костромская родная слышится!) Георгий — за письменным столом, Алина — за стеной у пианино или на кушетке, — покой и устояние, исключаящие из мира тревог — тревоги сердечные. При академической восьмидесятирублёвой стипендии чаще и денег не было на театр или концерт, а времени-то — почти никогда, так дома и дома сидели, тем слаще, —

и Алина не жаловалась. Пресчастливые годы! Чем бурней общественная и военная жизнь, тем приятнее, чтобы семья и быт текли ровно, традиционно, и не было бы надобности менять привычки. Непробудное, постоянное, повседневное ровное счастье, ни взрывов, ни сотрясений. Произошла неудача с ребёнком, никакого второго потом, но и это не навело облаков: жизнь будет в движеньи, в боях. Алина не слишком тосковала от потери — и в этом Георгию тоже повезло. Согласились они, что им — и не нужно, их любовь и без того предугазана с небес и вечно.

За тремя годами учёбы — три года преподавания в Академии, ещё полнее счастьем. Но когда головинскую группу разогнали — довелось Воротынцеву ехать в глухой гарнизон за Вяткой. Для него-то — почти своя Костромская. Однако и Алина снесла потерю петербургской жизни, не уклонилась отсидеться в Борисоглебске с мамой — но поехала с ним в тот грубый неустроенный быт и глушь, и стойко перенесла эти полтора года ссылки, и не гнушалась кухонной и домашней работы. У него-то всё равно был Шлиффен каждый день на столе — а у неё? что она видела в этом жизненном провале? Так двойным вниманием, восхищением, двойной нежностью Георгий старался облегчить ей это тёмное время, всегда сознавая размеры её подвига и её любви. Правда, под конец она уже захандрила, — но тут ему удалось вынырнуть — и перевестись в штаб Московского округа.

Это случилось — меньше полугода назад. А вот эти последние комфортные полгода в Москве, когда Алина, напевая, вила новое *гнёздышко*, — странно, Георгий стал понемногу замечать, будто чего-то в их жизни недостаёт, обронено. Что-то не совпадают у них больше ни начала фраз, ни продолжения начатых. Вот укладывается Алина на кушетку, чтоб он сидел рядом и рассказывал о разных офицерах, служебных случаях, и о чём он думает, — но нарастает и фамилий, и новых идей, и прочтённых книг — подвижный огромный ком, он вращается как Земля, и распёртый череп Воротынцева сам едва вмещает его, — а память Алины не держит, она забывает и фамилии, и уже рассказанное, переспрашивает по второму и третьему разу, это скучно, потеря времени, потеря темпа, да ей, чувствуется, и не так уже интересно, а он лучше пошёл

бы, позанимался вечерок в штабе. И он уклоняется от рассказов. А она надувает губы.

Справедливо выговаривает ему за холодность, недостаточное внимание к людям, приливы угрюмости, занятость только собой, выговаривает настойчиво, с полнотою прав, — и возразить трудно. А от каждого выговора остаётся осадок.

Да вот что! Переехав в Москву — Алина как-то изменилась, стала требовательна, новый тон, новые желания: после вятской заглуши, после стольких лет терпения и жертв — она хочет, наконец, яркой жизни, когда же??.

А — когда же?.. Георгий — не готов. Он нисколько не разгрузился, всё ещё плотней, все труды, все усилия — всё впереди.

Да и — никогда. Да и — страшно подумать: что б это стала за жизнь?

Да, конечно, он перед ней виноват, виноват...

Но и не в этом только, а — что-то ещё. Случилось что-то с самим Георгием. Как будто кожа окорявела, очерствела, перестаёт ощущать каждый пробежавший волосок. Заметил, что становятся безразличны мягкие, невесомые, пахучие предметы её одежды — лежат себе и лежат, висят себе и висят. И в поцелуе губы перестают быть самыми нужными и нежными, а удобнее — в щёчку. Вообще, весь обряд любви — утомляет, с годами — пресен. И — тянуть его вечно?

Так ты прежде сорока — уже и стар?

Впрочем, и всё растущее, и на каждом дереве так: корявеет, лубенеет. Неизбежно лубенеет и всякая любовь, устаёт и всякое супружество. Очевидно, так и нужно: с годами острота, и потребность любви, и все восторги должны поостывать. На сорок лет остаётся нам и других ощущений довольно: и росное утро воспринимается не черствей, чем в юности, и как в двадцать прыгаешь на коня, и с волнением ставишь пометки на полях у Шлиффена.

И вот — война. И счастье же, что Георгий оставил её в Москве, где будут у неё и общество и концерты. Насколько легче, что нет угрызений, и свободна душа для главного дела.

Лишь не забыть вниманием, часто писать, как просила, хоть полстранички. Успел и в Остроленке опустить

несколько слов: люблю, люблю, ни с кем не сравнивая! И правда.

И — свободен, и — на коне. И сразу — как проще, подвижней, беззаботней. И дальше бы так.

Вообще предъявляет всякая женщина слишком много прав на своего мужчину, да не упускает всякий день расширять их, если удаётся. Когда-то для тебя это наслаждение, когда-то сносно, а вот уже и тяжело.

Вообще, прав был генерал Левачёв: все эти проблемы любви, её волнения и переживания, все ничтожные личные драмы вокруг неё — слишком преувеличиваются женщинами, слишком смакуются поэтами. Чувством, достойным мужской груди, может быть только патриотическое, или гражданское, или общечеловеческое.

А может быть — просто засиделся. Семейная жизнь — не для воина. Просвежиться надо.

Он ехал и ехал ночной дорогой. Крепкими перебористыми ногами своего жеребца отмерял, перещупывал эти бесконечные вёрсты между штабом армии и корпусами, эти страшные шесть дневных переходов.

Нет, так не воюют! Воевали, но больше так не дадут...

И — противника нет, провалился!

Да! — кольнуло — и эти незашифрованные искровки! Как можно было посылать?! Уж лучше б и средства такого не было вовсе, чем в руки нашим нерадивым.

Далеко обогнавши всадников с их аллюрами — в неразборную тьму чужой стороны беззащитными невидимыми искорками утекала на обокрад сила Второй русской армии.

Этим летом Ярослав Харитонов и должен был кончать Александровское училище, но по порядку: сперва в летние лагеря, потом торжественный выпуск, потом до полка ещё месяц отпуска — домой, в Ростов. В Ростове —

ворох радостей, запрыгает Юрик, мамыны заботы, родные комнаты, гимназические друзья, но важней всего: с Юриком, уже ему двенадцатый, и с одним другом — садятся в парусную лодку, уже припасённую, снаряжённую, и едут вверх по Дону смотреть, как казаки живут, давно собирались, ведь стыдно: родиться и вырасти в Земле Войска Донского, и ничего о казаках не знать, кроме того, что они нагайками разгоняют демонстрации, — а это смелое, подвижное, сильное племя, из самых здоровых русских порослей.

Но не сложился расчисленный вход в армейскую службу, а сразу вихрем, свежим и страшноватым, налетело то, что в армии главное, для чего и есть армия, — война! Уже 19-го июля их выпуск надевал заветные погоны со звёздочками, и не то что съездить попрощаться с родными, а даже самим успеть получить из фотографии первый офицерский снимок не пришлось: всех рассылали тут же с готовыми назначениями, Ярослава — в 13-й армейский корпус, в Нарвский полк.

Свой полк он застал в Смоленске, частью на погрузке в эшелоны, а частью ещё даже не собранный. (В Смоленске — овации офицерам на улицах, все кричат о победе, ощущаешь себя как в тёплом урагане.) Хотя четыре полка их дивизии носили самые первые номера во всём российском войске, но состава постоянного у них не оказалось: именно теперь-то и нагнали нижних чинов, по три запасных на одного коренного солдата, сам же Ярослав успел и принимать их — в серо-чёрном мужицком, с последним домашним припасом в белых узелках, как на Пасху увязывают святить куличи. Он же застал и в баню их водить, переодевать в серо-зелёные шаровары и рубахи, выдавать винтовки, амуницию и грузить в товарные вагоны. Кто остался и в крестьянских шапках. Да не только солдат действительной службы — не хватало почему-то и унтеров, и офицеров не хватало, хотя уж кажется к войне ли может быть не готова Россия, всегда воевавшая и воюющая! На роту приходилось по три-четыре офицера, Харитонову как свежеиспеченцу дали только свой взвод, но офицеры поопытней получали два взвода сразу и на одном держали подпрапорщика.

А всё это хорошо выпало! — и трёхдневная суматоха

в Смоленске с переодеванием деревенщины (а Ярослав ходил пружинно, с прямой спиной и вдавливая след), и того более — сама езда, когда Ярослав не пошёл в офицерский вагон, а остался со своими, собственными *своими*, ему доверенными сорока народными лицами в теплушке, — и загудел паровоз через тридцать вагонов, и залязгали, залязгали, перекликаясь, передаваясь, буфера, и натужно заскрипели сцепы, и потянул весь поезд! О любви к народу много говорили, только и говорили в семье Харитоновых, для кого же и жить, как не для народа, — да только видеть народ было негде и нельзя, даже на базар соседний нельзя было отлучиться без спросу, и потом руки надо мыть и рубашку менять, к народу никак было не подойти, ни с какой стороны не заговорить, неизвестно что говорить, стесняешься, — а вот теперь естественно сошлось, что этим мужикам бородатым был 19-летний Ярослав чуть ли не за отца, и сами они искали его — просить, спросить, доложить. А ему оставалось, сверх наилучших действий по службе, только вбирать и вбирать глазами, ушами и памятью — кто как зовётся, кто родом откуда и что у кого дома. Вот охотный рассказчик Вьюшков, его только слушай, проезжает поезд их места — вон уездный город на высокой горе, а тут овраги повсюду, урочище Крутой Верх, и какие тут соловьи и какие выгоны, — ведь нигде ж Ярослав ещё не был, ведь всё это повидать бы самому! До чего ж радостно и желанно — объединиться с ними, отъединиться с ними в одной теплушке, и слушать, как балалайка их тренькает (сколько свободы и поэзии, какой чудный инструмент!), днём стоять с ними, опершись о длинный засов, перегородивший раздвинутую дверь (а внизу ещё сидят, ноги наружу свесив), ночью в темноте не спать под их пение, пересуды, да смотреть на огоньки цыгарок. Хотя не радости ждать на войне — а радостно было ехать! И не одному Ярославу: явно весело было и солдатам, всё время шутили, и даже пританцовывали, и боролись друг с другом, — а на узловых станциях ещё встречали их толпы с оркестрами, флагами, речами и подарками. В этом настроении успел Ярослав написать и первые письма — маме, Юрику и Оксане-печенежке, милой сестрёнке, — настоящей сестре, потому что Женя, ставши замужем и с ребёнком, превратилась в младшую

маму, только почужей. Написал он, что вот к этому всю жизнь и стремился, этого и хотел: быть вольно-мужественным и вместе с простым народом.

Но дальше не так было весело, уж очень много суматохи и неразберихи. С железной дороги их внезапно ссадили, хотя поезда шли и дальше, — и, как издеваясь, погна-ли пешком почти рядом с колеёй — до Остроленки, так шли они несколько дней, и трудно это было уже отвык-шим запасным, в обуви необхожденной, в одежде неприно-шенной да со всей амуницией. Отчего так? — нельзя было охватить, понять, некого спросить. Наверно, злой номер их корпуса так сработал. Проезжал в автомобиле генерал, сказал: „Это немцам подай железную дорогу, а русские орлы и пешком отхватят! Верно, братцы?“ И кричали ему: „Вёр-на!“ (Ярослав тоже кричал.)

Второй офицер их батальона, штабс-капитан Грохо-лец, с острыми дуговыми наверх усами, маленький, а чёткий, весь военная косточка (Ярослав старался ему под-ражать), — сам от смеху давясь, кричал на колонну: „Эй, шествие богомольцев! В Иерусалим собрались?“ И до че-го ж метко было крикнуто, смеялся Ярослав, только военный глаз может так подметить! Запасные тяготились винтовкой как лишней тяжёлой палкой нацепленной, и новыми твёрдыми сапогами тяготились и, невдогляд офи-церам, стягивали их, перекидывали верёвочкой через пле-чо, а топали босиком. Батальон растягивался на версту, а уж полк не спрашивай, офицеры теряли своих ещё непри-гляженных солдат, а из чужих батальонов тянули к себе и пробирали. Между разбродом людей втёсывался обоз, назначенный по той же дороге, и интендантские гурты ко-ров, гонимых на свежую пищу их дивизии.

А 8 августа, на третий день, как перешли немецкую границу, было полное солнечное затмение. Об этом был за-ранее приказ по дивизии и разъясняли офицеры солдатам: что тут ничего особенного, что так бывает, и только надо будет удерживать лошадей. Однако не верили простаки-мужики — и когда стало среди знойного дня темнеть, на-ступили зловещие красноватые сумерки, с криками заме-тались птицы, лошади бились и рвались, — солдаты крес-тились сплошь и гудели: „Не к добру!.. Ой, неспроста..“

Да если бы поучить, напомнить, боевые стрельбы

устроить — ещё в отличных солдат можно было вправить этих запасных. Ярослав же видел по своим, хотя бы по Крамчаткину Ивану Феофановичу, — пятнадцать лет из деревни не вылезал, уже с сединой и, как о нём говорили, *старовидный*, — но изумлял он Ярослава своей строевой подготовкой, будто с плаца только что, будто ничего другого в жизни не видел, как подходить-отходить, как в чести тянуться с самозабвением: „Рядовой Крамчаткин по вашему приказанию, ваше благородие, явился!” — и в небо торчали усы, и глаза блюдцами, — а вот стрелять совсем не умел (скрывал, случайно узналось).

Великая война, первая война подпоручика Харитонова, начиналась так на каждом шагу, что в училище можно было бы за эти промахи лепить и лепить гауптвахту: всё, как в насмешку, шло в нарушение всех уставов. Как будто в училище, в их подтянутом молодом строе, с едиными быстрыми ружейными приёмами, чёткими рапортами, отрывистыми командами и лихой песней, им нарочно показывали, как никогда в армии не бывает, не будет и не может быть. Отпало всё, чему учили будущих офицеров: никакой разведки, ничего о соседних частях, и приказы удручающе отменяли, целые бригадные колонны останавливали галопирующими всадниками и заворачивали.

Днёвок не было вторую неделю, с утра батальоны подымались чуть свет и к походу бывали готовы в сносное время, однако садились и ждали на изморчивом утреннем солдцегрее, пока привезут из дивизии, из бригады приказ на дневное перемещение, начальство же иногда и до полудня не управлялось (а привозил ординарец приказ: начать марш не позже восьми утра), — зато уж днём батальоны гнали без передыха, навёрстывали. Потом садились вдруг: разобраться с обозами, забившими дорогу, задержать кухни, а пропустить вперёд отставший авангард. Опять гнали. Шли до заката, до сумерек и в сумерки, а то и до середины ночи. Ночами разбирались, кормились, и всё не просто: то в темноте не находили своих квартиреров, высланных заранее, и не знали, где располагаться; то спорили между собой высшие начальники, где какой части можно ночевать, а части пока топтались да разводили костры, чай кипятили на сучьях, нимало не заботясь, что выдают противнику своё расположение. Тут же и кух-

ни в темноте сутились при керосиновых факелах, при разбросе искр. А то — отбивались кухни, и так бывало, что в полночь ложились спать голодные (офицеры, как и солдаты, зябли на земле в одних шинельках), а к рассвету будили обедать за вчера. И ночи выходили короткие, не хватало сна.

Солдаты спрашивали: „Когда ж бы печёного хлебца, ваше благородие? Сухари вторую неделю, ажно брюхо скребут!“ — и не было разумных слов объяснить: почему в Белостоке, где кругом полно было печёного хлеба, их дивизии уже никак нельзя было хлеба получить — *не то* интендантство; как же так при начале войны, ещё прежде германской границы, ещё ни один снаряд не упал, ни одна пуля не просвистела, — а они восьмой, десятый день получали сухари с лежалым мышиным запахом, давних годов сушки, и соль — перебойно, не в каждом супе, не подвезли.

До Остроленки ещё была одна для всех дорога и перемещения ясные. Но после Остроленки, где не дали им отдохнуть ни дня, они разошлись дивизионными колоннами, после немецкой границы — и бригадными, и тут-то особенно не стало начальство успевать с приказами, а то и путало с ними, какому полку давая вильнуть лишних десять вёрст, — и всё это пропадало, никому наверх не известное, кроме немецких лётчиков, так и летавших ещё с Польши над русскими колоннами (а наши — не летали; говорили, что держат их *до важной минуты*). После немецкой границы кому доставались твёрдые щебенные дороги — шоссе; но и там от массы сапог и копыт поднимались густые клубы пыли, хрустело на зубах; да те шоссе кончались или не туда поворачивали, или не было их вовсе, а приходилось идти, и повозки тянуть, и орудия — по пыли сплошной, по вязкому песку, всё это в жару, не опадающую ни на день, одним ночным ливнем только и прерванную, и колодцы не везде, по много часов и без воды маршируя. А то наоборот плутали и вязли по болотистым поймам путаных речушек, будто нарочно самыми непроходимыми маршрутами. И не оставалось у лошадей, у солдат, у офицеров другого желания, понимания и тяги, как — *отдохнуть!* Знамёна давно были скручены и тянулись как лишние дышла, барабаны убраны на телеги,

к песням не было команд, роты теряли отсталыми, и только одна мечта их вела, что, может быть, завтра скажут: отдых!

Сгорели с ног.

Но, видно, слишком важный был замысел, чтоб дать им день отдохнуть, — нет! всё с той же поспешностью их слали и гнали — вперёд! Уже по Германии, без единого живого немца.

Штабс-капитан Грохолец, узкоплечий, с фигурой мальчика, а лысоватый, — шутил между офицеров на перекуре:

— Да никакой войны, это — манёвры. Ординарец из штаба армии нас четвёртый день ищет остановить — не найдёт. А мы по ошибке занеслись вот на чужую территорию, теперь Василь Фёдорычу ноту извинения послали.

Василием Фёдорычем все как-то дружно принялись называть Вильгельма, браня. От этого легчало.

От „Хоржелёй”, как все говорили в полку, — после Хоржеле, перейдя границу, с первых саженей неприятельской страны ожидали боя, орудийной или ружейной встречи. Но ни в тот день, ни в следующий, ни в черезследующий они не слышали ни выстрела, не увидели ни солдата немецкого, ни гражданского жителя, ни живности никакой. Где протянуты были проволочные заграждения по полю и покинуты, где окопы начаты на окраине деревни и недокопаны, теперь их закидывали для пропуска пулемётной команды на двуколках и прочих конных, а то в самой деревне через улицу сложена баррикада из возов, из мебели, и всё брошено. („Плохи же у немцев дела!” — первый раз повеселел постоянно унылый, ноющий подпоручик Козеко.) В следующей деревне нашли и прикатали велосипед — и вся рота стянулась его смотреть, многие солдаты отроду и не видели такой диковины. Один унтер показывал, как на нём ездят, а толпа шумела, подбодряла.

Распалённым, бессонным, одурённым головам русских воинов странней всего и была: Германия, да ещё пуста!

Германия оказалась настолько необычная, непохожая страна, как Ярослав не мог себе представить по иллюстрированным изданиям. Не только странные крутые крыши

в половину высоты дома, сразу очужавшие весь вид, — но деревни из кирпичных двухэтажных домов! но каменные хлевы! но бетонированные колодцы! но электрическое освещение (оно и в Ростове-то лишь на нескольких улицах)! но электричество, проведенное в хозяйство! но телефоны в крестьянских домах! но в знойный день — чистота от навозного запаха и мух! Нигде ничего недоделанного, просыпанного, кой-как брошенного — не ко встрече же русских наводили прусские крестьяне парадный порядок! Толковали бородачи в их роте и дивились: как же немцы хозяйство так уряжают, что следов *работы* никаких не видать, только всё уже готовое стоит? как они в такой чистоте поворачиваться могут, тут же кафтана бросить негде? И как при таком богатстве мог покуситься Вильгельм на русскую нашу дрань?.. Польшу прошли — страна привычная, распушенная, но с немецкой границы словно струной по земле ударило: и посевы, и дороги, и постройки — всё другое, как не с земли.

Почтительный страх вызывало одно только это устройство не русское. А то, что оно было опустошено, грозно брошено мёртвой добычей, вызывало жуть: будто наши войска мальчишками-озорниками ворвались в чужой притаившийся дом, и не могла их за то не ждать расплата.

Но где и было бы чем разжиться — проходящим солдатам не выпадало времени шарить по домам. И котомок не хватило бы — уносить добычу. И, на смерть идучи, не наносишься.

Первые жители, которые не ушли, были не немцы, а немецкие поляки, кое-как изъяснявшиеся ломано. Но не доверие вызывали они, а подозрение, и приказано было взводу Козеки произвести на хуторе тщательный обыск. (Отправляясь на эту операцию, сказал Козеко Харитонову: „Кто-то хочет моей смерти. Там в подвале может быть взвод пруссаков засел.”) Сопротивления не встретили, обыскивали тщательно, и нашли: в доме трубу вроде валторны, в сенном сарае — опять велосипед, в бане — два русских ружейных патрона и сапоги со шпорами. Плохо оборачивалось дело поляков: склонялось к тому, что их могут расстрелять. Их отправляли в штаб полка под конвоем, одному было лет пятьдесят, двоим паренькам — по

шестнадцать-семнадцать. Проводимые мимо батальона, они молили каждого офицера и унтера: „Подаруйте нам жище!.. Подаруйте нам жище!” Но унтер от Козеки, который их вёл, только покрикивал весело: „Шагай-шагай, Москва слезам не верит!” Солдаты стягивались смотреть: „А что? Вот такие и стреляют из засады. На лисапедах вон там, лесными дорожками, такие и разъезжают, про нас сообщают.”

Но проходя мимо первых немецких трупов у дороги — запасники снимали шапки и крестились: „Упокой, Господи!”

Совсем без стрельбы уже не проходило дня. То пролетал над головами немецкий летательный аппарат, — а они летали часто, два раза в день, и все роты принимались усердно в него палить, однако не попадая. (Да ещё, заметил Ярослав, иные запасные палили, закрывая глаза.) То видели сами, как из фольварка убежали в лес трое в мирной одежде, стреляли по ним, одного подстрелили. То прискакал казак, что в четырёх верстах отсюда он был из лесу обстрелян кавалерийским разъездом, — и тотчас отрядили полуроту прочёсывать лес. Кляли солдаты того казака, и судьбу свою, ходили прочёсывали, никого не нашли.

Но Козеко одобрял: „Сейчас для нас главная опасность — это пуля сбоку.” Двум подпоручикам не миновать было бесед: ещё от Белостока их свело назначение на соседних взводах в одной роте. С остальными офицерами был Козеко молчалив, батальонного боялся, ротного не любил, а Грохольца избегал, как мог, тот высмеивать был горазд. Всю деятельность своего наблюдения и жажду высказывания вкладывал Козеко в дневник (по отсутствию бумаги — в офицерской полевой книжке), всякую свободную минуту вписывал туда по несколько свежих строк и обязательно время по часам. „Это просто подвиг! — ахал Грохолец. — Истории полка никто не пишет, вот кончится война — мы приказом заберём ваш дневник в штаб и переплетём в золото.” — „Никто не имеет права! — тревожился Козеко. — Это — дело моей совести. И моя собственность.” — „Нет, подпоручик, это казённая собственность! — вращал глазами Грохолец. — Бланки полевой книжки принадлежат штабу!!”

Козеко был старше Ярослава по возрасту, он уже два года отслужил офицером до начала войны, — но не мог Ярослав принять его влияния.

— По-моему, на войне ни одного дня так жить нельзя. Мы должны стремиться к победе, а не проклинать войну! И как вообще может великий народ избежать больших войн?

— М-м-м, — тянул Козеко, как от зубной боли, и оглядывался, никто ли их не слышит, — как избежать! Да каждый ловчит! Милошевич, вон, в какую-то командировку устроился, а Никодимов — по закупке скота. Умный человек в батальоне не задержится, не беспокойтесь.

— Тогда я не понимаю, — волновался Ярослав, — зачем с такими взглядами становиться кадровым офицером?

Со сморщенно-несчастливым сожалением Козеко вздыхал над дневником:

— Это — тайна... Вот когда будет у вас ненаглядное солнышко да любимое гнёздышко... Пусть это непатриотично, но я без жены жить не могу. И потому желаю мира. Я вам скажу: лучше быть не офицером, а конюхом, но подальше от этой войны.

Только добавлял тоски этот Козеко — то умыться ему негде, то невымытыми руками кушать нельзя, то на ночь раздеться бы. И без того день ото дня мрачней и безнадежней становилось в батальоне от беспрепятственного наступления. Всегда представлял Ярослав наступающее войско весёлым: мы вперёд идём, мы пленных берём, мы землю занимаем, значит мы сильнее! Для наступления и создают армии, для наступления и воспитывают офицеров. Но удручало это двухнедельное наступление без единого боя, без единого немца, без единого раненого, а по ночам сопровождаемое то справа, то слева тускло-багровыми пятнами неопознанных пожаров. Куда подевались лёгкость и радость, которые не он же один, но кажется все они, кажется и все солдаты испытывали в пути на фронт в побалтывании теплушки, обвеваемые встречным летним ветерком? Ещё Крамчаткин сохранял самоотверженный служацкий вид, не сутулился, и так же глазами ел своего подпоручика, а Вьюшков и лицо воротил, и уже рассказов охотливых из него было не вытянуть. Не только уже

песен никто не пел в батальоне, но даже громко крикнуть избегали бородачи, а лишь сказывали друг другу самое надобное, как бы Бога не гневя пустословием лишний раз.

Да и само пространство — стеснялось, сдвигалось, подступали леса. Сперва посылали взводы и полуроты обшаривать их края, потом и полк уже целиком весь втекал, поглощался лесом. Лес был совсем не как наш: ни сухостоя, ни трухлявины, ни покинутого бурелома — только что не подметен, а кучками сложен хворост и чистыми ровными коридорами содержались просеки. По разным направлениям разрезался лес дорогами, и дороги содержались хорошо, где не были сейчас подпорчены.

Хотя полагалось каждому офицеру иметь в планшетке карту местности, но ни одной не было в роте, лишь у Грохольца одна на батальон, и то спечатанная с немецкой, неясные надписи и не подробная. Ярослав, как никто из взводных, вился около Грохольца, ловя всякий добрый момент заглянуть к нему в карту. А то ведь сожжены были немцами все указатели, и из уст офицерских в уста неточно передавались, неточно вызнавались названия деревьев: вот Саддек прошли, вот Кальтенборн, ночуем в Омудефоффене. А весь этот лес с десятисаженными соснами назывался Грюнфлиссский.

С половины дня 10 августа по всему лесу слышался слева, с запада, зык артиллерийской стрельбы вёрст за пятнадцать — настоящей упорной стрельбы, первый бой! Но, не обращая на то внимания, полки 13-го корпуса шли и шли себе по лесу на север — туда, где тихо, и не встречая никого. И заночевали в Омудефоффене.

На другое утро, ещё в тумане поднявшись и первый раз не получив даже сухарей, затеяли, как всегда, долгое построение и равнение полковой и даже бригадной колонной, с артиллерией и повозками на своих местах. Строились идти из Омудефоффена опять же на север, надо было обходить ширококрылое озеро Омулёв.

Уже долго строились, и прочли обычную молитву перед выступлением, и готовы были двигаться, уже нарастала позднеутренняя растомляющая жара — как прискакал ординарец из штаба дивизии и передал командиру бригады пакет. И тотчас командир бригады вызвал коман-

диров полков и началось на дорожной тесноте поворачивание и перемешивание Нарвского и Копорского полков: не сразу двигаться, не на месте кругом, а обязательно сохранить построение упорядоченной бригадной колонной, но головой теперь на запад, на другую улицу. Уже в полную силу палило августовское солнце, и забывался рассветный завтрак, не поддержанный сухарями, когда полки тронулись новым направлением, а версты через две попали в затылок Софийскому полку, который туда же шёл. Ещё вскоре увидели на просеке на коне лихого полковника Первушина, всем известного командира Невского полка. Значит, вся дивизия. Вытянулись главной долгой лесной дорогой между колоннами мачтовых сосен сперва через Кальтенборн, как вчера пришли, а потом — на запад, на Грюнфлисс. Впереди же их опять погромыхивало, но не так громко, как вчера, — потому ли, что в жару слышно хуже, потому ли, что стихало. Идти на стрельбу — бодрей, подобались: лучше верное дело впереди, чем эта пустота. (Козеко: „Дай Бог, до нашего подхода кончится.”)

Был перекресток лесных дорог, с растолоченным песком и ещё с подъёмом, где надо было поворачивать, — и артиллерийские упряжки, тоже истощённые, недокормленные, не могли в том месте вытянуть, зажирали колёса, не хватало сил и прислуги, — и на помощь их фельдфебелю, весёлому шароголовому, позвал Ярослав своих, и вытолкнули ему два орудия, а на остальные всё равно пришлось фельдфебелю перепрягать вместо шести лошадей по восемь — опять задержка всей колонны.

Шли и шли, а стрельба впереди совсем прекратилась, как накаркал Козеко. И пройдя с утра вёрст пятнадцать, уже спадало солнце от полудня, вся колонна остановилась — прямо на дороге, так из лесу и не выйдя, и в тени разлеглась по приволью.

Озабоченные верховые проскакивали целый час вперёд-назад. Не только до солдат, но и до младших офицеров ничего не доходило. Затем полковой командир собрал старших офицеров — и начался новый скрип, возня, суета, захлёстывание упряжных лошадей, — поворот всей дивизионной колонны — назад, откуда пришли.

Занывали желудки, палили подошвы, упало солнце

за лес, и было доброе время разбивать бивак, варить обед. Но нет, снова через тот перекресток и через весь тот лес всё те же вёрсты отмеривала их дивизия назад.

И помрачнели переодетые богомольцы и загудели, что всюду немцы командуют, что немцы и заматывают нас на погибель, так доводят и выморят, даже и без боя.

Не остановились при закате желта солнышка, пророчащего и на завтра такую же осень, пыль и жару. Не остановились и в сумерки, а все вёрсты отложили честно назад, и в звёздной темноте воротились в ту самую деревню Омуплефиффен, и на тех же местах разжигали кухни, да только кашу заваривали после полуночи, а спали перед петухами.

Подымались свинцовые и, через нехоть, глотали уже утреннюю кашу, чтоб опять целый день её не видеть. Привезли, правда, за два дня сухари. Разбирались, вытягивались и строились на вчерашний северный выход из Омуплефиффена. И ворчали, предсказывали солдаты, что опять повернут. Невыспанный Ярослав, сам себя и других бодрил: „Ну уж нет! Уж сегодня — нет!”

Но — как заколдовали предсказатели: стояла колонна, не спала, не отдыхала и вперёд не трогалась. И дождавшись, когда солнце стало крепче палить и размаривать, — невидимые штабные немцы (иначе уж и Ярослав не мог бы объяснить!) скомандовали: опять всюю колонною поворачивать и выстраиваться по ещё третьей дороге, выходящей из деревни, между той и этой — средней.

И снова перестраивались полный час.

Тронулись. Такой же был день жаркий. Так же вязли и ноги и колёса в песке. Да глуше и хуже была дорога, а маленькие мостики на ней взорваны, и вся русская силушка уходила на объезд и обтаск, на то, чтоб из вязкого места вытащиться снова на круть, на дорожную насыпь. Ещё новинка была: колодцы, близкие к дороге, немцы засыпали землёй, мусором, обрезками тёса, и взять воды было негде, как в большом озере, а к нему и не подобрёшься — топко.

Сегодня ниоткуда уже не доносилось стрельбы. Нигде не видно было немца — ни военного, ни мирного, ни старика, ни бабы. Да и наша вся армия задевалась куда-то, никого не осталось, кроме их дивизии, гонимой по зате-

рянной, пустынной дороге. И не было казаков, хоть вперёд съездить посмотреть, что там.

И последний неграмотный солдат понимал, что начальство закрутилось.

Шёл четырнадцатый день непрерывного марша их, 12-е августа.

*
* *

*Как и день идёшь, как и ночь бредёшь,
Крест да ладанку на груди несёшь.
А в груди таишь рану жгучую:
Не избыть судьбу неминучую.*

15

В Найденбурге, маленьком городке, так мало отнявшем у полей, так много настроившем камня, — это была не единственная площадь, площадушка. Три улицы с неё вели, и несколько было углов. На одном изломе двухэтажный дом с разбитыми стёклами магазинных окон первого этажа и венецианских второго — дымил изнутри, а ещё гуще что-то дымило во дворе.

Полувзвод солдат, не очень из сил выбиваясь, гасил дым. Из-за угла они таскали воду вёдрами, вносили в ворота (там слышался крик отдираемых досок и стук топоров), а другие передавали ручную цепью по наложенному трапу через подоконник первого этажа.

Вся работа их была на солнце, солдаты сбросили верхние рубахи, часто снимали фуражки, вытирали лбы.

Оттого и не торопились, что было знойно, а пожара прямого нет, хотя дым всё валил. Не было и бодрых криков, гула возбуждения, а многие разговаривали о своём,

на ходу рассказывали, кто-то и смешное, пересмеивались.

Со всем этим справлялся унтер, а прапорщик с университетским значком, с очень энергичным, чуть запрокинутым лицом, а движениями вялыми, дела не имел, заботы не выражал. Пóстояв и походив по мелкому, ровному, скользкому, змейночешуйчатому камню площади, он выбрал себе глубокую тень на каменном крыльце напротив, где в обхват колонны привязана была простыня с красным крестом, а перед домом стояла аптечная двуколка без кучера, лошадь вздрагивала иногда.

Как раз вышел на крыльцо, потирая одуревшую голову и продыхая глубоко, черноусый чернобровый врач, в халате. Стал дышать — и стал зевать, в зевоте то отклоняясь, то наклоняясь. Тут увидел досочку на каменной исполированной ступеньке — и сразу же сел, ноги ещё опустя по ступенькам, руками назад оперся, и так бы и лёг, так бы и откинулся.

Сегодня стрельбы не слышалось, ушла, и весь шум был только от солдат, вся война — в полотнище красного креста, да в немецких высокобоких зданиях, не нашего облика и лишённых жителей.

Прапорщику некуда было иначе и сесть, как на те же ступеньки, только ниже. Решительные черты были прозначены в его лице, даже не по возрасту, а военная форма на нём — мешковата, а выражение, с каким он глядел на своих солдат, не вмешиваясь, — скучающее.

Солдаты таскали воду.

Дымило, но по безветрию всё вверх, сюда не несло.

Врач отдышался, отзевался, поглядел, как тушат, скопился на соседа.

— Прапорщик, не сидите на камне. Вот тут доска.

— Да тёплый.

— Нисколько не тёплый, застудите нерв.

— Подумаешь, нерв! Тут с головой неизвестно.

— А нерв — сам по себе, это вы не болели. Идите, идите.

Прапорщик нехотя поднялся, пересел рядом с врачом. Врач был статный, гладкий мужчина, усы пушистые, и мягкой шёрсткой, как чёрной тенью, баки по всей дуге, а вид — замученный.

— А с вами что?

— А... оперировал. Вчера. Ночь вот. И утро.

— Столько раненых??

— А как вы думали? Ещё и немцы, кроме наших. Всех видов ранения... Шрапнельная рана живота с выпадением желудка, кишок, сальника, а больной в полном сознании, ещё несколько часов живёт, и просит, чтоб мы ему непременно смазали, смазали в животе... Сквозное в черепае, часть мозга вывалилась... По характеру ранений — бой был не лёгкий.

— Разве по характеру ранений можно судить о бое?

— Конечно. Перевес полостных — значит, бой серьёзный.

— Но теперь-то кончились?

— А сколько было!

— Так — спать идите.

— Вот успокоюсь. От работы напряжение, — зевнул врач. — Расслабиться.

— Всё-таки — действует?

— Да ничего не действует, а — расслабиться. На смерть, на раны не реагируешь, иначе б не работа. У него глаза раскрыты, как плошки, одно спрашивает — будет ли жив, а ты холодно себе пульс считаешь, соображаешь план операции... Если был бы хороший транспорт, некоторых полостных ещё можно бы спасти: оперировать надо в тылу. А у нас какой транспорт? — две линейки да одна фурманка. Немцы свои подводы с лошадьми угоняют. Да и куда везти? за Нарев? Сто вёрст, десять по шоссе, а девяносто по российским дорогам, душегубство. А немцы на автомобилях отправляют, через час — в лучшей операционной.

Прапорщик построжел, посмотрел на врача.

— А изменись обстановка вот сейчас? — отступить? — сетовал тот. — Совершенно не на чем. Со всем лазаретом достанем немцам... А наступать — так за нами забота трупы хоронить. Ведь там по полю лежат — жара, разлагаются.

— Чем хуже, тем лучше, — сурово сказал прапорщик.

— Как? — не понял врач.

Засветилось в глазах, только что лениво-безразличных:

— Частные случаи так называемого милосердия толь-

ко затемняют и отдаляют общее решение вопроса. В этой войне, и вообще с Россией — чем хуже, тем лучше!

Бровные щётки врача в недоумении поднялись и держались:

— Как же?.. Раненых — пусть трясёт, донимает жар, бред, заражение?.. Наши солдаты пусть страдают и гибнут — и это лучше?

Всё строже, заинтересованней становилось энергичное умное лицо прапорщика:

— Надо иметь точку зрения *обобщающую*, если не хотите попасть впросак. Мало ли кто на Руси страдал, страдает! К страданиям рабочих и крестьян пусть добавляются страдания раненых. Безобразия в деле раненых — тоже хорошо. Ближе конец. Чем хуже, тем лучше!

Оттого что прапорщик держал голову чуть запрокинутой, он как будто имел в виду не только единичного этого собеседника, а оглядывал нескольких: „у кого ещё вопросы?“.

Врачу и спать перехотелось, всеми глазами он смотрел на уверенного прапорщика.

— Так тогда — и не оперировать? И повязок не накладывать? Чем больше умрёт — тем ближе освобождение? Вот с вашим черниговским знаменщиком мы сейчас... Повреждение крупных сосудов. Да полсутков на нейтральной пролежал, пока вынесли. Нитевидный пульс. Так зачем мы с ним возимся, да? Так я понял обобщающую мысль?

Коричневым огнём жгнули глаза прапорщика:

— А зачем они попёрли как бараны за нашим полковым, за мракобесом? Развёрнутое зна-амя!! — и обсюсюкивает теперь весь полк. Нашли за что драться — за тряпку! Потом уже — за одну палку. Навалили кучу трупов, это что! Играют нами как оловянными!

Но хирург был в тупике:

— Вы, простите, вы ведь не кадровый, вы — кто?

Прапорщик пожал узкими плечами:

— Какое это имеет значение? Гражданин.

— Нет, но по специальности?

— Юрист, если так вам нужно.

— Ах, юри-ист! — понял врач, и покивал, покивал, что так он и думал или мог бы догадаться. — Юри-ист...

— А что вам не нравится? — насторожился прапорщик.

— Да вот именно то. Юрист. Юристов у нас развелось, простите, как нерезанных собак.

— Если страна насквозь беззаконная, так ещё очень мало!

— Юристы — в судах, юристы — в Думе, — не слышал врач, — юристы в партиях, юристы в печати, юристы на митингах, юристы брошюры пишут... — растопырил он большие руки. — А спросить вас, — что это за образование — юрист?

— Высшее. Петербургский университет, — ледяно-любезно пояснил прапорщик.

— Ерундический факультет? Да какое там к чертям высшее! Десять учебничков вы зубрить да сдать — вот и вся ваша... образование. Знал я студентов-юристов: все четыре года баклуши околачивали, листовки, конференции, будоражить...

— Так н и з к о говорить интеллигенту! — предупредил прапорщик, темнея. — Подумайте, на чью мельницу... Порядочный человек должен сочувствовать левым.

Это верно. Врач почувствовал, что переступил меру, но и прапорщик его ж допёк.

— Я хочу сказать, — исправился врач, — поучились бы вы на медицинском или на инженерном, вы бы узнали, почём каждый экзамен. А с положительными знаниями рук тоже не сложишь — надо работать. России нужны работники, делатели.

— Как не стыдно! — всё с тем же горячим укором смотрел прапорщик. — Ещё эту гнусность достраивать! Ломать её нужно без сожаления! Открывать дорогу к свету!

Достраивать? — врач, кажется, так не говорил, он говорил: лечить.

— Да вы сами не медицинскую ли Академию кончили? — торопился допросить горячеглазый прапорщик.

— Академию.

— В каком году?

— В Девятом.

— Та-ак, — соображал быстро прапорщик, и прямой длинный нос его подрагивал в ноздрях. — Значит, в кризис Академии, в Пятом году, вы были уволены — и сдались, и подали верноподданное заявление?

Затмился врач, поморщился, концы усов вниз отогнул, но они сами вверх выторгнули:

— Как это у вас сразу топориком: верноподданное... А если ты хочешь быть военным врачом, а Академия в стране одна? И хоть бы раздемократическое правительство — в своей военной Академии оно может рассчитывать, что не будет антивоенных митингов? По-моему, это справедливо.

— И ношение формы? И суденты козыряют, как младшие чины?

— В Военной Академии? — ничего страшного.

— Сол-датчина! — всплеснул прапорщик. — Вот так мы всё уступаем, а потом удивляемся...

— А потом — раненых лечим! — сердился уже и врач. — Раненых вы мне оставьте! Солдатчина!.. Смотрите, завтра сами явитесь. С раздробленным плечом.

Прапорщик усмехнулся. Совсем он не был зол, а юноша искренний, с убежденностью лучших русских студентов:

— Да кто же против гуманности!? Лечите на здоровье! Это можно рассматривать как взаимопомощь. Но не надо теоретических оправданий этой пакостной войны!

— А я — несколько... Я разве... ?

— „Освободительная“!.. Чем-то надо заинтересовать. „На выручку братьям-сербам“! — сербов пожалели! А сами по всем окраинам душим — этих не жалеем!

— Но всё-таки Германия на нас... — терялся врач перед уверенной молодостью, как принято в России теряться.

— Если хотите, очень жаль, что Наполеон не побил нас в Восемьсот Двенадцатом, — всё равно б не надолго, а свобода была бы!

Накатывал, накатывал юрист, переодетый в гадкую военную форму, да мысли отдуманые, так сразу не поспоришь. И, всё больше идя на примирение, посочувствовал врач:

— И как же вас мобилизовали? — ни льгот, ни отсрочки?

— Вот так, застрял... Напра... отставить, налё... отставить, ноги на-плё... отставить, кругом, бегом! Сдал экзамен на прапорщика запаса.

— Ну, будем знакомы, — врач протянул крупную, мягкую, сильную кисть: — Федонин.

И получил в неё узкие костистые четыре пальца юриста:

— Ленартович.

— Ленартович? Ленартович... Подождите, я эту фамилию в Петербурге где-то слышал. Мог я слышать?

— В зависимости от круга ваших интересов, — сдержанно отвечал Ленартович. — Мой родной дядя был известен в революционных кругах. И казнён.

— А-а, верно-верно! — соглашался врач, тем более виновато, тем более с уважением, что так и осталось у него в голове смутно, побалтываясь: то ли удачный выстрел, то ли невзорванная бомба, то ли военно-морской мятеж. — Да, да, верно, верно... У вас фамилия — отчасти немецкая, да?

— Да был какой-то мой предок, тоже кстати военный врач, при Петре. Потом обрусели.

— И кто ж у вас в Петербурге?

— Родители умерли. Сестра, бестужевка. Как раз сегодня пришло от неё письмо — и что же? Написано на четвёртый день войны, 23-го июля, — а сегодня какое? 12-е августа? Это что? — это почта? На волах? Или в чёрном кабинете моют? — И всё более горячился. — Так и газеты: за 1-е августа! и это почта? Как же жить? Что в России? что в Германии? что в Европе? Нич-чего не известно! Вот видим одно: Найденбург взят, можно сказать, без боя, однако мы его зачем-то бомбардировали, подожгли, а теперь туши, русские Иваны вёдра носи...

— Ну, тут и немцы поджигали...

— Крупные магазины — немцы, а окраины — казаки. Ладно. А на австрийском фронте ничего не знают о нас. А мы ничего не знаем про австрийский, — так можно воевать? Слухи, слухи! Проехал кавалерист, шепнул что-то — вот наши и новости! Кто уважает Действующую армию? Нас — презирают! А вы — Россия, Германия! Солдаты выбили двери в оставленных квартирах, что-то там понесли — так это позор христолюбивого воинства, за это карай, гауптвахта. А подполковник Адамантов набрал серебряных молочников да кувшинчиков — это ничего, это можно. Вот ваша Россия!

Но если б не было этой мерзкой войны — не накинули бы девушки такой белизны, не натягивали бы на лоб, к самым бровям, так строго, чисто, ново. Неведомая, не названная, неизвестного образования, состояния и цвета волос, в непоказанном платье вышла на порог сестра милосердия.

— Что, Таня?

— Валерьян Акимыч, челюстной беспокоен. Вы не подойдёте?

И — не было тут спора, никто не сидел на ступеньках. Вдохнул врач, ушёл, по праву уводя за собой и лебедино-белую сестру, лишь мельком прошлись по Ленартовичу её печальные потухлые глаза.

Тоже, конечно, и эти халаты, косыночки — игрушки для обеспеченных, опиум для солдатской массы.

И верховой подполковник, вдруг выпятившись на площадь на беспокойном коне, тоже по праву закричал, заревел громогласно:

— Кто-о здесь старший?

Солдаты — быстрее, быстрее с вёдрами, а Ленартович умеренно быстро, стараясь достоинства не терять, сбегал со ступенек, пересек площадь, и не очень вытягиваясь, но всё-таки подбываясь, и руку к козырьку, хоть и криво:

— Прапорщик Ленартович, 29-го Черниговского полка!

— Это вас оставили пожары тушить?

— Да. То есть: так точно.

— Так у вас тут что, прапорщик, святочный базар? Сюда Штаб армии едет, через два дома станет, — а вы третий день тушите-не потушите? Это кур смешить — вёдрами таскать из такой дали, неужели не можете насоса найти?

— Откуда насос, господин подполковник, у нас в батальоне его...

— Так надо ж немного и мозгами шевелить, это вам не университет!!! Что ж вы людей изматываете? Ступайте за мной, я вам и насос покажу, и шланг, надо ж было по сараям пошарить!

И, выступая на знатном коне, подполковник отправился, как триумфатор.

И Ленартович побрёл за ним, как пленник.

Полные сутки и ещё ночь добирался Воротынцев до Сольдау. Он мог бы быстрее, он унтера вскоре отправил назад, был налегке, но не хотел изматывать жеребца, не зная, как тот ещё понадобится впереди. На поеном и кормленом он приехал в Сольдау 13-го, утренними часами, ещё до жары.

Сольдау, как и все немецкие городки, не занимал лишнего плодородного места, не опаршивел мёртвым кругом свалок, пустырей и окраин, — но сразу, по какой дороге ни въехать, сомкнуто стояли кирпично-черепичные, даже трёх-четырёхэтажные дома, на полвысоты подобранные под крыши. В таких городках улицы, аккуратные, как коридоры, сплошь мощены ровными гладкими камнями или плитами, каждый дом чем-то особен — тот окнами, тот шпилями. В таких городках на малом пространстве умещается ратуша, церковь, игрушечные площади, кому-нибудь памятник, да не один, все виды магазинов, пивные, почта, банк, а то за узорными решётками и игрушечный парк, — и так же внезапно обрываются улицы, город, и едва шагнуть от крайнего дома — уже потянулось обсаженное шоссе и рассчитанные расчерченные поля.

Сольдау был вовсе покинут жителями, не переполнен и нашими частями. Около магазинов и складов в иных местах выставлены часовые — мера правильная (миновались и разгромленных два). Воротынцев разглядывал город и отдался чувству розыска, оно не должно было обмануть, хотя б и проехать лишнего — не спрашивал встречных о штабе корпуса. Близ малого особнячка, однако с железной решёткой, садиком, фонтаном и двумя колоннами у крыльца, он увидел автомобиль, „русско-балтийскую карету”. На штаб это не было похоже: безлюдно. Но по автомобилю подумал Воротынцев, не тот ли здесь человек, которого и надо раньше штаба.

Он соскочил — и всю усталость почувствовал в спине. Рядом с автомобилем привязал коня, чембуром за дерево,

шинель оставил при седле — никто на него внимания не обращал. И, косолапо разминая ноги, толкнул решётчатую калитку. Подалась. Вошёл.

В круге фонтана ещё было сыро от недавно утекшей воды. Неповреждённые цветы ещё ровно держались на маленьких высохших клумбах. Обогнув куст у фонтана, только тут заметил Воротынцев сбочь крыльца на каменной скамье со звериными подлокотниками — пожилого грузного офицера, чёрно-небритого, не очень и расчёсанного, с недовольным видом курящего самокрутку, козью ножку. От пояса вниз на нём было офицерское, шаровары казацки, с лампасами жёлтыми забайкальскими, а наверх простая нижняя сорочка, так что чина нельзя было понять, но лицом и фигурой на штаб-офицера он тянул. И мало пошевелился при подходе полковника.

Не отдавая чести по форме, но к фуражке два пальца несколько приблизив, Воротынцев спросил:

— Скажите, не полковник ли Крымов здесь остановился?

— У-гм, — ещё недовольней кивнул небритый офицер, не шевелясь.

— Это вы?

— Я.

Опять не уставно и без чина — дремлющий Крымов так наводил, приезжий протянул вперёд, как швырнул, правую руку открытой ладонью:

— Воротынцев. Я к вам.

Крымов приподнялся совсем немного, без чего было б вовсе невежливо, и даже по грузности меньше того, круглой жёсткой рукой отметил в рукопожатии, отобрал руку и показал с собою рядом на скамью. И — курил, не проявляя любопытства узнать что-нибудь дальше, хотя полковники генштаба не по каждой улице Сольдау мелькали.

Только и времени, что Воротынцев садился на скамью да лоб отёр, а уже охватил, как с Крымовым разговаривать: слов поменьше, чинов поменьше, и охватил, что сам он Крымову ещё не нравится, но дело у них сейчас пойдёт:

— Я к вам от Алексан' Васильича. Он мне про вас...

— Догадываюсь.

Всё-таки изумился Воротынцев:

— Откуда ж... ?

Чуть кивнул Крымов туда, за фонтан:

— Жеребца знаю. Я на нём прошлую неделю... Как вы его довели?

Теперь Воротынцев рассмеялся:

— Не я его! Он — меня.

Крымов сбылся, недоверчиво:

— В седле? Из Остроленки?

Воротынцев гмыкнул, ничего мол особенного. (Однако крестец ломило, и спина плохо гнулась.)

Подобрел Крымов, но глаза ещё маленькие:

— Ни-че-го. А что ж не поездом?

— В поезде — какая война? — весело возразил Воротынцев, но по легчайшему движению тяжёлой головы перехватил, что вопрос был не так о всаднике — о коне. — Нет, не выбился. И кормил близко.

— Это верно, — уже крупнее кивнул Крымов. — В поезде — не война. Но удобно. — Вытянул из кармана клеёный портсигар: — Листовой, даурский. Добрый табак.

— Я — бросил.

— Зря, — не одобрил Крымов бровями. — Без табака тоже не война. Но не вчера же?

— Да уж года два.

— Из Остроленки, — поправил Крымов.

— А-а... третьего дня вечером.

Моргнул Крымов, утвердил.

— И что ж Александр Васильич? Донесения мои получает?

— Не говорил.

— Три штуки ему послал. Четвёртое собираюсь. А — вы?

— Я... — всё-таки не схватил ещё Воротынцев сокращённую манеру этого бурбона с сонной распушенной физиономией. — Я... — догадался: — Из Ставки.

Худшая рекомендация: значит, проверять, копать, чужой, чего явился, фазан удачливый?

Опять Крымов потемнел:

— Ладно, умываться да завтракать. Я тоже только встал, ночью вернулся. Проснулся вот — и думаю...

— Откуда?

— А-а... Из кавалерийской, от Штемпеля.

— Слушайте, эти две кавалерийские дивизии тут есть или нет? — охотно перебросился Воротынцев. — Что с них толку? Чем они заняты?

— Чем заняты! — траву щиплют. Любомиров вчера горячий бой имел. Брал город. Не взял.

Ну нет, и Воротынцева так не собьёшь:

— У армии — три кавалерийских дивизии, а перед фронтом — ни одной. Наступает вслепую, никакой разведки. У Клюева — даже нет конного полка. У Мартоса казаки — с варшавских улиц, что за разведка? Почему вся конница по бокам?

Ну, и Крымова не собьёшь:

— Почему, почему. Так само сложилось. Думали левым крылом загребать, окружать. А чем прикажете окружать?

Вошли внутрь. В хорошем петербургском доме могла быть такая мебель приглушённого блеска, бронза, мрамор, как здесь, в худеньком Сольдау. Немного, однако, и потрошено: на пол рассыпаны кружева, ленты, булавки с кораллами, гребни, так и не подобрано.

Во всём доме Крымов был с одним казаком, выскокившим из кухни на зычный оклик: „Евстафий!”

Да они уж до кухни и дошли. Евстафий был не молод, высок, но шибко подвижен, очень заинтересованный во множестве фарфоровых, жестяных и деревянных бочоночков и коробок с припасами, с непонятными надписями. Управлялся он и завтрак готовить и нюхать, пробовать все бочоночки сподряд, головой крутя.

Распорядился Крымов, что завтрак — на двоих, и показал Воротынцеву ванную комнату с мрамором и зеркалом. Действовал водопровод! Развешано было женское и мужское, ещё такое мирное, оставленное дня два назад.

— А пожалуй, я и побреюсь! — решил Воротынцев.

Естественно было ему закрыть за собой дверь ванной, но он не сделал так, а снял с оружием пояс, проворно скинул китель, остался, как и хозяин, в нижней сорочке.

И тогда Крымов, вместо того, чтоб уйти, вступил, сел на край ванны и засмолил новую кривую цыгарку (наворачивать её было одно его быстрое движение).

Евстафий принёс кипятку. Воротынцев, управляясь безопасной бритвой, разъяснял Крымову, хотя тот ни сло-

ва не спрашивал, свою командировку, и как вышло, что он поехал сюда, в 1-й корпус. Однако видит теперь, что, кажется, ехал лишним.

Он ещё не думал так вполне, как сказал, — но с огорчением склонялся к этому. Ещё на скамье со звериными головами не думал так — а вот здесь, бреясь. Когда предупредили его в штабе армии, что на левом фланге уже есть Крымов, было колебание и надо было послушаться, поехать не сюда, а на правый фланг, к Благовещенскому. Но вилась в Воротынцеве эта несчастная черта — слишком быстрых горячих решений, а потом от них не отступить вовремя. Ещё до Остроленки он наметил, что поедет непременно в 1-й корпус, ибо здесь-то видел весь ключ к операции.

А теперь уже не поможет ни конь, ни поезд — нужны крылья на лопатках, чтоб в один час перелететь к Благовещенскому.

Крымов ему всё больше казался положительным, даже в том положительным, что вот не спешил одеваться, прикрываться погонями, а всё так же в сорочке сидел на краю ванной и пфукал дымом. Что можно тут сделать, при 1-м корпусе, этот обломай сделает и без Воротынцева.

Крымов послушал-послушал гостя, опять попростел:

— Конечно, лишним, — сказал он. — И я тут лишний. Этот святой моляка и командующего армией не признаёт. Он знает, что его корпус сам Верховный бережёт, и надеется: гвардейский от нас изъяди, и его изымут. Он сюда через Вильну ехал, в кафедральном соборе так объявил: „Ничего не бойтесь! Я еду воевать!” Будет стоять, как в магазине на витрине, а там, смотришь, война кончится, уже призы раздадут.

Осунулся Крымов, ноги свесил, и ванна под ним была, как лодка без вёсел, без шеста.

Но именно эта косность его и невесёлый смысл слов возвратили Воротынцеву уверенность:

— Так вот, будем сейчас Артамонова брать на испуг. Я ему привёз письменный приказ от Самсонова. Если брыкнёт — тогда по телефону снесёмся со Ставкой. Верней — не прямо по команде, а там есть понимающий человек, он дальше что сможет. Тут надо и Янушкевича обойти, и Данилова, и к великому князю в удобную ми-

нугу... В Ставке тоже ни единства, ни ясности. Уж они 1-й корпус как будто восьмого числа передали Самсонову — а вот приказа нет? Опять кто-то мотает. Бессмысленная вещь: в самом остром углу, на переднем краю стоит корпус, никому не подчинённый! Но впрочем, я вижу — Артамонов действует? — и Сольдау занял и дальше продвинулся?

— А чего продвинулся? Да я тоже побреюсь, всё равно уж... Чего продвинулся? Он — врун собачий! — вдруг побурел, рассердился Крымов, до зеркала вразвалку и оттуда оборотясь, а Воротынцев сел на дамский стулик. — Он писал в штаб армии, что в Сольдау будто стоит немецкая дивизия. Это он без разведки, без языка узнал, якобы какой-то телефонный провод перехватили! — тряс Крымов станочком бритвы. — А сам брехал для того только, чтоб не атаковать города. А оказалось в Сольдау два ландверных полка, и сами они ушли. Хочешь-не хочешь, пришлось город занимать. Так опять же сбрехал! — снова разгорячился, уже пышно намыленный. — Теперь он доносит, что немцы потому бросили Найденбург, что он, Артамонов, взял Сольдау.

— А Уздау?

— А Уздау кавалерийская дивизия взяла, не он. А ему пришлось, бедняге, опять продвигаться.

— Вот как... Никогда я Артамонова не видел.

— Да кто его видел? Его и Александр Васильевич не видел. Он генералом-то стал и оружие золотое — за голопузых китайцев. Как и Кондратович...

— Кондратовича вы сейчас не встречали?

— Да где! По тылам корпус собирает, и рад. Трус известный.

— А кого эти дни видели?

— Мартоса видел.

— Вот отличный генерал!

— Чего отличный! Сам на ниточках дёргается и своих штабных задёргал.

— Нет, на редкость отчётливый. А как Благовещенский по-вашему?

— Мешок с дерьмом. Да жидким, протекает. А Клюев — тёха-пантёха, не военный человек.

— А начальник штаба здесь, в 1-м, какой?

— Полный остолоп, нечего с ним и разговаривать.

Воротынцев не додержался, рассмеялся.

Пошли завтракать. Евстафий поставил и водки графинчик, Крымов уверенно налил обоим, не спрашивая.

Но Воротынцев отклонил, рискуя разладить открытый разговор: он не умел пить прежде дела, это была в нём черта не русская. Он пил только, когда уже всё хорошо, облажено, удачно. Да и не утром.

Крымов кулаком рюмку обнял:

— Офицер должен быть смел: перед врагом. Перед начальством. И перед водкой. Без этих трёх — нет офицера.

Выпил один. Насупился. Но об Артамонове всё-таки досказывал. Действительно, в 1-м корпусе не хватает двух полков, так ведь и у всех чего-то не хватает, все некомплектны. Но Артамонов вывел из того, что и вообще воевать не может. Очень гладко болтает, „на наступление я отвечу наступлением”! А главное — врун! Что со вруном делать? Морду набить? На дуэль вызвать? Оттого-то Крымов и ездил к Мартосу, договорился: оттуда взять колонну и наступать на Сольдау с востока. И Мартос — нашёл. Но тут немцы сами Сольдау бросили.

Воротынцев опять кавалерию зацепил: не так используется, сведена на обеспечение да на фланги. Главное, все генералы: Жилинский — от кавалерии, Орановский — от кавалерии, Ренненкампф — от кавалерии, Самсонов — от кавалерии...

— Самсонова — не трогать! — приказал Крымов. — И о кавалерии, не понимая, не рассуждать! Был приказ — отрезать немцев от Вислы. А теперь — конечно уже не переведёшь.

Выпил сам вторую смаху и сердито объяснял, что кавалерия — хорошая, и бои ведёт серьёзные, и потери большие. Скачи на каменные здания да на самокатчиков! А вот — не слаживается. Районы ей меняют, направления перемещают, по три раза через одну речку переправляться, задачи — незахватные, где-то в тылу железнодорожные узлы разваливать, потом не надо...

Но Воротынцев своё:

— Вот, вот! Не умеем мы конницы использовать. А у Ренненкампфа? А что Хан Нахичеванский, знаете?

— А что? — готовно насторожился Крымов.

И последнее, что из Ставки вёз в голове, чем неуместно было расстраивать Самсонова, сейчас тут рассказал. Про позор Хана, про Каушен... Да чтоб и этот не задавался с конницей.

! — ... С такими потерями, хоть взяла кавалерия переправы через Инстер. Но на ночь — Хан увёл свою кавалерию на восток для спокойного ночлега. И те переправы тоже отдал.

Крымов супился, как будто его оскорбили.

Но и это не всё. Воротынцев ещё додавал:

— А у немцев — всего одна конная дивизия...

— Да конные полки при корпусах.

— То — другое. И этой одной дивизии Хан не мог рядом с собой просвет закрыть, и она — рядом с ним! — в сталупененском бою, 4-го августа, обошла 20-й корпус сзади, растрепала пехотную дивизию — и так же благополучно ушла.

— Сноб гвардейский! — налился Крымов. — Удушить!

— Для чего ж и конница, если не для таких боёв? Когда ж ей и рейды делать! У Ренненкампфа пять кавалерийских, у Самсонова три — да котлету из Восточной Пруссии можно было сделать! А у нас кавалерия жмётся к линии пехоты. Ренненкампф после Гумбинена не только не преследовал, но не знает, куда немецкие корпуса подевались. Доложил, что корпус Франсуа разбит, а Макензена потрёпан, — что-то мало правдоподобно.

— Но — побил их?

— Я не уверен. Я из Ставки уехал на том, что ничего не понятно: куда корпуса делись?

Нет, русского обряда не обойти — начиная с третьей пришлось пить вместе. Что с Крымовым их объединяло, то поняли они друг во друге: что в этой кампании не для себя лично искали.

От кавалерии — к артиллерии, тоже не обойти.

— Это мы в японскую поняли, что будущая война вся будет огнём решаться, что нужна тяжёлая артиллерия, нужно гаубиц много, а сделали — немцы, не мы. У нас на корпус 108 орудий, у них — 160, и каких? Потому что у нас на армию всегда „крайний недостаток средств”, на армию денег нет. Они хотят победы и славы, не потратясь.

— Да Дума деньги вроде предлагала, — неожиданно подал Крымов, хотя от него такое не ждалось. — И обвиняла военное министерство, что это оно мало требует средств.

Да может и так, за всей газетной болтовнёй не уследишь. Но этой весной читал Воротынцев и так:

— Дума голосовала против военного бюджета и против большой программы. Есть у них такой... Ш... Шингарёв — он выступал: милитаризация бюджета? а за миллионами потом пойдут миллиарды?.. Пожил бы на офицерское жалованье.

Ну, Крымов — читатель не слишком напряжённый:

— Может и так. У Думы семь пятниц.

— Нет, программу Дума приняла, но — против кадетов. Да ведь считается, что дух войска решает всё, — и Суворов так считал, и Драгомиров... и Толстой... Зачем же на оружие тратиться?.. А что в крепостях стоит? — чуть не единокорги! есть на чёрном порохе стреляют!

Никакого значения и действия не имело — доказывать это всё Крымову. Но были вопросы, где не мог Воротынцев остановиться. Да с этой водкой только вот и начни, и начни. Крымов наливал по следующей:

— Да теперь и сами крепости разбазарили, — пожалел.

Вот уж несколько горячности ему не передалось: всё такое подобное он знал-перезнал, кивал ему согласно, как закону природы.

Всё больше дружественели они, Александр Михалыч да Георгий Михалыч, дальше и на „ты”. (Не спешил бы Воротынцев на „ты”, но и тут уклониться не мог, русский обряд.) Не шли к Артамонову, сидели за завтраком лишнее.

Заговорили о солдатском грабеже по Германии. Крымов поставил между тарелками узловатый кулак: военно-полевые суды и показательные расстрелы! Он уже ходатайствовал перед Самсоновым.

И, значит, был он истый военный и последовательный армеец. А Воротынцев прижал обе ладони к столу, и все пальцы разбросал как мог широко:

— Нет. Расстреливать нашего солдата я не могу, как хочешь. За то, что он беден — и мы таким привели его в богатую страну? За то, что мы ему никогда не показали

лучшего? За то, что он голоден, а мы неделю его не кормим?

Кулак Крымова не разжался, но напрягся, но пристукнул:

— Да это ж позор России! Это верный развал армии! Тогда нечего было сюда и идти. Армейское решение: правильная реквизиция. Сильное интендантство приходит тут же, с полками. Оно берёт весь скот и выдаёт его полкам. Оно берёт те молотилки, что здесь, и те мельницы, что здесь, молотит, мелет, печёт — и выдаёт полкам! А мы — ничего не берём.

— Но это ж фантазия, Алексан Михалыч! Это бы — немцы, это — не мы, это будем не мы!

Воротынцев говорил „не мы”, но с тайной гордостью знал, что отчасти и мы, он знал за собой и немецкую деловитость и немецкое ровное упорство, что всегда давало ему перевес над такими порывистыми и отходчивыми, как Крымов.

Кончать завтрак, кончать бесцельную беседу — идти толкать Артамонова вперёд и добиваться его полного подчинения Второй армии. Воротынцев изобретал, как бы ему в Ставке вызвать к аппарату своего друга Свечина. А Крымову тяжело было подняться, будто утренним разговором он уже всё главное сделал, теперь бы ему поспать. Но пойдёт, конечно, сейчас и, если вспылит, — Артамонову может прийтись худо.

— А потом не поедешь ты посмотреть, где дивизия Мингина? Сомкнулась она с Мартосом? — спрашивал Воротынцев, будто не направляя.

Промычал Крымов вроде „да”, но уклончиво. Кажется, он уже устал за эти дни ездить, кажется, ему проще остаться на месте.

Тут разом услышали они отчётливо-возникшую канонаду.

— Эге.

— Эге.

И вышли наружу.

Били на севере. Вёрст за пятнадцать. Жаркий уже воздух ослаблял далёкую стрельбу. Но артиллерии — изрядно.

Сам Артамонов ни за что не начал бы.

Так немцы?

Проявились. Подтянулись.

— Если б... если б, — загадывал Воротынцев, — узнать бы сейчас, какая тут дивизия у немцев подошла, — многое б мы поняли.

17

Как отстаивали Постовский и Филимонов, штабу армии переезжать на новое место 12 августа нечего было и думать. Целый день ушёл на предварение, на подготовку, а ещё важней — на проверку и согласование со штабом фронта новой линии телеграфной связи с ним, как она будет действовать: Белосток-Варшава-Млава, а дальше, используя немецкие телеграфные линии, — на Найденбург. Не убедаясь, что штаб Второй армии останется на конце устойчивого провода, всегда доступный директивам и всегда готовый к донесениям, штаб Северо-Западного не мог отпустить его от себя вперёд. Поэтому назначен был переезд на утро 13 августа.

День 12-го тоже прошёл для Самсонова напряжённо. Вчера на шесть переходов, сегодня корпуса уходили на седьмой. Опять обстоятельно и пространно просили у Жилинского днёвки для центральных корпусов Мартоса и Клюева — и снова было отказано: уйдёт противник, ускользнёт, ведь гонит его Ренненкампф! О Ренненкампфе сами ничего не знали кроме того, что сообщал Жилинский: гонит! Пришли сообщения от разведки левофланговых кавалерийских дивизий, что перед ними — *большое* скопление противника. Опять это подтверждало понимание Самсонова, что с л е в а сгущается враг, но не радостно было подтверждение правоты, а замучили колебания: что же делать? Простейший рассудок подсказывал: поворачивать все корпуса налево, а не гнать их вперёд. Но вчерашнее клеймо *труса* ещё пылало на Самсонове, измучился он препираться с Жилинским, война наверх изнурительнее, чем вперёд; и дорожил он тем компромиссом, который накануне был как будто достигнут; и ещё смягчала

первая от Жилинского телеграмма, поздравительная с победой под Орлау; и что-то же знал уверенно штаб фронта, если так твердил, а кавалерийская разведка легко могла и преувеличить противника. Одна дивизия 13-го корпуса накануне ходила налево к Мартосу, по его просьбе, на помощь, под Орлау. Там бы, может, ей и остаться, но она уже успела вернуться к своему корпусу, и уже шла опять на север, и почти невыносимо было психологически снова дёргать её, перемещать опять налево. Да весь такой поворот корпусов был очень сложен, требовал остановки наступления и, может быть, перекрещивания тылов.

Тем временем, к досаде Самсонова, в Остроленку прибыл английский полковник Нокс. Зачем он прибыл — неизвестно, верней — выражать добрые чувства англичан, которые на континент ещё через полгода высадутся. Самсонов и вообще не любил европейских неестественных дежурных улыбок, тем более помехой и отвлечением был этот гость сейчас. Своих-то собственных событий и сообщений не успевал Самсонов уложить в растревоженной гудящей голове, а тут ещё надо было озабочиваться вести дипломатический приём.

Вечером 12-го за позднотой Самсонов уклонился от встречи с Ноксом, а не избежать было пригласить его к завтраку 13-го. Но ещё до завтрака пришло беспокойное донесение от Артамонова, что против него сгущаются большие силы. И тут же, натошак, Самсонов собрал несколько штабных у карты и чуть не принял решения — поворачивать центральные корпуса налево! Но штабные отговорили его: они напомнили, что к Сольдау подходят от железной дороги разгруженные части, нагоняющие 23-й корпус, так вот их всех можно пока и подчинить Артамонову, вот и выход. А центральными продолжать наступление.

Как будто и выход, и довольно просто. Пока так. Написали приказ. Пошли завтракать. Надел Самсонов золотую шашку. Надо было ехать скорей — а тут парадный завтрак с вином, рукопожатия, приветствия, перевод с языка на язык, и всё затягивалось, запозднилось. Нокс, породистый, как в десяти поколениях выведенный, нестарый, а поведением и того моложе, очень охотно пил и вообще держался свободно. У них и военная форма располагает так — отложной воротник, свободно шея ходит,

и не чувствительны на плече уменьшенные погоны, и ещё Нокс носил форму особенно свободно, высоко-наградный крестик болтался так себе, верхний карман френча был вздут от бумаг, а в нижние карманы он то и дело руки убирал, с совсем другим понятием о выправке.

Самсонов надеялся, что тем завтраком от гостя и отделяется, что тут же Нокс вернётся к Жилинскому, к великому князю, в Санкт-Петербург, только от него отстанет. Но нет! — шёл Нокс садиться в автомобиль, нёс плащ в трубке на ремешке, а остальные вещи, объяснил переводчик, повезёт денщик вместе с хозяйством штаба.

Переглядысь со своими, командующий распорядился Филимонову в автомобиль не садиться, вместо него британец с переводчиком, а Постовский послал круговую через всё Царство Польское телеграмму в Найденбург, штабс-капитану Дюсиметьеру, чтобы готовили особый обед и сервировку.

И — тронулись, оставляя прочий штаб поспевать за ними на фургонах, шарабанах и верхами. Открытый жёлтый автомобиль командующего с выпученным передом и высоковыставленным рулевым колесом сопровождали восемь казаков, нельзя сказать чтоб отборных: лучших сотен от дивизий не отрывали. Не на полную скорость погнал шофёр, а так, чтоб на рысях не отставали восемь казачьих пик.

Вот теперь-то и нуждался Самсонов — молчать. Молча разглядывать эти вёрсты, пройденные его корпусами, а им самим не виданные ещё никогда: полсотни вёрст до Хоржеле и пятнадцать до Янува, и ещё десяток вдоль германской границы, наконец переезд через неё — и дюжину вёрст по чужой земле, без капли крови и без выстрела завоёванной его корпусами.

День расходился жаркий, душный, как все перед тем, но на ходу обвевало — и думалось хорошо, и может быть хоть сейчас, на этом бегу-лету, могла прийти многожданная ясность в голову командующего. Он сам не понимал, в чём же неясность, приказы разосланы и выполняются, — а неясность была, несдуть туманец, несовмещённые точки, как будто двоилось в глазах. Самсонов чувствовал это непрерывно и мучился.

На коленях у себя утвердил командующий большой

аршинный планшет с туго натянутой, но треплемой ветром десятивёрсткой всего театра действий — и так попеременно, то через борт автомобиля, то в карту намеревался он смотреть весь путь.

Но теперь за его спиной на заднем сиденьи оказался доведчивый британец и хотел тоже всё понимать, и заглядывал через плечо Самсонова, вот уже и палец тыча в планшет и требуя пояснять себе каждое обстоятельство.

К тарактению мотора ещё этот шмелиный гул добавился, и отчаялся Самсонов в пути устояться, прояснить, побыть с самим собой.

Особенно интересовался Нокс правофланговым 6-м корпусом, потому что глубже всех он уже врезался в немецкую территорию, и до Балтийского моря ему оставалось не много больше, чем он прошёл.

Да, должен был 6-й корпус ещё вчера занять Бишофсбург, а сегодня уж он, очевидно, и северней.

Так было отмечено на карте, и так теперь приходилось считать вместе с британцем, потому что нельзя ж было признаться европейскому союзнику, что мы на карте отмечаем, а на деле не знаем; что искровая телеграмма доходит не всякая, а больше нет никакой связи кроме нарочной, да и то не прикрытой, не охранённой, по чужой стране. Корпус Благовещенского настолько уклонился вправо, что перестал быть флангом, он уже ничего не прикрывает, он стал одиночный отдельный корпус, жертва спора.

Но, к счастью, упросили штаб фронта, и сегодня утром разрешено было перевести 6-й корпус налево, к центральным. Да, он уже сейчас переходит — вот, мимо озера Дидей — и к Алленштейну.

А там дальше — Ренненкампф? Он наступает? Да, имеем такие сообщения.

А это — кавалерийская дивизия? Да, на обеспечении правого фланга.

Туда же, в ту же прорву забрали и кавалерийскую дивизию Толпыго, так бы нужную сейчас под рукой! Пропала для командующего и она.

Чем было делиться с непрошеным гостем? Что некомплектованы все части, а 23-й корпус вообще не собран? Что только с виду командуя армией, владел Самсонов по сути лишь двумя с половиной центральными кор-

пусами, к ним и ехал? Но даже и их положения он точно не знал.

Именно о центральных теперь и спрашивал дотошный Нокс: где они?

Крупным пальцем показывал Самсонов: 13-й, Клюева, вот здесь... Вот тут примерно, вот... Вот сюда на север он примерно перемещается, между этими озёрами...

Значит, на север?.. Да, он на север пойдёт... Он пойдёт на Алленштейн. И уже сегодня должен его взять. (Вчера должен был, не дошёл.)

А 15-й?.. А 15-й, Мартоса, должен быть ему вровень, тоже на север. Вчера должен был взять Хохенштейн. (Взял ли?..) А сегодня — далеко за него.

А 23-й?

Знал бы командующий сам уверенно — когда 23-й соберёт Кондратович и представит на передовую?.. Дивизия Мингина сбилась с ног, догоняя Мартоса, и сразу в бой.

А 23-й... Да должен быть тоже недалеко... Вот это шоссе от Хохенштейна на северо-запад сегодня перерезать.

Но что бы отвечать Ноксу, если б допытывался о германцах: где их корпуса? сколько? куда идут?.. Пустое, незаселенное пространство озёр, лесов, городков, шоссе-ных и железных дорог — вот были германцы, всё, что видно, известно о них, беззащитная и привлекательная добыча.

Он вот что! Он всем корпусам рассылал точные повседневные приказы — куда идти, что взять, и это согласовывалось с желаньями выше его, но вот что: эти приказы не были спаяны одним ясным планом, *что именно делать?* Углубляться... перерезать пути... не допустить... — *а в чём план операции?* При сегодняшнем (неизвестном) расположении нашем и противника — на что можно рассчитывать?

Только-только стал достигать Самсонов — опять Нокс перебил: а — 1-й корпус? а вот эти две кавалерийские дивизии что?

А, будь ты неладен!.. Они все... обеспечивают операцию с левого фланга... Создают прочный уступ.

Сняв с колен планшет, Самсонов поставил его на пол у дверцы, чтоб только кончить разговоры с англичанином через шум мотора. От объяснений этих и нарастающей жа-

ры Самсонов почувствовал отлив сил, и ему уже не одумываться хотелось, а вздремнуть бы в мягком сиденьи.

Скорость автомобиля придерживали — к казачьим лошадям. Среди пути один раз сменили их подставою. Обгоняя обозы, подвижной госпиталь, шорный ремонт — всякий раз останавливались, и командующий выслушивал рапорты. В Хоржеле и Януве проверили комендантские пункты и от кого оставлены, с какой целью, стоящие там подразделения. Один раз выходили, сидели в тени около реки. Солнце было за полудень, когда, с подтянутым строем казаков, настороже и торжественно, они по польскому склону спустились на деревянный старый мосток и по прусскому склону поднялись на новую землю.

Замелькали кирпичные деревни, в каждом доме сиди, как в крепости, — а без выстрела сданы. Вскоре вывернули на отличное шоссе из Вилленберга в Найденбург, нигде не повреждённое. Шоссе чуть прикоснулось к южным отрожкам обширного грюнфлиссского леса, а дальше несло их местностью открытой, ныряя с холма на холм, как будто и невысокие, но с просторным обзором.

Для Нокса особая приятность этого путешествия и этого дня была та, что он — первый англичанин, ступивший на землю врага в этой войне. Он уже в пути сочинял несколько писем в Англию, которые сегодня вечером, непременно в немецком городе, намеревался написать, а пока вбирал как можно больше впечатлений, ибо хороший стиль требует не повторяться из письма в письмо.

С потягом тяжёлой гари возник перед ними и Найденбург. Ещё издали виднелся в зелёном шпиле крупный белый циферблат с кружевными стрелками, теперь расступались розовые, серые, синеватые дома, все надписи камнем по камню. До боевых действий здесь было очень благоустроено, сейчас же, хотя не виделся нигде прямой пожар, но много было следов пожаренных: пустые обугленные проёмы окон, кой-где рухнувшие крыши, очернённые стены, брызги лопнувших стёкол на мостовую, вонючие сизые дымы от недотушенного в разных местах, и обций зной неостывших камней, черепицы, железа, добавленный к зною дня.

На въезде в город командующего встретил офицер из высланных квартирьеров и побежал по улице вперёд, по-

казывая дорогу. За поворотом, на ратушной площади, открылся и выбранный дом — не только сам не горевший, но и окружённый целыми домами, в него попало две русских гранаты, но он не пострадал. Это была приветливая гостиница, маленькая, в три этажа, по углам крыши с двумя как бы шлемами на немецкий лад. С крутых ступенек крыльца сбежал подполковник и, вытянувшись перед автомобилем, доложил громогласно о готовности здания, телеграфной линии, обеда, ночлега, и о том, что город горит с самого дня взятия, но сейчас усилиями выделенных частей пожары устранены.

Затем доложил комендант, полковник, назначенный здесь Мартосом три дня назад. Представился и вальжный бургомистр (жители где-то были, но не видны).

Въезжая в город, не сразу заметили, что сюда доносится глуховатая, ослабленная жарою, но обильная дружная толчея как бы во много крупных ступ, и непрерывно. Первый Постовский несколько раз прислушался, покрутил головой: „Близко.” Слишком близко к расположению штаба армии. Комендант уверял, что далеко.

И опять-таки — слева. И серьёзный бой. Кто же это? Пока англичанин отвернулся, Самсонов и Постовский сориентировались, глянули на карту. Так получалось, что это левее Мартоса. Скорее всего — Мингин, злополучная половина недособранного корпуса. Но он должен быть дальше!

Поднялись внутрь, в прохладу. Снаружи такое скромное по размерам, здание содержало в себе на втором этаже некий зал с лепными гербами по стенам, с тремя соединёнными полуовальными окнами, — такой просторный зал, что не верилось, как он в это здание вместился. Здесь и был уже сервирован им стол, со старинной серебряной посудой и золотогербыми бокалами, и ничего не оставалось, как сесть обедать, перекрестившись. (Командующий крестился, никого ни к чему не обязывая.) Подавали — немцы, гостиничные кельнеры.

А между кирхой и ратушей по низам тянуло голубо-серым дымом, и так весь обед.

И толкли, толкли далёкие тупые ступы.

Обилие вин располагало ко многим тостам, и, предлагая их все, Нокс поднялся на первый. От него совсем

не ускользнула озабоченность командующего все эти часы переезда, и какая-то покорная печаль его широких глаз вместо дерзкой ярости победителя, — и союзный офицер счёл своим приятным долгом ободрить русских генералов и объяснить им их успехи.

— Это — страницы славы русской армии! — говорил он. — Потомки будут вспоминать имя Самсонова рядом с именем... Зуворова... Ваши корпуса прекрасно идут и вызывают восхищение всей цивилизованной Европы. Вы оказываете высокую услугу общему делу Тройственного Соглашения... В роковой момент, когда беззащитная Бельгия разорвана леопардом... когда, по-солдатски говоря, нависла угроза над Парижем, — ваше мужественное наступление заставит дрогнуть врага!!

Действительно, во Франции положение было грозное. Над Парижем нависала немецкая мощь.

С того размочилось и пошло, не уклониться от тостов, как от падающих снарядов: за Его Величество Государя императора! за Его Величество английского короля! за само Тройственное Соглашение!

Если б не заморский гость — Самсонов не засиживался б за этим обедом. Он хотел бы своими ногами, пешком обойти этот небольшой городок, осмотреться. Он рад был оказаться наконец в Германии, ближе к делу корпусов и ближе к самой опасности. Он должен был отметить на карте своё новое пребывание и теперь по-новому рассмотреть все расположения: кто как близко оказывался к нему; через какие дороги; с кем была проводная связь и где проходила она. Он должен был истолковать себе этот сильный бой на северо-западе, послать туда, запросить. Тревожный поиск что-то додумать и дорешить всё грыз его, требовал трезвости, и ни одно из этих вин ему в глотку не шло сейчас, не имело вкуса.

Но был обряд гостеприимства и союзнической вежливости. А у вина, хоть и проглоченного безо вкуса, — своё теплящее, кружащее и успокаивающее действие.

И почему, в конце концов, надо было видеть плохое там, где этот неглупый британец видел только хорошее?

И, поднявшись массой тела своего, командующий возгласил короткий тост.

— ... за русского солдата! За святого русского солда-

та, кому терпенье и страданье — в привычку. Как говорится: русского солдата мало убить, пойди ещё его повали!

Постовский, не преминувший сразу по прибытии доложить в штаб фронта, а затем и проверивший яства на самих кельнерах отеля, не отравлены ли, тем бы вполне облегчённый, и с веселием расположенный к праздничному обеду, если б не эта слишком близкая канонада, осматривал каждую бутылку придирчиво, прежде чем налить (там были домашние надписи на наклейках, их переводил штабс-капитан Дюсиметьер), и, превзойдя своё обычное скромное малословие, раскрылся похвалам гостя. Да! — германцы наглядно бежали! Да! — победа явная. И если бы Первая армия шла бы с тою же скоростью, что Вторая...

Заговорили в несколько голосов, тут и подъехавший Филимонов. И, без карты, вдруг выяснилось разноречие: все понимали так, что Вторая армия должна охватить и отрезать немцев, но все они, руководившие операцией, по-разному понимали, *каким* же для этого она заходит крылом: правым или левым? Казалось бы, нельзя охватить Восточную Пруссию, не заходя крылом *левым*, — но достоверно-то было, что левое у них стоит на месте, а заходит *правое*?

Однако перенимая от Постовского главное и развивая его, англичанин, не поленясь приподняться (да он был очевидный спортсмен), объяснял в следующем тосте: гибель прусской армии будет концом Германии! Ибо все силы её на западе, и скованы там. На востоке она станет обнажена. И сразу же, за Пруссией, форсируя Вислу, русские армии откроют себе прямой, кратчайший и беспрепятственный путь н а Б е р л и н!

Эти бокалы только подняты были, ещё не опорожнены, когда в зал вошёл дежурный капитан и ждал случая доложить. Самсонов кивком головы разрешил ему, опустил свой бокал непригубленным.

— Ваше высокопревосходительство! Вас просит к аппарату генерал Артамонов.

Командующий громко отодвинул стул и, забыв извиниться, пошёл, тяжело ступая.

Так и чувствовало вешнее сердце...

Начальник штаба, изменяясь лицом, посеменил паркетными плитами за ним.

В аппаратной стояла тишина, монотонно постукивали буквопечатющие юзы. В свои большие мягкие белые руки Самсонов принимал невесомую ленточку.

Генерал-от-инфантерии Артамонов приветствует генерала-от-кавалерии Самсонова.

Взаимно.

Генерал Артамонов считает своим долгом поставить в известность генерала Самсонова, что сегодня совместно с генштаба полковником Воротынцевым происходили телеграфные переговоры со Ставкой относительно степени подчинения 1-го армейского корпуса штабу Второй армии. Этот вопрос будет в Ставке выясняться. Окончательное решение Верховного Главнокомандующего пока не известно.

(Опять выясняться! Крутят опять.)

Генерал Самсонов надеется, однако, что генерал Артамонов выполнил просьбу командования Второй армии прочно *находиться* своим корпусом севернее Сольдау для вернейшего обеспечения...

Да, генерал Артамонов это сделал ещё раньше просьбы. Заняты и удерживаются позиции далее Уздау.

Уздау... (Проверка по карте.)

Встречено ли при этом сопротивление противника?

Нет, вчера не встречено. Однако теми, весьма значительными, силами, о которых было доложено сегодня утром...

— ... Вам приданы дополнительные части...

— ... да, да, получил... Теми значительными силами сегодня корпус атакован, по каковой причине генерал Артамонов и счёл нужным обеспокоить генерала Самсонова.

Как именно значительны силы противника и каков результат боя?

Все атаки отбиты, все части доблестно устояли. Силы же противника, сколько можно предположить, больше армейского корпуса, вероятно — три дивизии. Это подтверждается и лётной разведкой.

Уже много неоторванной ленты сошло с пальцев командующего сперва на пальцы Постовского, потом к офицеру оперативного отделения, потом на пол и путалось кольцами.

Самсонов опустил большую голову, глядел в пол.

При всей пустой Пруссии — откуда столько сил может оказаться там, слева? Значит ли это, что противник уже утёк из всей Восточной Пруссии, уже ушёл из подготовленного ему мешка — но не за Вислу, не бежал — а начинает напирать слева?

Или это свежие силы, только что подошедшие из самой Германии?

Так что ж, неужели сейчас, вот сию минуту — всем корпусам поворот налево?

В эту минуту дать решение.

В эту минуту.

А может быть — Артамонов и преувеличивает, он очень склонен к перепугу. И скорей всего преувеличивает.

Ему бы наступать! Так вот — не согласовано со Ставкой...

Но удержаться он обязан! — он и сам теперь — полтора корпуса.

Аппарат работал вхолостую, Постовский и капитан поддерживали и расправляли ленту, чтоб она не запутывалась.

Генерал Самсонов во всяком случае настоятельно просит командира 1-го корпуса твёрдо держать нынешние позиции и не отходить нисколько, ибо это угрожало бы срывом всей армейской операции.

Генерал Артамонов заверяет командующего армией, что его корпус не дрогнет и не отступит ни шагу.

Часов около четырёх пополудни генерал-майор Нечволодов подводил свой отряд к Бишофсбургу с юга, по каменистому шоссе. Сам Нечволодов ехал верхом (несколько конных близ него), крупным шагом, саженей на триста впереди отряда.

Отряд его был — стыдно сказать что, неизвестно что.

Вообще назначен был Нечволодов в 6-й корпус командовать пехотной бригадой. Такая должность по разным дивизиям была за ним уже шесть лет. Эту ненужную долж-

ность — над двумя командирами полков, между ними и начальником дивизии, Нечволодов всегда считал для того только созданной, чтоб отучать генерал-майоров от строевого дела, — с тем и служил. Но в 6-м корпусе Нечволодова сильно удивили: ещё за день до начала войны, в Белостоке, не снимая с бригады, его назначили также и „начальником резерва” корпуса. Такое понятие — начальник резерва — существовало, в боевой обстановке и для отдельной операции могли создать резерв для прикрытия остальных частей в тяжёлую минуту, — но не встречал Нечволодов, чтоб назначался резерв как постоянный ещё в день всеобщей мобилизации. То ли не знал генерал Благовещенский, куда ему девать столько генералов в корпусе, то ли ещё до начала войны готовился к худому концу. (Да наверно так, ибо хороший драгунский полк держал всего лишь на охране штаба корпуса.)

И странен был состав резерва: к двум полкам Нечволодова — Шлиссельбургскому и Ладожскому, просто присоединили разные особые части — мортирный дивизион, понтонный батальон, сапёрную роту, телеграфную роту да семь сотен донцов (среди них и ту отдельную сотню, которая охраняла штаб корпуса, и от него ни на шаг), — и вот это стал нечволодовский резерв. Как будто все эти части были в корпусе не разветвлённым пособием, а помехой, и только путали Благовещенскому простую пехотную классификацию: четыре роты — батальон, четыре батальона — полк, четыре полка — дивизия, две дивизии — корпус. А ещё привалило 6-му такое счастье, какое редко-редко корпусу достаётся: артиллерийский тяжёлый дивизион, с калибрами, мало известными в русской армии, — с шестидюймовыми гаубицами. Уж этот-то ни на что не похожий подарок и совсем не знал Благовещенский, куда пристроить, и тоже определил в „резерв”. (Он служака был понимающий: за редкое вооружение и ответ большой, если потеряешь. Он и пулемёты, по их драгоценности, старался не выдвигать на передовые позиции, а держал их больше при штабе или в санитарном обозе.)

Но даже и такой резерв Нечволодову ни разу не дали собрать вместе (да это было и невозможно, и ни к чему), даже коренной его Шлиссельбургский полк отняли и вызвали вперёд, так что и бригады его не стало сущест-

воват, самого Нечволодова задержали по укреплению тылов, — и тот отряд, с которым он теперь, приставной болван, нагонял главные силы, состоял из Ладожского его полка (и то без батальона), да сапёров, понтонцев и телеграфистов, а не было при нём ни конницы, ни артиллерии.

Впрочем, прикидывал Нечволодов, что и обе дивизии впереди него раздёрганы так же, каждая из них растеряла четверть сил по пути: одна была целиком без полка, и из другой рассорили дюжину рот.

В Нечволодове не было генеральского величия — раздавшейся груди, разъеденного лица, самодостоинства. Худощавый, длинноногий (даже на крупном жеребце низко спущены стремяна), всегда молчаливо серьёзный, а сейчас и сильно хмурый, он походил скорей на офицера-переростка, застоявшегося в низких должностях.

Все эти дни он был хмур от одной идиотской комендантской работы по тылам и от отнятия шлиссельбуржцев. Сегодня добавочно хмур от того, что всегда благоразумный штаб корпуса — и тот оказался впереди Нечволодова, утром проскочил в Бишофсбург, а вскоре затем впереди густо загудело, выказывая плотный бой. И ещё хмурей — последние два часа, когда стали навстречу попадаться то порожние телеги с перепуганными обозниками, то двуколки с ранеными, то табунок лошадей с ногами и копытами, раздробленными от повозок. Дальше встречались раненые гуще, уже и пешие, из Олонецкого полка, из Белозерского, а несколько — из оторванных ладожских рот, среди них — пожилой сверхсрочный унтер, хорошо известный Нечволодову. Провезли и офицеров несколько. Нечволодов задерживал встречных, коротко опрашивал — и по возбуждённым отрывистым сообщениям хотел составить картину утреннего, ещё и сейчас не оконченного боя.

Как всегда по горячим следам, от участников разных мест и ещё друг другу не рассказавших, история выступала полностью противоречивая. Одни говорили, что ночевали сегодня совсем рядом с немцами, только не знали, и немцы тоже не догадывались. Другие: что шли утром, ничего не подозревая, и в походном порядке столкнулись, попали под гиблый огонь, нисколько не готовые и не

окопанные (да *сбоку*, *сбоку* немец стрелял, не спереди!). Третьи: что развёрнуты были к бою заранее и даже по пояс окопались. Из офицеров считали одни, что шли на север и наткнулись на боковую колонну отступающих немцев, что мы их ещё сильнее напугали, чем они нас, — но потом уж очень много артиллерии у них развернулось, жаркий дали огонь. А мы их с востока ждали, на восток приказано было выдвигать охранение. Нет, исправляли другие: Олонецкий даже на запад был развёрнут. Но уж как только немцы из многих орудий ударили („пятьдесят орудий”, „нет, сто!”, „двести!”), да шрапнелью, да над гущей колонн, сразу рвало и дырявило наших десятками, — так и побежали, так всё и перепуталось, там — тысячи легли, из батальона по дюжине оставалось; нет — стояли хорошо, наша рота белозерцев сама в атаку ходила; где в атаку, когда нас к озеру прижали, деться некуда, орудия побросали, даже винтовки — и вплынь.

Но несомненно сходилось, что потери велики, что несколько батальонов нацело разгромлены (а каждый батальон кругло тысяча человек). Несомненно сходилось, что за две недели привыкли не встречать, не видеть и не слышать противника, и гонко, беспечно продвигались по чужой земле без разведки, а где и без сторожевого охранения. И так отшагали вчера за Бишофсбург больше пяти вёрст, перевалили важнейшую для немцев железную дорогу — как бы горизонтальную ось Восточной Пруссии, и дальше маршировали с той же безоглядкой, как у себя в Смоленской губернии, вперемешку со строевыми частями обозы, — и меньше всего ожидали в этой германской стране повстречать ещё какие-нибудь войска, кроме русских. И когда внезапно бой начался — не было ни плана зараньего, ни приказаний. А это сразу чувствует войсковая масса — и разваливается сразу.

Только не попался Нечволодову ни один раненый из своего Шлиссельбургского полка — и ничего нельзя было о полке понять, где он и что.

Плохо, что за спиною Нечволодова солдаты его отряда встречали тех же раненых и даже на ходу успевали узнать для себя достаточно.

На севере погромливалось и сейчас.

При таких порядках впору было Нечволодову, хотя

двигался он позади штаба корпуса, выслать своё сторожевое охранение.

Зной как будто ещё не умерялся, но солнце заметно обходило левое плечо и палило в левое ухо.

Уже открывался просвет и на город — уцелевший, без пожаров, с сероватыми и красными шпилями и башенками, — как слева, по пересекающей грунтовой дороге, Нечволодов увидел походную пыль и определил колонну больше батальона пехоты и с батареей. Она тащилась медленно и тоже без предосторожностей.

Хотя слева как будто не было противника, но ведь и вообще никого слева не должно было быть. Вот так и на скакивают, а потом удивляйся оплошности других.

Однако в бинокль тут же убедился Нечволодов, что это — наши. Впереди той колонны тоже ехал верхом офицер, с одним просветом без звёздочек, только конь под ним шёл беспокойно, избочивался, вывёртывался, мотал оскаленной головой, а всадник понуждал его повиноваться. Ещё увидел Нечволодов по обочине бегущую приметную чёрно-рыжую собачку с крупными крыльчатými ушами. По той собачке, всегда при своей роте, уже многие знали, что это — рихтеровская дивизия.

По темпу движения как раз предстояло всадникам сойтись на перекрестке. Заметив генерала и за ним колонну, тот офицер повернул коня — конь занёс больше, чем надо, был осажен, — и звонко крикнул своим:

— Хэ-ге-ей, суздальцы! Перекур десять минут, ла-жись!

Он весело, ничуть не устало крикнул это, а солдаты его были очень утомлены: они еле сбредали с дороги и, даже скаток с плеч не стянув, лишь винтовки малыми пирамидками составив, на первой же пыльной траве прилегли, хотя сто шагов было до лесной тени и чистой травы.

Офицер подъехал на беспокойном гнедом коне и с лихим изворотом руки доложил:

— Капитан Райцев-Ярцев, ваше псходительство! Полковой адъютант 62-го Суздальского!

Между дерзкими его губами раскрывался один передний золотой зуб. А конь тревожно косил глазом и дёргал головой.

Нечволодов кивнул:

— Не свой?

— Два часа, как взят, ваше псходительство, ещё при-
выкает.

— А вы — кавалерист.

— Был, ваше псходительство, да спёшил Бог за грехи.

Та знакомая неунывность была в капитане, тот лихой огонь, который красит истого кадрового офицера: для войны родились, на войне только и живём! Горело то и в Нечволодове, да притухло с годами.

— Где ж взяли?

— А вот тут поместье брошено, конюшни славные! Советую заглянуть! Около озера, как его...

Сама рука Нечволодова уже тянула с бока и раскры-
вала полевую сумку.

— Ох, карта у вас хороша! Вот: озеро Дидей, купать
...дей! — дорифмовал неприлично шёпотом.

Нечволодов приоткрылся в улыбке:

— А как вы там очутились? Зачем?

— А нашей дивизии семь вёрст не крюк! Мы — гуля-
ли, потом передумали — и назад.

Вился в душу этот весельчак. Но и конь под ним тан-
цевал, нельзя было вместе карту смотреть. Да и солнце
пекло.

— А пойдёмте-ка в тень, — предложил Нечволодов.

Золотозубый капитан охотно кивнул.

Они отдали лошадей.

— Миша! — скомандовал Нечволодов своему адью-
танту — пухлощёкому, розовому (юная кровь так и про-
силась под кожу) поручику Рошко, — пока колонна будет
идти, а ты быстро вперёд, посмотри, нет ли какой доро-
ги обойти Бишофсбург. Если нет — выбери улицы, чтоб
не мимо штаба корпуса.

Круглолицый хитросметливый Рошко всё понял, его
группа поскакала.

Под прохладным увеем леса Нечволодов и Райцев-Яр-
цев сели по-турецки, генерал вытащил и просторнее раз-
вернул свою карту. Поджав пальцы, и безымянный с зо-
лотым кольцом, Райцев-Ярцев мизинцем с удолженным
заострённым ногтем как указкой показывал и бегло ос-
ведомлял.

Их дивизия, три полка без отставшего, вчера занима-
ла здесь фронт лицом на восток, и такие были разговоры,

что противник там зажат в клин и будет оттуда пробиваться. Однако ни выстрела не произвели. Потом велено было стягиваться к Бишофсбургу. Сегодня утром топтались в нём. Перед полуднем командующий корпусом распорядился их дивизии идти на запад, огибать с юга озеро Дидей и дальше идти на Алленштейн, вёрст почти сорок. Так, не успев пообедать, они пошли, никого не встречая, и не стреляя, и морясь от жары, — но вёрст через десять, когда уже озеро обогнули, примчался ординарец от штаба корпуса с новым приказом Благовещенского: тотчас возвращаться к Бишофсбургу и даже стать *восточнее* его. Суздальский полк был последним в дивизионной колонне, первый повернул и вот возвращался. Но за это время приискал с офицером и третий приказ: только Суздальскому полку с двумя батареями идти сюда и стать под Бишофсбургом в распоряжение командующего корпусом. Остальная дивизия должна повернуть на север по тому берегу озера Дидей — и наступать, дабы после озера соединиться с комаровской дивизией, этого бока озера. И ещё так удачно, что Суздальский полк оказался в хвосте, а сказали бы Углицкому — и он продирался бы сюда, через два полка, а Суздальский — продирался бы туда.

Райцев-Ярцев взялся всё это весело рассказывать, будто ему удовольствие доставляла такая путаница, — но перед мёртво-серьёзным Нечволодовым перестал сверкать золотым зубом и лишь постукивал длинным ногтем о пряжку.

О, какой отчаянный оказался у них корпусной командир! — да просто смелей Наполеона! Не устроенный заседать в тыловом благотворительном комитете, он тут смело гуляет по чужой стране, он просто крестит её движениями своих полков. Ему разгромили четверть корпуса спереди — он отправляет полкорпуса налево! Он ничего не боится, ну да! — ведь он ещё до войны сформировал резерв — и теперь Нечволодов пусть ему всё выручит.

Отряд Нечволодова уже шёл мимо них к Бишофсбургу. Батальон Райцева-Ярцева лежал на траве, пушки стояли на дороге, остальные суздальцы ещё не показывались.

Надо было ехать скорее вперёд, искать своих шлисельбуржцев, искать начальника дивизии, — но не так легко сворачивается карта, если тебе над ней сказали что-то

новое: уже известный, десятки раз рассмотренный рисунок завораживает, выявляет и угрожает всё новым и новым.

Кого только могли — оторвали от своих частей, кого только могли — переподчинили, вот и суздальцев — самому командующему корпусом. Безнадёжно запуталось подчинение и ведение командиров. А Рихтер, если даже пройдёт мимо озера Дидей, — с кем же он там соединится, там же наших разнесли? Где тут справа кавалерийская дивизия Толпыги? Её уланский полк раздёргали как корпусную конницу, самой дивизии то и дело меняют направление и задачи. Где тут справа немцы? — они, конечно, ушли давно. Где тут справа Ренненкампф? Зачем ему торопиться, он обсасывает победу, а впереди риск. Пустая земля — ни звука, ни выстрела. Где же слева 13-й корпус?

Немота. Пустой воздух.

— Ну, спасибо, капитан! — жёсткой ладонью Нечволодов пожал руку Райцеву-Ярцеву, вскочил в седло и на рысках с ординарцем погнал к Бишофсбургу мимо своего отряда.

Здесь немцы, видно, готовились к обороне: последних сажень двести перед городом были кряду срезаны обоесторонние кусты вдоль дороги — для обзора и обстрела; и в первом у дороги городском здании — большом кирпичном складе, был проделан десяток бойниц.

Но ничто не понадобилось.

Выходила из города навстречу большая пешая колонна хромающих раненых. Нечволодов уже не расспрашивал, только крикнул:

— Ребята! Шлиссельбуржцев тут нет?

Не оказалось.

У склада ждал его круглолицый спокойный Рошко. Он доложил, что объездной дороги нет, но такие улицы он нашёл и расставил маяков.

Нечволодов поехал искать штаб корпуса — по узким прохладным улицам между утеснёнными домами.

Первое впечатление было, что город населён русскими ранеными, — так много белело бинтов на улицах и из окон. Но были и жители. Одного мирного немца, не старика, и ещё потом двух вели куда-то под конвоем. На углу несколько немцев окружило уланского офицера, и все

сразу что-то горячо говорили ему, и одна за другой показывали то на его шашку, то себе на грудь. Ещё дальше две немки вынесли эмалированные ведра и поили солдат водой, а те шутили с ними.

Нечволодов признал штаб по синему автомобилю Благовещенского и по казакам конвойной сотни. Рошко и другие остались снаружи, сам он крупно взошёл по гранитным ступеням, через арочный вестибюль и стал искать командование.

В штабе всё было в ящиках и на ходу: то ли от недавнего приезда, то ли от скорого отъезда. Ни до Благовещенского, ни до начальника штаба он не добрался, а встретил полковника Ниппенстрёма из генерал-квартирмейстерской части.

— Вы почему здесь? — испугался Ниппенстрём. — Вы ещё не дошли до Комарова? Вас давно уже ждёт Комаров!

— Я быстрее не мог, — даже медленнее обычного, даже холодной обычного отвечал Нечволодов. — Я хотел у командующего...

Ниппенстрём замахал руками:

— Да если корпусной вас увидит — он вам голову оторвёт! Езжайте скорей!..

— Но — куда? Я же не знаю своего задания.

— Как? Вы ничего не знаете? Вам приказано собрать свой резерв и прикрывать отход корпуса. У Сербиновича всё получите...

— Но где мой резерв? Где моя артиллерия?

— Там-там, все на месте, ждут только вас.

— Со мной сапёры, понтонцы, телеграфисты...

— Этих всех оставьте здесь.

— А где мой Шлиссельбургский полк?

— Это должен знать Сербинович. Поезжайте к Сербиновичу! Мы тоже уезжаем! Мы слишком выскочили вперёд...

— А какие немецкие части против нас?

— Мы сами не знаем!

Ниппенстрём спешил: ему надо было второй раз посылать искровку 13-му корпусу о том, что 6-й атакован крупными силами неприятеля и не пойдёт на выручку 13-му в Алленштейн. Уже послали один раз, и 13-й подтвердил приём, но никак не отозвался.

Это движение в сторону Алленштейна выполнять не было сил, но чтоб не иметь неприятностей и отмены своего отказа — докладывать в штаб армии генерал Благовещенский пока не велел, а только сообщить соседу.

В простенке между готическими окнами, в густой тени, Нечволодов постоял, длинный, худой и неподвижный, как забытая рыцарская статуя. Пристучал пальцами по каменной стене.

Чины штаба упаковывали и перетаскивали большой ящик, вроде лежачего шкафа.

И никого больше Нечволодов не искал и не спрашивал. Вышел наружу. Поднялся в седло. Чуть отъехал, выслушивая Рошко, что отряд уже вытягивается на север, а шлиссельбуржцев так нигде и нет.

Тут от штаба услышался шум. Нечволодов оглянулся. Заводили автомобиль. Генерал Благовещенский поспешно спускался наискосок по широким гранитным ступеням, не видя Нечволодова или другого кого на площади. Начальник штаба и ещё кто-то с трубками карт подбежали за ним.

Сели, защёлкнули дверцы. Автомобиль стал разворачиваться по маленькой площади, чтоб ехать назад. Благовещенский снял фуражку и перекрестился открытым полным крестом.

От подпрыгивания или от ветерка растрепалась его седина на бабьей голове, какой и с горшками в печи не управиться.

Нечволодов на рысях повёл свою свиту из города.

— Ваше благородие! Хэ! Ваше благородие! — весело крикнули.

От колодезной очереди Ярослав обернулся к дороге.

Тянулась полубатарей, четыре пушки, и кричал Ярославу тот шароголовый фельдфебель, знакомец по дорожному случаю: позавчера (не месяц назад?) взвод Харитонова вот эти самые, значит, пушки и подмогал вытаскивать из песка.

— О-о! — обрадовался Ярослав и вскинул обе руки, приветствуя не по-офицерски, по-мальчишески. — Водички не хотите?

— А какá водичка? На хлебе не перегнана? — спросил коренастый сбитый фельдфебель, грудь колесом, опять весёлый, как и прошлый раз.

— Соло-одкая, схлебаете! — отозвался ему из очереди чужой пехотинец. — Сверху мусорок, снизу песочек.

Уже солнце сильно сдало на левое плечо, но ещё было жарко.

— Представьте, был колодец досками закидан, но мы разобрали! — криком объяснял Ярослав, однако стыдясь мальчишеской звонкости голоса, никак не умел он огрубить его. — И вода очень сносная, вот все набирают!

Фельдфебель снял фуражку и замахал своим остановиться. У него была маловолосая, вся круглая, вся жёлтая голова, как головка сыра, только крупней. И приделаны были к ней спереди пшеничные усы — толстенькие, а потом с острями.

Колодец был у начала раскинутого хутора из нескольких домов на широкой поляне. Пушки приняли в сторону. Ездовые несли вёдра для лошадей, а орудийная прислуга волокла бидон с винтовой крышкой, да наверно уже немецкий.

Вызывала зависть артиллерия, что на колёсах везёт себе лишнее необходимое. Но и другую зависть, Ярослав пожаловался фельдфебелю:

— У вас солдаты как солдаты, чес-слово! А у меня — от сохи да сразу в Германию, что с ними делать?

Фельдфебель улыбался довольно:

— У нас — наука. Сохатых нельзя.

Фельдфебель такой был важный, плотный, и заметно старше Ярослава, что юному подпоручику неловко было перед ним за свои звёздочки, неловко быть чином выше да, при тонкости фигуры, и ростом. Всю эту неловкость Ярослав старался искупить вежливым невоенным обращением:

— Как мне вас называть, простите?

— Фельдфебель, как! — улыбался тот, вытирая пот с загорелого лица.

— Ну что вы! По имени-отчеству!

— По имени-отчеству в армии не зовут, — шевельнул усами сыр.

— В человечестве — зовут.

— Меня и в человечестве всю жизнь только Терентием.

— А фамилия?

— Чернега. — И спросил, как не спросил: — А вас? — потому что мимо Ярослава и колодца, туда, на хутор, насторожились его глаза и маленькие уши. И тут же он командовал фейерверкеру, почти не ища и не оборачиваясь: — Коломыка! А як бы не куры там кудахчут! Сходить с двумя хлопцами. Чувал визмить, та палками их!

Ярослав огорчился: такие хорошие артиллеристы, такой хороший фельдфебель — и туда же? кто ж тогда устоит? Предупредил:

— А хутор уже почистили. Жителей нет, петуху последнему голову оторвали. В саду, правда, яблоки.

По саду слонялись солдаты, видно было отсюда. И ещё другие сочились туда, неспрошенно, недосмотренно. Впрочем, кажется, не из харитоновского взвода, эти рады были, безногие, посидеть, пока не гонят.

Но Чернега не поддался:

— Ни, там, за посадкой, подале, я ж чую. Та визмить ще два ведра, довидайтесь по закромам. Як що овёс — то кликайте, будем завертать.

Распоряжался Чернега уверенно, не спросясь своих офицеров. Но видя огорчение услужливого веснушчатого подпоручика, пояснил:

— Без чего артиллерия буты не може? Без овса та без мясца. Кони пушек не тянут, руки снарядов не подымают. А як в кобуре ще и гусь жареный — о то война!

Это он нараспев добавил, и обмаслилось его лицо, представя гуся жареного, и ничего греховного как будто и правда не было в этом выражении и в этом желании. А с другой стороны, если подумать... Мучило это Ярослава.

— Солдат — добрый человек, да шинель его хапун, — ещё успокаивал Чернега. — Мы только по прозвищу *лёгкая*. А пушка наша в походном положении — 125 пудов. А снаряд едва не полпуда, вот и покидайся.

На большом лежачем бруске сидел Козеко, поджав ноги, и на коленях записывал в свою неизменную книжку по-

левых донесений. В постоянном насмотре и наслухе он чутко поглядывал и на Чернегу. Неодобрительно.

Тут ротный крикнул издали:

— Поручик Харитонов! Остаётесь за меня, я — скоро! — и с двумя солдатами надал мимо хутора и с заворотом за посадку, куда уже послал своих хлопцев Чернега.

Козеко остро посмотрел ему вслед. И опять в книжку донесений. Записывал и грыз яблоко — то ли кислое, то ли от всей неприятности морщась.

Колодец был обетонирован и с шеломком наверху, от него уже длинная тень. С гульным грохотом в бетонной трубе одно и то же прицепленное ведро быстро спускали и поднимали сильные солдатские руки, крутя валик и выбирая цепь. Тут же переливали в котелки, в другие вёдра, торопя друг друга, браня расхлебаями и безрукими, подталкивая и наплескивая. грязи вокруг, а уже опорожненные выпитые котелки снова со звяком совались, ища себе струи. Наполненные артиллерийские вёдра бегом, но без росплеска, относились разнузданным крупным нежным лошадиным губам. Рычали на артиллеристов, что по таким бидонам никакого колодца не хватит, впрок не наливать! Эй, впрок не наливать, пей здесь, сколько брюхо терпит! И на головы не лить, э, вы, охломоны — вон, в озеро беги, суйся по шею!

За своим гомоном, бранью и звяканьем все уже привыкли и как будто даже не слышали непрерывного общего гула слева, на подсолнечной стороне, гула боя. И вёрст до того боя не было много, но много было озёр. Весь день сегодня, сколько они шли, всё были слева озёра, большие и маленькие, вплотную и отдаля, — и так не одною волею начальства, но и этими озёрами отклонялся их путь на север, безопасно отгораживался от смежного боя.

Озёра были и справа. А час назад протащились они по узкому, трёхсотсаженному лесному перешейку между двумя большими озёрами Плауцигер и Ланскер — простой глаз лишь смутно видел другие берега. И так загнались они в длинный лесной безлюдный коридор между этими озёрами, хотя и отступившими, и теперь только то могло касаться их дивизии, что было в этом коридоре, — а не было тут ничего, никого.

Поднесли Терентию напиток. Холодна была вода, схватывала горло, и с мутью — а нутро требовало, ещё и ещё.

Сел Чернега на тот же брус, приглашая рядом Ярослава. Достал кисет с махровыми завязками, распустил.

— В трубочку табачку всё горе закручу. Не курите, ваше благородие?

По чёрному шёлку кисета малиновыми нитками вычурно, терпеливо, с отростками было вышито: Т. Ч.

— Скажи, аж земля гуркотит, — посматривал Чернега на подсолнечную сторону. — А мы тут идём, лесов не обшариваем, а небось на соснах сидят, в бинокли смотрят на нас — и называют, и называют. Вот прям' сейчас там сидят — и в немецкий штаб про нас звонят, как мы тут воду пьём, — уверенно говорил Терентий, глядя на обступивший лес. Но, в противоречие с тревожным смыслом, не порывался бежать туда и даже нисколько не волновался — то ль от лени, то ль от упитанности силою.

Зато подпоручик Козеко встревоженно поднял голову, отозвался:

— А сторожевое охранение! Так быстро гоним, что боковые дозоры идут положительно рядом с ротами! А передние дозоры мы иногда своей колонной обгоняем. Да нас ничего не стоит из пулемёта перестрелять.

— Главное, — тревожился и Харитонов, — ничего не понятно. Уже пятнадцать вёрст и сегодня отмахали. И ещё, говорят, надо десять до вечера. Самые свежие новости — от денщика полкового командира. Сегодня утром пустили слух, что к нам на помощь идёт японская дивизия!

— Таку балачку и я слыхав, — кивал Чернега, благодушно дымя. Так и пышело от него могутой, к делу даже излишней.

— Ну что за вздор? Откуда японская? То ли наша изпод Японии?..

— А то говорят: сам Вильгэльм в Восточной Пруссии войсками командует, — ещё поддавал Чернега, так же, впрочем, мало озабоченный и Вильгельмом.

Старшее, доброе и верное чувствовал Харитонов в Чернеге. И хотя не полагалось бы офицеру жаловаться фельдфебелю на дурость начальства:

— А позавчера? Туда и обратно тридцать вёрст без

толку прогоняли! Ну, туда на помощь шли, ладно, не понадобилось. А обратно — можно было догадаться наискосок нас пустить? Зачем же опять назад в Омудефен? Мы ж без Омудефена могли! И тоже бы днёвку имели, как та дивизия.

Курил Чернега, понимал, спокойно кивал. Вот это спокойствие его, всё принимающее, особенно хотелось бы Ярославу перенять.

— И сзади час назад ружейную стрельбу вы слышали? — вёл своё Козеко. — Вполне свободно, что немцы в тыл прорвались.

Чернега боком закусил трубку:

— А про шо он там пишет? Он нас там не записывает?

Смеялся Ярослав.

— Вы — кадровый?

— Ни, дуракив нэма.

На его шаровой голове фуражка сидела лихо набекрень — а держалась прочно.

Не знал Ярослав, как и спросить то, что ему надо: что за человек этот фельдфебель? как его в понимание уложить?

— А... житель вы — городской? или деревенский?

— Та так... по уездам... — затруднился Чернега, без удовольствия отвечая.

— А губернии?

— Та вроде Курской... Чи Харьковской. — Хмурился.

Ярославу отставать было жалко от этого сочного богатырька, но не знал, как разговор с ним вести:

— Женаты, дети есть? — благоприязненно спрашивал он, как бы даже сам за Чернегу отвечая вперёд утвердительно.

Посмотрел Чернега на подпоручика глазами-шариками перекатными:

— Та зачем жениться, як сосед женат?

Тут — лётом, полным бегом подбежал посланный фейерверкер и доложил своему фельдфебелю негромко, чтоб чужие не перехватили:

— И овёс! И окорока копчёные! И — пасека. Помещика нет, утром уехали. Сторож один, поляк, говорит — берите! Я пока часовых там поставил! Скорей надо! Пехота уже лошадей хватает, птицу бьёт.

Вмиг оживился, поделовел, вскочил Чернега на сильных коротких ногах, только и ждал, закричал:

— Хло-опцы! Живо по коням! Тро-гай! — и Коломыке: — Веди колонну, а я капитану доложу.

Головка сыра, всё ещё в поту, под сбекренной фуражкой глядела щелковидно, уверенно.

И дружно потянули пушки к завороту, стали там, а зарядные ящики завернули за посадку.

Навстречу же им из-за посадки бойко выкатили две двуконных брички и рессорный тарантас.

Настороженный Козеко ничего не упустил, издали разглядел, определил — и объяснил тотчас:

— Ну вот, то батальонный в бричке покатил, а теперь и ротные на бричках, и батюшка в тарантасе. Нижних чинов — за кучеров, скоро некому будет воевать.

— Ладно! — рассердился Ярослав. — А вы яблочек за чем набрали?

— Да чёрт попутал, — без сожаления отбросил Козеко недоеденное яблоко. — Не нужно мне от Германии ничего, живым бы только...

— Вы — останетесь! Вы — наверняка останетесь!

— Почему вы так думаете? — с надеждой смотрел Козеко от своего блокнотика. — Конечно, прямое попадание мало вероятно, но шрапнель...

— Бережёного Бог бережёт! Вас пошлют на закупку скота! Убирайте дневник, стройте своих!

Не высоко уже солнце стояло, и даже без боя было им сегодня тянуться до темноты и в темноте. Подошёл к колодцу другой батальон, а передние роты их батальона уже строились, тронулись. Стал Ярослав скликать и строить свой взвод.

Сзади, обгоняя и раздвигая спотычливую бредущую пехоту, ехало верхами несколько штаб- и обер-офицеров в сопровождении шестёрки казачьей конной стражи, двое всадников со свежими бинтовыми повязками. Передний полковник, мрачный, небритый, приостановил лошадь, посмотрел на Харитонова. Тоненький готовный Харитонов подбежал, выровнялся, отрапортовал.

Тут как раз из-за посадки донёсся отчётливый, далеко слышный свиной визг.

— Это ваши солдаты грабят, подпоручик?

— Никак нет, господин полковник! Мои — здесь.

— А почему не маршируете? Где командир роты?

Харитонов мотнул головой, но бричка с ротным куда-то пропала.

— Я — за него! — вспомнил он.

— Будете наказаны! — говорил полковник, но без зла, рассеянно. — Известно ли вам, что был приказ на форсированный марш? Сегодня вам надо выйти на железнодорожную линию и ещё по линии направо пять вёрст. А вы у колодца расхлюпались. Где командир батальона?

— Впереди.

Ещё меньше понимал Ярослав: немцы слева, а мы поворачивать направо?

Всадники тронули. Если б сами они понимали что-нибудь в этом лесном межозёрном блуждании!

То были офицеры штаба 13-го корпуса. Час назад они едва минули смерть: приняв за немцев, их густо обстреляла своя пехота. Такое они и предполагали (вчера таким же своим обстрелом испорчен был штабной автомобиль), для того и взяли шесть казаков сопровождения, чтоб их отличали по пикам, — и всё равно, в двухстах шагах своя пехота приняла их за первых, наконец, немцев и накинулась.

Они ехали с новейшим приказом штаба армии: ускорить движение их корпуса на Алленштейн! А от 6-го корпуса, потерянного далеко справа, пришла неожиданная искровка, видимо важная, ибо передана была раз за разом, дважды. Однако никто в штабе 13-го корпуса не сумел той искровки расшифровать: почему-то не сходился код. И в штабе не знали, что думать.

Верховые постояли у пушек, нагнали одного командира батальона в бричке, другого, — и всем полковник грозил, внушал, как форсированно надо двигаться.

Обогнав полк, ещё через три лесных версты они достигли выложенных у дороги двоих немцев, гражданских, исколотых пиками, изуродованных ударами.

— Ваших станичников работа, не сомневаюсь, — сказал полковник старшему уряднику, раненому, когда оставливал стрельбу пехоты.

Урядник пожал плечом, ничего не ответил, челюсть его была подвязана.

А в стороне из одинокого дома валил густой чёрный дым, предвестник ярого огня.

В пять часов вечера, только и дождавшись Нечволодова, чтоб отдать ему приказание занять позиции и удерживать, а о дальнейшем будут распоряжения письменные, начальник дивизии генерал Комаров со штабом отбыл вослед за штабом корпуса. Задание дал он не по карте, а кружа кистью в воздухе, что „крайне неожиданным” было сегодняшнее наступление немцев с севера, он даже не уверен, что это — их истинное направление, может быть загнули крыло, но во всяком случае с севера Белозерский полк держит оборонительную линию, где и надо его сменить. При этом просит он Нечволодова не принять за немцев и не обстрелять половину дивизии Рихтера, которая уже идёт вокруг озера Дидей с запада и вот-вот подойдёт сюда на помощь. Начальник штаба дивизии полковник Сербинович не мог объяснить Нечволодову не только расположения и сил противника, но и расположения и состояния оставшихся на позиции наших частей. Тяжёлый и мортирный дивизионы он обещал ему там, дальше, впереди, а один батальон ладожцев для какой-то цели отобрал. Пока не мог он ничего точно сказать о Шлиссельбургском полке, прошлой ночью выдвинутом в сторону, на восток, и не мог точно назвать, где будет теперь штаб дивизии, но обещал регулярно присылать ординарцев.

И тут же скрылись они так быстро, что Нечволодов не управился даже заметить их отъезд. Попался ему подпоручик из Белозерского полка и доложил, что сам видел, как командир их полка только что сел в автомобиль с Комаровым, и они уехали в Бишофсбург. А их полк? А Белозерский полк понёс утром большие потери и сейчас получил приказ полностью отходить. Но батальона два ещё там, впереди, на позициях.

И так, оставшись с двумя батальонами ладожцев, Нечволодов продвигался дальше, ища свою артиллерию. Он

осторожно, с дозорами, двигался вдоль железнодорожной целёхонькой линии к станции Ротфлис, от которой дуга полотно плавно переходила и в поперечную магистраль. И тут, позади рощицы, действительно увидел на огневых позициях одну батарею 42-линейных пушек, дальше одну батарею тяжёлых гаубиц, где-то и остальные должны были быть.

Заложенную грудь генерала — откладывало.

Едва достиг Нечволодов каменной будки на станции Ротфлис, к нему явились туда и командир mortarного дивизиона с трубчатыми чёрными усами и командир тяжёлого дивизиона полковник Смысловский — невысокий, лысый вкруговую до сверкания, но с длинной, как у волшебника, серо-жёлтой бородой и очень уверенным видом.

За минувшие недели Нечволодов раза по два видел обоих, но сейчас особенно заметил радостно-горящие глаза полковника, будто он только и ждал стрелебной работы, просто сиял, что дорвался до неё. (Да уже в том была радость, что не бросать оборудованных позиций.)

— Дивизион — весь? — спросил Нечволодов, пожимая руку.

— Все двенадцать! — тряхнул Смысловский.

— Снаряды?

— По шестьдесят на ствол! В Бишофсбурге — ещё, можно подвезти.

— Все на позициях?

— Все. И связаны телефонами.

Это была новинка последних лет: связывать проводами наблюдателей и закрытые позиции батарей, ещё не все умели хорошо.

— И хватило проводов?

— И сюда притяну. Вот, mortarцы помогли.

Дальше не спрашивал Нечволодов, некогда, хотя б и украли, да и видел, как mortarный полковник довольно провёл себя по трубчатым усам.

— А у вас?

— По семьдесят.

Всё остальное здесь не выговаривалось, само было ясно: что будут стрелять, что без приказанья не побегут. Удача! — такие орудия, такие командиры и проводная связь!

И всё сошлось на остриё, на одну-три-пять минут: на-

до понять местность; отделить, где враг, где мы; выбрать оборонительные линии; отправить туда ладожские батальоны; выбрать с артиллеристами общий наблюдательный пункт; тянуть связь; пристреливать репера. И если за эти одну-три-пять минут будет огляжено, выбрано, послано, скомандовано не в том порядке или неверно, — то за следующие полчаса не будет верно сделано, и если именно в эти полчаса немцы повалят или начнут бить — ничего не стоят наши сияющие глаза, наша связь проводная и шестьдесят снарядов на ствол: мы побежим.

Был тот военный момент, когда время сжимается до взрыва: всё сейчас, ничего потом!

— Тут есть водокачка! — объявил Смысловский. — А дальние репера у нас пристреляны, только продвинулся он.

Нечволодов молча нагнул голову под низкую будку и вышел.

И артиллеристы за ним.

Бегом пробежали они через нагретое, в масляном жарком запахе, рельсовое полотно.

Нечволодов поманил одного батальонного командира (полкового у него тоже не осталось, да и лишнее) — и велел тотчас идти сменять батальон белозерцев, а если плохо линия выбрана — и её сменить, да вкопаться хоть немного, если жить хотят.

За дальним лесом раздался негромкий пук, звук нарос — и жёлтое облачко немецкой шрапнели рвануло впереди, левой и выше водокачки.

— Они уже сюда сегодня бросали, — одобрительно сказал Смысловский. — Но мы молчим — перестали.

Поднялись по внутренней деревянной лестнице, Нечволодов на ходу выправлял бинокль из-под ремней. Выше лестницы оказалось помещение с обзором на запад и север. Уже сидели тут телефонисты при двух зуммерных телефонах. Западное окно было остеклено и низким жёлтым солнцем ослеплено, туда сейчас не смотрелось. А северное — с хорошим видом, рама вышиблена, и не отсвечивал немцам бинокль.

В простенке на ларе, около телефонов, развернули и карту.

Из обстановки знали они только то, что своими глазами видели, да по собственному соображению.

Бросили немцы один фугасный снаряд, другой. Тоже репера, наверно. За магистральной железной дорогой в Гросс-Бессау было скопление, шевеление. И по опушке леса. Но ни колонны, ни цепи сюда не продвигалось.

Могли, однако, всякую минуту пойти.

— А там, под Гросс-Бессау, наших не осталось? Мы по своим не лупанём?

— Наверняка нет, я уже заключил.

— Осталось — и много, — сказал серьёзный мортирный усач. — Именно там — слишком много.

В самом деле: до Ротфлиса не было трупов. Все трупы — впереди. Но уже под вопрос „наши?“ — они не вполне подходили...

— Солнце слева, на север хорошо стрелять! — объявил Смысловский. — У них вон тригонометрическая вышка — ах бы сшибить!

Слева же, от озера, постреливала немецкая батарея. Значит, и пехота какая-то там. Значит, и Рихтера не ждать.

И распорядился Нечволодов другой батальон ладожцев поставить лицом на запад. И полковую пулемётную команду разделить на два фланга.

А больше у него не осталось никого. Ещё был целый полукруг направо, на северо-восток и восток, — но ставить там было некого. Зачем-то забрал Сербинович батальон ладожцев — и Нечволодов отдал молча.

Когда-то в молодости он горячился всё оспаривать. Но за долгую службу свело кислотой скулы, и он молчал: и когда можно смолчать, и когда надо перемолчать.

Впрочем, справа вот-вот могли показаться пики кавалеристов Ренненкампа.

Впрочем, как и на японской войне, кавалерией в основном не воюют: кавалерию на войне в основном берегут. По сохранению кавалерии хвалят командующих.

Замер, умер, онемел Ренненкампа.

И, стало быть, верно делал Благовещенский, что отходил? с кем же ему смыкаться?

Если Вторая армия входила в Пруссию, как голова быка, то они тут сейчас, на станции Ротфлис, были остриём правого рога. Рог вошёл в тело Восточной Пруссии уже на две пятых глубины. Держа станцию Ротфлис, они

пересекали главную и предпоследнюю железную дорогу, по которой немцы могли перебрасываться вдоль Пруссии. Ясно, что немцы без этой станции жить не захотят. И разумно было всему 6-му корпусу именно сюда.

Но и за то уже спасибо судьбе, что над ними не осталось суетливых дураков, того положения нет страшней. Хрупкая кучка их составляла кончик рога — но от них зависело хоть не делать глупостей.

Пришли два командира батареи, начали кричать команды.

До темноты бы можно продержаться — лишь было бы кого поставить направо с заворотом.

Сверху видно было движение отходящих белозерцев — шла пехота и гнали двуколки стороной от станции, под лесом. Немцы били грозней — и уходящие радовались убратся из невозможного места.

Нечволодов спустился с водокачки.

К нему крупными шагами бежал, как прыгая, рослый офицер с дородным, чистым и отчаянным лицом. Из последнего шага-прыжка он остановился перед генералом враз, честь приложил с размаху едва ли не сзади уха и доложил близким басом:

— Ваше превосходительство! Подполковник Косачевский, командир батальона Белозерского полка! Считаю низостью вас покинуть! Разрешите нам не отступить!

Но сказала нехватка равновесия, он пошатнулся, чуть не навалившись на генерала. Всё то же отчаяние было в его смелых глазах под писаными бровями.

Нечволодов смотрел, как не понимал.

Потом жестокой гримасой повело его губы вбок. Ответил недовольно:

— Ну-у... ну, что ж...

И длинными руками обнял Косачевского, как тот и валился.

А вереница поодаль отступала. Катились двуколки, ковыляли, хромали и шли люди.

Могли ли они так хотеть — остаться? Или их офицеры только? Или один Косачевский?

— Сколько ж вас?

— Да выбило. Да две с половиной роты есть.

— Заворачивайте. Станете вот где, покажу, направо...

Уже радостно завывали по одному наши снаряды, улетающая на пристрелку.

И из разных мест подлетали немецкие фугасы — стальным бичом — и в чёрный фонтан.

И вот уже очередями.

А вот — и наши погнали очереди. По четыре, это Смысловский. По шесть, это мортирцы.

И лысый бородатый, потирая руки и притопывая, и приплясывая, встретил Нечволодова вверху на водокачке:

— Сшибли, ваше превосходительство! Тригонометрическую — мы им сшибли!!!

Но — не успел Нечволодов поздравить: шорох гигантского падающего дерева — и свист жестокий! сюда!!!

Сотряслась и пылью задымилась водокачка.

21

Когда бьёт артиллерия — и без разведки ясно, что противник не бежит, что противник силён. Когда бьёт артиллерия, то на силу и мощь этого грохота возрастает воображаемая сила врага. Чудятся там, за лесами и пригорками, такие же грозные наземные массы — дивизия, корпус.

А их, может быть, и нет. А их может быть два батальона некомплектных да один потрёпанный, и только первые удары сапёрных лопаток долбят одиночные ячейки.

Но надо для этого, чтоб артиллерия была не дурово — толково. И чтоб снаряды её не пресеклись. И чтоб стояла она хорошо, не давая себя засечь ни по дымкам, ни по вспышкам — ни при солнце, ни, с упадом его, в сумерках.

Именно так всё и было у Смысловского и мортирного полковника. Именно этого и ожидал от них Нечволодов, с первого взгляда признавши в них природных командиров. А если командир природный — то успех военного события зависит от него больше, чем на половину. Не просто храбрый командир, но хладнокровный и берегущий своих от потерь. Только такому и верят: если скамандует в атаку — значит край, значит не избежать. Таким при-

родным командиром ощущал Нечволодов и сам себя, едва не от рождения. Это и дало ему силу в 17 лет добровольно покинуть военное училище, избрать действительную службу, на ней дойти до подпоручика не позже своих оранжерейных сверстников, ученье начать сразу с академии генерального штаба, и в 25 лет окончить её не только по первому разряду, но через чин перескочив за выдающиеся отличия в военных науках.

Сегодня сошлось их счастливо трое, да нанёс Бог Косачевского, и жалкой своею горстью они выполнили невозможное: в узком месте у станции Ротфлис на всё предвечернее время остановили какие-то крупные, всё растущие, с густой артиллерией силы врага.

Сперва, в начале седьмого, после короткого огня, немцы пошли с севера даже не цепью, а колонной, так уверенные от дневного успеха.

Но тут два дивизиона, с пяти утаённых огневых позиций, в двадцать четыре орудия, повернувши от реперов, накрыли наступающих косым дождём шрапнели, затолкли их чёрными столпами фугасов и загнали назад, в невидимость рельефа и леса.

А наши батальоны спешили вкапываться.

Немцы замялись, замерли.

А солнце медленно сползало.

Готовность тут и остаться, никуда не отступить, этот бой принять как главный бой своей жизни и последний бой, завершающий всю военную карьеру, — естественное ощущение природного командира.

Так и стояли они сегодня, вынужденные противником, расположением, обстановкой. Но не худо было бы им всё же иметь приказ: как надолго поставлены они здесь? будет ли подсоба? и что делать дальше?

Однако, ничего не приходило им. Не приезжал обещанный связной — ни с указанием, ни с объяснением, ни даже посмотреть — живы ли тут. Отъехав поспешно, штаб корпуса и штаб дивизии как бы забыли о своём оставленном резерве — либо уж сами перестали существовать.

В 18.20 Нечволодов послал записку начальнику дивизии, испрашивая дальнейших распоряжений. Ехать с этой запиской предстояло ординарцу неизвестно куда.

Немцы потратили сколько-то времени на наблюдение,

на перестройку. Вздупли и стали поднимать привязной аэростат — с него б засекли наверное все наши батареи — но что-то не сладилось, он не поднялся. Тогда открыли тройной огонь, разнесли до конца водокачку, разрушили всю станцию (штаб резерва перебежал в надёжный каменный погреб), — наконец стали продвигаться, но цепями, осторожно, по рубежам. Не обнаруженные и не подавленные, тут снова сказались русские батареи и накрывали те рубежи, мортирным крутым огнём захватывали накопления за укрытиями.

А солнце зашло за озером. И сразу за ним, у кого зрение острое, можно было различить, как туда же клонился молодой месяц. Кто увидел его из русских — увидел через левое плечо. А немцы — через правое.

Смеркалось. Сильно холодало, переходя в звездистую ночь. От холодка быстро рассеивалась, уходила вверх гарь стрельбы, запахи разрушения. Все надевали шинели.

Около восьми часов немцы замолчали: то ли по общей человеческой склонности принимать вечер за конец дневных усилий, то ли не всё было у них ещё готово.

Распорядясь тотчас же всех кормить уже сваренным, соединённым обедом и ужином, а батальонам выдвинуть полевые караулы, Нечволодов поднялся на стену разбитой станции, оттуда последние серые минуты изглядывал местность. Пока виден был циферблат карманных часов, он удивился в восемь и удивился в четверть девятого: прошло три часа, но никто не ехал из штаба дивизии.

Тогда, осторожно спустясь по разваленной стене, а потом и в погреб, на весь арочный спуск бросая длинную тень за собою вверх, Нечволодов достиг до нижней свечи, присел на корточки и на коленях написал начальнику дивизии:

„20.20, станция Ротфлис.

Бой стих. Тщетно отыскивал ваше расположение. (Как ещё написать снизу вверх: „вы бежали?“.) Занимаю позиции с двумя батальонами Ладожского полка у ст. Ротфлис. (О батальоне Косачевского писать нельзя: ведь это дисциплинарное нарушение, что он не отступил...) Ищу связи с 13-м, 14-м и 15-м полками. (То есть: со всей остальной дивизией, как ещё крикнуть?) Жду ваших распоряжений.”

Выйдя из погребца, отправил нарочного.

И различил почти в темноте, как быстрыми шагами шёл к нему невысокий бородатый Смысловский.

Обнялись. Фуражка того ткнулась Нечволодову в подбородок.

И прихлопывали по спине друг друга.

— Весёлого мало, — сказал Смысловский радостным голосом. — Снарядов осталось десятка два, у мортирного тоже. Я послал, но не уверен, привезут ли, — что там в Бишофсбурге делается?

Перевести батареи в походный порядок? Это уже отступление.

Но вот что было успехом: по обоим дивизионам всего несколько раненых, и то легко. Собрались донесенья из батальонов — совсем немного и у них, несравнимо с утренним.

Кто упирается — тот не падает. Падает тот, кто бежит.

— Я осколки подобрал, — радовался Смысловский. — Они тут кидали из мортирок, видимо, двадцать одного сантиметра — нич-чего!! Этот погреб — тоже развалит.

Приходили раненые из батальонов. Перевязочный пункт с занавешенными окнами отправлял их в Бишофсбург.

Лёгкий стук повозок выдавал шоссе.

На станции перебежали штабные, связные, переговаривались телефонисты, санитары — сдержанно, но довольный был гулок отовсюду. Долгой дневной дорогой столько повстречав сегодня раненых и перепуганных, все нечволодовцы теперь ощущали себя победителями.

Холодела безветренная тишина. Ни звука от немцев. В темноте не было видно разрушений, простирался куполом мирный звёздный вечер.

— В девять будет — четыре часа, — сказал Нечволодов, сидя на гнупом и покатою своде погребца. — Скоро ли девять?

Присевший рядом Смысловский задрал голову в небо, поводил:

— Да вот-вот, уже подходит.

— Откуда вы... ?

— По звёздам.

- И так точно?
- Привык. До четверти часа всегда можно.
- Специально занимались астрономией?
- Порядочный артиллерист обязан.

Знал Нечволодов: пятеро их было братьев, Смысловских, и все пятеро — артиллерийские офицеры, и все деловые, даже учёные. Которого-то из них Нечволодов уже встречал.

- Вас как зовут?
- Алексей Константиныч.
- А где братья?
- Один — тут, в первом корпусе.

Нащупал Нечволодов в кармане шинели забытый электрический фонарик — немецкий ладный фонарик, где-то найденный сегодня и ему подаренный унтером. Засветил на часы.

Было без трёх минут девять.

И, не сходя с погребца, распорядясь негромко, чтобы приготовили конного, стал подсвечивать себе на полевую сумку и, водя световое пятно, писал химическим карандашом:

„Генералу Благовещенскому. 21.00, станция Ротфлис.

С двумя батальонами ладожцев, мортирами и тяжёлым дивизионом составляю общий резерв корпуса. Ввёл ладожские батальоны в бой. С 17.00 не имею распоряжений начальника дивизии. Нечволодов.”

Кому было ещё писать? И как было ещё на военном языке объяснить им: уже четыре часа, как все вы бежали, шкуры! Отзовитесь же! Тут — можно держаться, но где вы все??

Прочёл Смысловскому. Рошко отнёс нарочному. Нарочный поскакал. Ещё приказал Нечволодов: усилить сторожевое охранение батальонов.

И молчали. На косой крыше погреба, подтянув колени, приобняв их руками, Нечволодов молчал.

Разговориться с ним было нелегко. Хотя знал Смысловский, что это генерал не такой простой, на свободе он книги пишет.

- Я вам мешаю? Я пойду?
- Нет, оставайтесь, — попросил Нечволодов.
- А зачем — непонятно. Молчал, и голову опустил.

Время тянулось. Неизвестное что-то могло меняться, шевелиться, передвигаться в темноте.

Отдельно высказать это страшно: потерять жизнь, умереть. Но вот так сидеть двум тысячам человек в затаённо-гиблой, мирной темноте брошенными, забытыми, — как будто пока и не страшно.

До чего было тихо! Поверить нельзя, как только что гремело здесь. Да вообще в войну поверить. Военные таились, скрывали свои движения и звуки, а обычных мирных — не было, и огней не было, вымерло всё. Густо-чёрная неразличимая мёртвая земля лежала под живым, переливчатым небом, где всё было на месте, всё знало себе предел и закон.

Смысловский откинулся спиной, на наклонном погребе это было удобно, поглаживал длинную бороду и смотрел на небо. Как лежал он — как раз перед ним протянулась ожерельная цепь Андромеды к пяти раскинутым ярким звёздам Пегаса.

И постепенно этот вечный чистый блеск умирил в командире дивизиона тот порыв, с которым он сюда пришёл: что нельзя его отличным тяжёлым батареям оставаться на огневых позициях без снарядов и почти без прикрытия. Были какие-то и незримые законы.

Он полежал ещё и сказал:

— Действительно. Дерёмся за какую-то станцию Ротфлис. А вся Земля наша...

У него был живой, подвижный, богатый ум, не могущий минуты ничего не втягивать, ничего не выдавать.

— ... Блудный сын царственного светила. Только и живёт подаванием отцовского света и тепла. Но с каждым годом его всё меньше, атмосфера беднеет кислородом. Придёт час — наше тёплое одеяло износится, и всякая жизнь на Земле погибнет... Если б это непрерывно все помнили — что б нам тогда Восточная Пруссия?.. Сербия?..

Нечволодов молчал.

— А внутри?.. Раскалённая масса так и просится наружу. Толщина земной коры — полсотни вёрст, это тонкая кожица мессинского апельсина, или пенка на кипящем молоке. И всё благополучие человечества — на этой пенке...

Нечволодов не возражал.

— Уже однажды, десять тысяч лет назад, почти всё

живое было похоронено. Но это ничему нас не научило.

Нечволодов покоился.

Возник и длился между ними заговор умолчания. Смысловский не мог не знать нечволодовские „Сказания о русской земле” для народного восприятия, а, принадлежа кругу образованному, очевидно не мог их одобрять. Но как вся война, действительно, ничтожна перед величием неба, так и рознь их отступала в этот вечер.

Отступала, но не вовсе терялась. Вот упомянул он Сербию. Сербия была давима хищным и сильным, и защита её не могла умалиться даже перед звёздами. Нечволодов не мог тут не возразить:

— Но где же был бы предел миролюбию Государя? Неужели оставить Сербию в таком унижении?

Эх, мог бы, мог бы Смысловский ответить. Слишком много дурной экзальтации в этой славянской идее — и откуда придумали? зачем натащили? И всех этих балканских ходов не разочтёшь.

Но сейчас — душа не лежала так мелко спорить.

— Да вообще: откуда жизнь на Земле? Когда Землю считали центром Вселенной — естественно было и считать, что все зародыши вложены в земное существо. Но на эту маленькую случайную планету? Все учёные остановились перед загадкой... Жизнь принесена к нам неведомой силой. Неведомо откуда. И неведомо зачем...

Это уже нравилось Нечволодову больше. Военная жизнь, состоящая из однопонятных команд, не допускала двойственного толкования. Но в размышлениях досужных он верил в двойное бытие, откуда и производились чудеса русской истории. Только говорить об этом было труднее, чем писать, говорить почти невозможно.

Отозвался Нечволодов:

— Да... Вы широко всё... А я шире России не умею.

То и плохо. Ещё хуже, что хороший генерал писал плохие книги и видел в этом призвание. Православие у него всегда право против католичества, московский трон против Новгорода, русские нравы мягче и чище западных. Гораздо свободнее было разговаривать с ним о космологии.

Но уже и он двинулся:

— Ведь у нас и России не понимают. *Отечества* — у

нас девятнадцать из двадцати не понимают. Солдаты воюют только за веру и царя, на этом и держится армия.

Да что солдаты, когда и офицерам запрещено разговаривать на политические темы. Таков приказ всеармейский, и не дело Нечволодова этот приказ осуждать, раз он высочайше одобрен. Однако приняв под командование 16-й пехотный Ладожский полк, и не мог бы он на минуту забыть, что именно этот полк, вместе с Семёновским и с 1-й Гренадерской бригадой, только и были опорой трона в Москве в мятеж Пятого года.

— Тем более важно, чтобы понятие Отечества было всеобщим сердечным чувством.

Всё-таки подводил он как бы к своей книге, а разговаривать о ней серьёзно было неудобно. Сам-то Алексей Смысловский по развитию перешагнул и царя, и веру, но как раз отечество он очень понимал, он понимал!

Однако поплетись их разговор туда — по незвучавшим тропкам — должен был бы и Смысловский признать, что очень уважал он своего покойного тестя генерала Малахова, а именно тот, генерал-губернатором Москвы, и подавил восстание Пятого года.

— Александр Дмитриевич! А правда, я слышал, вы ещё в прошлое царствование предлагали реформу офицерского корпуса? гвардии, порядка службы?

— Предлагал, — безрадостно, бесчувственно выразил Нечволодов.

— И — что ж?

Уходя в безголос, вполслуха:

— Плыви течением. Как все плывут...

Посветил фонариком на часы.

Легли ли немцы спать? Или медленно просачиваются, не замеченные сторожевым охранением? Или обходят другой дорогой, а завтра отрежут?

Надо было решать? Действовать? Или покорно ждать? Что надо было делать?

Нечволодов не двигался.

Вдруг услышался близкий шумок, переговоры, бранный выговор — и Рошко подвёл к погребу фигуру:

— Ваше превосходительство! Вот этот олух ищет нас пятый час. Если не спал и не врёт — он чуть к немцам не попал.

И подал пакет.

Вскрыли. При фонарике прочли вдвоём:

„Генерал-майору Нечволодову.

13 августа, 5 ч. 30 м. дня.”

Ещё раз перечли, Нечволодов даже цифру протёр: да, 5. 30 пополудни!..

„Начальник дивизии приказал вам с вверенным вам общим резервом прикрыть отступление частей 4-й пехотной дивизии, ведущих бой к северу от Гросс-Бессау...”

— К северу от Гросс-Бессау, — повторил Смысловскому Нечволодов ровным скучным голосом.

К северу от Гросс-Бессау. Позади не только пехоты немецкой, но и тех пушек, что вели огонь минувшие часы, позади их привязного аэростата. Там, где только трупы русские пролежали жаркий день после утреннего смятения. Какие же бредовые тени должны закачаться в голове, чтоб написать „к северу от Гросс-Бессау”?

Ушедший лучик Нечволодов снова направил на бумагу: а что надо было делать после Гросс-Бессау?

Но — нечего было далее читать. Далее стояло:

„За начальника штаба дивизии капитан Кузнецов.”

Не начальник дивизии, даже не начальник штаба — они только крикнули что-то, прыгая в автомобиль или в шарабан, уже отъезжая, — но за всех за них капитан Кузнецов, который, впрочем, тоже погнался вослед, а с пакетом послать не мог бы вестового недотёпистей.

Нечволодов осветил часы, написал на полученной бумаге: 13 августа, 21 ч. 55 м.

Четыре с половиной часа шло распоряжение. Но могло бы и вовсе не писаться: почти это самое в 5 часов вечера Нечволодов ушами слышал от Комарова.

А за пять часов — недосуг им было рассудить о дальнейшей судьбе резерва.

Нечволодов вскинул голову, будто прислушался.

Не к чему. Тишина.

Тихо сказал:

— Алексей Констинич. Оставьте две гаубицы на позиции, а остальные пусть принимают походный порядок, головой на юг. И мортирному так же сделать.

Громче:

— Миша! Галопом в Бишофсбург, точно выясни сам, какие там части, с какими приказаниями? Кто старший? Везут ли снаряды под наши орудия? Где шлиссельбуржцы? И возвращайся быстрее.

Рошко повторил все вопросы — сочно, точно, без пропуска, метнулся, кликнул сопровождающих, пробежали в несколько ног — и глухо, по мягкому, застучали и стихли копытные удары.

Полтора часа назад с тем и пришёл Смысловский: что ж держать орудия на огневых без снарядов, они погибнут. Но вот он получил разрешение, а самому жалко было сниматься.

Совсем наоборот: довольно было этой тихой ночи, чтобы весь корпус пришёл бы сюда и развернулся рядом с ними.

Уходить — значит, впустую была вся его стрельба, все снаряды полетели впустую, и раненые зря.

А ночь казалась такая тихая, такая безопасная.

Через полчаса или больше Смысловский возвратился к штабу резерва — и нашёл Нечволодова всё на том же погребе. Он прислонился рядом, к своду:

— Александр Дмитрич! А батальоны?

— Не знаю. Не могу, — выдавил Нечволодов.

Это потом всё бывает легко рассудить: конечно, надо было уходить — и быстрее! конечно, надо было остаться — и твёрже! Может быть, именно в эти минуты их отрезают. Может быть, именно в эти минуты на последней версте к ним подходит помощь. Но сейчас, покинутый всеми, кто только сверху, ничего не зная ни об армии, ни о корпусе, ни о соседях, ни о противнике, в тишине, в темноте, в глуби чужой земли, — принимай решение и только безошибочное!

Не мешая принять, не смея влиять, Смысловский молча стоял, плечом подпирая свод погреба, поглаживая бороду.

Вдруг — изменилось всё! Ожила безлюдная тьма! — хотя и без звука: млечный, белесый, толстый, бесконечно длинный, откуда-то с высоты возник немецкий прожекторный луч!

И враждебной, смертоносной тупой рукой стал медленно ощупывать местность нечволодовского резерва.

Сразу всё изменилось в мире, как если бы в двенадцать тяжёлых орудий дали огневой налёт!

Нечволодов упруго вскочил на ноги и взбежал на верхнюю точку погреба. И Смысловский в несколько прыжков нагнал его там.

Луч — искал. Он медленно-медленно шёл, нехотя покидая освещённую, вырванную полосу. Он начал слева, от озера, и сюда ещё было ему не близко.

Нечволодов подозвал и крикнул распоряжение, передать в батальоны: под лучом ни в коем случае не двигаться, укрыться.

Побежали телефонировать.

Один этот луч — а всё менял. Ясно: только ночь держала немцев. К исходу её или утром они пойдут вперёд.

И если ждать до утра — то стоять здесь и завтрашний весь день.

А если не ждать, то уходить сейчас.

И — засветился второй луч! — в отстоянии от первого и под углом к нему, но не вперекрест, а враспах: второй луч пошёл по правому флангу Нечволодова, по белозерскому батальону.

За молчаливыми этими дубинами света — сколько силы надо было предполагать?

Но и немцы, значит, думали, что нас тут — силища.

Снова подозвал Нечволодов и передал, вытягивая длинную руку:

— Подполковнику Косачевскому: как только луч от них уйдёт — снять батальон с боевого порядка и выводить сюда на дорогу.

Этих — он во всяком случае не мог держать далее.

— Полезли на станцию! — предложил Смысловский.

Обидно было время упустить, не посмотреть тоже. Они сбежали с погреба, подбежали к развалинам станции и, с фонариком, пошли по груде кирпичей к той наклонной балке, по которой можно было выйти на стену.

Но сзади — шум копыт задержал их. Нечволодов узнал голос Рошко.

Вернулись.

Хотя и запыхавшись, однако всё тем же здоровым голосом парубка, выразившим молодую силу тела и розовость щёк, Рошко доложил:

— В Бишофсбурге ни одного высшего командира. Головного эшелона артиллерийского парка не нашёл. Все части перемешаны, в домах — раненые. Никто не знает, куда идти. У одних есть приказание отступить, у других нет. Шлиссельбургский полк нашёлся! — они только что пришли в Бишофсбург с востока. У них есть приказ Комарова отступить ещё дальше, чем мы утром были. А ещё втягивается в город кавалерийская дивизия Толпыго, и приказ ей — идти на запад. А с запада отступает рихтеровская дивизия, обозы. Перемешались, на улицах не протолкаться. Там и к утру не разобраться. Всё.

Прожекторы медленно брали и глубину. Потом перемещались вбок.

Они сходились.

Было четверть двенадцатого ночи. В календарный день 13-го августа резерв Нечволодова задержал противника южнее Гросс-Бессау. Приказа на 14-е августа — не было, самому Нечволодову предстояло его составить.

И, стоя на груде битых кирпичей в развалинах станции, косясь на подходящий прожекторный луч, Нечволодов вымолвил тихо и даже лениво:

— Мы уходим, Алексей Константинович. Снимайте последние орудия. Обоими дивизионами двигайтесь на северную окраину Бишофсбурга. Там на всякий случай приглядите позиции и ждите меня.

— Есть, — ответил Смысловский. — *Feci quod potui, faciant meliora potentes.* *

Ушёл.

— Рошко! Ладожским батальонам передай: без звука покинуть линии обороны, смотать связь — и сюда.

На станции всё замерло: пришло сюда мёртво-бледное пятно, свет неживой. Стояли, сидели за домами, за деревьями. Лошади в укрытиях заволновались, ржали, рвали поводья. Приказано было держать их крепко.

Унизительно-беспомощно было замереть в неподвижном свете: луч не сдвинется — и ночь так просидеть.

Но ещё хуже было переползание прожектора — угроза.

* Сделал, что мог, кто может — пусть сделает лучше. (лат.)

Луч ушёл.

Сворачивались. Нечволодов спустился в погреб. Записал своё последнее приказание. Перед тем как свечу гасить, ещё, ещё смотрел на карту.

6-й корпус откатывался, как свободный бильярдный шар, — ни к кому не припутанный, гладкий, круглый, беспечный.

Открывал самсоновскую армию беспрепятственному удару справа.

БЫЛ РОГ, ДА СБИЛ БОГ

Да, да, да, да! это — порок, эта жила азарта, этот напор, когда увлечённый одной линией, вдруг слепнешь и глохнешь к окружающему и простейшей детской опасности не видишь рядом! Как с Юлей Мартовым когда-то (да когда! — едва отмучивши трёхлетнюю ссылку, едва соберясь за границу!) с корзинкой нелегальщины, с химическим письмом о плане „Искры” — перемудрили, пере-конспирировали: полагается в пути менять поезда, не подумали, что тот пойдёт через Царское, — и в нём заподозрены, взяты жандармами, и только по спасительной российской неповоротливости полиция дала им время сбить корзину, а письмо прочла по наружному тексту, не удосужилась подержать над огнём — и тем была спасена „Искра”!

Или как потом: в напряжённой годовой внутривнутрипартийной войне большинства из двадцати одного против меньшинства из двадцати двух — пропустили, почти не заметили всю японскую войну.

Так — и эту (и не думал о ней, и не писал, и на убийство Жореса не откликнулся). Да потому что: расползлась всеобщая зараза *объединительства*, за последние годы охватила всю русскую социал-демократию, — огульное объединительство, самое опасное и вредное для пролетариата! примиренчество и объединенчество — идиотизм, гибель партии! И перехватили инициативу вожди слюнтявого Интернационала — они нас будут мирить! они нас будут объединять! зовут на пошлейшее объединительное совещание в Брюссель, — как вырваться?? как избежать?? Всё вниманье, всё напряженье ушло туда — и почти не слышал выстрела в эрцгерцога!.. А тут подкатывал в августе конгресс Интернационала в Вене — и никогда ещё так не схватывало напряженье борьбы против меньшевиков! и архи-архи-важно было в эти немногие недели успеть сколотить делегацию изнутри России, как бы от большой действующей реальной партии, — собственно, вот тут, в деревушке Поронино и оформить такую партию! — и мощно явиться на конгресс! А пока изобретал, пока стягивал делегатов (прямым ходом через границу) — объявила война Австрия Сербии, — как не заметил. И даже Германия объявила России! — как нипочём... Да, да, вот так затягивает, когда хорошо разгонишься в борьбе, трудно остановиться. Пустили известие, будто немецкие с-д проголосовали за военные кредиты, — так они себя погубили? так Интернационал лопнул? — нет, как машинально разогнанный продолжал собирать свой съезд.

Вообще — конечно, должна была разразиться империалистическая война! — теоретически предсказана, неуклонно предвидена. Но — не именно конкретно же сейчас, в этом году. И — пропустил. И — вляпался...

Да, да, да, было десять дней — сообразить своё двусмысленное положение возле самой русской границы и повернуть делегатов обратно, и убираться поскорей из этого чёртова Поронино, уже теперь никому не нужного, и изо всей этой захлопнутой Австро-Венгрии: в воюющей стране какая работа? Сразу нужно было мотнуться в бла-

гословенную Швейцарию — нейтральную, надёжную, беспрепятственную страну, умная полиция, ответственный порядок! — так нет, даже не пошевелинулся, в угаре съездовской подготовки, — а тут грянула и австро-русская война — и сразу интернировали всех приехавших делегатов: русские, призывного возраста, как попали, зачем тут?..

Ах, какой просчёт!.. Ах, какие нервные три недели с тех пор!..

Сейчас-то — уже позади. По перрону Нового Тарга — до паровоза и назад. До паровоза — и назад. С Ганецким.

Гладко-выбритое, приятное, даже нежное лицо Ганецкого — сейчас такое спокойное, а как иступлённо кричал на новотаргских чиновников! — не бросил в беде. (Ну, да он в Новом Тарге — свой, папа тут богач.) А Зиновьев — в решающие дни увильнул.

Новый Тарг — не Поронино, здесь уже не так опасно, но могут ещё какие-нибудь поронинские фанатики появиться, ещё всё может случиться. Хотя тут, на станции, надёжно расхаживает жандарм, никто не кинется.

Диалектика: жандарм — вообще плохо, а в данный момент — хорошо.

Большое красное колесо у паровоза, почти в рост.

Как бы ты ни был насторожен, предусмотрителен, недоверчив — убаюкивает проклятая безмятежность быта, мещанская в сути своей, семь лет подряд. И в тени чего-то большого, не рассмотрев, ты, как к стенке, прислоняешься к массивной чугунной опоре — а она вдруг сдвигается, а она оказывается большим красным колесом паровоза, его проворачивает открытый длинный шток, — и уже тебе закручивает спину — туда! под колесо!! И, барахтаясь головой у рельсов, ты поздно успеваешь сообразить, как по-новому подкралась глупая опасность.

Самому-то Ленину от властей не грозило: законный паспорт, законное положение политического эмигранта, врага царизма, — перед австрийской полицией он непорочен. Но — провалить такое мероприятие? Но — дать схватить свои скудные кадры? Кольцо глупости! Стена глупости! Глупейший, простейший, слепейший просчёт! — как с Царским Селом тогда. (Да как и в 95-м году — газету

готовили, ни одного номера не выпустили, сразу и провалились...) Да, да, да, да! — сесть в тюрьму революционер всегда должен быть готов (впрочем, умнее избежать) — но не так же глупо! но не так же позорно! но не так же не вовремя дать себе спутать руки!! Только-только собрал начатки партии — и дал её посадить? И даже хуже: делегатов арестовали, а организатор на воле? Как же это будет истолковано??

И в первый же вечер слали с Ганецким телеграммы — в политический отдел краковской полиции, социалистическим друзьям в Вене, — телеграммы, потому что так просто не вырвешься из Поронина и сам, на каждый билет от дня войны нужно разрешение тупого старосты, а он не даёт, и даже дружественный полицейский вахмистр не может его склонить легко. А и добравшись до Нового Тарга — нужно новое разрешение, нужно новое доверие, а его не шлют, — и одиннадцать дней ты бегаешь по плитчатому полу комнатёнки старостата от стенки до стенки, не отлежишься на их визгливой кровати сетке (в Новом Тарге и гостиницы нет), а жжёт и палит: могло не быть! — могло не быть!! — сам наделал! — сам влопался!

Никакая внешняя неудача, поражение, подлость и низость врагов — никогда ничто так не травит сердце, как собственный даже малый просчёт, днём и ночью сжигает. *Своего* просчёта нельзя объяснить объективно, потому нельзя заглядить, забыть, а только: его могло не быть! могло не быть!! могло не быть!!! — а он был, по собственной оплошности.

А каков был Куба (партийная кличка Ганецкого) в эти дни! Не смяк, не сдался, а как бульдог вцепился в жандармские штаны. Фонтаном взвил имена — социал-демократов! депутатов парламента! общественных деятелей! — кому сейчас же писать, объяснять, теревить! добиваться вмешательства! И — два десятка писем во все концы! Не было поезда вечером — гнал в Новый Тарг на арбе. И бросился в Краков, и встречался там (да ведь он любому чиновнику сплетёт историю в одну минуту!), и снова телеграфировал в Вену. Любой бы славянин на его месте устал, отстал, бросил, но Ганецкий с неиссякаемой настойчивостью — не отставал. И — уже дальше поручал ему Ленин: добиваться сразу выезда в Швейцарию.

От телеграфных толчков Ганецкого с-д депутаты Виктор Адлер и Диаманд обратились к канцлеру и в министерство внутренних дел, дали письменные ручательства за русского социал-демократа Ульянова, что он не только лоялен к Австро-Венгерской империи, но враг русского правительства злейший, чем сам канцлер. И в краковскую полицию пришло указание: „Ульянов смог бы оказать Австро-Венгрии большие услуги при настоящих условиях.” И так — открылся путь для дальнейших переговоров, действий и выручки интернированных товарищей.

Товарищей освободят — а как же Ленин? А почему же он не сидел?.. И с Кубой — чудесное понимание: вот эта комнатёнка старостата, во все изводящие дни, — вот это и была его камера! Он — тоже сидел, конечно!

А между тем — опять промах: упустили другую опасность. Что можно было втолковать австрийскому канцлеру и слабоумным австрийским чиновникам — того не могли понять галицийские мужики, тупые, как все мужики в мире, — в Европе ли, в Азии, в Алакаевке. Живёшь — сам себя со стороны не наблюдаешь, не понимаешь. А в глазах поронинских дремучих жителей: странные люди, не похожи на остальных дачников — каждый день почта мешками, пакеты, и пишут, и пишут, и немалые денежные переводы из России, и прихожие люди через кордон без паспортов, а тут война, — так вот и есть шпион!? То-то всё ходили по горам — так значит планы снимали? Тут всех и власти предупреждают: задерживайте подозрительных, делают снимки дорог, отравляют колодцы. Шпион?!

Поразительно. Непостижимо! Шли из костёла крестьянки и, сами ли по себе или увидя Надю и для неё, расшумелись на всю улицу, что они *сами выколют ему глаза! сами вырежут ему язык!*.. Надя пришла домой бледная, вся тряслась. И испуг её — передавался, захватывал: а что? — и выколют, ничего удивительного. А что? — и вырежут, ничего невозможного! Очень просто: придут с вилами и ножами... — и к чертям вся партия! И — к чертям всемирная социалистическая революция!.. Та к о й колоссальной опасности не подвергался Ленин никогда за всю жизнь. Никогда ещё ни от кого ему такое не... Да мало ли знает история вспышек престонародной безобразной ярости! От неё нет гарантии даже в цивилизован-

ном государстве, даже в тюрьме безопаснее, чем от тёмной толпы...

Тревожно настраиваться при угрозах — это не паника, это мобилизация.

Так были затемнены и задёрганы последние надины дни и часы в Поронине — а Ленин туда уже и не возвращался. Два года такой безопасный, мирный, посёлок как насторожился к прыжку. Уже и из дому не выходили, плохо спали, плохо ели, нервно укладывались, и, конечно, Надежда наделала массу новых ошибок, не взяла, бросила секретнейшие бумаги, да не владела собой, вникнуть не могла, да и набралось там за два дачных сезона бумажного пудов шестьдесят.

Да как вообще можно медлить, оставаться рядом с русской границей?! Тут и казаки налетят — захватят в один момент.

Только сейчас, перед зелёньким аккуратным поездом, на платформе, где при жандарме и станционных чиновниках уже никак не могло быть бесконтрольной расправы, — сваливалась тяжесть, наконец. Уже дали первый звонок, до отхода поезда оставалось 23 минуты. И все веселели. Стояло и утро весёлое, солнечное, без облаков. Не грузили военных грузов, не ехали мобилизованные, перрон и поезд выглядели как в обычное дачное летнее время. Но ехать поездом — требовалось разрешение полиции, оттого вагоны были полупустые. Надя и тёща сидели уже там, выглядывали из окна. А Владимир Ильич, взявши Якова-Кубу под руку, снова и снова шли вдоль платформы, оба точно равного невысокого роста, оба широкие, только Ильич от кости, а Куба от жирка.

Яков держался очень самоуверенно, коммерсантская манера, изобретательно-шнуровая полоска усов, и глаза настойчивые, спокойно выкаченные, не могут не восхитить.

Когда видишь способность человека на такие дела, следует внимательней прислушиваться и к его словам, какими бы мечтательными они ни казались. Знал Якова давно, со II съезда, но по польским делам, а только этим летом он развернулся с новой стороны и стал самым важным человеком. Он вообще был золото: исключительно исполнитель — и обо всём серьёзном замкнут, слова не

вытянет никто чужой. В июне и в июле в окрестностях Поронина они всё ходили с ним на прогулки по нагорью и обсуждали его увлекательные финансовые проекты, целый фейерверк. Может быть из-за своего буржуазного происхождения, Ганецкий имел к денежным делам паразитительный нюх и хватку — редкое и выгоднейшее качество революционера. Он правильно ставил вопрос: деньги — это ноги и руки партии, без денег любая партия беспомощна, одно болтунство. Даже парламентская партия нуждается в больших деньгах — для избирательных кампаний, что же сказать тогда о партии революционной, подпольной, которой надо организовать укрытия, явки, транспорт, литературу, оружие и готовить бойцов, и содержать кадры, и в нужный момент совершить переворот?

Да что убеждать! Всем большевикам это было понятно от самого II съезда, от первых шагов самостоятельности: без денег — ни на шаг, деньги решают всё. Первый путь был — выжимать пожертвования из русских толстосумов, из Мамонтова, из „пряника” Коновалова, да Савва Морозов гнал по тысяче в месяц, как раз на содержание петербургского комитета, но другие отваливали нерегулярно, от купеческого расположения, от интеллигентского сочувствия (Гарин-Михайловский дал десять тысяч один раз), — а там снова ходи проси. Верней был путь — брать самим. Где — наследство вымотать, как у фабриканта Шмидта, членам партии жениться на наследницах, то в уральских горах обмануть банду Лбова — деньги взять у них, а оружия не привезти. То более систематически — развивать *военно-технические* средства: в Финляндии готовились печатать фальшивые деньги, уже Красин водяную бумагу доставал, и для эксов готовил бомбы. Эксы пошли исключительно удачно: но на V-м съезде чистоплюйством Плеханова и Мартова запретили их, да остановиться не было сил, и в Тифлисе Камо и Коба триумфально захватили ещё 340 тысяч из казны. Но — забылись, голова закружилась, стали хрустящие царские пятисотки менять в Берлине, в Париже, в Стокгольме, надо бы поумеренней, а царское министерство разослало номера, и Литвинов попался, и Сарра Равич попала в Мюнхене, да неудачно записку послала из тюрьмы, перехватили. Стали искать среди женеvских большевиков, взяли тринадцать,

а Карпинского и Семашко упекли бы на срок, если б либералы из парламента не помогли. Но хуже всех, но гаже всех с фальшивой лицемерной подлой своей *принципиальностью* раскудахтался Каутский, какая низменная затея: устраивать „социалистический суд” над русскими большевиками и скудоумно велеть *сжигать* полутысячные все-ильные банкноты! (Только при одном виде его портрета, святенького седеньког старичка в вылушленных очках, — челюсть поводит брезгливостью, как взял лягушку в рот.) Вам хорошо, немецкие рабочие богатые, взносы большие, партия легальная, а — нам?? (Да не всё сожгли, конечно, не такие дураки.) И ещё потом сглупили, сделали злобного старика денежным арбитром между большевиками и меньшевиками (не избежать было манёвра объединения, значит и деньги, вроде, объединять, а меньшевики-то голенькие; всего шмидтовского наследства скрыть было нельзя, часть дали Каутскому на арбитраж — так потом, при новом расколе, не хотел большевикам возвращать).

И вот этим летом Ганецкий захватил Ленина проектом: создать в Европе своё коммерческое предприятие или войти партнёром в уже действующий трест — и пакет прибыли ежемесячно гарантированно передавать партии. И это не было русской маниловщиной, каждый предлагаемый шаг поражал точным расчётом. Не Куба сам придумал, это шло из бегемотской гениальной головы Парвуса, от него письма были Кубе из Константинополя. Когда-то нищий, как все социал-демократы, и поехавши в Турцию стачки устраивать, он откровенно теперь писал, что богат, сколько ему надо (по доходившим слухам — сказочно), пришло время обогатиться и партии. Он хорошо писал: для того чтобы верней всего свергнуть капитализм, надо самим стать капиталистами. Социалисты должны прежде стать капиталистами! Социалисты смеялись, Роза, Клара и Либкнехт выразили Парвусу своё презрение. Но может быть поторопились. Против реальной денежной силы Парвуса насмешки вяли.

Отчасти за этими проектами Ганецкого и прохлопали начало войны.

Их же обсуждали и сейчас, в последние минуты. И как связь держать. Да увидятся скоро: вот Зиновьев по-

едет за Лениным вслед, а там и Ганецкий, как только отпущется от австрийской воинской повинности.

Тут дали второй звонок. Ильич вскочил на подножку шустро — без шляпы, почти совсем лысый, в поношенном костюме, с заостренным лицом, с неотпустившей его беспоконной оглядкой, отросшая борода, неаккуратная, — и правда, чем-то похож на шпиона, хотел пошутить Ганецкий, но знал, что Ленин обижается на шутки, и удержался.

Он и сам, с печальными осмотрительными глазами, с лицом коммерсанта, а в затёртом костюме, на кого ж и был похож, если не на шпиона?..

Строго стоял дежурный по станции в высокой красно-чёрной фуражке. Ударил в колокол три раза. Начальник поезда затрубил в рожок и побежал.

И помахивали отъезжающим. И помахивали те в открытое окно.

А всё-таки тут жили неплохо. Покойно, размеренно, не то что Париж суматошный. Сколько по Европе ни мытарился Ленин — а европейцем не стал. Условия жизни должны быть узкими, это лучшее состояние для действия.

И сколько прошло здесь волнений. Радостей.

Разочарований.

Малиновский...

Вместе с платформой, со станцией — оторвало оставшихся. И даже Ганецкий, какой он ни был достойный надёжный партийный товарищ, — сейчас, из следующего этапа жизни, выбывал. Очень может быть, что на каком-то из следующих он снова окажется самым главным нужным человеком, и к нему архисрочно понесутся бессонные письма с двойным и тройным подчёркиванием, но сейчас пока он отлично своё дело сделал — и выбывал.

Никогда никем не сформулированный, существовал непреложный закон революционной борьбы или, может быть, всякого человеческого развития, много раз наблюдал его Ленин: в каждый период выступают, приближаются один-два человека, наиболее единомыслящих именно в данную минуту, наиболее интересных, важных, полезных именно сейчас, вызывающих именно сегодня к наибольшей откровенности, беседам и совместным действиям. Но почти никто из них не способен удержаться в этой позиции, потому что ситуации меняются всякий день, и мы должны

диалектически меняться вместе с ними — и даже мгновенно, и даже опережая их, и в этом политический гений! Естественно, что тот, и другой, и третий, попадая в вихрь Ленина, тотчас вовлекаются в его действия, выполняют их в указанный момент с указанной скоростью, всеми средствами, и жертвуя своим личным, — естественно, ибо это делается не для Владимира Ильича, но для властной силы, проявляемой через него, а он — только безошибочный её указатель, всегда точно знающий, что верно лишь сегодня, и даже к вечеру не всегда то, что утром. Но как только эти промежуточные люди упрямылись, переставали понимать нужность и срочность своего долга, начинали указывать на противоречивость своих чувств или на особенности своей личной судьбы — так же естественно было отвести их с главной дороги, устранить, забыть, а то изругать и проклясть, если требовалось, — но и в этом устранении или проклятии Ленин действовал волей влекущей его силы.

В такой позиции близости-единомыслия затяжно держались енисейские ссыльные, но лишь потому, что территориально не было никого ближе. В такой позиции рисовался издали Плеханов, но каким холодным жестоким уроком отрубил он это в несколько встреч. В такой позиции, и даже в опасной недопустимой близости находился годами Мартов. Но сдал и он. (От Мартова горько вошло в опыт навсегда: в человечестве вообще не может быть такого типа отношений — „дружба”, вне отношений политических, классовых и материальных.) Был близок Богданов, пока добывал для партии финансы, но это отпало, а он, не поняв крутизны, ещё претендовал направлять — и сорвался. Некоторые удерживались довольно постоянно, как Красин, всегда незаменимый в добывании денег. А тем временем в вихрь втягивались новые верные — Камнев, Зиновьев... Малиновский...

Держался и двигался рядом лишь тот, кто понимал партийное дело правильно, и лишь — пока понимал. А миновалась частная срочная задача, и обычно миновалось понимание, и все эти недавние сотрудники оставались безнадежно вращенными в тупую неподвижную землю, как придорожные столбики, и отставали, и отрывались, и забывались, а иногда на новом повороте неслись навстречу остро, как уже враги. А были единомышленники, близкие

на неделю, на день, на час, на один разговор, одно сообщение, одно поручение, — и Ленин искренне отдавал им всю горячность, натиск необходимого дела, — каждому из них как самому важному человеку в мире, — а через час они уже и отваливались, и забывалось начисто, кто они и зачем. Так показался близким Валентинов, когда приехал первый раз из России, хотя сразу смутил своей тупостью, что какая-то им сделанная слесарная деталь ему, рабочему, даже важней политической борьбы. И это быстро сказало: не хватило у него стойкости против Мартова, а значит стал всё равно как и меньшевик.

Поезд катил под уклон, сильно огибая горки, — а по ним тропинки и дороги колёсные бежали по склонам и вверх, мимо хуторов, стогов и неубранного, и, пока ещё видна горная дорожка, по ней успеваешь глазами взбежать, как ногами. Много было похожего вокруг Поронина, а здесь не был.

И — сел на скамью. Думать ли, заниматься — но не размазывать сантиментов.

И семейные, по взгляду, по движению всё поняв, не лезли с мелким бытовым, и не возились лишнего, смиренно сидели на своей скамье.

Все эти изнурительные годы, с Девятьсот Восьмого, после поражения революции, все и были: отход и отброс людей. Ушли впередисты, отзовисты, ультиматисты, махисты, богостроители... Луначарский, Базаров, Алексинский, Бриллиант, Рожков, Лядов, Лозовский, Мануильский, Горький... Вся старая гвардия, сколоченная в расколе с меньшевиками. И так уже казалось минутами, что никого не останется, что вся партия большевиков — он один с двумя женщинами да десяток третьестепенных стёртых, кто ещё приходил на большевистские собрания в Париже, а вылезешь на собрании общем — своих нет и с трибуны столкнут. Уходили — все подряд, и какая сила уверенности нужна была — не усумниться, не закачаться, не побежать за ними мириться, но, провидя будущее, стоять и знать: сами возвратятся, сами очнутя, а кто не вернётся — и пропади.

Шестой и Седьмой годы — ещё было совсем не поражение, ещё всё общество кипело, вертелось, втягивалось в воронку, Ленин сидел в Куоккале и ждал, и ждал второй

волны. Но вот с Восьмого, когда всю страну захватила реакционная свора, а подполье как будто отсыхало, рабочая жизнь уходила в открытое копошенье, в профсоюзы, в страховые кассы, а вслед за подпольем как будто отживала, становилась тепличной и эмиграция... Там — Дума, легальная печать, — и каждый эмигрант старался печататься там...

Вот почему — замечательно, что началась война! Это радость, что началась!! Там их сейчас всех зажмут, ликвидаторов, значение легальности резко упадёт, а значение и сила эмиграции, напротив, увеличатся! Центр тяжести русской общественной жизни снова переносится в эмиграцию!!

Это всё Ленин оценил в первые нервные дни сиденья в Новом Тарге, не давая личной неудаче заслонить великую всеобщую удачу. Он принял в себя и втянул в проработку — всеевропейскую войну. А из всякой проработки в ленинском мозгу рождались готовые лозунги — в создании лозунга для момента и был конечный смысл всякого обдумывания. И ещё — в переводе своих доводов на общеупотребительный марксистский язык: на другом не могли его понять сторонники и последователи.

И что отсюда выносилось — первому открыл Ганецкому: надо понять, что раз война началась, то не отмахиваться от неё, но — использовать! Надо переступить через поповское представление, иногда зароненное и в пролетарские головы, что война — несчастье или грех. Лозунг „мир во что бы то ни стало” — поповский лозунг! Какую линию в создавшейся обстановке должны вести революционные демократы всего мира? Прежде всего: необходимо опровергнуть басню, что в поджоге войны виноваты Центральные державы! Антанта будет сейчас прикрываться, что „на нас, невинных, напали”. Они даже придумывают, что „для дела демократии” нужно защищать республику рантье. Смять, раздавить это оправдание! Какая разница — кто на кого первый напал? Следует пропагандировать, что виноваты *все правительства* в равной мере. (И даже: немецкие — меньше других.) Важно — не „кто виноват?”, а — как нам выгоднее использовать эту войну. „Все виноваты” — без этого невозможно вести работу на подрыв царского правительства.

Да это счастливая война! — она принесёт великую пользу международному социализму: одним толчком очистит рабочее движение от навоза мирной эпохи! Вместо прежнего разделения социалистов на оппортунистов и революционеров, деления неясного, оставляющего лазейки врагам, она переводит международный раскол в полную ясность: на патриотов и антипатриотов. Мы — антипатриоты!

И — кончилась эта лавочка Интернационала с „объединением” большевиков и меньшевиков! и уже никакого венского конгресса не будет. Уж теперь не заикнутся. Теперь зазияла трещина так трещина, уже не помиришь! А в июле как прихватили, прямо клещами за горло: не видим разногласий, достаточных для раскола! присылайте делегацию — мириться! С меньшевистской сволочью мириться! А теперь за военные кредиты проголосовали — так уже вам не подняться, мёртвое тело! Ещё долго будете корчить из себя живых, но надо вслух объявить: мертвы! На этой инессиной поездке к вам в Брюссель — последняя наша с вами встреча, хватит!

Тут спохватилась тёща, что один чемодан забыли! Бросились переглядывать, пересчитывать, под лавками и на верхних сетчатых полках, — нет! Что за позор! Как с пожара. А ещё — какие бумаги забыли, какие бумаги, даже списки адресов! Владимир Ильич расстроился. Без порядка в семье и в доме — невозможно работать. Смешно выразиться, но и домашний порядок есть часть общепартийного дела. Не смея выговаривать Елизавете Васильевне — она ответить умела, и они друг друга уважали, даже мелкими подарками задабривал её, — строго высказал Наде. Какой уж от неё порядок, если она пуговицы пришить хорошо не может, пятна вывести, он сам — лучше. Носового платка ему, не скажешь — не сменит.

Ошибок он вообще не прощал. Ничьей ошибки он не мог забыть никогда, до смерти.

Отвернулся в окно.

Изгибался поезд и скатывался постепенно с гор. То серым, то белым паровозным дымом проносило иногда мимо окошек. Надоели уже и горы эти за эмиграцию.

А в Надю всё уходило, как в подушку: ну, забыли,

ну, не возвращаться в такой обстановке. Из Кракова напишем, перешлют чемодан почтой.

Надя прочно знала, много раз уже применяла: если брать на себя, не упрекать, что и он виноват, — Володя успокоится и отойдёт. Больней всего ему, если окажется, что он — тоже виноват.

Постаревший, насупленный, с наросшей неподстриженной усо-бородой, с обострёнными рыжими бровями, темнолобый, он смотрел в окно, но косо, ничего там не различая. Все выраженья на его лице Надя хорошо знала. Сейчас не только нельзя было перечить, но и вообще: ни обратиться к нему ни с чем, ни отвлечь его ни словом, даже сказанным с матерью. Надо было дать ему вот так посидеть, углубиться в себя, от всех страданий очиститься молчанием — и от новотаргского бешенства, и от поронинских угроз, и от чемодана. В такие часы уходил ли он один гулять или молча сидел и думал — от думотни, в полчаса, и в полчаса, лоб его — перевёрнутый котёл, и окруженье глаз переглаживались от мелких сердитых складок — к большим и крупным.

Международный раскол социалистов давно назрел, но только война проявила его и сделала необратимым. И — архивеликолепно! Хотя от массовой измены социалистов как будто ослабляется пролетарский фронт, а нет: и *хорошо*, что они изменили! Тем легче теперь настаивать на своей отдельной линии.

А что было говорить месяц назад? как выкручиваться? Догадка: послать в Брюссель — Инессу вместо себя! Вы ждали меня самого, так просто? — утритесь, господа Каутский, Плеханов и Вандервельде! Главой делегации — Инессу! С её прекрасным французским языком! С её несравненной манерой держаться! — холодно, спокойно, немного презрительно. (Французы в президиуме будут сразу покорены. А немцы будут плохо тебя понимать — и очень хорошо! А ты от немцев требуй после каждой речи — перевод!) Вот это ход! Вот растеряются, ультрасоциалистические ослы!.. И — захват: скорей! писать! узнать: поедет ли? может ли? На Адриатике отдыхает с детьми? — чепуха, для детей кого-то найти, расходы оплатим из партийной кассы. Занята статьёй о свободной любви? — не говоря обидного (стопроцентной партийкой жен-

щина никогда не может быть, обязательно какие-нибудь штучки): эта рукопись подождёт. Я уверен, что ты — из тех людей, которые сильнее, смелей, когда одни на ответственном... Вздор, вздор, пессимистам не верю!.. Превосходно ты сладишь!.. Я уверен, ты сможешь быть достаточно нахальна!.. Все будут злиться (я очень рад!), что я отсутствую, и, вероятно, захотят отомстить тебе, но я уверен: ты покажешь свои ноготки наилучшим образом!.. А назовём тебя... Петрова. Зачем открывать твоё имя ликвидаторам? („Петров” — и я, никто не помнит, но ты-то помнишь. И так, через псевдонимы, мы выйдем на люди слитно — открыто и не открыто. Ты действительно будешь — я.) Дорогой друг! Я бы просил тебя согласиться! Ты едешь?.. Ты едешь!.. Ты едешь!! Да, конечно, надо спеться детальнее. И архиспешить. Ликвидаторам надо просто врать: обещай, что *может быть* мы потом примем общую резолюцию. (А на деле мы конечно никогда ничего не примем! *ни одного* их предложения!) И: о болезни детей, ври о болезни детей, что из-за них не можешь задерживаться. Европейских социалистов, эту сволочь обывательскую, надо убедить, что большевики — наиболее реальная партия из русских. Подпусти им там профсоюзов, страховых касс — на них это архивлияет. Задающих вопросы — сразу отсекай, отклоняй, отбивай! Всё время — наступательная позиция! Розу — тяни за язык, докажи, что у неё в Польше нет реальной партии, а реальна — оппозиция Ганецкого. Ты всё поняла! Ты едешь!.. Крепко жму руку! Very truly... Твой...

Тут подпортил Ганецкий — поставил ультиматум (вообще-то справедливый): 250 крон на поездку в Брюссель, иначе не едет. А партийную кассу надо беречь. (Да один ли Ганецкий! — есть много людей, кого можно бы утилизировать, но нельзя разбрасывать денег...) А без Ганецкого паршивая польская оппозиция изменила, пошла на гнилое идиотское примиренчество с Розой и Плехановым.

... Всё равно, ты провела дело лучше, чем мог бы я. Помимо того, что языка не знаю, я ещё непременно бы взорвался! не стерпел бы комедианства! обозвал бы их подлецами! А у тебя вышло спокойно, твёрдо, ты отпарировала все выходки. Ты оказала большую услугу партии!

Посылаю тебе 150 франков. (Вероятно, слишком мало? Дай знать, насколько больше израсходовала. Вышлю.) Пиши: очень ли устала? очень ли зла? Почему тебе „крайне неприятно” писать об этой конференции?.. Или ты заболела? Что у тебя за болезнь? Отвечай, иначе я не могу быть спокойным.

Инесса — единственный человек, чьё настроение передаётся, потягивает, даже издали. Даже — издали больше.

А вот что: с военной цензурой теперь покинуть надо это „ты”. Можно дать повод для шантажа. Социалист должен быть предусмотрителен.

Нарушилась переписка с начала войны, придут теперь письма в Поронино. Но, по всему, отправив детей в Россию, должна Инесса вернуться в Швейцарию. Может быть — там уже.

Женщины тихо разговаривали, как обойтись в Кракове. Надя предложила, чтобы мама с Володей посидели с вещами, а она — к той хозяйке, у которой останавливалась Инесса: удобно было бы там и стать сегодня.

Сказала — а сама смотрела как бы мимо Володиной щеки в окно. Он не изменился, не повернулся, не отозвался, а всё-таки, по движениям жилок и век, Надя убедилась, что — слышал, и — одобряет.

Удобно, быстро, не искать — да. Но и необходимости останавливаться именно в инессиной комнате — не было. Только то ещё, что Володя не любил привыкать к новому, да на короткий срок. Только то и было оправданием перед матерью.

Перед матерью — было всегда унижительно. Прежде — больше, теперь — меньше. Но и теперь.

Однако Надя воспитывала в себе последовательность: не отклонять с пути Володю ни на волосок — так ни на волосок. Всегда облегчать его жизнь — и никогда не стеснять. Всегда присутствовать — и в каждую минуту как нет её, если не нужно.

Однажды выбрав, надо держаться. Запрягшись — уже тянуть. О сопернице — не разрешить себе дурного слова, когда и есть, что сказать. Встречать её радостно, как подругу, — чтобы не повредить ни настроению Володи, ни его положению среди товарищей. На прогулки брести и усаживаться читать — втроём...

Когда это всё началось, даже раньше, когда студентка Сорбонны с красным пером на шляпе (как никогда не осмелилась бы ни одна русская революционерка), хотя и с двумя мужьями и пятью детьми за спиной, Инесса первый раз вошла в их парижскую квартиру, а Володя только ещё привстал от стола, — как от удара ветра открылось Наде всё, что будет, всё, как будет. И своя беспомощность помешать. И свой долг не мешать.

Надя первая сама и предложила: устранимся. Не могла она взять на себя быть препятствием в жизни такому человеку, довольно было препятствий у него всех других. И не один раз она порывалась — расстаться. Но Володя, обдумав, сказал: „Оставайся.” Решил. И — навсегда.

Значит — нужна. Да и правда, лучше её никто бы с ним не жил. Смириться помогало сознание, что на такого человека и не может женщина претендовать одна. Уже то призвание, что она полезна ему среди других. Рядом с другой. И даже — во многом ближе её.

А оставшись — осталась никогда не мешать. Не выказывать боли. Даже приучиться не ощущать её. А чтоб эта боль выжглась и отмерла — последовательно не щадить её, колоть, жечь. И вот если практически удобно было остановиться в недавней инессинной комнате, то в ней и надо было остановиться, и не перетравливать, когда, сколько, как Володя пробыл в ней.

Только вот на глазах матери...

Скоро и Краков. Володя светлел. Значит, мысли его хорошо продвинулись.

Нет, замечательно ты съездила в Брюссель, не жалею. Единственное жаль — не успела затеять переписки с Каутским, как я тебе... (Ты бы переписывалась от своего имени, а письма тебе приватно готовил бы я.) Какая он подлая личность! Ненавижу и презираю его — хуже всех! Какое поганенькое дряненькое лицемерие!.. Жаль, жаль, не начали эту игру, мы б его разыграли!

Повеселел, даже посвистел Володя чуть-чуть. И, чемодана больше не вспоминая: поедим? И — перочинный нож вынул, всегда с собой.

Простелили салфетку, достали цыплёнка, крутых яиц, бутылку с молоком, галицийского хлеба, масло в пергаментной бумаге, соль в коробочке.

И Володя даже расшутился, что тётца у него — капиталист и пятнает его революционную биографию.

А действительно, надо было денежные дела решать, и проворно. В краковском банке лежали большие деньги — кто ж мог ждать эту войну! — на имя Елизаветы Васильевны, больше 4000 рублей. И теперь должны были секвестровать как имущество враждебных иностранцев, вот маху дали! Надо было вырвать деньги во что бы то ни стало, найти нужного ловкого человека. И перевести их в надёжное — в золото, можно часть в швейцарские франки. И увозить с собой.

И сразу — в Вену, не задерживаясь. И кончать с визами и поручительствами в Швейцарию, надо скорей туда, Австро-Венгрия — воюющая страна, мало ли что случится.

В чём всё-таки этот оппортунистический Интернационал себя оправдывал — никогда не отказывал в личной помощи. И в каждой стране у них — чуть не свои министры. Сейчас вот, настаивал Куба, надо нанести визиты Адлеру и Диаманду (хотя уже телеграфировал сердечную благодарность), и ещё лично благодарить за освобождение и ни в коем случае не дерзить. Улыбался Володя криво, в крошках желтка и белка: да, вот такой деликатный поворот: трухлявые ревизионисты, сволочь обывательская, а надо ехать любезничать. И в конце концов это справедливо: не способны на принципиальную линию, так пусть хоть в жизни помогают. Конкретная реальная платформа для временного тактического соглашения с ними. И дальше, в Швейцарии, не обойтись без этой своры: без поручительства не впустят, а кто ж другой поручится? Роберт Гримм — мальчишка, в прошлом году познакомились в Берне, когда ты в больнице лежала.

Не царапали Ленина насмешки, не гнули унижения, ничего он не стыдился — а всё-таки тяжело в сорок четыре года кланяться молодым, ото всех зависеть, не иметь собственной силы.

Не уехали б в 908-м из Женевы в Париж — не надо б сейчас и в Швейцарию добиваться, уж как бы там сидели прочно и безопасно — и со своей типографией, и со связями, и со всем. Скажи, кой чёрт нас тогда потянул в Париж?

(Не поехали бы в Париж — не узнал бы Инессы.)

Да даже в прошлом году, когда лечили твою базедку у Кохера и узнали, что такое настоящая медицина (Володя и сам тогда книги по базедовой читал, проверял), — вот бы нам сообразить и остаться сразу в Берне. А что? Если нужно пережить царизм, а возраст — уже не двадцать пять, то здоровье революционера становится тоже его оружием. И партийным имуществом. И надо поддерживать его всеми партийными финансами, не жалея. Надо жить при отличных врачах, и даже ближе к первоклассным знаменитостям, — где ж, как не в Швейцарии? Не у Семашко же лечиться, смешно!.. Наши революционные товарищи как врачи — ослы, неужели им доверить своё тело ковырять?

А ты — и сейчас не выздоровела. Надо тебе ближе к Кохеру.

Но, Володя, но в Швейцарии ужасен мещанский дух, ты вспомни, как нам там было затхло! Ты вспомни, как от нас шарахались после тифлисского экса! — у них, видите ли, *право* стоит так непорочно, они не могут потерпеть преступлений против собственности!.. И это — социал-демократы?!

Всё правильно, но в Швейцарии вот так не попадёшь, как мы в Поронине попали. А Семашко и Карпинского мы освободили шутя.

И какие библиотеки там, как заниматься хорошо! — и прежде, а сейчас-то, во время войны! Исключительная культивированность и удобства жизни.

Чистая вымытая страна, приятные горы, приветливые пансионы, прозрачные озёра с плавающей птицей.

Отстойник русской революции.

И при нейтральности страны только оттуда и можно будет держать международные связи.

Обдумывать, обдумывать: что же за радость — невиданная всеевропейская война! Такой войны и ждали, да не дожили Маркс и Энгельс. Такая война — наилучший путь к мировой революции! То, что не разожглось, не раздулось в Пятом году, — само теперь раздуется! Благоприятнейший момент!

Раскручивалось и предчувствие: вот оно, то событие, для которого ты жил, чтоб его разгадать! Двадцать семь

лет политического самообразования, книги, брошюры, партийная перебранка, холодное неудачное наблюдение первой революции, для всех в Интернационале — нарушитель порядка, зарвавшийся сектант, слабая маленькая тающая группка, называемая партией, — а ты ждал, сам не зная, вот этого момента, и момент пришёл! Крутится тяжёлое разгонистое колесо — как красное колесо паровоза, — и надо не потерять его могучего кручения. Ещё ни разу не стоявший перед толпой, ещё ни разу не показавший рукой движения массам, — какими ремнями от этого колеса, от своего крутящегося сердца, их всех завертеть, но — не как увлекает их сейчас, а — в обратную сторону?

Краков.

Одевались, собирались.

В рассеянности собирался, не вполне понимая, что вот — Краков, и что́ делать надо.

Понесли вещи сами, без носильщика.

Оглушенье от многолюдья, отвыкли, а тут ещё — особенное, военное. Людей на перроне — впятеро больше, чем может быть в будни, и впятеро озабоченнее, и спешат. Монахини, которым бы тут делать нечего, — толкаются, всем суют образки и печатные молитвы. Ленин отёрнул руку как от гадости. У пассажирской платформы, не на месте — товарный вагон, и в него несут, несут какие-то большие ящики; написано: порошок от блох. Толкаются военные, штатские, железнодорожники, пассажиры. Через густоту перрона — медленно, трудно, чуть не локтями. А по стене вокзала — крупный плакат, жёлтая ткань и красными буквами:

Jedem Russ — ein Schuss! *

Совсем это не к ним относилось, а нельзя вовсе не вздрогнуть.

В здании вокзала — набито и душно. Нашли местечко — в тени, на возвышеньи, у боковой стены, углом на площадь. Тут ещё больше густела толпа и много женщин. Посадили тётку на скамейку, вокруг неё все вещи. Надя

* В каждого русского — стреляй!

поехала к инессиной хозяйке. Владимир Ильич побежал купить газет и шёл назад, читая их по дороге, обталкиваясь со встречаемыми, тут присел на твёрдый чемодан, зажимая газетный ворох между локтями и коленями.

В газетах не было особенно радостно: и о галицийской битве и о Восточной Пруссии писалось уклончиво, значит русские были не без успеха. Но — бои во Франции! но — война в Сербии! — кто это мог мечтать из прежнего поколения социалистов?

А — растеряются. Выше „мира! мира!“ не поднимутся. Кто не „защитники отечества“, те в лучшем случае будут вякать и тявкать „прекратить войну!“.

Как будто это возможно. Как будто кому-то посиленно — схватиться руками за разогнутое паровозное колесо.

Помойные слюнявые социалистики с мелкобуржуазной червоточинкой, чтобы захватить массы, станут болтать *за мир* и даже *против аннексий*. И всем покажется, что это натурально: против войны — так значит „за мир“?.. По ним-то первым и придётся ударить.

Кто из них имеет зрение увидеть, имеет волю переступить в это великое решение: *не останавливать войну — но разгонять её!* но — переносить её! — *в свою собственную страну!*

Не будем прямо говорить „мы за войну“ — но мы за неё.

Тупоумный предательский лозунг „мира“! Для чего же пустышка никому не нужного „мира“, если не превращать его тотчас в *гражданскую войну* и притом *беспощадную*?! Да как *предателя* надо клеймить всякого, кто не выступит за гражданскую войну!

Самое главное — трезво схватить расстановку сил, трезво понять — *кто теперь кому союзник?* Не с поповской глупостью вздымать рукава между фронтов. Но увидеть в Германии с самого начала — не равно-империалистическую страну, а — могучего союзника. Чтобы делать революцию, нужны ружья, нужны полки, нужны деньги, и надо искать, *кто заинтересован* дать их нам? И надо искать пути переговоров, тайно удостовериться: если в России возникнут трудности и она станет просить о мире — есть ли гарантия, что Германия не пойдёт на пере-

говоры, не покинет русских революционеров на произвол судьбы?

Германия! Что за сила! Какое оружие! И какая решительность — решительность удара через Бельгию! Не опасаются, кто и как заскулит. Только так и бить, если начал бить! И решительность комендантских приказов — вот уж, не пахнет русской размазнёй. (И даже та решительность, с какой хватают русских социал-демократов. Тем более — с которой освобождают их.)

Германия — безусловно выиграет эту войну. Итак — она лучший и естественный союзник против царя.

А-а, попался хищный стервятник с герба! — схвачена лапа, не выдернешь! Сам ты выбрал эту войну! Обкорнать теперь тебя — до Киева! до Харькова! до Риги! Вышибить дух великодержавный, чтоб ты подох! Только и способен давить других, ни на что больше! Ампутировать Россию кругом. Польше, Финляндии — отделение! Прибалтийскому краю — отделение! Украине — отделение! Кавказу — отделение! Чтоб ты подох!..

Площадь загудела, нахлынула сюда, к перронной решётке, дальше не пускала полиция. Что это? Подошёл поезд. Поезд раненых. Может быть, первый поезд, из первой крупной битвы. Толпу раздвигали — для вереницы ожидающих санитарных карет и автомобилей, чтобы где развернуться им. Здоровенные нахмуренные санитары быстро выдавали от поезда к каретам носилки за носилками. А женщины напирали, продирались со всех сторон, и между головами и через плечи смотрели с жадным страхом на кусочки серых лиц между бинтами и простынями, ужасаясь угадать своего. Иногда раздавались вопли — узнавания или ошибки, и толпа сильнее сжималась и пульсировала как одно.

С возвышения, где сидели Ульяновы, было видно хоть издали, но хорошо. И ещё из этого положения Ленин встал и пошёл к парапету ближе.

С каретами и носилками была нехватка, а тем временем, поддерживаемые сёстрами милосердия, выходили с перрона и на своих ногах — фигуры белые, в серых халатах и в синих шинелях, перебинтованные толсто по головам, по шеям, по плечам и рукам, и двигались, кто осторожнее, кто смелей, — и вот уже к ним, теперь к

ним уже! бросались встречающие, теснилась толпа, и тоже кричали, режуще и радостно, и обнимали, и целовали, то ли своих, то ли чужих, отбирали от сестёр, подносили их мешочки, — а ещё выше, над всеми головами, плыли к раненым из вокзального ресторана на поднятых мужских руках — кружки пива под белыми шапками и в белых тарелках жаркое.

У парапета стоял освежённый, возбуждённый, в чёрном котелке, с неподстриженной рыжей бородкой, с бровями, изломанными в наблюдении, с острыми щупкими глазами, и одна рука тоже выставлялась с пальцами, скрюченными вверх, как поддерживая большую кружку, а на горле его глоталось и дрожало, будто иссох он в окопах без этой кружки. Глаза его смотрели колко, то чуть сжимаясь, то разжимаясь, выхватывая из этой сцены всё, что имело развитие.

Просветлялась в динамичном уме радостная догадка — из самых сильных, стремительных и безошибочных решений за всю жизнь! Воспаряется типографский запах от газетных страниц, воспаряется кровяной и лекарственный запах от площади — и как с орлиного полёта вдруг услезиваешь эту маленькую единственную золотистую ящерку истины, и заколачивается сердце, и орлино рухаешься за ней, выхватываешь её за дрожащий хвост у последней каменной щели — и назад, и назад, назад и вверх разворачиваешь её как ленту, как полотнище с лозунгом: ... ПРЕВРАТИТЬ В ГРАЖДАНСКУЮ!.. — и на этой войне, и на этой войне — погибнут все правительства Европы!!!

Он стоял у парапета, возвышенный над площадью, с поднятою рукою — как уже место для речи заняв, да не решаясь её начать.

Ежедневно, ежечасно, в каждом месте — гневно, бескомпромиссно *протестовать* против этой войны! Но! —

(имманентная диалектика:) желать ей — продолжаться! помогать ей — не прекращаться! затягиваться и *превращаться*! Т а к у ю войну — не сротозейничать, не пропустить!

Это — подарок истории, такая война!

(Обзор по 13 августа)

На что не простягало воронье смельство генерала Жилинского — охватывать в Пруссии больше, чем угол Мазурских озёр, — то, глянув на карту, мог бы понять германский гимназист: уязвимость русскому удару целиком всего восточно-прусского рукавчика, выставленного к востоку и под мышкой подхваченного Царством Польским. Сам собою предвиделся русский замысел: Пруссию будут ампутировать. С востока, от Немана, куда германская армия всё равно не решилась бы наступать, удлинить свою уязвимую руку, — русские выставят слабый заслон, отвлекающие силы. А главные подожмут под мышку, от Нарева, и ударят на север.

Если б это была не своя земля, далеко от Германии, при таком невыгодном расположении её можно было бы уступить пока. Но — корень Тевтонского ордена и колыбель прусских королей — она должна была быть удержана при любых невыгодностях.

Во время ежегодных военных игр будущая ситуация уже не раз проверялась германским командованием, и был отработан энергичный контрманёвр: по множеству шоссейных и железных дорог, для того одновременно сгущённых, в двое-трое суток ускользнуть из мешка и успеть сильно ударить по флангу главной вражеской группировки, ошеломив её, смяв, а иногда и окружив.

Правда, после японской войны уже не опасались так, и в инструкциях стояло: „Не следует ожидать от русского командования ни быстрого использования благоприятной обстановки, ни быстрого точного выполнения манёвра. Передвижения русских войск крайне медленны, велики препятствия при издании, передаче и выполнении приказов. На русском фронте можно разрешить себе манёвры, каких нельзя с другим противником.“

Но даже и при такой оценке русские действия в августе 1914 изумили! С востока двинулся никак не отвлекающий заслон — до восьми пехотных дивизий и пять кавалерийских, среди них — гвардейские, цвет Петербурга. А с юга в эти самые дни русские вообще границы не перешли.

Коварная загадка! Почему русские армии действовали разновременно? почему южная не спешила опередить восточную в темпе и нанести охватывающий удар? Надо ли было истолковывать это как стратегическую новинку русских: вместо модных теорий охвата — простое выталкивание, вышибание, что очевидно выражает собой бесхитростный русский национальный характер (*das russische Gemüt*)?

Ну что ж, ударить пока по неманской армии Ренненкампа! И как можно быстрее, затяжные действия могут оказаться губительными. Командующий прусской армией генерал Притвиц бросил почти все свои силы в восточную оконечность Пруссии. И была бы верная победа: Ренненкампф, при всей своей бездействующей кавалерии, настолько не ведал о сближении с противником, что на день наступившего боя, 7 августа, назначил всей армии *дневку*, и кавалерия его не дралась, а каждая пехотная дивизия — сама по себе. И всё же в тот день наказаны были германцы за пренебрежение к врагу: инструкция их, перечисляя пороки русского командования, упустила напомнить стойкость русской пехоты и отличный стрелковый огонь, — японская война не впустую была проиграна. Армия Притвица под Гумбиненом, несмотря на двойное превосходство в артиллерии, была рассеяна, а бой потерян.

В вечер того тяжёлого дня доложили Притвицу, что авиаторами замечены и с юга большие колонны русских. Даже бы и выиграв бой под Гумбиненом, теперь требовалось мгновенно откатиться, оторваться от Ренненкампа. Проиграв же Гумбинен, склонялся Притвиц и вовсе уйти за Вислу, уступить Восточную Пруссию.

Но отрыв прошёл очень гладко, германцы маневрировали так, будто восточной русской армии вообще не было: тем же вечером отошли в тыл, за ночь разрыв уже равнялся дневному переходу, затем без глаза русской авиации погружались и уезжали в другой конец Пруссии. Для наблюдения за армией Ренненкампа оставили всего одну кавалерийскую дивизию и слабую ландверную пехоту. Весь следующий за боем день 8-го августа, и 9-го, и даже утром 10-го Ренненкампф — вторая поразительная русская загадка! — не стремился догонять, топтать и уничтожать противника, захватывать пространство, дороги и города, — но стоял, давая создаться разрыву в 60 километров, после чего двинулся с величайшей осторожностью.

Удачно уведя от Ренненкампа за сутки три своих корпуса, Притвиц решил не уходить за Вислу, а перегруппироваться назад направо и ударить по левому флангу подходящей с юга самсоновской армии. Ибо — третья русская загадка! — южная русская армия, ежедневно подробно наблюдаемая с воздуха, не старалась ни расщупать противостоящий ей корпус Шольца, загородивший Пруссию как бы косо поставленным щитом, ни охватить его, ни даже ударить в лоб, — а уверенно двигалась наисокров в пустое пространство мимо Шольца, подставляя ему свой бок.

Однако самим же Притвицем накануне посланное наверх предположение и волна тревоги в Берлине от беженских потоков из Пруссии раскачивали своё. 9 августа в германской Ставке решили: Притвица сместить. Новым начальником штаба прусской армии был назначен свежеславленный в Бельгии 49-летний Людендорф: „Быть может, вы ещё спасёте наше положение, предотвратите самое худшее.“ Вечером 9-го он уже принят Вильгельмом, получил орден за взятие Льежа, в ночь на 10-е в экстренном поезде из Кобленца на восток уже сошёлся с новым командующим армией Гинденбур-

гом, 67-летним ворчливым отставным генералом, на манёврах было критиковавшим распоряжения императора Вильгельма, а теперь взятым из отставки. Но из поезда вперёд посланный их приказ перегруппировывает армию так, как без них делает уже и Притвиц. (Единая техника военной мысли, поголовно воспитанная в немецких военачальниках по завету Мольтке-старшего: гениальный полководец есть случайность, участь народа не может зависеть от такой случайности; посредством же военной науки победоносная стратегия должна осуществляться и средними людьми.)

Хотя миру извне вырисовывалось поражение немцев в Пруссии, но в Париже, под неотвратимым прорывом немецкой мощи с севера, французское министерство иностранных дел, поддаваясь то ли собственной панической выдумке, то ли чьей-то мистификации, 11-го августа дало истерическую телеграмму своему послу в Петербурге, что „по сведениям из самого верного источника” немцы сняли два действующих корпуса из Пруссии во Францию — а потому снова настаивать на неотложном наступлении русских на Берлин. На самом же деле германская Ставка 11-го августа действительно сняла два действующих корпуса — резервный гвардейский и 11-й армейский — но именно с Марнской битвы, с заходящего на Париж правого крыла, — и в Пруссию. Это тяжёлое решение генерал граф Мольтке-младший принял после известия о вчерашнем поражении под Орлау. К поражению под Гумбиненом это был уже нестерпимый довесок, Германия не могла отдавать Пруссию ни даже на время. А по великому плану Шлиффена именно в правом крыле и была вся сила битвы за Париж, чтобы разделаться с французами за первые 40 дней войны. (После „чуда на Марне” уволен и Мольтке.) Так затерявшимся в истории боем никем не прославленного корпусного генерала Мартоса был сорван захват Парижа немцами — а тем самым и вся война.

Тем временем русские закинули немцам и четвертую загадку: незашифрованные радиogramмы! То и дело подносили приехавшему Людендорфу и даже в пути нагоняли его автомобиль другим автомобилем и передавали — перехваченные русские радиogramмы: между штабом Второй армии и штабами корпусов, и от Первой армии тоже десятков радиogramм за 11 августа, с указанием точного расположения русских корпусов, их задач и намерений и степени их тёмного незнания о противнике, а утром 12-го и полную радиogramму обо всей дислокации Второй армии! И уже ясно стало, что Первая не помешает бить Вторую.

Да не для обмана ли всё это выставлялось? Нет, стекались в одно и донесения авиаторов, оставленных лазутчиков, добровольных военных обществ, телефонные звонки жителей. Во всей военной истории — бывала ли такая открытая карта? такая ясность о противнике? Сложная война по озёрной стране, загороженной лесами двадцатиметровых сосен, стала для германцев проста, как занятия на учебном полигоне.

И все четыре загадки разгадывались едино: русские не умеют согласовывать движения больших масс. А потому: можно рискнуть

охват фланга заменить *окружением* ! Карта стонала, карта просила, карта сама показывала, как можно прочертить Канны XX века.

Был соблазн охватить всю самсоновскую армию, да слишком она разбросалась, не могло достать германских сил. Решено было поэтому лишь оттолкнуть крайние корпуса от Уздау и от Бишофсбурга и так отк^рыть проходы для вставки клешней. Для того уже пятый день перестраивались германские войска. Корпус генерала Франсуа поездами перебрасывался через всю Пруссию по диагонали. А корпуса Макензена и фон-Бёлова (о которых донёс Ренненкампф, что они разгромлены и остатки их укрылись в Кёнигсберге) нормальными переходами покрыли 80 километров, спокойной днёвкой привели себя в порядок и утром 13-го августа ошеломили бесечно выдвинутую комаровскую дивизию.

Это был тот день 13-го августа, когда Самсонов перевозил наконец свой штаб в Найденбург и пились там тосты за взятие Берлина под остриём уже прорезанной стрелки-клешни и под близкий грохот семикратно превосходной немецкой артиллерии под Мюленом против дивизии Мингина. Тот день, когда корпус Мартоса, горимый мимо Шольца, но всё более цепляясь за него, всё более поворачивался на него и отважно и с большим успехом его теснил. Тот самый день, когда корпус Ключева, ни о каком противнике не зная-не ведая, гнал по пескам на пустой север — в ловушку, в волчью яму, невозвратные вёрсты гнал, за каждую из которых придётся платить батальонами. Тот самый день 13 августа, когда русская Ставка уже разрабатывала план, как забирать Ренненкампфа из завоёванной Восточной Пруссии, а Жилинский давал Ренненкампфу телеграмму: считать главной целью обложение крепости Кёнигсберг (где укрылись ландштурмисты-старички) и прижатие немцев (где не было их) к морю, чтобы не допустить до Вислы (куда они не шли).

И всё же прусскому командованию не показался этот день успешным. Уже то было неудачно, что за сутки не перехватилось ни одной новой открытой русской радиограммы, и расположения русских, недавно такие ясные, стали взмучиваться и смешиваться от многих неизвестных движений.

Хотя и разгромив комаровскую дивизию, корпуса Макензена и фон-Бёлова наступали близ озера Дидей с осторожностью, приобретенной под Гумбиненом, и эта осторожность оправдала себя: у станции Ротфлис вечером 13-го русские оказали стойкое сопротивление, видимо немальными силами. (Нужно было наступить утру 14-го, чтобы германские авиаторы обнаружили корпус Благовещенского в таком отходе и расстройстве, каких невозможно было предположить накануне.) А стоянье насмерть двух русских полков южнее Мюлена затемнило Гинденбургу, что на этом участке уже сквозит нужная щель, и написал он в приказе, что там у русских побольше корпуса. Не видя этой готовой щели, пробивали её под Уздау.

Концы толстых охватывающих стрелок изнывали перед рывком.

Ложилась ещё и тень Провидения (Vorsehung) на ту самую мюленскую укреплённую линию, на те самые озёрные скалы и полу-

тысячелетние ели хранящей и хранимой родной земли, где оголтело, обнажённо наступала сейчас русская Вторая армия: именно сюда в 1410 году пришли соединённые славянские силы и под деревушкою Танненберг, между Хохенштейном и Уздау, нанесли разгром Тевтонскому ордену.

Через полтысячи лет роково сложилось так, что могла Германия исполнить суд возмездия (*das Strafgericht*).

24

И никакой прирождённый нам дар не приносит радостей сплошь, непременно и огорчения. Но мучительно быть из ряда талантливый — офицеру. Восторженно служит армия блестящему таланту, но когда уже схватит он маршальский жезл. А прежде, пока он к этому жезлу тянется, она бьёт и бьёт его по рукам. Дисциплина, основа армии, всегда против восходящего таланта, и всё, что роится в нём и разрывает его, — должно быть сковано, согласовано, подчинено. Всем, кто пока поставлен выше него, невыносимо иметь такого своевольного подчинённого. И оттого продвигается он не быстрее посредственностей, а медленнее.

В 1903 году приезжал генерал фон-Франсуа в Восточную Пруссию начальником штаба корпуса. И через десять лет, сам уже под шестьдесят, назначен был сюда же — всего лишь командиром корпуса, правда — лучшего в германской армии.

В 1903 году граф фон-Шлиффен проводил здесь штабную поездку-игру, и Франсуа был назначен командующим одной из „русских” армий. Как раз на нём и показал Шлиффен свой двусторонний охват. В отчёте записали: „русская армия под угрозой окружения с фланга и тыла сложила оружие”. Франсуа возразил задиристо: „Exzellenz! До тех пор, пока армией команду я, — она оружия не сложит!!” Шлиффен усмехнулся и приписал: „Осознав безвыходность положения своей армии, её командующий искал смерти на передовой и нашёл её там.”

Как на подлинной войне, собственно, не бывает.

Как, впрочем, генерал Герман фон-Франсуа был го-

тов бы, при позоре. Гугенотский род Франсуа в стране, приютившей его, не видел случайного крова. Род Франсуа привык знать одну родину и служить ей одной — и прадед Франсуа заслужил германское дворянство ещё когда во Франции на дворян не завели гильотины. Отец Франсуа, тоже генерал, смертельно раненый французами в 1870 году, воскликнул: „Я рад умереть в такую минуту — кажется, Германия побеждает!”

В 1913 году Франсуа застал войска Восточной Пруссии с задачей „уступающей обороны”: перед превосходящим противником отступать с боями. Но это был неправильно понятый план покойного Шлиффена! Оборона на Восточном фронте в общем, пока не освободятся немецкие войска с Запада, совсем не означала отступления как тактики на каждом участке. Сравнивая немецкий и русский характеры, Франсуа находил, что наступление и быстрота — в духе немецкого солдата и его военного воспитания, отличия же русского характера: отвращение к любой методичной работе; отсутствие чувства долга; боязнь ответственности; и полная неспособность ценить и плотно использовать время. Отсюда для русских генералов вытекали: вялость, склонность действовать по схеме, тяга к покою и удобству. Поэтому Франсуа избрал для себя в Пруссии — вести оборону наступательным образом: где бы ни появлялись русские, нападать на них первому.

Когда началась Великая война (великая — для Германии, и великая, долгожданная для Франсуа, ибо теперь то и выпадала ему единственная возможность показать себя первым полководцем страны, а может быть и Европы), Франсуа рассчитывал использовать быстроту немецкой мобилизации и, как только его корпус будет боеспособным, — пересечь границу и атаковать скопление частей Ренненкампа на их медлительной формировке. Но тут-то и сказалось, что даже германская армия не может принять и признать слишком динамичный талант. Притвиц запретил план Франсуа: „Надо примириться и пожертвовать частью этой провинции” (Пруссии). Франсуа согласиться не мог: самовольно дал бой под Сталупененом, ход которого считал успешным, но в разгаре подъехал автомобиль с приказом Притвица: прекратить бой и отступить к Гумбинену. У армии могли быть свои планы, но у корпусного коман-

дира были свои! — и Франсуа ответил курьеру громко, при офицерах: „Доложите генералу фон-Притвицу, что генерал фон-Франсуа прекратит бой тогда, когда русские будут разбиты!” Увы, разбиты не были они, и свой же начальник штаба донёс на него в штаб армии. Вечером Франсуа давал объяснения, Притвиц доложил непосредственно императору о непослушании Франсуа, а Франсуа — непосредственно же императору, что с *этим* начальником штаба корпуса он воевать не будет! То был риск, кайзеру был повод разгневаться и самого Франсуа снять с корпуса, по многим жалобам он и без того считал генерала „слишком самостоятельной натурой”, — однако и терпеть неприязненного начальника штаба не было бы чертой выдающегося полководца!

Как ни глуши и ни отрекайся, а сидел-таки в нём, наверно, неугомонный француз.

Но при сепаратности от высшего командования нельзя было отказать себе в равновесии справедливости: каждый шаг свой и каждый конфликт необходимо было тут же объяснять Истории и потомкам, вряд ли кто это выполнит за тебя, если не позаботишься. И вот, не по возрасту вёрткий и лёгкий, воюя подвижно, со вкусом, взлезая и на колокольни для наблюдения, распоряжаясь и разгрузкою снарядов под картечью (может и без него б разгрузили), успевая в каждое место боя на автомобиле, чтоб обстановка не расходилась с приказом, иногда проглотив за день лишь чашку какао (это — для мемуаров, бывал и бифштекс) и спя по два-три часа в ночь, — Франсуа не успевал следить, чтобы каждое его решение фиксировалось и объяснялось трижды: приказом вниз; донесеньем наверх; и подробным изложением для военного архива (а если будет жив — то в собственную книгу), изложением не только действий, но и намерений, не всегда разрешённых, как генерал хотел. До боёв такое изложение он сам писал, а с начала боёв, в одном из двух своих автомобилей постоянно возил при себе специальным адъютантом своего сына, лейтенанта, и тот вёл дневник генерала, на месте мгновенно запечатлевая все его соображения.

И всю линию своего поведения генерал тоже должен был сформулировать сам, этого никто не сделает за него лучшим слогом: просто ли следовать приказам, как это

легче всего? Или ощутить в себе долг ответственности выше долга прямого повинения, не дать в себе подняться страху перед промахами, и против всех отговоров робких духом следовать инстинктивной угадке успеха?

В гумбиненском бою опять получился с Притвицем разрез. С первых же часов Франсуа считал этот бой крупной победой (так доносил Притвицу, и тот в Ставку), усиленно атаковал, обойдя фланг Ренненкампа (критики утверждают, что атаковал в лоб, неправильно представляя группировку русских), захватил много пленных, вечером отдал приказ атаковать и на следующий день — и тут же получил приказ Притвица отступать в ночь беззвучно, всем корпусам, — и даже за Вислу.

Невыносимый случай: враз потерять всё сегодняшнее, достигнутое твоим талантом, из-за того, что рядом Макензен бился неудачно, покинуть и завтрашний успех, чуемый ноздрями, в распале правоты отменить свой правильный приказ и подчиниться неправильному!

Но в этом — армия. И ещё весь в музыкально-воинственном состоянии, с поля *своей* победы — он начал корпусом железнодорожную длинную рокировку через Кёнигсберг.

В этом — армия, но немецкая ещё и в другом: на следующий день комендатура телефонных линий, составляя звенья, ища Франсуа, соединила его малую точку с Кобленцем, и Его Величество император осведомился у генерала, как он рассматривает положение и считает ли правильной переброску своего корпуса?

То была высокая честь корпусному командиру (и явная отставка командующего армией). Но подвижный ум Франсуа не настаивал на своей чести и вчерашней упущенной правоте: правильное вчера, уже не было правильно сегодня. Как сказал Наполеон, не может быть полководцем генерал, рисующий перед собой картины. Уже начав отход, надо было продолжать его до конца. Отдав поле неманской армии, свою исключительность теперь доказывать уже против наревской.

И где-то тут неухватимо, между телефонными разговорами, курьерскими поездами, встречу в новом штабе с новыми командующими (все старые знакомые, в корпусе Гинденбурга и был Франсуа когда-то начальником шта-

ба, а Людендорф, моложе Франсуа на 9 лет, был когда-то в генеральном штабе его подчинённым, а вот уже вознёсся), — где-то тут назревала идея: „наревской армии — двойной охват!“ — и каждый из троих чувствовал себя автором её (и ещё предстоит потом доказать Истории, что автор и исполнитель — ты).

Вечером 11 августа (как раз когда Воротынцев появился в дремлющем остроленском штабе) — генерал Франсуа уже близ места разгрузки первых приходящих своих поездов против левого фланга Самсонова, сидел в отеле „Кронпринц“ и писал приказ по корпусу:

„... Блистательные победы, которые одержал наш корпус под Сталупененом и Гумбиненом, побудили Верховное командование перебросить вас, солдаты 1-го армейского корпуса, по железной дороге сюда, чтобы вы своей непобедимой храбростью сразили бы и этого нового врага, пришедшего из русской Польши. Когда мы уничтожим этого противника, мы вернёмся в прежнее наше расположение и рассчитаемся с русскими ордами, сжигающими там, вопреки законам международного права, наши родные города...“

Предвидя точно этот неумолимый возврат, Франсуа писал в западном нижнем углу Пруссии — а ещё грузились его части в восточном верхнем углу под Кёнигсбергом, и через всю Пруссию с края до края гремели частые поезда. За полусуточную заминкой это было из немецких чудес: каждые полчаса, днём и ночью, шёл воинский поезд, и даже немецкие железнодорожные правила утратили свою обязательность: воинские поезда на открытых перегонах подходили вплотную друг ко другу; они занимали пути, пренебрегая красными семафорами, и разгружались на специальных военных платформах вместо двух часов за двадцать пять минут. По запросу Франсуа поезда подходили к самому полю предстоящего боя, и батальонам оставалось только размяться километров пять.

Но и этого чуда не могли оценить тяжелолицые — Гинденбург и Людендорф. Они приехали на командный пункт Франсуа, когда почти вся его артиллерия ещё была в пути — и потребовали начать жадно ожидаемое наступление.

Глаза Франсуа (он сам этого не знал и не хотел) были постоянно уставлены насмешисто:

— Если будет приказ, я начну. Но солдатам придётся сражаться... неудобно сказать... штыком.

Это русским простительно твердить: штык молодец, пуля дура и, очевидно, тем более дурак снаряд. Ученикам же Шлиффена полагалось бы понимать, что наступила война оружейная, и успех будет за тем, у кого перевес артиллерийского огня. В приказах солдатам можно писать о непобедимой храбрости, самим же — подсчитывать батареи и снаряды.

О, почему подчинённость всегда идёт обратно степени таланта?! Франсуа изнывал, вынужденный созерцать в метре от себя и выше себя эти два *волевых* раздавшихся лица, поставленные посредством толстых негибких шей на плотные туловища. Людендорф ещё не так отвердел челюстью и не так омертвел взглядом, но уже сильно напоминал своего командующего. А лицо Гинденбурга было точно прямоугольно, тяжелы и грубы все черты, грузны подглазные мешки, нос без высоты, как под тяжестью прогнулись усы, уши срослись с щеками. Этим двум пинцгауэрам — разве доступны или хотя бы ведомы были импульсы интуиции и риска?

(Упуская мысленно с ними перемениться, забывал Франсуа посмотреть от них на себя: что за курц-рост — не по генеральскому чину? что за быстроглазие не по возрасту? и главное — дурная привычка высказывать, обскакивать, перепрыгивать?)

Вот и сейчас: где наступать? Франсуа не слушает, где ему указывают, он предлагает своё: в один котёл со всей самсоновской армией валить и русский 1-й корпус. И спорит! — проспорили час. Запрещено. Велят ему русский 1-й корпус — отталкивать, а охватывать ядро армии без него. А когда наступать? — еле выторговал Франсуа полдня отсрочки с рассвета до полудня 13 августа.

Не там и не тогда, как хотел, он начал в первый день вяло, больше для отчёта, потеснил передовые русские заставы — и стали русские полки на хорошо видимые позиции по возвышенностям: от мельничного холма — через Уздау — и вдоль железнодорожной насыпи. Через Уздау и предстояло 14 августа открыть дорогу на Найденбург.

С заходом солнца предварительный бой смолк. За ночь вся остальная артиллерия должна была подойти и стать на позиции — такие калибры и такая густота снарядов, какой русские ещё не испытывали никогда. Завтра в четыре утра он, генерал Франсуа, начнёт большое армейское сражение.

— А если русские начнут ночью первые, мой генерал? — спросил сын, ещё записывая при ночном фонарике.

Это — на сеннике было, генерал брезговал спать в доме, где похозяйничали русские. Спрятав заведенный будильник под изголовье, он до предела вытянул короткие ноги без сапог, хрустнул костями и с улыбкой зевоты ответил:

— Запомни, мальчик: русские никогда не могут сами двинуться раньше обеда.

Con moto

*Запевала: Немец белены объелся,
Драться в кулаки полез!*

*Хор: Фу ты, ну ты, фу ты, ну ты,
Драться в кулаки полез.*

*Запевала: А ведёт их войско важно
К нам усаый Васька-кот!*

*Хор: Фу ты, ну ты, фу ты, ну ты,
К нам усаый Васька-кот!*

(„Русская солдатская песня 1914 года“, почтовая открытка с нотами, марш наших героев с барабаном и жалкий кот Вильгельм.)

Всё сгруживалось некстати и несчасно: и сама эта война, прерывавшая карьеру генерала Артамонова; и опасное западное расположение его корпуса, наиболее в сторону Германии; и вынужденность продвинуться всё-таки от Сольдау вперёд; и сведения о большой силе противника, и вот первое наступление его — да как раз в день приезда этого полковника, шпиона из Ставки; и телеграфные переговоры, чтобы накинуть на Артамонова удавку покрепче.

До сих пор военная карьера Артамонова расстилалась всё по верхам, по генеральским чинам и по орденам первой степени. Правда, и сам он не ленился, чины отработывал усердно: все кончают одно военное училище, а он — два, все — по одной академии, а он отсидел — две (а поступал даже и три раза, единожды провалился): служба так служба! А сидеть ему было труднее, чем другим, потому что резвые сильные у него были ноги, и жилами он изводился без беготни. Но счастливо выпало лет десяток служить то „для поручений”, то старшим адъютантом при штабе округа, то „в распоряжении Главного штаба”, — и он гонял по Приамурью, и гонял к бурам, и гонял в Абиссинию, и ещё на верблюдах по восточным провинциям гонял, — он нисколько не ленился! он честно служил, как мог, чем мог! Его стихия была — уезжать, находиться в пути, приезжать, переезжать, — но не воевать, потому что война включала не только движение, но и возможный ущерб чинововышению при неудачных обстоятельствах. Впрочем, война против бунтовавших китайцев прошла для него приятно и наградно. Также и на японской он хорошо выскочил из мукденского мешка, без сожаления бросив желтоскулым полсотни этих глиняных деревушек сахобетаев да шоуалинзов. А вот эта начиналась как-то недобро. Докладывали авиаторы, что против Артамонова стоят две дивизии — нет, уже и два корпуса! Что-то страшное замышляли немцы. Но как проникнуть в эту загадку? как предохраниться? Всю жизнь Артамонов проносил военный

мундир, но лишь сегодня ощутил перед собой эту грозную тайну войны, невозможность догадаться, что хочет завтра сделать с тобою противник, невозможность придумать, что делать в ответ, — и мотало, и мотало его не то что по командам штаба, но по всему расположению корпуса: дважды за день он испылил на автомобиле всю местность, как бы для проверки и ободрения частей, а на самом деле от растерянности, обрывающей всё внутри. Что же предпринять кроме ободрения, не мог он сообразить, честно — не мог! Среди дня немцы начали наступать — и от отчаяния Артамонов сам решился, к чему не мог понудить его штаб армии, на маленькое наступление: два полка на левом фланге прошли пять вёрст ещё дальше на запад и взяли большое село. Но — хорошо ли это было? но — так ли надо? Командиру корпуса негоже спрашивать совета у кого-нибудь, а тем более — у полковника, подосланного Ставкой. Тут, напротив, надо было голову трудить, догадываться и выведывать: насколько этот полковник в силе, насколько он в доверии у Верховного, и чья это интрига, что его прислали сюда. И не о страхах своих, не о заботах говорил с ним Артамонов, а, молодецествуя, — так, о чём-нибудь общем: мол, говорят, Германия сильна порядком и системой, но ведь в этом её и слабость! вот начнём воевать *не по системе*, не по порядку, — глядь, они и растеряются.

Этот полковник как прилип, и когда, уже к ночи, по стихшему бою, решил командир корпуса ещё раз объехать все позиции и ещё раз ободрить войска — полковник вызвался непременно ехать с ним, дурная примета. И верно: всё, что тот спрашивал и говорил по дороге, всё было от недобра, всё — подковырка. Из Сольдау ехали, светя фарами, обгоняя кой-какие войска, — притворился: что это не видно укреплений, окопного пояса вокруг города за те четыре дня, что корпус тут стоит, может он пропустил? О дневном бое говорили — стал головой крутить, что вот сняли полк с правого фланга — и там, мол, теперь щель. Только осадил его Артамонов, что туда пошла конная бригада Штемпеля, — как въехали в деревню, а бригада Штемпеля на ночлеге, и лишь собирается завтра утром выступать. Артамонов учинил Штемпелю разнос. Но у кого не найдёшь недостатков, если так вот ездить по расположе-

нию и присматриваться?.. И наконец с открытым уже непочтением ставочный полковник приступил с расспросом, какой у командира корпуса на завтра *план*.

П л а н! — слово-то какое неправославное. Какой мог быть „план”, и о том ли вслух рассказывать, нашёл простака! План был — как выскочить отсюда всем корпусом благополучно, и не лёг бы порок на имя корпусного, а получить награду. Но такой простой план нельзя было высказывать. А полковник, определённо имея за собой большие связи, развязно лез почти уже с указаниями: что войск у генерала вдвое больше, чем корпус, и нескованный левый фланг с кавалерийскими дивизиями на нём, — и завтра можно было бы захлестнуть немецкий фланг своим подвижным и длинным, есть ещё время развезти приказы и перестроить части. И будто это в интересах самого же Артамонова.

Ну уж, свою пользу мы и сами знаем! Но, правда, легла такая беда, что войск у Артамонова с сегодняшнего дня стало вдвое больше, оттого и головоломание вдвое больше: имел он неосторожность поднять тревогу, пожаловаться в штаб армии, что против него накапливается неприятель, — и Самсонов по телеграфу отдал в его распоряжение обе кавалерийские дивизии и все войска, опоздавшие в несобранный 23-й корпус, — варшавскую гвардейскую дивизию да отдельную стрелковую бригаду. Теперь „командующий убеждён, что даже превосходящий противник не будет в состоянии сломить упорство славных войск 1-го корпуса”. И так же гордо благодарил по телеграфу Артамонов „своего доблестного командующего за доверие”. А сам оледенел от такого *доверия* — что же с этой крестной ношей делать?

Эти петушье-кукушкинские перехвалы Воротынцев ненавидел до затмения глаз. В том, что трезво-отжатый язык военных заменялся языком придворного раскланивания перед взаимной доблестью, был роковой признак слабости, невозможный у германцев. Собралась такая сила на левом фланге самсоновской армии — и надо было не промедлять получасу в действиях, они же выстукивали комплименты. Лейб-гвардии Кексгольмский полк разгру-

зился раньше и пешим порядком ушёл направо, в Найденбург, догонять свой 23-й корпус. Но сегодня во Млаве выгрузился лейб-гвардии Литовский, и он-то теперь попадал в подчинение Артамонову. (А два других полка варшавской „жёлтой” гвардии были даже и не в Варшаве, и неизвестно где болтался её начальник генерал Сирелиус.) 1-я же стрелковая бригада была из новейших и наилучше подготовленных боевых частей всей русской армии; её батальоны, идущие на передовые позиции, и обгонял сейчас их автомобиль.

Если бы армейский левый фланг стоял рогом, выдаваясь вперёд от линии армии, — не страшен был бы отход минувшего дня и не страх был бы ещё потесниться. Но левый фланг уже был продавленным плечом.

Однако с Артамоновым всё говорилось вразнобой и без отклика. Намёки, советы, идеи Воротынцева отскакивали от этого кругло-выкаченного каменного лба. Бесполезно было и обсуждать с ним, что узналось сегодня к вечеру: что стоит против них германский 1-й корпус Франсуа, тот самый, который Ренненкампф *разбил* под Гумбиненом, — и вот он стремительно оказался здесь. Это мог быть только замысел — и грозный.

Весь день Воротынцев провёл при штабе корпуса и насмотрелся на этого хлопотного бегучего генерала. Сидит на темени и в моржовых усах, погоны и аксельбанты благообразно возвышают и дурака, мешают увидеть человека, каким он был и есть, — первичного Адама. Но если сделать усилие, можно увидеть: это переодет в генерала солдат-бегунок, при строгом унтере отличный бы солдат: ретивый, ногастый, минутки зря не посидит, везде ему надо, да пожалуй и бесстрашный к пуле. Или это дьякон изрядный: высок, статен, голосом не обижен, во все уголки с кадилом сунуться не ленив, и актёрство в нём есть, а может и преданность Божьей службе.

Но почему он был генерал-от-инфантерии? Почему в его неосмотрительной власти оказалось шестьдесят тысяч русских воинов?

Вот мчался он объехать ночью все части — а что оставил в штабе? кем ведётся разведка? как связана артиллерия с пехотой? сколько снарядов завезено на орудие и хватит ли колёс и ящиков перевозить их вперёд и назад

по ходу боя? — этого наверняка он не знал, и даже не знал, что это надо знать. Отчего за минувший день, в бою умеренной силы, его корпус местами сильно потеснён? — Артамонов нисколько не заботился доведаться до причин, и было бы неприятно ему услышать их от Воротынцева. Вот и в автомобиле по полю боя — для генерала умного это верный приём, мгновенно охватить расползшиеся войска, везде вовремя побывать и самому всё исправить, — но беда, когда к прытким, бестолково-усердным ногам да прибавляются автомобильные колёса!

Решительности не отнять было у Артамонова! Перед своими задачами он не унывал, советов не принимал, и тонкое надо было ухо — услышать в его голосе ошеломлённость.

Они ехали ночной дорогой, светя фарами, неестественным белым светом омертвляя и очуждая стволы древесной придорожной обсадки, кусты, дома, сараи, шлагбаумы, перильца мостиков, обгоняемые колонны, повозки, а встречных слепя. Там и сям к дороге с любопытством обращались из тёмной глубины солдаты, а застигнутые одиночки уковыливали побыстрее или простёгивали лошадей поспешно.

Если был вообще смысл у поездки Воротынцева на левый фланг армии — то вот он и исчерпался. Самое большее в его полномочиях была „штабная разведка“: личное знакомство с обстановкой и тем поправка разведывательных данных. Это с лихвой уже было выполнено, а данные его грозили для Ставки запоздниться, и точный служебный долг его был: гнать в штаб армии и в Ставку назад. Нависать же над штабными офицерами и строевыми командирами у Воротынцева не было полномочий. Да, ходу дел очень можно бы пособить, если бы теперь к Артамонову присосаться, присутствовать при каждом его решении и опасать от ошибочного. Но такую опеку Артамонов с подозрительностью отвергал. Да и самого себя Воротынцев почти не мог принудить оставаться при Артамонове дольше. Все призывы одерживает терпеливый. Однако терпение не было добродетелью Воротынцева. Он и сам уже не мог довершать с генералом его ночную объездку. Её начали с Уздау, откуда по шоссе до штаба армии оставалось двадцать вёрст, — и тут решил он отделиться.

Село Уздау располагалось на обширной высоте, ощущаемой и ходом автомобиля. В некоторых домах светились керосиновые лампы, другие были темны, но по лошадям, по солдатам чувствовалось, что и дома, и сарай, и дворы — всё забито. За большой стеной, укрыто от неприятеля, умеренным огнём дышали несколько походных кухонь.

Позади готической краснокирпичной церкви остановились, потушили фары. Уже дали знать, и к ним спешил с докладом генерал-майор Савицкий, начальник боевого участка, как он назывался для прикрытия неряшества, а проще — командир бригады над командиром единственного здесь 85-го Выборгского полка, другой же полк этой бригады застрял в Варшаве. (И неряшество на том не кончалось: с Выборгским граничила слева другая дивизия, и тоже без полка, тоже в Варшаве, а ещё левей той дивизии — ходившие сегодня в наступление два полка *этой* дивизии, там и начальник её генерал Душкевич. Всё впереслойку и запутано как нарочно.)

Артамонов захотел увидеть позиции, Савицкий повёл их в обход домов, под рассеянным светом окон. Он уже сед был, но держался твёрдым молодцом, в звёздной темноте это было слышно и по голосу и по рассудительности объяснений.

Потеснясь за минувший день, Выборгский полк занял теперь эту сильную ключевую позицию. Тут, перед селом в ста саженях, где высота начинала уклоняться к противнику, была проведена линия сплошных окопов, и солдаты всё ещё углублялись.

Полк был свежий, довезен по железной дороге, перебоев в кормёжке не знал, за минувший бой потерь почти не имел, работал дружно. Глухо и сильно стучали лопаты, кирки, и слышались шутки.

Савицкий ясно понимал все слабости и опасности: что сразу справа у нас дыра, нет никого; что для важного этого крыла слишком мало дано артиллерии: дивизион лёгкой полевой да как бы в насмешку — две средних гаубицы. А остальные десять корпусных гаубиц и весь армейский тяжёлый дивизион — на левом. Но Артамонову невыносимо было вникать, тогда б он за ночь не объехал всех позиций. И оборвав Савицкого с Воротынцевым, он

велел построить ему взвод — вот тут же, из ближнего окопа, в рабочем виде, как они есть. (Да, бишь, ведь он бывал начальником оборонных работ самого Кронштадта!) Взвод покидал инструмент, вылез, построился без оружия. Артамонов ступил вдоль шеренги:

— Ну как, ребята? Отобьём?

Не ладно в один голос, но зароготали ему, что отобьём.

— Значит, дела ничего?

Отвечали, что — ничего.

— Ваш полк — Берлин брал! Серебряные трубы за это имеете! Вот тебя, — спросил он широкоплечего солдата, — как зовут?

— Агафоном, — ваше высоко-дительство, — расторопно отвечал тот.

— Агафон — какой? Когда день ангела?

— Огуменник, ваше... дительство! — не растеривался солдат.

— Дурак ты! Огуменник! Почему — Огуменник?

— Дык, значит — осенины, ваше всходительство! Копны с поля, а на гумне работа.

— Дурень ты, святого своего надо знать! И ему молиться перед боем. Жития святых читал?

— Чи... читали, ваше дительство...

— Святой — это ж как ангел твой, он тебя защитит и охранит. А ты не знаешь! А в селе вашем престольный праздник когда? Тоже не знаешь?

— Как не знать, ваше дительство! В тех же днях, на малую пречистую.

— Что ещё за малая пречистая?

Агафон замялся. Но сзади крикнули грамотейным голосом:

— Рождество пречистой Богородицы, ваше высокопревосходительство!

— Так вот молись Божьей Матери, пока жив! — заключил Артамонов и спросил через трёх четвёртого.

Но и тот оказался Мефодий-Перепелятник и тоже не знал жития своего святого.

— Да кресты-то на всех? — осердился генерал.

— Как можно!.. На всех!.. — в дюжину голосов, даже обиженно ответила ему Россия.

— Ну так и молитесь! Утром начнёт немец бить — а вы молитесь!

Мог бы подумать Воротынцев, что это всё показно для него строится, — нет, и всегда Артамонов так. Шло ль от корней генеральской души или от того, что он долго служил в Петербургском округе и знал, как приятны великому князю лампы в каждой солдатской палатке? Лицо б его при этом увидеть — ничего б не добавило: лицо его — гладкая стенка с глухою ручкою носа, не открывающей ничего. И глаза такие же стеночные.

Вот и он перекрестился, видно против неба: как сам мотался по правому, левому флангу, так отмотал крупно и торопливо по лбу, по груди, будто овода смахивая с последнего плеча. И Савицкого окрестил, обнял:

— Храни вас Бог! Храни Бог ваш Выборгский полк!

Он бы и полней его, может, назвал, да некстати: Его Императорского и Королевского Величества Императора Германского Короля Прусского Вильгельма Второго полк. Теперь перестали то название повторять, а нового им ещё не придумали. Знал Воротынцев этот полк давно: он был под Ляояном, и на Шахэ, и под Мукденом, всё где-то рядом. С тех пор солдаты, наверно, уже все сменились, а полк, живое существо, остался как бы тот же. Да наверно офицеры с того времени есть, если поискать.

И командир корпуса уехал. А Савицкий шёл направо, где фронт обрывался, — расположить там пулемётную полуроту. Воротынцев пошёл с ним. Грудь без тревоги не живёт. Теперь, когда миновало беспокойство, что армию обойдут слева, глодало другое: что справа от корпуса сквозняк, пустота.

Савицкий говорил по делу и кратко, всё он понимал. Но почему понимание всегда слюится ниже власти?..

Идя между селом и главной линией окопов, они вышли к мельнице. Особняком, ещё выше села, на обвеваемом месте, на юру, стояло гигантское чёрное тело мельницы, и по звёздному небу были видны её неподвижные крылья — как руки, перекрещенные в мольбе „не иди-те!”, или в запрете „не пустим!”.

Есть на мельнице наблюдательный? Был, да снят: уж слишком напоказ, под вечер сюда били.

А дальше шоссейная и железная дороги, выйдя из-за

села, рядом, двумя насыпями круто поворачивали на север, поперёк фронта, — и по ту сторону полотна шёл Савицкий располагать пулемёты. Воротынцеву он предложил ночлег в доме, где и сам. Надо было, наконец, и отстать. Воротынцев пошёл пустынным тёмным полотном — и там, где Найденбургское шоссе выныривало из-под железной дороги, сел на откосе, на сухой редкой травке.

Теперь во всём тёмном пространстве, сколько видел он его на восток, от севера и до юга, не моргало ни огонька, лишь раскинулись Андромеда с Пегасом, за изогнутым Персеем уже выползла яркая Капелла и скученные туманные Плеяды. Не слышно было ни артиллерии, ни ружейной стрельбы, ни копыт, ни колёс, — земля, какой она создана, но уже без зверей и вот без людей. Рядом зрел бой корпуса на корпус, от него зависела судьба армий, может быть и целой кампании, и тут же рядом — кати шаром, на рассвете выступит бригада Штемпеля. А немцы? — догадались или нет? сочатся или нет?

Верней бы всего Воротынцеву — с откоса сбежать, да по шоссе в Найденбург! найти командующего, объяснить ему, что рядом с его штабом — свищ, тело армии уже разрывается на две части, и беззащитен сам штаб. Получить приказ наступать левым флангом — и с приказом снова сюда!

Да не к утру. Даже двуколку найти и гнать в опор 20 вёрст — ничего уже не исправишь к рассвету. Патруль какой-нибудь подстрелит. Медлительного командующего среди ночи поднять, раскатать, склонить к экстренным мерам? — недоступно...

Так оставаться в Уздау. Здесь, в Уздау, будет ключ ко всему. Только полковник Ставки терял смысл своего пребывания здесь. Десятки тысяч офицеров и солдат за его спиной были каждый в круге своих обязанностей, он же один ничего не был прямо *должен*, а — что-то по совети, неопределённое. Из артамоновского автомобиля как вылез он — цель его поездки в 1-й корпус и вовсе миновала. И не заменилась другой. Вот он не слал донесений и не мог вмешаться в события. И уже казалось: останься в Ставке — успел бы больше.

Он всё рвался найти себе лучшее применение. И нашёл худшее.

Одна глубокая тяга сосала Воротынцева от самой молодости: иметь благое воздействие на историю своего отечества. Тянуть его или толкать его, непричёсанное, куда ему лучше. Но силы такой, но влиянья такого не отпускалось в России отдельному человеку, не осенённому близостью короны. И за какое место он ни хватался и как из сил ни выбивался — всегда втуне.

Да и спать клонило наплывами, даже вздрогнул. Ведь прошлых две ночи прокачался в седле. У Крымова завтракал — неужели сегодня? Кажется, неделя прошла.

Спиной так близко, удобно было откинуться на насыпь и передремнуть. Но — холодная уже земля.

Воротынцев спустился на шоссе, побрёл в село назад. Заплетались и ноги, и мысли. Уже ни действовать, ни решать, ни думать. Презируя свою неудачу, презируя свою потерянность, dospotyкaлся до дома, где ему указали ночевать.

Комната, хоть и деревенская, а была с альковым. И на двуспальной кровати — невесомый пуховичок в розовой шёлковой оболочке. С японской войны помнился фронтовой ночлег как фанза, землянка, палатка.

На мраморной обкладке камина тикали бронзовые островерхие часы, может быть с недельным заводом, вероятно, ещё хозяева их завели. С часами Воротынцева шли они почти вровень: без четверти полночь.

В комнате было душновато, ещё и от керосиновой лампы, но и приятно, что тепло. Последними усилиями снимал и стягивал Воротынцев пояс, сапоги, сунул револьвер под пуховую же подушку, приготовил спички, задул лампу — и поверх всего опустился в нежную мякоть, с ещё отчётливой горечью неудачи и потерянности. А кровать приняла его, как ждала. И все тревоги и потерянность обмягчели контурами, удары сердца, слышные через подушку, стали реже — и прекратились.

... И долго ли, коротко ли — он очутился в комнате. Но не в этой. С невысвеченными углами. Со светом скудным, неизвестно откуда льющимся, и только в то место, которое нужно увидеть.

Вот — на лицо и грудь её.

Она? Она! — сразу узнал, никогда не выдавши в

жизни! Он — диву давался, что так легко её нашёл, ведь это казалось несбыточно.

Никогда они не виделись — а сразу узнавши, бросились друг ко другу, взялись за локти.

И был же какой-то свет, и зрение было, но их не хватало вполне увидеть её лицо, её выражение, — а тотчас prodpoжно узнал: она! точно она! та самая невыразимо близкая, заменяющая весь женский мир!

Острая-острая нежность! Изумление — и тому, что она существует, и тому, что сердце твоё ещё способно так сильно, так заливисто чувствовать.

Кинулись друг ко другу и говорили, не говоря, ни одного слова не произнося отчётливо вслух, а всё понятно и быстро. Зрение было в четверть света, а осязание полное, и с её локтей он руками перешёл на её вогнутую узкую спину, и прижимал к себе — и так им было хорошо, так родно, так найденно.

Никакой долг никуда его не звал, никакие заботы не обременяли, была только лёгкость и счастье её обнимать. И вот что: они как будто не первый раз виделись, так уже было у них далеко, принято, договорено, — и он уверенно вёл её к постели, была тут постель, и свет перемещался туда.

Вдруг она почему-то запнулась, остановилась. Не из-за стеснения, их чувства уже были все отверсты, — остановилась потому, что *не могла*, он понял верно: она почему-то не могла стелить этой постели.

Тогда, недоумевая и торопясь, он сам отдёргнул покрывало — и увидел: полу-под подушкой лежала сложенная в несколько раз ночная сорочка Алины — розовая, с кружевами. Никаких цветовых ощущений больше не было — ни в каком платки она, ни какие у неё глаза, губы, — а вот розовую рубашку он сразу узнал.

И только тут толкнуло, вспомнилось ему, что ведь — Алина же есть! Есть Алина, и это помеха.

И в высасывающей тоске он понял, что места им с нею — нет, и сейчас он её потеряет. И в последние мгновенья, сколько сил было в руках, в ногах, он тесней и тесней замыкал её, затопляемый любовью.

... Но — загремело, зазвенело и выбило стёкла! Георгий проснулся, ещё силы не имея пошевелиться от сла-

дости. Стёкла не выбились, но близко ложились первые немецкие снаряды. В комнате рассветно серело. Он снова закрыл глаза, нет сил размеживать.

Он ощутил её касание так сильно — теперь поверить не мог, что — сон. Он ещё весь в бессилии лежал, хоть трава не расти, хоть мир погибни. Он так ещё жарко чувствовал её, что не сразу уразумел: да кто ж она? да разве он искал её? Он, кажется, никогда не думал о ней. Он так никогда не думал.

Поразительно не то, что женщина придумана сном, не существующая, так бывает, — поразительна острота продрога, какой Георгий не знал и наяву.

Порочная немощь плоти! Хоть умереть, хоть всё лети, — а воля подняться ещё не вернулась.

Он так ещё чувствовал её, что жалко было разнять колени и утратить её тепло. И лежал разнеженный, беззащитный, хоть разваливай стенку снаряд.

Что это? — не перед смертью ли?..

Всё возвращалось: неудачная поездка — сегодня день боя — он не при деле — куда-то надо спешить: к Самсонову? к Артамонову?.. Он различал отчётливые в рассветной прохладе отдельные орудийные выстрелы, ещё неслившиеся полёты снарядов, и тут, у села или в селе, разрывы. Трёхдюймовая. Шести. А вот эта как бы не побольше.

А в окопе? У Агафона Огуменника — у него как?..

Уже различались и часы на камине: семь минут пятого. Ближе рвалось. Стучали в доме дверьми. Стучали и в дверь к нему: круглолицый расторопный кашевар принёс ему котелок с кашей, и горячая ещё, а солдатам раздавали, небось, час назад, — ах, спасибо тебе, безымянный! Сто тысяч вас таких в России лиц, повидал, забыл, повидал, забыл, — дай Бог мне помнить вас вечно!

Воротынцев вскочил — и вот уже забыл сон. Ел быстро кашу деревянной ложкой широкой, раздирающей рот, и тут же часы карманные заводил, и пояс надевал, и бинокль, шинель, соображал: куда ж ему теперь?

Стёкла позванивали, передавалась тряска и всему дому, но изнутри, как всегда, плохо понимались направления выстрелов и разрывов.

Дочиста выбрал всё из котелка, а кашевар ждал в

прихожей, котелок-то небось его собственный, — по плечу его, „спасибо, братец”, — и выскочил из дому к окопам, едва не весёлый.

Зябкое было утро. В объёмной развёрнутой низине на западе стлался туман. Близко черно рванулся фугас, по свистели осколки. Переждав их за кирпичной стеной сарая, Воротынцев крупно побежал — к ближнему окопу, да к тому взводу как раз, который вчера оскандалился перед генералом. И впрыгнул в окоп меж двумя солдатами. Хорошо отрыли! — в полный рост и с нишами, и даже скамеек натащили, мягких стульев, озорники. А щепой поранит.

А полевей, в накиданной земле бруствера, в проделанной для него поперечной канавке, с боками, охранёнными землёй, мордой вперёд на неприятеля, а хвостом к своим солдатам стоял, величиною с кошку, игрушечный лев с прекрасной начёсанной песочной шерстью.

— Ваше выс-ла-родие, этот зверь — как называется?

— Ну, говорили ж...

Всё-таки ждали ещё подтверждения.

— Лев. А где взяли?

— А вот город проходили.

— А он из тряпки или твёрдый?

— Твёрдый.

Снаряды летели и летели, пока ещё не густо и не точно, со злой весёлостью обещая горячий денёк. В одиночку б уже пригнуться, приткнуться в земляную стенку головой и молчать — но друг перед другом стояли задорно. И этот лев. Понравилось Воротынцеву. Из утренней растерянности и нерешённости отливало сразу бодрое начало дня.

Отсюда обзор был очень просторный, но половина всей о́гляди плавала в тумане, а по верхам тумана хорошо обозначались огневатые вспышки тех немецких батарей, что стояли повыше. Вот и работа нелишняя пока: лист бумаги на планшетку, поставить по компасу, отметить по мельнице — она как раз с этого места длинно-изогнутого окопа вся была на прозор видна, и чертить расположение батарей, беря дальности на глаз, а можно и делениями бинокля. Воротынцев любил артиллерийские работы, он одно лето по собственному желанию проходил курс в офицерской артиллерийской школе в Луге и много набрался там.

— Ребя-а, а пошто наши не отвечают? — спрашивали друг у друга, но косились на Воротынцева.

— А чтоб себя не выдавать! — важно ответил рослый солдат, сосед Воротынцева по окопу, но с важностью по-казной, нарочито губы выставив. И — на полковника тоже, избоку.

Хотя главная сила немецкого огня приходилась, видимо, левее их, по другим полкам, но закидали гуще и сюда. Лица солдат стянуло, смыло от шуток сухой водой. Один держал молитвенник, шептал. Взвизгивали стальные бичи на поддёте, довизгивали осколки. Солдат по правую руку Воротынцева хоронился от каждого даже пустого свиста. А по левую этот насмешливый, широносый, губы разведя, нижнюю отвеся, следил за каждым чирком полковникова карандаша. Очень доброжелательно было его лицо. Губы-то развешены, а глазами живо смотрел солдат на планшетку, не любопытничал, а будто перенимал, чтоб сейчас и самому приняться за то ж.

— Понимаешь? — спросил Воротынцев, а сам в бинокль да на планшетку. — Пока вот нас не прижали как следует...

— Потá и затёсы поставить, — уверенно кивнул большеротый солдат. И по лицу видно, что соображал: направленья, расстоянья, — а чего тут?

— Тебя как зовут?

— Арсением.

— А фамилия?

— Благодарёв.

Лёвкая подхватистая фамилия, и так же подхватисто он выговорил её, тёплым помелом прошёл по сердцу. Благодарёв! — такой, видно, лёгкий на благодарность, вот уже готовый и Воротынцева чуть ли не благодарить.

За спинами их, за деревней, разгоралась заря, а туман в низине густел. Час ближайший будет их высота черна, заслеплена для тех немецких батарей, что бьют с запада. А северные будут метче. Вот уже — „о-о-ох!.. о-о-ох!“ — прямо рядом. Да больше всё гаубицами бьют, да тяжёлыми, да не столько шрапнелями, сколько фугасами — и правильно. Не доработать, пусть как есть.

Протеснясь позади спин, проходил по окопу ротный:

— Льва ещё не ранили?

Отозвались смешком.

— А вы тут гнётесь!

Попросил его Воротынцев передать листок батальонному, а тот чтоб — артиллеристам.

Во всей роте пока трое легко раненых. В первом батальоне, ниже мельницы, говорят — прямое в окоп, навалило там с десяток.

Разгоралось утро, сжимался туман — и осветилось, и налево развернулось обширное поле боя — в облачках шрапнелей, в фугасных фонтанах земли, и всё больше на нашу сторону, — десять вёрст по фронту, как стояли друг против друга два *первых* корпуса. Число уже было известно: 14 августа 14-го года. Ещё только не было названия этому бою: Уздау? Сольдау? Ещё менее было известно — прославится ли он в веках? и какую сторону прославит? или завтра забудут его?

От короткой ночи, орудийного подъёма, зябкого бойкого утра — так и не пришёл Воротынцев в рассудительное соображение: в чём же сегодня долг его? не в том же, чтобы бессмысленно сидеть в этом окопе. А тем не менее он был налит бодростью: как будто вот, наконец, при деле, кончилось его пустое слонянье-мотанье, сейчас насколько он не жалел о своей поездке, тем более — о кинутой Ставке, где в девять утра только проснутся. Сегодня, 14 августа 14-го года, начиналась для полковника Воротынцева вторая в жизни война — неизвестной длительности, неизвестного результата для русского оружия и для него самого. Но для того он и учился и служил, чтоб не пусто эту войну провоевать.

— Улегчают! — раньше всех объявил Благодарёв — значит, через разрывы слыша выстрелы и не все по полю боя, а выделяя те, что против них. На секунды он всех опередил, как опытный посетитель консерватории ещё при дозвуке последней ноты. А вот и разрывы по их полку поредели разом.

— Доброе у тебя ухо, — похвалил Воротынцев. — Жалко ты не в артиллерии, ты бы цели брал на слух.

Благодарёв осклабился — очень в меру, не то чтобы вот радовался, как он полковнику угодил.

Распрямялись, отдувались. Кто и на стульях расселся, цыгарки крутил. Проверили льва — а лев цел,

ни пробоинки! Зароготали: а мы-то хоронимся, дураки!
— А когда теперь обед будя? — спросил тот солдат, что про артиллерию спрашивал.

Все как обрадовались на него накинуться:

— Ишь ты!.. Проголодался!

— По темí, раньше не жди!

— Прежде смотри — брюхо бы не проткнули, а то некуда обед совать!

Только с них одних и сняли огонь, да переложили на соседние полки слева. Централизация артиллерийского управления! — вот что оценил Воротынцев. Чтобы так сразу всем сменить цели — у нас это невозможно: телефонов не хватит, проводов, тренировки. Но — к чему это? Не атака ли пешая на Уздау? Они стояли лицом на северо-запад, но Воротынцев биноклем щупал на севере — оттуда бы не завернули, оттуда страшнее всего.

Багряное солнце позади них уже просвечивало над домами, меж деревьями, уже поигрывало на их взгорке. Потеплело. Катали шинели в скатки. На всех погонах ещё хорошо были видны стёртые следы свежеспоротых вензелей Вильгельма.

Передали команду по цепочке всем изготавиться к стрельбе.

Но — не было немецкой атаки, вообще немцы не высывались ниоткуда. И опять же Благодарёв первый доглядел:

— Мотри! мотри! — как бы не полковника на „ты”, а может и не ему, руку длинную протянул поверх бруствера, очень заинтересованный. — Едут! Едут!

И в бинокль Воротынцев увидел подробно: из леска выехало два автомобиля с откинутыми верхами, в каждом сидело по четыре человека. Тут было менее трёх вёрст, сильным биноклем различал Воротынцев и лица, и знаки на погонах. В первом сидел вёрткий маленький генерал, то и дело поблескивая бинокленными стёклами, ему же против солнца должно было быть черно. Их дорога шла слева направо по той стороне низины, выше осевшего тумана. Некому было их предупредить, задержать, они быстро приближались.

— Генерал! Генерал сюда к нам едет! — возбуждённо поделился Воротынцев — с Благодарёвым, с кем же. —

Вот бы его спугнуть! Вот бы нам с ним сейчас побеседовать!

Неудачно он стал тут, в окопе. Если бы подле Савицкого — сейчас задержать бы всякий огонь. Видят ли там? Но уже и к телефону перебежать поздно.

— Ге-не-рал! — так и зашёлся Благодарёв глубокой грудью, охотничьим задором. — Пай-мать! Пай-мать его!

И вот уже снижалась дорога — нырять в туман, а потом подниматься сюда, к Уздау. Но незадавленные ячейки охранения у самой низины не выдержали — и саженей за четырёста из нескольких винтовок стали палить по автомобилям.

А немецкая пехота — им отвечать.

И — спугнулись автомобили! Остановились разворачиваться, на развороте застряли.

Вот бы когда по ним шрапнельку! Но артиллерийский наблюдатель будет лопотать в батальонный телефон, а пока на батарею...

В бинокль видно было, как генерал спортивно выпрыгнул из автомобиля, и свита сразу тоже, тоже попрыгала, не все и дверцы открывая, — и побежали, пригибаясь.

— Ах, подбить бы! — надсаживался впустую Воротынцев. И, всё равно делу не помочь, подставил бинокль Благодарёву перед глаза. Ожидал — биноклю поразится, а тот — вгляделся мигом и захохотал, забил себя по бокам, закричал на весь батальон, голосу не занимать:

— За-блудился чёрт козлоногий! Держи его! Хого-о-о!..

Автомобили выправились, выехали носами назад, ждали седоков. Но те уже убегали в сторону за кусты, спустились в канаву или ложок — и махнул генерал автомобилям ехать без них, сами так пошли.

И вот лишь когда наша трёхдюймовка дала через село, через головы — и близко над тем местом. Пристрелено всё-таки.

Кто ж этот был генерал? И как же он не знает, что полно тут нас?

Происшествие очень развеселило солдат и сблизило вокруг Воротынцева. Благодарёв объяснял теперь без усилия, саженей на двадцать в обе стороны, как он там побывал и сам видел: генерал козлом скачет, а подборис-

тый! Дивились солдаты: да разве генералы такие бывают?

Видно, лих был смеяться Благодарёв, так и несло его на смех. Ну да и работать, наверно, лих. Было в нём чуть неуклюжести, — той неуклюжести, когда сила в руках затекает, в ногах перетаптывается. Лет ему было, сказал, двадцать пять, но сохранилось в его лице что-то толстощё-кое ребячье и с той доверчивостью, которую только в деревне и встретишь.

— Ну, теперь держись, ребята! И льва хорони получше! Он нам жарку подсыпет, для того и приезжал! — весело обещал Воротынцев.

Весёлого тут ничего не было, смерть и раны для многих. Но по свойству мужских обществ никто не открывал, если и была в нём тоска бежать отсюда поздорову, — а все друг перед другом выставлялись, шутили, гоготали.

— И помни, ребята: смелый человек умирает один раз, а робкий — каждую минуту!

Воротынцев чувствовал, как эта рота уже узнала и полюбила его, — и лёгкое гордое чувство своей уместности его наполняло, и ощущение вливаемой в него силы, за петербургские и московские годы забытой силы ядрёной неисчерпаемой России под каждой шинелью, вот не боящейся немца нисколько.

— А где Огуменник, братцы? На Огуменника бы днём посмотреть!

— Огуменник!.. — Э-э!.. — Огуменник!.. — Сейчас, ваше высокодие!.. — Никак нет, по нужде отлучился!.. — Щас доставим!..

— Ну, тогда — Перепелятник!

Щуплый, а бойкий Мефодий-Перепелятник оказался через несколько человек от Благодарёва и, шмыгая носом, уже пробирался к полковнику — да не стало когда его рассматривать.

Сверх того, что гудело слева, в дюжину толчков толкнули против них, в дюжину долгих бичей хлестануло по воздуху — и все сюда.

— Ну! Святых своих все помните? — ещё успел крикнуть Воротынцев. — Ма-литесь!

И ещё последним смешком, вспоминая вчерашнего генерала, отозвались ему справа и слева:

— Богу молись, а к берегу гребись!

— Николай Угодник один всех покрое!
и Арсений взревел:

— Прощай, белый свет — и наша деревня! —
а уже приседая на дно, а уже головы пряча, однако и крестясь.

И всю полосу окопов Выборгского полка накрыло толчеей немецких фугасов! Всё та же единая стянутая команда и верная безотказная связь теперь враз перевели на их высоту, на эти две версты окопов — огонь десятков пушек и гаубиц, лёгких и тяжёлых, и ещё тяжелей, — да, шлёпало рядом сильнее шестидюймовых, неслыханные разрывы!

Вот тут, рядышком, выламывало землю! Тряслось тело земли, выворачивая из души. Каждый снаряд летел прямо сюда, только и прямо в тебя — в полковника, в нижнего чина, в мать твою за ногу, Господи помилуй! — а ни один никак не попадал, и только трясло, глушило, сыпало иногда землёй, может и осколками, да их не слышно, и наносило той вонючей тягучей гари, запах которой даже у новичка быстро соединяется со смертью.

Разрыв от разрыва уже не отделялись. Всё слилось. В общем-то трясение, в муку перед смертью.

Т а к о г о и сам Воротынцев ещё не испытал никогда в жизни! Т а к о й густоты на японской не бывало! Не землю рядом — уже само твоё тело терзали, и усилием ума надо было напоминать, что если *слышишь* и соображаешь, то это ещё не твоё тело, а всё-таки землю! Как будто все годы войной занимаясь, здорово ж он от войны отвык: все ощущения как внове. Ему, академисту, и то усилием ума надо было внушать и внушать себе, что теоретически из окопа полного профиля даже за час такой работы не могут вырвать более четвертой части защитников — и, значит, 75 процентов за то, что ты останешься жив.

Но сколько минут можно выдержать нервами и сознанием, не видя противника, не ведя никакого боя, а просто жертвой мишенной? Надо было засечь, на часы посмотреть. А глаза-то зажмурены, оказывается! Сам не заметил, само зажмурилось.

Разожмурился. И увидел в аршине от себя, на той же полувысоте окопа, в ту же переднюю стенку вжатую, с фуражкой смятой — голову Благодарёва.

И тот раскрыл глаза тоже не сейчас ли.

В беззвучном грохоте, от всего мира отъединённые, только двое они, одни на всей Земле живые, смотрели друг на друга человеческим, последним, может быть, взглядом.

И Воротынцев подмигнул ему для бодрости. А тот — и больше, даже хотел распылить губы в несуразную улыбку. Да не вышло.

Ему-то неизвестно про семьдесят пять процентов. Ему-то не растолковано загодя!..

Теперь минуты пошли засеченные, отсчитанные. Тёплые карманные часы сжимал Воротынцев в руке, но неотрывно смотреть на них не было сил: слишком медленно пробиралась секундная стрелка, в один оборот вбирая лавины металла, тысячи осколков и крупьев земли.

Уже не было солнца, не было утра, стояла дымная зловонная ночь.

И мыслей, мыслей в тесноту секунд тоже набивалось, как солдат в окоп: как же нам воевать, не имея равной такой артиллерии? — у нас не бьют дальше семи вёрст, а немцы на десять — на японской такого... — в японскую он ещё не был женат — Алина поплачет и выйдет замуж — жалко, не останется детей — и хорошо, что не останется — жалко, не встретил ту, сегодняшнюю, ночную — так и прожита жизнь, что сделал? — четырнадцатое августа четырнадцатого года — умирать не может быть жалко, кому война профессия — у него профессия, но этим мужикам? — какая награда солдату? только остаться живым. В чём же его опора?

Благодарёв, как давеча в планшетку, совсем не без интереса смотрел на часы полковника. А потом стал сползать вперёд — сползать — ранен?? — нет, на ухо крикнуть: — Как-зна-току!!

Воротынцев не понял: что — как знатоку? Дать часы подержать, как знатоку? хвастается, что на часы смотреть тоже знаток?

— Как-на-току!! — ещё раз рявкнул Благодарёв, шалля силой лёгких.

И ещё не сразу достигло Воротынцева: к а к н а т о к у! Как колосья, распластанные на току, так и солдаты в окопах притаились и ждут, что расколотят им тела,

каждому — его единственное. Гигантские цепи обходили их ряды и вымолачивали зёрнышки душ для употребления, им неизвестного, — а жертвам солдатским оставалось только ждать своей очереди. И недобитому, и раненому — только ждать своей второй очереди.

Правда, чем *они* эту молотилку выдерживают? — не ревут, не сходят с ума.

А минуты всё-таки прокручивались.

Прошло несомненных пять.

И десять прошло.

С лицом, вынутым из кровавой ванны, придерживая кожу всеми пальцами, бешено солдат протиснулся по-за-спинами.

Недалеко бинтовал один другого.

А так — было цело звено их окопа.

Ну что ж, начали и привыкать. Это такая форма жизни: жить под молотьбой. Начали привыкать.

Воротынцев смотрел на Благодарёва и ясно определял, что тот — не боится. То есть он, конечно, не хочет умирать, и понимает, что бояться — надо, что всем надо бояться, раз положение такое, — а страху всё равно в Благодарёве уже не было: душевное потрясение не отпечатлелось на его лице, не пучились глаза, не помутился ум, не выскочило сердце.

И подумал: вот этого солдата он и предвидел встретить, когда в штабе армии отказался взять в сопровождение тыловую ряжку. Вот этого солдата он сейчас возьмёт и будет с собою таскать до конца сражения.

Благодарёв сидел в окопе, как пережидают ливень под худой крышей. Он оглядывался и привыкал, как тут жить. Вот он охотился на осколки — выколупывал, какой в стенку не ушёл глубоко. Вот поднял горяченький, обжёгся, с руки на руку перебрасывал и дал полковнику подержать, посмотреть — многозубчатый тёплый осколок, сроднённый телу, как тёплый нательный крест.

Простота держаться была у этого солдата дослужебная, дочиновная, досословная, догосударственная, невежественно-природная простота.

Тут изумился Благодарёв — через Воротынцева и выше, изумился, как будто в лаптях подошёл, а заместо сарая — дворец. Обернулся и Воротынцев туда —

Горит ветряная мельница!

Мельница занялась!

Это видно хорошо через верхние края окопа —
как бы дорожка туда прямая, только застилает
дым разрывов, пыль земляная, земляные за-
бросы.

А на макушке у нас грохочет! последним грохотом всё
грохочет и трясётся! —

и потому беззвучно

мельница пылает! не разрушена снарядом, а цель-
но схвачена огнём:

и пирамидальное её основание, языки багровые
проедают обшивку,

а на просторе светлеют, багрянеют.

И крылья неподвижные. Огонь быстро бежит по
нижним лопастям

и от скрестья разбегается по верхним.

= Вся мельница! Горит!! Вся!

Огонь так работает: сперва съедает тесовую об-
шивку, а каркас держится дольше,

каркас всё светлей, всё золотистой — а держится!
ещё скрепы есть!

Огненны все рёбра — и основания, и крыльев!

= И почему-то крылья — от струй ли горячего воз-
духа? — ещё не развалюсь, начинают медленно,

медленно,

медленно кружиться! Без ветра, что за чудо?

Станным обращением движутся красно-золотис-
тые радиусы из одних рёбер —

как катится по воздуху огненное колесо.

И — разваливается,

разваливается на куски,

на огненные обломки.

Что казалось непереносимо больше трёх минут — выдержал Выборгский полк больше часу. Мёртвых, кого успевали, распрямляли вдоль стенки. Раненых тут же и перевязывали, друг друга. Утягивать раненых было плохо: окопы глубоки, а подходы от села мелковаты и два на батальон. Так оставались и перевязанные — землистые лица, в кровавых пятнах по всем местам, где и не ранены, с дрожью губ и рук. Второй час перемолачивали выборжцев — но не было в них порыва бежать и вряд ли вступало им в голову, что могли бы они тут, под снарядами, и не крчуться. Нет, как камни, натащенные ледником, переживают потом его таянье, переживают века и цивилизации, грозы и зной, лежат и лежат, — вот так тут солдаты сидели и сидели, не вышибаясь. От дедов привычное, долгое, неотклонимое: надо терпеть, никуда не денешься.

Корчился и Воротынцев, как они. В этом перемолачивании, для него не нужном, в этом дружестве с полком, которым он не командовал, нашёл он как будто своё последнее место.

Безнадёжно было, что когда-нибудь кончится. А вдруг — поредела стрельба, согласованно перенеслась или прекратилась, не понять, — и стала рассеиваться смрадная чёрная ночь, и оказалось, что утро красное в поле, солнце высоко уже поднялось, переместилось и в окоп припекает.

И стали разгибаться, разминаться, высовываться, смотреть. Дико-хриплые голоса, из смерти воротившиеся, тоже разминались, вступали в звучность: что сегодня мно-о-ого покрепче, вчера такого не было; что слева курит-кутит посильней нашего, гляди!

Что кому-то тяжче нашего — это облегчение. Слева там, вдоль железнодорожного полотна и на другую деревню валили, валили, и всё это взрывалось, вздымливало, возносилось чёрным, и как они там сидят, и что там уцелеть может — отсюда страшней было представить, чем только что сидели сами.

Труден, труден возврат от камня к жизни — а надо было не разминаться и не глазеть, а поскорее с винтовкой спохватываться: как лежала она, не набилось ли грязи, тут ли патроны, до конца ли примкнут штык, — ведь немцы огонь унесли не из жалости, ведь вот уж подбираются, наверно.

А вот тут они сплеховали! — что-то у них разорвалось: огонь-то прекратили, а пехота не шла. Неоценимые теряли минуты и возвращали Выборгскому полку и силу и злость.

В низине перед ними выгрелся последний туман, не осталось. И ясно виделось, что немцы не шли. А! вот! — справа! густо запалили винтовки и застучали пулемёты.

И Воротынцев, не соображая отчётливо, голова как не своя, тяжёлая дымная пьяность, — схватил свободную винтовку от мёртвого, патронов подсумок, и, шашку стороны, в неверных движеньях толкаясь о стенки окопа, потискался мимо мёртвых, раненых и живых — туда, к правофланговому батальону, чей окоп огибал сгоревшую мельницу. Голова-то тяжёлая, а соображалось не тяжелей, но даже легче, даже слишком легко, даже опрометчиво. Уже там побывав, как-то думалось иначе. Ни из какой теории не следовало полковнику Ставки протискиваться на правый фланг и винтовкой помогать тамошнему батальону. Но так хотелось! Так нужно было обязательно!

Да, наступали острые однорогие каски, но:

— Вахлаки! — закричал Воротынцев, подбадривая, кто слышал его тут рядом, и на изломе окопа найдя себе местечко. — Вахлаки, а не Европа! Кто ж так воюет?!

Опоздали немцы и тут — не подобралась ближе к точному моменту, когда кончилась артиллерийская работа, не рванули в этот миг ошеломления, а главное: пёрли на крутой откос не малыыми звёнышками, не рассыпаясь, не перепрыгиваясь, а — цепями, как шлось, любо-дорогой мишенью, да ещё стреляя на вскидку, для того оставиваясь, — нет уж! пехоте или стрелять или идти, что-нибудь одно! Мы вот — стрелять! Мы вот — стрелять! Отучили японцы нас так ходить. А стрелять, наоборот, приучили.

Столько в мўке перемолачиваться — и врага не видеть. Столько не видеть — а вот он теперь! Вот он, враг заклятый, вечный, вот из-за кого мы всю жизнь мучились — ну, раззудись плечо, посчитаемся! Мы покорчили — полежите ж и вы! Сколько свалим — на столько вас меньше будет!

Выпрямился правый батальон как нетронутый — и палил! щедро, бойко, метко бил, с удовольствием отпла-

чивал за своё окопное сиденье. И Воротынцев с удовольствием в том ряду стоял и бил, зачерпывал патронов, заряжал, целился, бил, переводил, и когда казалось, что от него немец упал, — кричал даже.

Удлиненные страшные острые каски приближались, били с колена и стоя. (А что нам каски! — мы и в фуражках хороши, русские лбы непробойные, ну, иной за голову схватился, закружился.) Но выборжцы стояли и стреляли, без дрожи, без потяги отступать. Уже в пятидесяти саженях не испугались острых касок, и никто команд не подавал, руками не махал, — а стояли выборжцы и били на совесть.

И — западали немцы с криками боли, зазапрокидывались, кто и нарочно, кто и боками катясь с откоса, чтобы целей. Остальные повернули — и в рост бежать. А мы — в спину! А мы — в спину!

И несколько горячих охотников вымахнули из окопа со штыками — догонять! Но поручик — за шиворот одного! И других задержали. Правильно.

Воротынцев больше уже не бил. Воротынцев радовался, как наши стоят. Эти выстоят, верно чувствовалось, так и будут стоять и ждать тут хоть шефа своего, императора Вильгельма! Воротынцев в дымности пьяной — любил Выборгский полк! и день 14 августа, этот бой под Уздау уже любил! И — Савицкого, вот кого особенно! И пробирался по окопу — дальше, к нему.

Командир роты на ухо кричал и показывал: там, под железной дорогой арка, а под аркой — генерал, или с той стороны.

И место правильное, там ему и быть. Чем тише тут — тем слышней отсюда пулемёты, и сколько у него своих — поставит верно. И к Савицкому идти нечего. А в Найденбург тоже сейчас не перелететь. И бригада Штемпеля уж где-нибудь маячит. И нечего идти направо. И в Выборгском полку тоже нечего делать, зачем он здесь?

Слева же гремело, черноту фугасов покрывал жёлтый слой шрапнели, там ещё пять полков один за другим занимали линию, там по-разному мог накрениться бой, и надо было — туда! Терпенье и крепость Выборгского не должны были гинуть впустую, они в этих же часах должны были отозваться на всём корпусе.

Идти по окопу было тесно, трупы обшагивать, с ранеными стыкаться — да уже солдаты и расползались наверх, на простор. И Воротынцев, не бросая винтовки, взяв её на ремень, выскочил из окопа назад и пошёл по верху вдоль. Кажется, и посвистывало близ, но легко так шлось, неестественно. Да и слышалось плохо, уши уже не принимали. Да и виделось как будто не всё, что виделось. Лежали сорванные искривленные бинты, жгуты. Насыпано было шрапнельными пулями. Валялась казённая часть от разбитой винтовки. Пустые гильзы сверкали от солнца. Жестянки. Медная пряжка брошенного пояса. Этот полз. Этот с обмотанной головой держался за лоб, а макушка открытая. Этот, сидя на земле, сапог стянул и кровь из него выливал, как из кувшина. Тот безжизненными глазами смотрел из окопа, а эти уже и смеялись. Ничто как бы не виделось, не принимали глаза, не принимала душа. Как от хмеля, появилась приятная неосторожность в движениях, излишняя сила их: то выбрыкивалась рука, то нога с излишней силой наступала или подворачивалась — состояние, когда наколешься, обрежешься и не почувствуешь. А в пьяно-тяжёлой голове сохранялась странная лёгкость мысли.

Уйдя в правый батальон, Воротынцев совсем забыл про своего соседа Благодарёва. Теперь, возвращаясь, он вспомнил его как самого главного, нужного человека. Жив ли? Неужели не жив?

Второй батальон так же удачно отбил, как и первый. Утягивали, уводили раненых — ходом сообщения и поверху. В окопе разбирались. Отрывали засыпанного, как дюжиной могильных заступов. Узнал Воротынцев своё место — жёлтый львиный хвост сперва увидел из груды земли, а правой — вот и Благодарёв, славная сообразительная рожа! Хмуристо разбирался, стул поломанный выбрасывал, пустые цинковые ящички патронные.

Попросил Воротынцев капитана отпустить с ним одного солдата. И кивнул весело:

— Благодарёв! А пойдём со мной?

— Ну-к что ж, — нисколько не удивился Благодарёв, будто между ними и условлена была прогулка. Перекатил языком под оттопыренной щекой, оглянулся мельком на квадратную полусажень ямы, где в час минувший едва

не скончилась вся его жизнь, перекинул тугую скатку через голову, сильным толчком выбросил ноги из окопа и вскопил в рост. — Куда идти-то?..

Он держался, будто на войне и взрос, ещё и с Воротынцевым бок о бок:

— Винтовочку-то вашу дайте. Да и шинелку, вам полегче.

Шинель на шинель насадил, две винтовки вместе, ремнями за одно плечо, а котелок на ходу пропускал под пояс. Пошли.

Половина восьмого, в Ставке ещё не проснулись, не пили утреннего чая, а здесь с рассвета перемолотили уже под тысячу человек, да весь день боя ещё впереди.

Опять такой же летний душный застойный обещал нагреться день.

Пошли задами наших позиций, позадь чугулки, чтобы быстрее и легче идти. То, что было в окопе переглушено, тут-то видно было: что пыхают и наши пушки, суетится прислуга до пота, верхние рубахи скинув, снаряды подносят, шнур дёргают — да немца не переймут. Летели немецкие шрапнели и сюда, раза два так близко, что прилегали Арсений с полковником ничком, — однако после той канонады как в шуточку.

Но всё так же главный немецкий огонь приходился по передовой, по тем полкам, чьими тылами они шли сейчас.

— Стоит Енисейский! — потирал руки Воротынцев. — Ещё часок, и всё может перемениться.

Фотография этого самого Енисейского полка обошла Россию совсем недавно: в Петергофе он маршем проходил перед Пуанкаре, и на правом фланге его, ладонь к козырьку, голову на почётного гостя, с отменной отчаянной выправкой шагал великий князь Николай Николаевич. Месяца не прошло — и тех самых богатырей месило уже тут.

— И Иркутский стоит! — радовался полковник. — Сегодняшний бой, Арсений, мы можем выиграть, если с головой.

Выиграть — это б Сенька рад, скорей бы войне конец.

— А — чего делать надо, ваше высокоблагородие?

— Пока ничего, пошли вот быстрее на левый фланг. Если только отстаиваться — конечно не выиграем.

Да Сенька и так не хуже журавля ногами мерил — однако ж и полковник ходовит; ну без ноши, правда. Зато во все боки бегал узнавать: какая часть? сколько снарядов? какой имеет приказ?

Да взялись и позади их! — по Выборгскому снова взялись толочь, и крепко! Кой-где горит-дымит, и фугасы, фугасы взлётывают. Арсений рад был, что ушли. Окоп — яма могильная, и сам же ты залез туда, трясёшься, как баран, тесака в шею ждёшь. А по полю идти — свои руки, свои ноги, умирать вольней. А ещё и поживём. В охотку пошёл Арсений за этим расторопным полковником. В денщики б не урядился, а вот так обоюдком хорошо походить. Полковник не просто день проводил, чтоб живым остаться, он что-то настигал.

Воротынцев искал резервы, подошедшие части. Но первые вёрсты никого не находил, и с артиллерией было убого. Удивил только автомобильно-санитарный отряд великой княгини Виктории Фёдоровны — вероятно один такой на всю российскую армию: на их глазах принимали в автомобили тяжёлых раненых с перевязочных пунктов и сразу увозили в Сольдау.

У новой излучины железной дороги, где она поворачивала круто в тыл, на Сольдау, обнаружили корпусной мортирный дивизион, без тех двух гаубиц, отданных Савицкому. Тут, на обратных склонах, у них было много соштабелёвано снарядов, и они их ещё подвозили, а стреляли мало: подчинялся их дивизион лишь начальнику артиллерии корпуса Масальскому, его и близко не было, и не было ясной задачи, кого и в чём поддерживать. Командир дивизиона подполковник Смысловский готовился к обороне, если дела станут худо. Воротынцев быстро столковался с ним: от их расположенья на северо-запад приготовить поворот орудий на сорок пять градусов влево и выбросить к западу боковые наблюдательные пункты — слева могут быть дела, и вот-вот. Условились, где и как связь. Воротынцев искал стрелковую бригаду, Смысловский предполагал, что может она и на подходе, там дальше, за железной дорогой. А вот направо, глубже, в леске, собирается гвардейский Литовский полк — свежий, а

стоит без дела, боевого порядка не занимает, второй линии обороны не копает.

Сенькин полковник так и замыкался: к литовцам идти? Туда лежало жнивье в чёрных зольных плешинах по всему полю: была рожь в копнах сожжена, ни одной копёнки не пропущено. Уже решил полковник: ты, Арсений, посиди тут, я скоро вернусь. Потом на часы скинулся — нет, айда на левый фланг, там стрелки́.

Перемахнули живо через полотно, озрился полковник и показал:

— Вот так пошли!

И — тóропом, наддавая.

— А почему — *гаубицы*, ваше высокоблагородие?

— Всякий раз не выговаривай „ваше высокоблагородие”, времени много уходит.

— А как же?

— Да никого нет — и никак. Видел, стволы — короткие, а широкие, сорок восемь линий.

— Это как — линий?

Вздыхнул полковник.

— В общем, они навесной огонь дают. По укрытиям хороши.

Вздыхнул и Сенька.

— Жалко, я не в антилерии.

— А хочешь? Живы будем — я тебя устрою.

Сенька кивнул, а веры не придал, конечно: надо ж человеку что-нибудь сказать. Это каб' раньше, пока Сенька действительную тянул. А война — тьфу, может к Покрову и разойдёмся.

Перед ними теперь сплошь раскидалось картофельное поле, бо-гатая картошка! Да у немцев и буераки не пропадают, и на склонах всё возвращено, и от скота загорожено. А за полем — два дома-одинка, стоят себе за особицу. Туда, хлеща ботвою о голенища, они и зашагали. Хорошо так жить: тут же, при тебе, вся землячка вкруговую сомкнута.

Гнал полковник скородышкой, будь у Сеньки ноги покороче — загонял бы. Гнал — и в трубки свои всё вперёд высматривал. Не доходя деревни стоял сарай высокий, кирпичный — там различил полковник много пехоты, вот это и есть стрелки.

— Это кто ж — стрелки, ваше высоко...? — доведывался Сенька и на ходу.

— Да тоже пехота, но отборная. Пулемётов больше, выучка строже. Парни здоровы, вроде тебя. Оттого у них на полк не четыре батальона, а только два. Ничего, справляются.

— Эх, — пожалел Сенька, — воротиться бы нашим рассказать, сколь тут силы напихано! Им бы намного легче стало!

Они заворачивали так, как завернул здесь и фронт. Вперёд от них было имение Рутковиц, за ним — лесок, а за леском, как понимал Воротынцев, — Петровский и Нейшлотский полки, вчера они туда продвинулись. Немецкий же обстрел был здесь гораздо тише. Верно, верно понимал он замысел! — немцы не смеют охватывать фланга, тут же ещё и кавалерия наша, немцы хотят протолкнуться через Уздау. И всё можно спасти, всё изменить — именно здесь! Но — кому собрать силы? Эти полторы кавалерийских дивизии переминаются, кто их поведёт?

А сарай оказался — скотий, ну-у! для скота — и такая постройка! А стрелки, правда, — рослы, здоровы, свежи. Сидели и по-сухому доедали, у кого что было. Заскребло и у Сеньки: ведь есть в мешке два сухаря, надо б съесть, пока не убили, не ранили. И отчего б так брюхо раззявилось? — не пахал, не косил, а нутро истачивает.

Спорили стрелки, почему продухи в стене оставлены — многими крестиками: класть ли было так гожей? или для красы? или для защиты скота от нечистой силы? И хвалили крыши крутые, что снега сбрасывать не надо, сам свалится.

Полкового командира Воротынцев не застал — он поехал искать-спрашивать приказаний у кого-нибудь, кого найдёт, хоть у командира корпуса. А здесь были оба батальонных командира и полковой адъютант. Сели вчетвером. Их стрелковая бригада прибыла в Сольдау без командира бригады, без штаба бригады и без приданной артиллерии — просто четыре отдельных полка, и каждый двигался и искал себе задачу по своему разумению. Но — приказ есть? Общий приказ от корпуса — двигаться на северо-запад и ничего точней, — ни рубежей, какие занять, ни разграничительных полос, ни соседства справа и слева.

— Хорошо, господа! — горячо взял их Воротынцев. — Штаб корпуса в десяти верстах и, вы видите, никого от них нет. В уставе есть такая форма командования: совещание старших наличных начальников. Давайте такую создадим, хотя бы по вашим четырём полкам. Обстановку я вам сейчас — точную... Выберем место сбора — вот, пока имение Рутковиц. Ах, один полк уже там? Замечательно. Ваши батальоны тоже могут идти туда и дальше в лес. Как нам собрать все ваши четыре полка? Пусть каждый пришлёт по старшему офицеру в Рутковиц, и полки туда же подтягиваются. А младших офицеров — для связи можете мне дать двух или трёх? Одного с запиской — в Литовский полк, может быть убедим их перейти левей. Одного — к полковнику Крымову. Если его найти — он сдвинет нам сейчас эти кавалерийские дивизии, а может уже и двинул. И одного... — где? где этот тяжёлый дивизион?

Тяжёлый дивизион стоял в двух верстах сзади. По странностям подчинения он не слушался и инспектора артиллерии корпуса, он был — как себе хотел.

— На этом расстоянии они ничего не сделают. Им надо подтянуться сюда. Я к ним сам... Нет, я в Рутковиц. А — проводов у них тут не тянется, вы не видели? Не может быть, чтоб у них в Рутковиц не было наблюдательно-го. На позиции я им тоже записку...

Светлый жар убеждения передался старшим стрелковым офицерам — они не закосневшие были, они томилась своим немощным бездействием, когда всё гремело и решалось вокруг. И — писались на планшетке развезённым спешным почерком, но сжатые смыслом записки. И, придерживая на ходу ненужные глупые шашки, побежали молоденькие офицеры связи. Оба батальона, гремя амуницией, поднялись, построились и ушли на Рутковиц.

И Сенька с полковником у всего сарая остались вдвоём: сидел полковник у стенки, ещё чего-то думал или ждал.

А Сенька-то за прошлое время из пруда, где утки ныряли, не понимая никакой войны, зачерпнул водицы в котелке, принёс. Прямо, брюхо разрывало — и с чего бы? А сухари, небось, пять лет на складе лежали, без воды и не угрызёшь. Удивительное дело, никто с доро-

ги не приложится по этим уткам выстрелить. Хорошо бы разуться, да ноги в пруду смочить, но на полковника окидывался — никак нельзя, невдоспех.

— Возьмите сухарик, ваше высокобла... ?

Удивился, взял как чужой рукой, но котелок всё же видел и макал.

— Только девять утра, — сказал. — Лучше б сухарь этот на обед.

Грызли.

В карту посматривал полковник. На дорогу посматривал, где за обсадкой катились патронные двуколки да телеги обозные. Грыз.

— А ты — женат, Арсений? — тоже голосом чужим, то ли спрашивает, то ли нет.

— Да что женат! И годика не пожили. С масляны.

— И — хорошая жена?

— Да по первому году они все хорошие, — сказал Сенька, будто небрежно, сухарь донимая. Сказал для прилики, как не думал.

— И как же зовут?

— Е-ка-те-ри-ной, — замедлился Сенька жевать.

... Её и Катькой-то не звали. Её по-уличному звали „рукавичка”, и в том обидно крылось не только, что — ростом мала, но что будто — не сама по себе она, что ей к кому-то прихлестнуться, а бросить её — труд невелик. А Сенька пословицей отвечал: дружлива рука с рукавичкой. И когда начал с ней гулять, то смеялись и девки, и парни: что ж, не мог он себе статной работной девки найти? Что ж с этой крохой делать будет? А над ней смеялись, что все рёбра он ей раздавит. Но, через глум, он верил чутью своему, так и ник он к ней, мочи нет, — и до чего ж тёплой радостной женой обернулась Катёна! Не только в их Каменке, ещё по всему Тамбовскому уезду такую поискать! Бывает, как лошадь полюбишь — за то, что с нею ни в кнуте, ни в возе потребности нет: даже не по слову, а по задумке, почти прежде тебя она знает, куда поворачивать и как тянуть. А если — баба такова, то — как она тебе? Спит она когда, ест ли что — за этим не уследить, а прочнёшься — уже спорхнула, уже управляется, только б Сеньке было сытно, дельно, раздольно.

Но и не в том даже ядрышко, а — очень уж сладко

с ней, вот как кость сладкую сосёшь, туда, туда, туда добираешься. И — чего не придумает! такое придумает!.. От души он ей брюхо заделал, не нарадовался поглядывать да пощупывать, как круглится. Не дали радости потянуть.

Даже утёрся Арсений, отогнать неместную думку. По всему окружью топталась, крылась и елозила наша солдатня, и каждый кую-нёбудь Катьку бросил, да не рот разевать, о ней вспоминать. Ещё до конца этого дня сам ли Сенька будет жив?..

— А верхом ты можешь?

— А чего уметь-то?.. У нас и все мастаки. У нас и коннозаводств по уезду, и коней...

Бы со сковородки подскочил полковник: „Как бы не стрелки!” — и тропочкой махнул наискось к дороге. Недолго и Сеньке: на одну руку сгрёб, на другую — и ходом. А им напересек — посланный прапорщик бежит: мол, тяжёлый дивизион и сам уже снимался, сюда переходит! Развеселился полковник: „Ну, и мы погнались!” Доспели и к стрелкам, вместе с ними по дороге, к тому имению. Сенькин полковник — с командиром полка толковать, тот с коня склонился. А стрелки — ребята подборные, ещё гладкие, строя подерживались. У Сеньки: „Что, с приказанием? Куда нам, ты не знаешь?” — „Куда! — отвечал им Сенька важно. — Где пестом наскрозь достают, чего ж на разбор опаздываете?” Рассказал им маленько про сегодняшнюю молотьбу.

Ещё они до имения не дошли — затарахтело новое что-то, сразу не поймёшь. Срывали винтовки и в небо падали. Запрокинулся Сенька: ах, супостат, летит, кресты чёрные на крыльях. Но сам в него не сажал, несручно, только задумался: и как же, нехристь, летает, ни на чём не держится? и каково ему подбитому, да вниз кувыркком?

Пролетел.

Имение — большое. Сад — на несколько сот корней, но сильно уже трушен, обобран, многие ветки ломаны. А близ сада — липы столетние, дубы, свой малый лес, очищенный, ровный, с дорожками, — а по нему скот бродит, племенной видно скот. Конюшни — нараспах, чистота внутри, поилки, а коней ни одного. Из дома какая-то

солдатня вытащила наружу диваны, кресла такие красно-ворсистые, развалилась и курит. Вскочили перед полковником, убрались. Сенька тоже посидел, забавно. Два поручика от стрелков уже при полковнике, и задумали они на крышу лезть, смотреть. Сенька взялся открыть им чердаки. Внутри дома — дива много. Зеркало — на целую стену, и разгрохали его, видно кусочки себе разбирали, смотреться. Мебели, мебели! — а перевёрнута, переломана. Посуды цветастой ребрёной набито на полу. И чудной бильярд — без сукна, без бортов, чёрный, гладкий, а очерком как топор. Как же тут шарам держаться? — Деревня! — поручик Сеньке фуражку нахлобучил, — это не бильярд, а р о я л ь!.. — А на стене вот эт' что раскололи? — А это — мрамор, родословная, от кого кто, значит, произошёл. На другом этаже — разворох не меньше: с окон кружева сдёрганы, шкафы опростаны, одежа на полу, игрушки, карточки портретные, книги, бумаги. Поручик подобрал: „Скаковые свидетельства. Хороших лошадей растил!”

Открыл Сенька все двери на чердак и окошко чердачное, полковник сенькин выперся и, ещё трубок не наставя, сразу: „Слушай, тут за парком сотня стоит, а ну пригласи ко мне офицера!” Поплюхал Сенька через две ступени на третью, добра-то, добра, и пощупать-посмотреть некогда!

Нашёл там Сенька подьесаула — 6-го Донского казачьего полка сотня, взяты на замен дивизионной конницы, с усилением огня отведены сюда. А от себя догадался Сенька попросить у них кобылу, да запречь её в двуколку, да охалень соломы туда кинуть, — и возвращался, уже возжами кобылу подбадривая, — по песочной убитой дорожке, крытой ветвями дерев, что дождь не пробьёт.

Толковал полковник подьесаулу и записки ему писал, куда скакать. А за всё то время что-то погромчело, булгá поднялась: между именем и ближним лесом стояли пушки наши полевые — и вот занадорвались! вот как взяли! как со всей деревни на одного прохожего собаки возьмутся, вот лопнуть бы хотели все сразу! Что-то в бою повернуло.

И тут у них тоже пошло скорохватом. Поручики,

шашки придерживая, побежали к своим полкам. Полковник в двуколку прыгнул, как будто её и заказывал:

— Петровцы и нейшлотцы в атаку пошли! — Сеньке на ухо кричал. — С а м и пошли! Без корпуса! Вот это и надо! А стрелки поддержат! И гаубицы сейчас поддержат! — И сам бы, кобылу опередя, вперёд выпрыгнул.

Обгоняя их, прошла галопом к лесу и та донская сотня.

Весело! Сенька, достань, тоже б сейчас на немцев побёг, хоть бы и с оглоблей! Да рассчитаться поскорей — да и по домам. Эт' посильней, чем деревня на деревню! Весело смотреть, как наши подпирают. Ай да мы! Сами пошли! — а чего ж выстаивать, ждать, пока перемолотят? Пригожий, разгарный денёк и земля чужая раздольная, топчи — не жалко. Мало сладкого, конечно, если б так вот у них в Каменке воевали. В Каменской волости, сла-Богу, сроду так не воевали.

За именем сразу стояли и пушки. Стреляли, не перемежаясь, весело возились, война весёлый дух любит! Даже в дённом ярком свете видно было, как при выстреле вылизывает огонь из дула. Один наводчик за каждым выстрелом кулаком в лес машет: получай, проклятый! А капитан поблизости кричит полковнику: „Прицелы растут!” Объясняет полковник Сеньке: „Это значит — продвигаются наши!”

Бери валом! Да неужели ж не пересилим?

А немцы тоже щупают — не имянье, а вот эти батареи. Тут — пойма впереди, лёгкий ветерок по травке кудрявой ходит, — а как гахнет сюда снаряд — чёрный столб расшлёпывает выше высокого дерева, шире кома дубового, и воронка остаётся не как в песке, а рытая, да чёрная-пречёрная.

И одну батарею нашу — накрыли! Пряж меж наших орудий — пых! пых! и ящик со снарядами — в воздух! да сам ещё он рванул! рванул! — и побежали лошади во все стороны, и люди зачуханные отползают, кто жив. А сенькина кобыла с пережаху — да перёк дороги взяла, еле вправил её Сенька — и в лес!

А от леса к батарее наоборот — передки понеслись: сейчас прицепят и тоже вперёд. — А что, у них закида не хватает? — На открытую позицию!! — машет полковник

вперёд. — На прямую наводку! Хлещи, Арсений, катим дальше!!

Лес неглубокий, проскочили, обогнав один полк стрелков, — а два других уже где-то развернулись. Просторное поле, село — вчера нами забратое, хутора там и сям — и опять лес, уже стеной, — и в том-то лесу, полковник говорит, и должны быть петровцы. А по сю сторону леса — картечные дымки, с неба не уходят, разойдутся — и новые замест, *заградительная* картечь, отпояшивается, чтоб наши дюже не напирали.

— А справа? — не слышишь? гаубицы! Сюда, поперёд петровцев переносят!

— Эт те, что у чугулки были?

— Они!

— Так это мы с вами такой крюк задали?

Ка-а-ак огнём перед ними полыхнуло на дороге! ка-а-ак чёрный дуб перед ними вырос! — только в сторону метнулись — в уши гахнуло — спрыгнули, к земле приникли (а возжи в руках!) — и осколки многие, многие засвистели, засвистели мимо! Как кобыла цела осталась? Как сами? Тележку пробило. Нет уж, теперь с дороги сворачивать: дуй наперевал поля, без рессор, а рысью — трях, трях, трях! Да вот и полевая вьётся... — Ваше высокоро... туда ли едем? Ведь стрелки вроде налево остались. — А мы — направо, шрапнель объедем, — к петровцам, давай!

Места — ещё от немцев тёплые, сегодня поутру у них были, лежат и их убитые, лежат и наши, есть и раненые, да разбираться некогда. А вот — немецкая батарея стояла, на ней заряды горели, два орудия их разбиты, лошади в упряжках убитые, остальные утянули.

А картечь в воздухе так и стоит, бери правей.

Тут как вжакнут два снарядика — не спереди, сзади! — через голову не перелетят. Это наши, слушай, это наши с недолётом лупцуют, лешие!

По-гнали через что ни попало! Полковник плечо — щуп, щуп, — эге, меня цепануло, Арсений! Расстегнулся: цепануло тут, по плечу. Может от своих, а скорей — от того фугаса на дороге, только сейчас заньло. Так перевязать, ваше высокородие? Не надо, ехать скорей!

Вот тут были немцы полчаса назад: патронташи, обой-

мы, сумки раскиданы, пулемётные ленты, отдельно убитый без головы, и с головой убитый (а карманы вывернуты, уже пошарили), ружья целые и ломаные, и в завёртке цветной как бы не съедобное, да страда: остановиться, нагнуться некогда. Вот и в лес упёрлись и пулемёты близко тукотят — наши ли? немецкие? Дальше ехать нельзя. Вяжи её к дереву, мы так пойдём.

А через лес навстречу раненые бредут — ох, далеко им добираться... Один руками машет, хвастает: наложено ягб много, наши вперёд валят! Другой по всей груди забинтован, шинель внакидку, хрипит: кладут наших, кладут... Прапорщик бредёт, в шею ранен, крутить головой не может, плачет полковнику, да не от боли плачет: стрелять же нечем, последние патроны достреливаем, почему не везут, кто ж это задницей думает? Полковник ему: а сколько сзади покидали? Машет рукой прапорщик, кровью харкает: верно, сорят патронами солдаты, беречь не умеют.

Лес прервался большой косой прогалиной. Тут, на краю — канава с водой, перед ней петровцы залегли, не высовываются и не стреляют. А по прогалине — дорога, и по ней, ближе саженой двухсот чудо какое едет: как бы на колёсах, а колёс не видно; живое, а без головы, без хвоста. Колпак подвижной, слышно из пулемёта сеет, а потом с дымочком — жьжьжь-у!

Что такое? — переполох, никогда не видали. Может ли в лес сюда заехать, или только по дороге? — Да грузовой автомобиль! — кричит сенькин полковник. — Через канаву не пойдёт, застрянет! — А что на ём? — А плитами железными одет, оттого и тяжёлый, сюда не поедет. — А что это с его бьёт, не пушка? — Ядромёт, малый калибр, больше страху, чем боя. — Да мы б его, може, взяли, ваше высокоблагородие? Да нам бы с двух сторон дорогу ему перекопать, али подорвать? — Чем будешь рвать, когда стрелять нечем, патроны скончались? — Патроны уже везут — слух — сейчас патроны будут, лежать!

Но раньше того прибежал унтер: справа, от нейшлотцев, передают: есть приказ всем отступать! На него сенькин полковник: я тебе голову оторву за „отступать“! я тебя на месте сейчас ухлопаю!! — Так ваше высокоблагородие, я ж не сам придумал, я вас до подполковника све-

ду, у фольварк, а к ему записку принесли, а там по телефону передали!.. — Батальонный командир, прошу держаться здесь, не верьте вздору! А подвезут патроны — по возможности продвигайтесь. Слышите? слышите? — это наш тяжёлый дивизион переехал вперёд, пристреливается, сейчас вам будет поддержка, какая вам не снилась! А я с этим унтером схожу, проверю и у того фольварка его застрелю! Откажись, сукин сын, сейчас, при всех! — Да ваше благородие, хучь и стреляйте, по телефону передали... — Благодарёв, ты там задами подгони тележку!

Ещё в Уздау, под цепным обмолотом, как раздробилось в голове, рассеялось, так уже и собраться не могло за следующие часы. Ещё от того обстрела был принят темп, немыслимый в обычной жизни, и Воротынцев будто и бешено соображал за троих, и вместе с тем как будто дым разрывов и пожаров несло через саму его голову, и всё, что видел он, происходящее с ним и с другими, — всё в этом сизом отnose.

Он точно видел карту и понимал ход операции: при ослабевшем слева натиске противника накопленная сила, томясь, ломанула с а м а вперёд — это не из дивизии истекло, это в ротах началось! (Да ведь силы немеренные в этом народе! Да ведь привык же он побеждать!) Без поуждения, сами, пошли петровцы и нейшлотцы — и, без участия Воротынцева, три полка стрелков им на подпор, на расширение влево, и два артиллерийских дивизиона. (Тем особенно был он горд, что — угадал, за час до нашей атаки угадал, что она может начаться!) А от первого успеха, друг на друга глядя, все теряли ощущение опасности, и ещё бодрей и самозабвенней напирали вперёд. Командир кричал батарее: „Спасибо за блестящую работу!“ — и канониры, бомбардиры и фейерверкеры кричали „ура-а!“, подбрасывали в воздух фуражки. Вся эта самобродная успешливая атака длилась час один, до половины одиннадцатого, но в этот бесконечный час испытал Воротынцев состояние счастья изнимающей полноты — не столько от продвижения на две-три версты, не столько от бегства противника, сколько именно от самобродности, самозарождённости атаки, что должно быть верным при-

знаком победоносной армии. И, в достоинство с ней, весь этот час не давал Воротынцев уйти из себя безутратной ясности мысли: как помочь атаке развиваться? как заворачивать её направо, чтоб она захлестывала немецкий фланг? где найти генерала Душкевича? как подтянуть гвардейский Литовский?.. Зато уж прочее всё, неважное, заволакивалось: почему они могли сидеть, грызть сухари у пруда, где утки плавали? они были пешком — откуда взялась под ними двуколка? и когда именно ему ободрало плечо? И через дым счастья, дым боя, дым несвязанности бытия всё время видел он ещё лицо Благодарёва: никогда не услужливое, а всегда достойно готовное, доброжелательное даже до снисходительности, не дерзкое, но живущее осмысленной отдельной волей. И успевалось ощутить: хорошо, что я этого солдата нашёл.

И всё это оборвалось как обвалом скалы, перешибом дороги — этим унтером с приказом отступать. Воротынцева кинуло в крик, он и правда готов был этого унтера на месте застрелить — но не за лжеца приняв, а с отчаяния, от угадания, что этого всё утро и боялся, только не знал, в чём явится это. С первого услышанья принесенный слух так и проколол Воротынцева своей верностью: вот это могло быть! что другое, а это — по нашему!

Петровский полк такого распоряжения не получал, — но через него, как ток, ослабительная эта мысль передавалась и стрелкам. А в Нейшлотском, уже начавшем отход, как Воротынцев ни разуверял офицеров, — приказание получил телефонист, это был грамотный спокойный унтер-малоросс, он повторил дословно, у него и записано было: „Начальнику дивизии. Командир корпуса приказал немедленно отступать на Сольдау”, а передал приказ — офицер связи дивизии поручик Струзер, его голос унтер хорошо знает, прямое начальство.

На возвышенной южной опушке того дородного соснового леса, откуда они теперь сматывали свой ненужный телефон, — качалась высоко на сосне свежееоборудованная немцами площадка наблюдения, отбитая час назад. И Воротынцев полез, едва не срываясь, так шатка, недокончена была лесенка, — и вот когда сказалось болью плечо. Всё качалось, даже думал не долезать. Что он рассчитывал

увидеть? — но надо было сейчас охватить. Площадка, на высоте саженой восьми, ещё не имела никакой огорожи, перил, а надо было к суку себя привязывать, либо одной рукой держаться. Так и взялся здоровой рукой, а другой держал бинокль и ею же винт регулировал. И первое, куда посмотрел, — на левый теперь край, на знакомый холм Уздау, каменный постамент сгоревшей мельницы, и их утренние окопы, обрызганные чёрной оспой воронок. И по всему этому увидел: цепью в рост идущую, ни штыком, ни пулей не встречаемую, без помех идущую немецкую пехоту!!

Вот и всё. И бой решён. И день решён.

А Выборгского полка там уже, значит, не было. И все его тела и головы намолочены были зря.

Снизу крикнули, что генерал Душкевич тут, внизу, и спрашивает, что видно. Но этого Воротынцев не мог ему кричать при всех. Он обещал спуститься. А сам вёл бинокль правее. И увидел, как немцы уже и железную дорогу перевалили. И только на большом её завороте какой-то батальон ещё отстреливался из-за полотна. А из глубины, в его поддержку, били с прежнего места десять гаубиц Смысловского. А ещё гораздо правей, закрытый рельефом, угадывался по выстрелам тяжёлый дивизион, особенно пушки по их большой скорострельности. Они доставали как раз сюда, за большой лес, куда надо было вести всю атаку, куда уже заворачивала было она... Впускаю... По многовёрстному обозримому полю ворошились и перемещались люди и части, явно не управляемые единой волей.

Цеплялся бинокленный ремешок за ветки, ныло плечо, срывалась нога, спускаться было трудно, чуть не оборвался.

Как будто ещё и оглох Воротынцев, не слышал своего голоса, как он передавал Душкевичу и что Душкевич, взбулгаченный, толстолицый, ему говорил. Слов не слышал и лицо как во сне, а понял: от телефонного приказа из Сольдау стала дивизия отступать, а начальник дивизии даже не знал ничего! И там, впереди, у него выдвинуты, и в полуобхвате, он — к ним. А — кто будет отход прикрывать? — в приказе нет. Без прикрытия всем так и валить? Хорошо притянули связь оба дивизиона, только под

ними и вывернемся. А по всему полю раненые остались — что с ними теперь?..

Душкевича не стало, но появился Благодарёв с тележкой, и они покатали по чему попало, без дороги и дорогами. Снималась восьмипушечная полевая батарея, а командир её на камне сидел как в голову раненый и потряхивался. По большой дороге гнали взмыленные обозы, вперёд-то они всегда еле тянутся. И пехота перемешанных частей шла, гомонила, ругалась. Так и пахло от них тем особенным солдатским озлоблением, когда не они сами, а *сверху испортили*.

Проехали недалеко от того сарая, где со стрелками уговаривались, — и тут-то встретились с батальоном Литовского: без приказа, по просьбе полковника Крымова, командир его шёл занимать рубеж. Навстречу откатной ораве шли гвардейцы строго, головами не крутя, шли как будто равнодушные, со своими закрытыми мыслями, своими отсчитанными минутами.

А вот командира корпуса — не было! Вездесущий автомобиль его — нигде не мельтешил. А к нему-то и рвался Воротынцев теперь, когда уже никого нигде остановать не мог, когда уже нельзя было спасти этого боя. Первое, что хотелось, — в его надменно-глупую рожу пощёчину залепить! плюнуть в него, с ног его сбить! Хотелось, хотелось... — но что может младший? и что позволяет мундир? Ничего! Даже не выговорить ему такого, чего он не слышал никогда и не услышит. Да и длинна была дорога до Сольдау, и забита сперва, лишь потом посвободнело, погнал Благодарёв кобылку во весь хлёт. В её мелькающих ляжках перебивалось, что Воротынцев мог бы корпусному сказать, — но за длинную дорогу он образумливался. Нет, только бы услышать от самогó, крутолобого: как он мог погубить атаку, возникшую в ротах? как он мог упустить такой случай выправить заваленный, проваленный армейский левый фланг? Разумного ответа не жди, но услышать, какую он глупость придумает?..

Автомобиль корпусного теперь спокойно дремал перед штабом.

Рвануло Воротынцева из двуколки — и прыжком, бегом, толчком в тяжёлую дверь, — и как раз из аппарат-

ной выходил — вислоусый, крюконосый, с бессмысленными глазами стенки, со лбом отважным, грудью строевой и плечами распрямлёнными, всякую минуту готовый за Господа и за императора в бой и на смерть. Так бы шашкой и раскроить этот лоб бараний! Теряя вид и ощупь служебных надвышений, голоса своего не слыша, однако с приложенной честью, Воротынцев закричал на корпусного командира:

— Ваше высокопревосходительство! Как вы могли отдать приказ отступить при выигранном бое?! Как вы могли погубить зря такие полки?!

Тёмная рябь трусливого отречения пробежала по лицу Артамонова:

— Я... не отдавал такого приказа...

Ах ты лжец, ах ты отступник, рыбы усы — так и ждать надо было, что ты откажешься!.. Значит, выдумал приказ — поручик Струзер?

Такой бой!! такой бой!!! — и отдать по-бараньему!..

В аппаратной был только что разговор с Самсоновым, и Артамонов донёс ему: „Все атаки отбил. Держусь как скала. Выполню задачу до конца.” А — как можно было иначе, не позоря своего имени? Ответ — военный, гордый, сильный. А потом все разошедшиеся концы со временем как-то сходятся, Артамонов к этому привык на службе. Вот — и связь с Найденбургом тут же разорвалась, очень хорошо. Потом можно будет и так донести: отошёл под давлением двух корпусов противника. Двух с половиной корпусов. Трёхсот орудий. Четырёхсот орудий. И бронированных автомобилей. Вооружённых пушками. Как-то потом это всё сойдётся, выступят и покровители.

Но всё ж — было мутно. Да разве жизнью своей дорожил Артамонов? Он службой, он именем дорожил, а не жизнью! Достоин умереть, к славе имени — он хоть сейчас.

И вскочил в автомобиль, погнал шофёра — куда-нибудь, туда, вперёд, где ещё наши есть! И за ветровым стеклом ему не было воздуха! — он приподнимался и ехал стоя, глотая встречный ветер. И полы его шинели

с красным подбоем заворачивались, вскидывались, как два красных флага.

Он ехал навстречу нашим отступающим, устыжая их, что генерал бесстрашно едет туда, откуда они бегут. Он не указывал рубежей обороны или какой батарее где свернуть на позицию и в какую сторону стрелять — это укажут и без него. Но он ехал — вообще воодушевить, себя показать, воздуха глотнуть.

Трепались его красные полы, но сам он стоял как скала.

Головной батальон 1-го Невского Его Величества Короля Эллинов полка пополудни 14 августа первый вступил в город Алленштейн, без выстрела, без изготовки оружия к бою.

Столько сошлось невероятного сразу вместе, что как мороком колебался этот город в глазах невцев: вправду ли он есть или нет? своими ли ногами, не во сне ли они по нему идут? Столько дней надо было тащиться по опустелой бежавшей стране, не видеть ни одного жителя, а только разоряемые хутора и редкие в лесах деревни, далеко миновать города, избирать как нарочно самые дикие лесные межозёрные проходы — чтобы вдруг, среди яркого дня, войти в один из лучших городов Пруссии, войти голодными, пыльными, осмяглыми — в зеркально-чистенький городок во всём мельканьи его мирной будничной, но кажется праздничной жизни, не просто полный своими обычными жителями, но изобилующий приезжими, — и всё это сразу, в один шаг из пустынного леса. Две недели гнали они без боёв, почти не имея свидетельств, что вправду идёт война, и вот теперь, войдя в этот город, уже твёрдо видели, что не идёт: по своим делам шли тротуарами жители, испытывающие безопасность именно в своём обилии и беззащитности, заходили в открытые магазины, несли покупки, катили детские коляски, кто оглядываясь на входящие войска, а кто даже

и нет, — и можно бы подумать, что батальон возвращается с манёвров в свой исконный Рославль, где всем они присмотрелись, — да только от простенького Рославля очень уж отменялись эти здания, и жители чудно́ были одеты. Теряя равненье и ногу, солдаты вылупливались на них.

И средь этой шаткой иноземной диковины (может, её и нет, если рукой пощупать) что́ одно было своё верное — это вид полковника Первушина, излюбленного полком. Он тут же шагал, как всегда своей лёгкой походкой, отмахивая левой рукой, осматривался, лихим припухло-лукавым видом здорового смелого решительного человека даже нехотя как бы обещание подавая, что он всё знает, учтёт и сделает для солдат хорошо. И остановив батальон в затенистом месте, и дав распоряженье о расстановке караулов, особенно к открытым винным лавкам, Первушин сказал:

— А кому, господа офицеры, постричься-побриться или в кондитерскую — чередуясь, прошу.

После двухнедельного страстного похода могло это показаться шуткой, из-за дерзкого выката глаз полковника, из-за того, что усы дикорастущие, не холёные, совсем скрывали движенья губ, — а шуткой несколько не было, и стали отпрашиваться офицеры и шли, как в Смоленске или в Польше, клали на прилавок деньги с двуглавым орлом — и приказчики, и хозяева вежливо, поспешно выполняли заказ, беря в счёт марки по курсу 50 копеек. Давно ли ловили гражданских сигнальщиков, военизированных велосипедистов, — а вот немецкая бритва мягко ходила по шее русского офицера. И кончалось двоение, как поворотом бинокленного винта приходя в свой правильный объём и вид: воюют мундиры, но было бы за пределом человечности воевать всем против всех. На большом доме была вывешена простыня с надписью по-русски: „Дом умалишённых. Просят не входить и не беспокоить больных”, — не входили и не беспокоили. Немецкий военный санитар в форме отдавал честь русским офицерам. А заметив в проходящем офицере знание немецкого языка, останавливали его женщины и спорили: „На что вы надеетесь? Разве можете вы победить культурный народ?” Но приглашали выпить кофе с бутербродами.

Переполненность узкого тесного города жителями

вносила ещё ту новизну, что собственно *занять* этот город было труднее всего, негде было располагать на стоянки почти целый корпус, да даже и один полк. И Первушин отправился искать командира дивизии и командиров других полков уже на улицах и городских входах: предложить им расположить полки биваками вне города — близ озера, близ реки, в последних отрожках леса, из которого пришли.

Он встретил своего малословного друга Кабанова, командира Дорогобужского полка, — и тот сразу согласился. И командира Каширского полка — Каховского, с нервно вздёрнутой головой, тоже встретил, и с тем сговорились враз, и сами, без верхнего начальства, примерно распределили, кому какой район. У них в корпусе при бывшем их корпусном генерале Алексееве очень были развиты и поощрялись самостоятельные действия и содействия командиров полков. И, вместо возможной зависти и подпакощиванья, отношения большинства были приятельски-деловые.

А дальше Первушину не повезло: он проходил мимо скверика, где остановилось с десятков верховых, одни держали лошадей, другие сидели на скамье близ фонтана, — и невозможно было сделать вид, что не заметил корпусного командира, и не представиться ему.

Вообще офицер не избалованный, сын прапорщика, безо всякой собственности, женатый на купеческой дочке, правда и с Владимиром и с Георгием после мукденской раны и с умеренным набором других орденов, Первушин по возрасту был почти ровня командирам корпусов и командующему армией, но застарился, уже 8 лет пребывал полковником. Узнать было нельзя, о том никогда не говорилось, шло секретной перепиской, но очевидно тайным указанием за какую-то дерзость высокому лицу было закрыто его дальнейшее производство. Однако при докладах старшим по чину Первушин не выражал капризной мины, не напоминал о своей обиде, да и не в военное же время.

Миновать корпусного не пришлось, и полковник Первушин, на шестом десятке лет с лёгкостью стана, руки и голоса, доложил своему вознесенному ровеснику, генералу Ключеву, о караулах, о принятых мерах, может быть и не нужных сведению его.

Клюев имел принадлежности лица военного человека, особенно усы, без которых офицер неприличен, но чуть взглядеться: не военное это было лицо, и вообще не лицо, не было собственных настоящих признаков. Все ли это примечали или не все, но каждый привык на этом месте видеть простоватое прихмуренное, всеми любимое лицо генерала Алексеева — только что, посвежу, при загаре войны взятого с повышением в штаб Юго-Западного фронта, — и каждый не мог не думать при докладе: „как ты ни старайся, хоть из кожи вылезь, а всё-таки ты не Алексеев”.

И Клюев не мог не читать этого в лицах докладывающих офицеров, и за то не любил их, а особенно сразу не полюбил Первушина, с неусыпной выставленной отвагой в его дерзко выпуклых глазах. Эта неприязнь ещё углубилась четыре дня назад, когда при взгугле канонады слева полковник Первушин имел наглость самочинно явиться в палатку к корпусному командиру — миновал бригадного! миновал дивизионного! — и „от имени офицеров своего полка” испросил разрешения ударить влево на помощь 15-му корпусу! Такой беспримерной распушенности не только ожидать от своих подчинённых, но вообще представить в армии нельзя! Может быть таковы тут были алексеевские порядки, но негодование Клюева обратилось именно на Первушина.

Он отказал ему тогда. (Но — мысль использовал для своего возвышения: доложил наверх, что готов идти всем корпусом на помощь.) И с той же неприязнью выслушивал Первушина сейчас, ища, чем бы ему досадить. Первушин же и тут не мог отойти бессловесно, но, имея в виду загородное расположение полков, спросил — не об этом расположении, это без Клюева лучше делается, а: не прикажет ли командир корпуса нарушить четыре железных дороги, подходящих к Алленштейну с разных сторон, — для большей безопасности. (Здесь пересекались главные русские магистрали.)

Клюев брезгливо ответил, что это не забота командира полка, но уж если он так хочет знать, есть директива фронтового командования: германских железных дорог не разрушать, а сохранять для нашего наступления. А лучше (дайте-ка карту) выдвиньте, полковник, один свой ба-

тальон к северу от города, в так называемый „городской лес”, и широким полукругом поставьте в охранение.

Вот эту беду Первушин и знал: не надо даже случайно встречаться с высоким начальником, тем более не надо стараться думать за него, как лучше.

Но уж теперь ничего не оставалось, как закинуться литым, полноватым, отважным лицом, повторить приказание, и только глазами в отместку: „Не-е-бывать тебе Алексеевым!” И — тремя шагами чёткими, а потом как попало, идти выдвигать тот батальон, глубже которого за всю войну никто уже не ступит в Германию.

Штабные офицеры, без интендантских и казначейских, на скамейке в тени рассчитывали, сколько заказать городу печёного хлеба, чтоб успели к вечеру и чтобы полкам вдохват, сколько за то заплатить, и останется ли купить провизии сверх того. Во многих частях ни сухарей не осталось, ни соли, в других — на один день, и овса уже не выдавалось лошадям.

Здесь, в тени, жаркий день был ласково-тёпел. Мирно бил маленький фонтан с мифологическими фигурами. В нескольких шагах проходили немки в летних платьях, вели и катили детей, напротив торговал галантерейный магазин, вёз извозчик пожилую немецкую чету. И кроме мирных рассеянных звуков бестрамвайного, безавтомобильного городка — не достигало сюда никаких других, никакого этого погромохивания, даже дальнего, когда кажется, что огромное жестяное дно рокочет от вгибанья-выгибанья.

После двух недель ненастоящей войны, всё время гуляя, а не стреляя, пришёл 13-й корпус в райский призрачный уголок — и на том бы вся война кончилась!

Генерал Клюев, скоро сорок лет на военной службе, и н и к о г д а о т р о д у не бывал на войне, так-таки не бывал — ни юнкером, ни прапорщиком, ни командиром лейб-гвардии Волынского полка, ни тем более свитским Его Величества. „Для особых поручений” продержался он в турецкую кампанию в тылу и „генералом для особых поручений” в японскую. Часто награждаемый и поощряемый, уже и начальник штаба округа, он мог надеяться и вообще никогда на войне не побывать. Но вот накатила она, и ему пришлось заменить Алексева на корпесе.

Правда, генерал Ключев не раз бывал на манёврах. И нынешнее двухнедельное движение его корпуса счастливо походило до сих пор на манёвры, усложнённые плохим пропитанием войск, трудной связью, сильной стрельбой слева (как раз сегодня утром он откупился от судьбы, пославши Мартосу бригаду из Нарвского и Копорского полков — тех, что уже раз ходили к нему зря и вернулись), — но сам он не отвечал за те заполосные события, а в его полосе текло пока всё сносно, и лишь боялся он какой-нибудь ошибкой, неосторожным своим распоряжением нарушить эту хрупкость, или что *оно* само внезапно ворвётся откуда-нибудь. Ключев томился, он не ощущал в себе никакой твёрдости, и не чувствовал поддержки в офицерах, всем в корпусе чужой. О противнике он не знал ничего. Сейчас в Алленштейне он не приказал выбирать здания для штаба, сам не вполне ещё веря, что этот город завоевал и можно остаться тут ночевать.

Вдруг (не это ли *оно*?) — подкатила двуколка, из неё выскочил лётчик, подбежал с докладом (чтобы тише, не слышно улице, его посадили на песок у ног Ключева). Он только что вернулся с разведки в восточном направлении, летал за 30 вёрст, почти к озеру Дидей, — и видел две колонны, по длине каждая в дивизию, которые шли сюда. Он не спускался так низко, чтоб отчётливо различить, что это — свои, но...

... но — затолковали, загудели штабные, на коленях разглядывая планшеты и поднося их генералам Ключеву и Пестичу, — иначе не могло быть: это шёл им на помощь по приказу Самсонова корпус Благовещенского! совпадало и время, и направление, и численность! И завтра будет их тут *кулак*, два корпуса! А если с Мартосом соединятся, то и ещё больший кулак!

Правда, начальник штаба корпуса Пестич предложил ещё раз для проверки послать другого лётчика, старше и опытней, — но Ключев отвёл проверку и велел немедленно писать от него к Благовещенскому письмо: что он с тремя четвертями корпуса пришёл в Алленштейн и будет здесь ночевать, противника же нигде нет; а с рассветом покинет Алленштейн Благовещенскому, сам же пойдёт в сторону Мартоса.

И распорядился искать здание для штаба корпуса.

Вдруг (о н о! о н о!) — близко за городом раздалась сильная ружейная стрельба, и даже маленьких пушечек.

Клюев побледнел, всё пересохло. Откуда, как могли так незаметно подкрасться немцы? — и теперь перережут пути отхода?

Помчался конный выяснять.

Дружно палили минут несколько. Немцы на улице не скрывали своего оживления. Но лишь в одном месте били. И вот реже, реже.

И замолчали.

Клюев подписал письмо, запечатали пакет, вручили лётчику: сделать посадку близ одной из тех колонн и передать пакет ближайшему генералу.

Молодой пилот, гордый поручением, прыгнул в двуколку, погнал к своему аэроплану.

Вернулся конный: это неожиданно подъехал с запада к самым домам Алленштейна бронированный немецкий поезд и открыл огонь по бивакам Невского и Софийского полков. Наши не растерялись, отогнали его.

— Надо пути нарушить! — приказал Пестич.

Лётчик не вернулся ни через час, ни через два, ни до ночи.

Но это не обеспокоило никого: ведь летательные аппараты то и дело портятся.

Правда, посылали и по земле офицерский разъезд на встречу тем колоннам. К вечеру прискакал назад один офицер и доложил, что из той, *нашей*, колонны их обстреляли.

Но и это никого не встревожило, потому что часто у нас обстреливают своих...

Генерал-от-инфантерии Николай Николаевич Мартос был, как говорится, „человек не пролей капельки”. Ему невыносимо было российское растяпство, „обождём”,

„утро вечера мудреней”, переспим, а там что Бог даст. Всякий знак тревоги, всякое невыясненное пятнышко тут же позывали его к живому исследованию, решению, ответу. У него был истинный дар полководца: быстро, точно и трезво разобраться в любой обстановке и среди самых разноречивых данных, и чем хуже бывало положение — тем острее его проницание и тем бурней энергия. Ни с чем невыясненным мельчайшим он заснуть не мог, его жгло, оттого и спать ему мало доставалось, а больше он курил и курил. Ему доставалось мало спать — но и штабу корпуса тоже, ибо этой самой пролитой капельки он никому не прощал, он не понимал, как можно её пролить, он требовал её всю тут же с земли соскрести назад. Он заболел от каждого невыполненного приказа, от каждого недояснённого, неотвеченного вопроса. Он не уставал добиваться от каждого подчинённого каждой мелочи, чтоб она была ему выложена как начищенная серебрянная монетка, — но к такому режиму были непривычны русские офицеры и кляли Мартоса, и это же показалось невыносимо Крымову, отчего и бранил он Мартоса, что тот „задёргал штаб”. По развалке Крымова не могло быть досаднее генерала, чем Мартос.

Хотя и всю жизнь в армии (с девятнадцати лет — на турецкой войне), Мартос так не походил на русских представительных медлительных генералов, что казался ловко переодетым шлаком — худой, подвижный, как будто не было ему сейчас 56 лет, острый, да ещё хаживая с тросточкой-указкой и в распахнутой шинели под эполетами.

Своим 15-м корпусом он командовал уже четвёртый год кряду, всех знал, а корпус гордился своим командиром, и на многих зимних и летних учениях, манёврах, полигонах успел понять своё превосходство над другими корпусами. Воспитанный Мартосом корпус стал достоин своего командира. И был корпус — здешний, Варшавского округа, именно к этому театру действий Мартос его и готовил, и справедливо, что именно его корпус попал в Пруссии на самое горячее направление, вёл бои с 10 августа, когда другие корпуса всё только шли в пустоту, и что именно его корпусу досталось разведать своими боками, а Мартосу — разгадать обстановку, которую ещё не

понимали на всех верхах, разгадать — и избрать правильное направление удара.

Несправедливо другое: что в первый день мобилизации от Мартоса отобрали и 6-ю и 15-ю кавалерийские дивизии, где Мартос знал каждого эскадронного, и даже не оставили просимого Глуховского драгунского полка, а навязали небоевой Оренбургский казачий полк, всего лишь с опытом полицейской службы в Варшаве, а полевой и не знал, и нести уклонялся. Единственный в самсоновской армии корпус был готов ко всей тяжести армейского сражения — и его лишили кавалерийской помощи, погнали в неизведанную пустоту даже без конной разведки. И несправедливо то, что начальство успело ещё до боёв помотать 15-й корпус на лишние переходы: совершить ненужный марш на восток для общего сосредоточения, а потом — назад, петля на несколько дневных переходов. (Воевал Мартос третью войну, но никогда ещё не видел такой сумятицы и гонки.) А в приданном корпусе отряде лётчиков все 6 аэропланов были устаревшей системы, все моторы выслужили срок — и только лётчики горели геройством, и летали, — и корпус всё же не остался без воздушной разведки.

Боязливые городские казаки вели разведку, собирая слухи от местных жителей. И так ожидали боя за Найденбург, а его не было, а 10 августа объявил Мартос первую днёвку корпусу — но под Орлау неожиданно наткнулись на немцев и неожиданно среди дня начали бой. Артиллерия корпуса была вся со снарядами и стреляла отлично. То Симбирский полк, то Полтавский сами бросались в атаку, не дожидаясь команды (а не всегда это хорошо, и несли потери). В бою выбыли два командира бригады, три командира полка, несколько батальонных, много офицеров, больше трёх тысяч нижних чинов. У противника оказалось больше шести полков пехоты на заранее выбранных и сильно укреплённых позициях с 16 батареями. В ходе двухдневного боя, разделённого душной ночью с редким дождём, русские брали Орлау и Франкенау, отступали от них — и снова взяли их рассветной атакой, и противник с разгромом ушёл с позиций, оставляя снаряжение, раненых и трупы — даже стоячие трупы, застрявшие в тесном крепком молодом ельнике.

А оказался тут — немецкий корпус Шольца, в мирное время и расквартированный в этой самой местности, к ней и подготовленный. Итак, противник никуда не бежал из Восточной Пруссии, как уверял штаб фронта. И Мартос, продолжая двигаться вперёд и день ото дня задирая противника левым боком, первый стал понимать истинное, косое, расположение корпуса Шольца, и первый, не дожидаясь распоряжения, стал заворачивать налево. Пилоты помогли ему открыть и выяснить за Мюленским озером с запада укреплённую позицию немцев.

И всё это приходилось совершать с корпусом, две недели не знавшем днёвок, изголоженным без подвоза, и в бессонные ночи — приходилось ночами переводить и поворачивать части. Для разгрома Шольца нужна была помощь соседей. Справа, где-то далеко, брёл Ключев. Ещё 10-го, при загаре боя под Орлау, Мартос полевой запиской к соседу, как бывает проще всего в обход начальства, просил помощи у Ключева — прислать в Орлау два полка. Но Ключев, хотя и получил записку быстро и слышал канонаду, — послал помощь только на следующий день, и не рано, и опоздавшую, Мартос уже выиграл бой и сам. А слева от Мартоса была пустота ещё тревожнее, корпус Кондратовича не подошёл, одна дивизия Мингина, и та как наскочила 13-го на Мюлен внезапно, не понимая противника, не сумела взять укрепления с удара и ещё быстрее откатилась на юг. А Мартосу из армии было приказано на 13-е не брать Мюлен, не фронтом на Шольца, — но на пустой север, брать Хохенштейн и даже идти к северо-востоку, на Алленштейн. С бурей в душе Мартос ещё послал два правофланговых полка брать Хохенштейн — а остальными всё более поворачивал на северо-запад, на Шольца, а в ночь на 14-е смелой ночной рокировкой полностью переменял фронт с севера на запад, против мюленской линии (ещё долго обозы путались на путях).

Уже понимая, что его потрёпанным дивизиям этой обороны не одолеть, Мартос вечером 13-го снова послал полевую записку Ключеву, идущему безо всякого боя на север, прислать сюда если не дивизию, то хоть два ближайших полка. Но не было уверенности, что Ключев пришлёт. А только тем можно было спасти сражение, что привлечь сюда ключевский корпус весь, подчинить его Мартосу. Штаб

армии проявился в Найденбурге — и Мартос просил об этом уже в ночь: сейчас, но только сейчас, безотложно, 14-го августа, можно было разгромить весь немецкий центр — и тогда никакая конфигурация не спасёт прусскую армию, — но корпус Ключева должен идти к Мартосу в ночь на 14-е! И одной дивизией успевал бы прийти прежде полудня, другой после.

Однако штаб армии, не понимающий, что сам держится в Найденбурге лишь тем, что Мартос атакует немцев, — отказал.

Да что ж, недавно в варшавском отеле Мартос представлялся Самсонову (да знал он его и молодым офицером, Самсонов — моложе на год). Нет, не нашёл в нём быстроты, схватчивости, решительности. А уж тестяной Постовский — это полное бедствие, нельзя было назначить неудачней.

Мартос первый из корпусных командиров проводил время не в штабе корпуса, а на командном пункте, с которого виден противник и где снаряды рвутся. Этим положением он дорожил, всякая отлучка была потеря, и утром 14-го, когда на их участке уже гремело с обеих сторон, а по расчёту и в штабе армии должны были вот-вот продряхнуть, — Мартос послал в деревню к телефону полковника: снова просить штаб армии настойчиво, чтоб и весь корпус Ключева был немедленно повёрнут сюда!

Бой за Мюлен был тяжкий, 6 русских полков против 9 немецких, врывались в деревню, и брали пленных, и отступали. Разорвалось несколько сот шрапнелей и фугасов, многие десятки носилок пронесли, кое-где сменили батальоны резервными, кое-где переменяли огневые позиции, оттащили побитые батареи, дружным обстрелом едва не сбили свой аэроплан, — пока вернулся от телефона полковник. На беду он разговаривал с Постовским — да и как бы мог он требовать непременно командующего? — и Постовский отказал с мотивировкой такой: „командующий не хочет стеснять инициативы генерала Ключева”.

Нельзя было штопором завертеть Мартоса сильнее, чем этим ответом! Он бросил бинокль, сбежал с чердака, и под соснами бежал и вился на горке, ругаясь сам для себя, проклиная и исходу не находя ногам. Он не впал в ошибку доверия, что действительно его просьбу доло-

жили командующему, и тот своей избыточно-крупной головой со всех сторон обдумал — и пощадил инициативу нерешительного Ключева. Нет, сразу узнавалась чернильно-промокательная душа Постовского, его боязнь отойти от позавчерашней директивы фронта и его ничтожно-значительная мина говорить от имени командующего, не дожившись. Да и как решиться такое подчинение составить, если Мартос корпусной как корпусной, а батюшка Ключев ведь был недавно начальник штаба округа, а Постовский служил у него генерал-квартирмейстером?!..

Что было Мартосу? — с утра бросить бой, когда уже переходили укреплённую реку, когда уже Мюлен обкладывали, а немецкий батальон панически бежал, — и скакать самому в тыл звонить, добиваться, проснулся ли командующий? В такие стервениящие минуты, неизбежные в армейской службе, когда надставленные остолопы делают всё как хуже и вредней, — хоть скинь с себя всё военное до нитки и утопись голый, не причастный ни к какому военному мундиру!

Но его звали, ждали, докладывали и спрашивали, а тут пришёл полевой ответ и от Ключева: Нарвский и Копорский полки высланы на Хохенштейн. И неутомимый Мартос уравновесился, снова ввинтился в бой.

И так, на командно-наблюдательном, имея хорошую связь и с полками и с артиллерией, изведя три десятка папирос и не пообедав, Мартос провёл бы сносно этот день. Бой стихал, подтягивались и перемещались. Подходили и у немцев резервы и орудия. Пришло сведение, что два полка от Ключева достигли Хохенштейна, — и велел им Мартос немедленно идти насквозь дальше. В 4 часа пополудни, не давая немцам отдышаться и своим вздохнуть, Мартос начал новую атаку всеми полками, и хорошо пошли, обтекая Мюлен, — но дожждаться заветного момента Мартосу не дали: прискакали звать его к телефону, вызывал срочно штаб армии.

Так сейчас нужен был Мартос на командном! Так непосильно было ему отрываться, ехать разговаривать, даже Ключева получать! — но армейская шкура не давала самовольничать. Всё покинув на начальника штаба, поскакал Мартос к телефону, чтобы скорей обратно.

В большой тяжёлый телефон постоянной немецкой

сети Мартос отчётливо услышал скрипучую манеру Постовского, — да что манера, не до манеры, он верить ушам своим не мог, он с ноги на ногу как на горячем заперемялся.

— Генерал Мартос, такое приказание, — нудно тянул Постовский. — Завтра с утра двинуться на Алленштейн для соединения с 13-м и 6-м корпусами. Там образуется большой кулак из трёх корпусов.

Мартос изумился, нет, он не понял: не Клюев — сюда, а он — к Клюеву?

Да, именно так.

Узкую грудь Мартоса разорвало как прямым попаданием. Нельзя было ни дышать, ни жить! Это пресс-папье ничего не понимало и понять не могло! Оно не понимало, что один 15-й корпус только и вёл успешный жаркий бой со всей обозримой живой силой врага в Пруссии, со всей, какая проявилась до сих пор! Оно не понимало, что каждый час этого боя есть золотой час для всей армии, и надо сюда, сюда тянуть войска, а не отсюда. Оно не понимало, что сегодняшней день был доблестью целой жизни Мартоса, всей его военной карьеры! Оно вообще не разговаривало на человеческом языке. Да, бишь, 15-й корпус ещё *не выполнил приказа* — уйти далеко севернее.

— Позовите к телефону командующего! — закричал Мартос бешеным тонким приказным голосом. — Сию же минуту позовите!

Постовский отказался. Ну да, им же из комнаты в комнату переходить, смотришь, и по лестнице.

Зачем командующего? Приказ от имени...

— Не-ет!! — закричал Мартос, пока ещё горло кричало, пока ещё не перерезали шеи. — Нет!! Только командующий! Пусть командующий укажет, кому из генералов передать корпус, а меня пусть уволит от командования! Я больше не служу!! Я ухожу в от-с-т-а-в-к-у!!

И Постовский не закричал навстречу (да он и не умел). Постовский сильно снизил тон. Постовский растерянно сказал:

— Хорошо. Хорошо, доложу. Через час вызову к телефону.

Да волки вас разорви через час! Через час вы меня не дозовётесь!

Лёгкий, с фигурой мальчика, с подпрыгом мячика, вскочил Мартос в седло и галопом погнал на командный, так что адъютант еле за ним успевал.

В темноте пришло известие, что весь корпус Ключева подчинён Мартосу. Мартос кинулся звонить командиру своей правой дивизии, чтобы тот скорее слал Ключеву новую полевую записку: срочно двигаться сюда на помощь.

Наша связь! — одинокая скачка верховых по чужой стране, среди, может быть, отрядов неприятельских. Телефонные линии — всюду, а нет технических команд налаживать их.

28

Не принёс и Найденбург успокоения мыслям Самсонова, не принёс прямого участия в деле. Чужой потолок над утренним пробуждением, в окно — кровли и шпили старинного орденового города, необъяснимо-близкая канонада, потягивающие дымы недотушенных пожаров и смешение двух жизней в городе — немецкой гражданской и русской военной. Каждая из них текла по своим законам, бессмысленным для другой, но в одних и тех же каменных простенках им неизбежно было совместиться, и вот с утра, раньше штабных, добивались приёма у командующего вместе: русский комендант города и немецкий бургомистр. Из городских запасов пришлось взять муки, печь хлеб для войск — расчёты, возражения, оговорки. Полицейская служба, установленная комендантом, не принесёт ли ущерба жителям? Русскими взят под контроль хорошо оборудованный немецкий госпиталь — но там есть немецкие врачи и немецкие раненые. Реквизируется здание и транспорт для русских госпиталей — условия, основания?

Самсонов честно старался вникнуть и справедливо решить разногласия, впрочем взаимно благожелательные. Но — рассеян был он. Шевелилось в нём то невидимое, недостижимое, что происходило в песках, лесах, в разбро-

се ста вёрст, и о чём с докладами не спешили прорваться к нему штабные.

Хотя по армейской иерархии высший начальник властен и волен над своими штабными, а те над ним — нет, но косным ходом событий чаще бывает наоборот: от штабных зависит, что высший начальник узнает и чего не узнает, в чём дано ему будет распорядиться, а в чём нет.

Вчерашний день, как и каждый, закончился рассылкою наиразумнейших из возможных приказаний всем корпусам, что делать им сегодня, и с этим сознанием невозможного благополучия штаб армии лёг спать. К утру у некоторых чинов штаба накопились кое-какие противоразказания ко вчерашнему, но обнаруженное могло пойти в противоречие тому, на чём они сами вчера настаивали, — итак, не с каждым же докладом было спешить к командующему. Некоторые вчерашние приказания и надо бы как будто изменить — да ведь уже завязались по ним утренние бои, всё равно поздно. И оставалось командующему проводить неторопливое утро, полагая, что с Божьей помощью всё развивается, как он хотел и распорядился, то есть к лучшему.

Только нельзя было от него утаить связанных с близкою канонадой событий в дивизии Мингина. Эта дивизия, из Новогеоргиевска во Млаву почему-то не перевезенная по железной дороге, а прошагавшая сто вёрст рядом с нею и ещё полсотни потом, с быстрого хода вчера пошла в наступление всеми полками, причём правые едва не взяли Мюлена, а левые — Ревельский и Эстляндский, тоже очень успешно продвигались, но были встречены сильным огнём и отошли. А Мингин, узнав об отходе левых полков, отошёл и правыми, оторвался от Мартоса, как бы фланг его не открыл. Но в остальном сведения не были точны: как именно велики потери? до какого именно рубежа отошли? Неточность сведений давала возможность истолковывать их пока и не столь тревожно, тем более, что и канонада сегодня с утра отдалилась, перенеслась правее, к Мартосу.

Внимательно рассмотрел Самсонов предложенную ему карту. Велел послать указание, дальше какой деревни, в десяти верстах от Найденбурга, полкам Мингина ни в коем случае не отступать. Теплилась надежда, что вот-вот нач-

нёт подходить к Мингину гвардейская дивизия Сирелиуса. Его или корпусного Кондратовича очень ждал Самсонов в это утро к себе, но они не появлялись.

Может быть не офицера посылать на выяснение, а самому командующему поехать и посмотреть? Но поедешь к дивизии Мингина, а тут с другого края подскочит что-нибудь важное.

Так, без верных сведений о событиях, без явного дела, Самсонов протомился всю первую половину дня: то опять с Ноксом (верхом проехали с ним на высоту и оттуда смотрели вдаль), то с интендантами, то с начальником госпиталя, то с Постовским, то над телеграммами Северо-Западного. И подходило уже время обедать, когда казачий разъезд привёз донесение Благовещенского, помеченное двумя часами минувшей ночи.

Донесение было так странно, что Самсонов моргал над ним, хмурился, пыхтел — а ничего понять не мог, вместе и со штабными. О том, что приказано было, — идти на выручку Ключеву, Благовещенский как будто не знал: он об этом не отчитывался, не оговаривал, почему не сделано. Ещё меньше он знал о немцах, была такая странная фраза: „Разведка не дала сведений о противнике.“ И тут же: что в утреннем бою под Гросс-Бессау (каком утреннем бою? когда он об этом доносил?!) потери комаровской дивизии — более 4 тысяч человек! То есть, четверть дивизии?! И при этом — о противнике нет сведений?! И вот уже пункт указывался на 20 вёрст южнее Гросс-Бессау, куда корпус отходит, явно бросив Бишофсбург, но об этом ни слова! И что ж за войска оказались там у немцев? Если б они бежали, на убеганьи боком зацепили Благовещенского — но как же четыре тысячи потерь?.. Но они не бежали, ибо Ренненкампф не подходит — и, значит, они держат его. И значит никаких серьёзных сил против Благовещенского быть не должно. Так откуда?

А если они — от Ренненкампфа, то что ж не идёт Ренненкампф? Ох, он себе на уме.

Кой-как укрывшись от Нокса, Самсонов с этим уклончивым, нет, лживым донесением ходил по тёмному залу ландрата, как растревоженный медведь, и над тёмным дубовым столом сжимал голову.

Как несчастливо изменился вид войны, превращая

командующего в тряпичную куклу! То обозримое поле сражения, по которому можно доскакать до оробевшего командира или вызвать его к себе, — где оно? Уже в японскую оно заслонялось, отодвигалось — а где оно теперь? За 70 вёрст, по стране врага, под угрозой пуль и плена, полсуток везли казаки лживую, подлую, предательскую грамоту! А добиться понять, исправить, ободрить труса, переприказать — ничто невозможно, пока казаки не покормят лошадей, дадут им отдохнуть и ещё потом проскачут полсуток назад. Не нащупывали друг друга станции беспроводного телеграфа, не взлетали или не возвращались летательные аппараты. И свой единственный автомобиль усylать с ответом Благовещенскому — тоже не гораздо, да и ему потребно конное сопровождение. И так на 70 вёрст, как при Кутузове на пять, оставались всё те же копыта таких же по размаху ног коней. И только завтра об эту пору можно будет узнать, исправится ли 6-й корпус, подтянется ли к своим, или вовсе отколется, затеряется, а самсоновская армия окажется с отрубленной правой рукой?

С этим ощущением отрубленной правой руки, подшибленного крыла, Самсонов и сел за обед, и есть ничего не мог, и уже был откровенно хмур с Ноксом, отвечал ему невпопад.

Но в середине же обеда настигла и нечаянная радость: прерванная с утра, восстановилась связь с 1-м корпусом, и передали донесение Артамонова: „С утра атакован крупными силами противника под Уздау. Все атаки отбил. Держусь как скала. Выполню задачу до конца.“

И высокое откидистое чело командующего помолодело, осветилось — и всё осветилось за столом. С живостью требовал объяснений и благорасположенный Нокс.

Правая рука была отшиблена, но силой наливалась левая, главная сейчас рука. А как несправедлив был командующий к Артамонову все эти дни, считая его и карьеристом, и глупым суетливым человеком! Теперь же он держал главное направление, всю армию, и не подумать, что преувеличивает, ибо тогда не родилось бы это сильное выразительное: к а к с к а л а.

В приятных минутах кончился обед. Захотелось Самсонову узнать ещё подробностей, позвать к аппарату Кры-

мова или Воротынцева, кто там ближе, — однако провод опять прервался.

Тем более надлежало заняться центральными корпусами. И хотя только третий час дня, очевидно уже пора начать составлять приказ по армии на завтра: лучше рано, чем поздно. Конечно, разумней бы отдавать распоряжения не на сутки, а по часам, по обстановке, но уж так всеми принято, не нами так заведено: в сутки раз.

На овальном столе перед командующим разложили карту, и Самсонов с Филимоновым и двумя полковниками, прижимая углы, наклонялись, переходили, водили пальцами, а полковник оперативной части для справки вычитывал вслух из прежних донесений и распоряжений.

К этой работе, в несколько рук, Самсонов всегда относился как к высокому обряду. От случайных причин — от освещения, от морга глазом, от стоянья или сиденья у стола, от толщины пальца, от тупого карандаша могла зависеть судьба батальонов и даже полков. Согласно линии и стрелки, высшие приказы и свои соображения, Самсонов добросовестно, как только мог, старался вынести разумное решение. Даже пот капал на карту, Самсонов снимал его со лба платком, — то ли душно было в знойный день в зале ландрата при небольших узких окнах?

Приказ, как всегда, начинался с утверждения того, что уже достигнуто. Выходило неплохо: 1-й корпус отбил немецкие атаки под Уздау, дивизия Мингина во что бы то ни стало удержится, где ей сказано, 15-й занял Хохенштейн, вот-вот и Мюлен возьмёт, 13-й — в Алленштейне, а 6-й... да и 6-й ещё может исправиться.

Что же — завтра? Ясно, что центральными корпусами будем всё более поворачиваться налево, а неподвижный артамоновский будет как бы осью поворота армии. Ему так и напишем дипломатично, не предлагая наступления: „удерживаться *впереди* Сольдау”, и воля Верховного ни в коем случае не будет нарушена. А Ключеву велеть идти форсированно к Мартосу. А Мартосу... тут Филимонов настоял на глубокой формулировке: „скользя вдоль себя налево, сбрасывать противника во фланг”.

Только одного не могли они указать корпусам: как силён противник, как он расположен и из каких корпусов состоит.

И вот — почти готовый, лежал армейский приказ на завтра. Работа была — как продираться через кустарник в сумерках, а приказ лёг на бумагу без помарок, красивым наклонным почерком.

Но не уверен был Самсонов, что всё действительно готово. Да и нездорово себя почувствовал, дышать не хватало.

— Пожалуй, господа, пройдусь по свежему воздуху немного, потом подпишем, время есть.

Филимонов и полковник Вялов испросили разрешения идти вместе с ним. А начальник разведки с лысо-сверкающей тыквенной головой понёс проект приказа Постовскому в другой зал, и тот сразу заметил, как противоречит этот приказ последнему указанию Северо-Западного фронта наступать строго на север:

— Куда ж вы смотрите? Не Клюев должен идти к Мартосу, а Мартос к Клюеву. И так собрался бы большой кулак!

Был уже пятый час дня, жара спадала, но раскалены камни, и на улице тоже не хватало командующему воздуха. Он снимал фуражку, снова обтирал пот.

— Пройдёмте, господа, на край городка, там — рощица или кладбище.

Хотя и видно было вчера, хотя и на солнце сейчас — командующий задержался перед памятником Бисмарку. Обсаженный цветами, стоял на ребре скалистый необработанный коричневый камень, обломистым ребром вверх. А из него в треть плоти выступал в острых линиях и углах — чёрный Бисмарк, как чёрною думой затянутый.

Выбранная улица вела на северо-западную дорогу, к дивизии Мингина, может и не случайно сюда тянуло командующего. Как любил, он шёл с руками за спиной. Спереди это выглядело внушительно, а сзади — как бы поарестантски, к тому ж и голова опущенная. Он не поддерживал разговора, и офицеры шли стороною.

Самсонов ощущал, что делает — не так. Верней — чего-то нужного не делает, а не мог схватить — чего, не мог прорваться через пелену. Хотелось ему скакать куда-нибудь, саблю выхватывать, но это бессмысленно было бы, и не приличествовало его положению.

И сам собой он был недоволен. И Филимонов недоволен им всё время, явно. И вряд ли командиры корпусов довольны. И главнокомандование фронта называло его трюсом. И неодобрительно думала о нём Ставка.

А — что делать, никто не мог ему сказать.

При последних домах улицы начиналась рощица. Хотели все в неё сворачивать, как с дороги загрохотали и показались на быстром прокате двуколка, вторая, потом двуконная телега. Возчики кнутами гнали, как спасаясь от близкого преследования, — катили с развязностью, неприличной в расположении штаба армии. Сопровождающие Самсонова бросились перехватить, и Филимонов, одёргивая аксельбант, со злым лицом вышел на середину дороги. А Самсонов ещё не придал значения, зашёл в рощу, сел на скамью.

Однако шум с улицы не умолкал. Колёса остановились, но подъехало ещё сколько-то. Слышался гул голосов, утишаемый по мере подхода. Слышался грозный голос Филимонова, как он допрашивал солдат и не отпускал. Самсонов попросил Вялова пойти узнать, что там. Вежливый Вялов вернулся с задержкой, смущённый, как доложить, — а голос Филимонова там набирал силы, резко распекая.

Вялов объяснил: это — очень расстроенные остатки Эстляндского полка и немного ревелльцев (которые должны были *во что бы то ни стало* стоять в десятке вёрст отсюда), они стихийно отступали и вот докатились до Найденбурга, конечно, не зная, что здесь штаб армии. Они имели порыв откатываться и дальше.

Самсонов тревожно встал, дыша с недостаточностью, и, забывая надеть фуражку, потерянно неся её в руке, вышел на солнцепёк, на улицу.

Тут набрался как бы строй: несколько повозок, отдельно четверо офицеров, потом солдат сотни полторы, ещё подходили и новые. Им приказано было разбираться в четыре шеренги, но что это были за шеренги! — неостывшие кривые линии распалённых лиц, многие без фуражек, как на молитве, а не в строю, кто без шинельной скатки, у кого скатка в ногах, у всех ли ещё винтовки? А у правофлангового чёрного дядьки оттопырен на боку котелок, пробитый в донце осколком, но не покинутый. Десятка

два было раненых, перебинтованных кто фельдшерской рукой, кто саморучно, а и просто были с запекшимися открытыми пятнами. Уже остановясь, они как будто не остановились, их клонило, валило в ту сторону, куда они быстро шагали незадолго. Они дико смотрели, и ещё странно, что держали как-то строй.

При подходе командующего Филимонов рявкнул: „смирно!” (Самсонов отставил), и стал громко докладывать — да не докладывать, а позорить это трусливое стадо потерявших человеческий вид солдат... До сих пор командующий слышал своего генерал-квартирмейстера только в комнатах. Он не ожидал от него такой звучности, резкости, ярости. Филимонов кричал перед строем с неистраченным честолюбием штабного начальника и ещё с особым честолюбием генералов, низких ростом.

Самсонов слушал крик, обвиняющий весь Эстляндский полк в предательстве, трусости, дезертирстве, а сам оглядывал неостывшие лихие солдатские лица. То была лихость крайности — крайности конца жизни, когда никакой генеральский распёк уже не проникал в их уши, и это чудо ещё, что они позволили себя остановить: их и каменный забор уже мог бы не остановить.

Но эту лихость, эту крайность тут же отличил Самсонов от той бунтарской лихости, которую повидал в 905-м году на сибирской магистрали, где кипели солдатские митинги, распоряжались комитеты, где гудело „доло-ой!”, „домо-ой!”, громили вокзалы, буфеты, силой хватали паровозы для своих составов: „Мы первые! домой! долой!”. Там — ничего не значили офицеры, и в сто глоток кричали бунтари „до-лой!” — долой вас, какие б вы ни были хорошие, мать вашу расперетак, не надо нам вашего хорошего, отдайте нам кровное наше!

А здесь, на этих лицах перекажённых, на возврате уже ненадежном от смерти к жизни, было с болью к офицерам: кровное наше, мать вашу так, мы же вам отдаём, — а вы?? а вы?!

И Самсонов, чувствуя, что краснеет, может быть и не видимо никому на солнце, выставил лапу ладони, остановил нависающий гам генерал-квартирмейстера и стал тихим голосом спрашивать — сперва офицеров, случайных, только один был ротный, потом и солдат.

А им — рассказывать непривычно, сбойно, нескладно, да и что они там поняли во всей этой свистящей смерти? Под снарядным накрывом от сотен орудий — да без единой канавки, в мелких бороздах свекловичного поля. А нашей артиллерии — не было, или не доставала в ответ, а какие несколько пушек выехали — тут же и разнесло их. И всё ж-таки ружьями да пулемётами, дальней стрельбою — отвечали по пушкам. А ещё подымались в атаки и даже до немецких окопов дотягивали. И все патроны расстреляли. А тут пехота стала обходить их. А тут и конница сзади заворачивала (может, и не заворачивала). Да такого грохота и в Страшный Суд не будет, старые солдаты никогда не слышали. Тысяч до трёх из их полка разлетало. А-а, этого не расскажешь...

Он. Он виноват. Он же слышал эту стрельбу вчера, и сегодня утром хотел к ним поехать — отчего не поехал? Уже в том его вина, что он здесь их дождался, а не там разыскал, в их беде. Да не в том, а прорезалось ясно, что никак не понималось в тёмном зале ландрата: ещё вчера на сегодня писал он им, под советы вот этого неуёмного генерала, какое шоссе у немцев перерезать; как ворона летает, и то бы им было туда двадцать вёрст. А посылал — по жаровне, по единственному месту, где немцы замечены были, стояли и бились. И ещё сегодня ошмёткам этих полков он велел „во что бы то ни стало”...

Пока говорили — подбывало сзади, и знамя пришло на древке, с крестом георгиевским в навершенной скобе и с юбилейными лентами. Подошло и стало знамя на левом фланге молча, и кучка солдат при нём — некомплектных, раненых, ободранных.

И к рассудительному тихому голосу, слышному однако тут всем, добавляя, чтоб и тем было слышно, Самсонов окликнул:

— Сколько вас, ревельцы?

И фельдфебель ответил трубисто:

— Знамя. И взвод.

А из задней шеренги Эстляндского крикнул, спроста не дожидаясь, голос нетерпеливый, охрипший:

— Ваше высокопревосходительство! Мы ведь — третий день без сухарей!

— Как? — ещё затемнился, изумился, обернулся командующий. — Третий день?

Весь вчерашний день, наступая по жаровне, и вырубаемые снарядами, и в штыковые атаки ходя, и умерев на девять десятых, — без сухарей?..

— Без сухарей!! — подтверждали ему сбойным хором.

Командующий покачнулся вперёд высоким грузным телом, видели. Адъютант подбежал его поддержать, но не пришлось, он устоял.

(Да ему освободительней было бы рухнуть и крикнуть: „Каюсь, братцы, это я вас погубил!“ Ему легче к сердцу было бы — взять всё на себя и подняться уже не командующим.)

Но — только распорядился тихим голосом:

— Всех накормить сейчас же. И поместить на отдых.

А тяжесть вся осталась в нём.

И он зашагал в город назад, окаянно перемещая ноги.

Как раз у глыбы Бисмарка из-за угла выехало на встречу командующему несколько конных, провожаемых штабным офицером. Тот показал. Увидели. Соскочили и пошли к Самсонову кривым кавалерийским шагом, нарацивая его.

Это были: кавалерийский генерал, драгунский полковник и казачий полковник.

Генерал-майор Штемпель (так много в его армии генералов, Самсонов лоб наморщил, да, командир бригады у Роппа) доложил, что прибыл во главе сводного отряда из драгунского полка, трёх с половиной сотен 6-го Донского и конной батареи. Отряд сформирован полковником Крымовым властью командующего армией с задачей установить прерванную живую связь между 1-м армейским корпусом и 23-м.

Ещё видели глаза Самсонова эстляндцев и ревельцев, ещё через голову промешивалась их беда со своей виной, а в памяти наслоено было, что всякие временные отряды, расподчинения и переподчинения всегда истекают от худа, — но время наступало, и надо было вработываться и понимать:

— Да? Хорошо, это хорошо... Между этими корпусами действительно...

Командующий здоровался за руку со всеми тремя —

а казачьего полковника он знал! сразу вспомнил его скромно-грубоватое лицо, седой бобрин, седую бородку щёткой, по Новочеркасску знал:

— Исаев? Алексей Николаич, кажется?

Лет уж под семьдесят, а безотказен:

— Так точно, ваше высокопревосходительство!

— А почему — три с половиной сотни? — слабо улыбнулся Самсонов.

И Исаев, рад случаю пожаловаться, может ещё полк соберёт назад, — объяснял. Но — странно смотрел на Самсонова.

И Штемпель тоже смотрел странно. Они переглянулись.

— Худая весть и гонцу не в честь, — поёжился простоватый Исаев.

Самсонова кольнуло:

— Что такое ещё?

Сухощавый Штемпель выпрямился и протянул пакет, как если б ждал себе за это казни:

— Нагнал нарочный от полковника Крымова. Велел передать.

— Что такое? — спрашивал Самсонов, будто устно легче было услышать. А пальцы уже разворачивали бумагу с крымским замысловатым почерком:

„Ваше высокопревосходительство, Александр Васильевич!

Генерал Артамонов — глуп, трус и лгун. По его беспричинному приказу корпус с полудня отступает в беспорядке. От вас это скрывается. Потеряна прекрасная контратака петровцев, нейшлотцев и стрелков. Отдано Уздау, ещё удастся ли к вечеру удержать Сольдау...”

Если б это сказали на словах, хотя б и под клятвой, — нельзя было бы поверить. Но Крымов зря не напишет.

Самсонов вырос, побагровел, затрясся, как мех раздулась его грудь. Он брёл сюда ослабленным и виновным — но вот обнаружился злодей виновнее его! И с силою правоты он заревел на перекресток:

— От-ре-шаю мерзавца!

И поднятою рукой оперся о бисмаркову неровную глыбу:

— Кто здесь? Восстановить немедленно связь с Соль-

дау. Генерала Артамонова отрешаю от командования корпусом. Назначаю генерала Душкевича. Сообщить в 1-й корпус и в штаб фронта.

Он опирался как будто о скалу, как будто левою рукой — но не было у него больше левой руки.

Отрубили и её.

Ещё вчера, с ног сбивая, гнали Нарвский и Копорский полки на север, не давая у колодцев посидеть, и уже в вечерних сумерках всё на север, биваками стали в темноте. Слух был, что завтра в городе Алленштейне будут хлеб печь и выдавать. Но утром 14-го после обычной заминки, затяжки, когда приказы никак не рождались и не рассылались, и батальоны цепенели в бездействии, впрочем зная, что их же ногами и расплачиваться за всё, — пришёл приказ Нарвскому и Копорскому полкам поворачивать налево назад, от Алленштейна прочь, и, с тем же спехом возвращая незримо немцу вёрсты, отшаганные у него вчера, — гнать на помощь соседу, как уже бегали три дня назад именно эти полки — и зря.

Может быть, командиру бригады было при этом какое-то пояснение. Может быть, и командирам полков перепало осведомления сколько-то. Но в батальоны офицерам ничего не было объяснено, и даже при добром доверии трудно было связать вчерашний марш и сегодняшний иначе, чем глупостью или злой насмешкой. А что могли думать солдаты? Перед солдатами Ярославу Харитонову было так стыдно за эти метанья, вымученные у их тел, как будто сам он и был тот злобный штабной предатель, кого солдаты во всём подозревали.

Но — и награда неожиданная за весь двухнедельный голодный мотальный марш ожидала их полки: в полдень, при ярком солнце, при ровном ветерке, при весёлых пучных белых облаках открылся им с обзорных грислиненских высот — первый город, а через час уже и входили они в него без препятствия, небольшой городок Хохен-

штейн, так, саженой четыреста на четыреста, поразительный не только уёмистой теснотой крутоскатных кровель, но — полной безлюдностью, этим даже страшен в первую минуту: вовсе пуст! — ни военного русского, ни мирного жителя, ни старика, ни женщины, ни ребёнка, ни даже собаки, только редкие осмотрительные кошки. Где — забитые ставни, а где — рамы сорваны с петель, стёкла вдребезг. Передний полк не сразу поверил, предпологался за город бой, они принимали резервный порядок, высылали разведку. Невдалеке, по тому ж направлению, громыхала артиллерия, стучали пулемёты, — но сам островерхий город по прихоти войны был совершенно пуст — и цел! — видно, никто не бился за город и перед ними, и если брал — то так же пустым, без боя, и так же бросил.

Полки втекли с алленштейновского шоссе ещё с порывом к бою, ещё с готовностью пройти город насквозь и идти дальше, куда было им велено, — но, как в сказке, на первых шагах в зачарованной черте истекают из героя силы, и роняет он меч, копьё и щит, и вот уже весь во власти волшебства, так и здесь первые кварталы чем-то обдали входящие батальоны — и расстроился их шаг, свертелись головы в разные стороны, смягчился, сбился порыв двигаться на шум боя, и бригадная и полковая воля над ними почему-то перестала существовать, никто не понукал, не прискакивали ординарцы с новыми приказами. И батальоны почему-то стали сворачивать — направо, налево, ища себе в городе отдельного простора, да единая батальонная воля тоже парализовалась, и зажили роты отдельно каждая, а там и они распались на взводы, — и удивительно, что это никого не удивляло, а повеяло заколдованным обессиливающим воздухом.

Вопреки тому старался Ярослав хранить сознание, что — не должно так быть! что их помощи дальше ждут! Но не шире взвода действовала его власть. Однако вот и взводы беззвучно, неприметно растекались, рассасывались, как вода, сама себе ища свободный сток и незанятые объёмы. И взводу Харитонова, из лучших, добропорядочных солдат составленному, не стоять же было одному под ружьём на солнце, заслужили они право на привал.

А — на еду? После стольких изнурительных дней при ущербном пайке — так ли уж дурно было, что неотклонной голодной надобностью по одному, по два, по три стало утягивать и его солдат, — кто спросом, как благородный Крамчаткин, подошёл, печатая шаг, и глазами вращая, весь живот во власти командира: — „Разрешите обратиться; ваше благородие? Разрешите отлучиться за продовольственной поддержкой?“, — а кто за стену винть, и вот уже сахар несёт, и печенье в цветных пачках, из'рук второпях обранивая и прячась от взводного командира. Дурно? Наказать? Да ведь голодны, да ведь это — потребность, от которой и бой зависит. Почему уж так надо считаться с покинутым захватным имуществом? Посоветоваться бы с другими офицерами, но что-то не видно их, и с кем советовать? — ты взрослый, ты офицер, ты решаешь сам.

А вот — макароны несут, мужиками отроду не виданные! А ещё чудней: в стеклянных банках — телятина, жаренная по-домашнему. Наберкин — маленький, юлкий, с сияющими глазами несёт своему подпоручику, радый угодить:

— Ваше благородие! Не погнушайтесь отведать! До чего же хитро сработано!

Здесь — нет преступления, чиста солдатская душа, они — заслужили. Да ведь что-то и сварить, и разогреть — в доме, или на дворе, свой огонь разведя между кирпичами. А вот ещё занятней, даже офицерам вдиво — как немцы хранят яйца: кладут их в беловатую, видимо известковую воду и оттуда они как свеженькие, сколько ж месяцев?

На кладовках у немцев замки не тяжкие, у немца ведь какое глупое понимание: раз замок — значит нельзя, никто не возьмёт. А слух — что в городе есть большие склады, и уже другие батальоны до них добрались, нас опередили.

Нет, что-то не то... Нет, так нехорошо! Надо запретить! Надо сейчас построить всех и объяснить...

Но тут расторопный служивый унтер, опора Ярослава во взводе, доложил ему, что на краю города стоят казармы, а в канцелярии — много карт! И — зажглось Ярославу эти карты посмотреть, пока не выступили дальше! Да в конце концов у него-то во взводе солдаты хорошие. И

оставив унтера со строгим наказом, Харитонов захватил неохочего солдатика и поспешил с ним в казармы.

По казармам бродило немного добытчиков, но никому не приглядывалось немецкое обмундирование и фельдфебельское имущество. А в распахнутой канцелярии действительно сложены были карты Восточной Пруссии, в километровом измерении, на немецком языке и очень чёткой печати, гораздо разборчивее тех, что Нарвский полк выдавал на батальон одну карту. Приловчив солдата подавать ему и убирать просмотренное, Ярослав отыскивал карты тех мест, где прошли они и куда могли попасть. Совсем ведь другая война, когда имеешь полный набор карт! И карты к Висле горячо смотрел — захватывающее очарование топографической карты тех мест, где никогда ты не был, а будешь скоро! Составил Харитонов один большой набор, с переходом через Вислу, и три комплекта по ближним местам (один непременно Грохольцу подарить!).

Но при хватком, быстром, деловом отборе ещё быстрее что-то опустошалось внутри Ярика: радость от карт была какая-то неполная, ненастоящая, а по-настоящему тоска серая разливалась, или даже страх, — страх опоздать к полку, полк уйдёт? нет, другой страх — предчувствие беды, что ли? И хотя дело было самое нужное, а скорей бросай его и беги к полку назад, нет покоя! — уж некогда рассматривать и обстановку немецких казарм для нижних чинов, пожалуй, лучше наших юнкерских. Внутри натягивалась тревожная пустая протяжённость, и не хотелось уже отбирать, брать, смотреть — а только вернуться скорей к своим.

Понёс солдат перевязанную кипу карт, Ярослав спешил ко взводу — и видел, как сильно изменился город за этот только час: из чужого заколдованного уже свойский нам. Туда-сюда сновали разлапистые солдаты, как у себя по деревне, хорошо зная места, — и свои офицеры не кричали на них, не Харитонову было вмешиваться. Бочку пива катили. Нашли в городе и птицу, и уже перья нащипанные окровавленные завезало ветерком по мостовой, и шевелило цветные обёртки, пустые коробки. Хрустело под сапогами от насыпанного и выбитого. Вот в оконном проломе — разворошенная квартира, ещё не вся наруше-

на недавняя любовная опрятность, а комоды вывернуты, а по полу — скатерти, шляпки, бельё.

И натягивалась тревога: а как его взвод? неужели и его взвод?..

Вроде бы часовыми стояли два нижних чина у двери магазина, солдат не пускали, а перед офицерами расступались, — и вошёл знакомый офицер, и Харитонов за ним почему-то тоже завернул. Это был магазин одежды, в его первом торговом помещении при витрине сновали нижние чины, Ярослав узнал денщика Козеки, в заднем же помещении офицеры переодевались, примеряли — дождевые накидки, вязаные фуфайки, нижнее тёплое бельё, гетры, перчатки, всё это без шума, деловито, в тесноте, с помощью стульев и денщиков, а то — вертели, рассматривали коврики, дамские пальто.

Козеко оказался рядом, в жёлто-коричневых тёплых кальсонах. Обрадовался:

— Харитонов, Харитонов! Пользуйтесь случаем, выбирайте тёплые вещи! Ведь вот-вот похолодает, какие ночи уже! Человек не может постоянно думать только о смерти, надо и позаботиться...

Ярослав не различал, кто тут ещё, может и знакомые. Загороженный от единственного окна, он полуслепо стоял и видел даже не Козеку, не столько лицо его или поджарую фигуру, как эти жёлтые ворсистые тёплые кальсоны. И сказал — ему, но может быть громче, может быть и другим слышно:

— Стыдно.

Козеко оживился, сразу подступил, со своей обычной цепкостью несдаваемых аргументов, и ещё ухватил Ярослава за грудной ремень, чтоб он не ушёл, дослушал:

— Почему ж это может быть стыдно, Харитонов? Давайте рассуждать. У нас с вами тёплых вещей нет, и когда нам повернутся выдать? Сами знаете российское интенданство. А мы с вами зябнем, мы с вами спим в шинелях прямо на земле. Долго ли простудиться? А ночи холодают. Это даже не нам с вами лично нужно, это — армии нужно, мы будем лучше воевать. И фуфайку берите!

Не раздражение, не торопливость, с которою он гнался исправлять, — овладела Харитоновым музейная усталость ног, глаз, души: больше бы не ходить, не видеть,

провалился бы этот богатый город, лучше б месили пески, как все эти дни. Отвратительны стали всякие вещи. И как легко жить без вещей!..

— Но — не таким образом... — вяло, устало отклонил Харитонов. Он пытался ремень освободить, да не так легко было отцепить его от Козеки.

— А — каким же образом? А каким? Купить? Мы и зашли — купить, но кому платить? Хозяин бежал. Пожалуйста, можете оставить деньги, но кому они достанутся? А кстати, мы с вами получаем — много не накупишься.

— Ну, не знаю, — Ярослав не находил что сказать, но затопляло его отвращение. Он освободился, повернулся к выходу, Козеко шагнул за ним и ещё держал за плечо. Лицом сморщен, как плача, он тихо договаривал, почти на ухо:

— Ну я согласен, это не хорошо. Если подумать, что фронт может откатиться и до Вильны, и ворвётся враг в наше гнёздышко с моим солнышком, и разорит, как здешние очаровательные квартирки. Да ведь я ничего не хочу, я никаких наград не хочу, вы же знаете! — Он почти слёзно упрашивал. — Но ведь не отпустят, пока хоть руки не оторвут. Или ноги. Так я советую: оденьтесь потеплей, ведь будет зимняя кампания, Харитонов! Возьмите бельё! И фуфаечку!..

Скорей к своему взводу. Всё-таки нёс ещё веру Ярослав, что его взвод... Не только вещей, даже пить-есть ему перехотелось.

Росло предчувствие беды.

Где-то в городе горело — крупно, высоко, упорно. Немудрено было заняться и другим пожарам: там и здесь дымили солдатские костры, печки, между ними, как цыгане, бродили солдаты, тащили что-то. За два часа так изменился Нарвский полк!

На телегу, сверх другого добра и ящика с парфюмерией, вязали велосипед.

Таковы нашлись и офицеры в их полку! Но в солдатах — нравственная сила народной жизни, они сейчас поймут, им никто не объяснил, Ярослав сам виноват — пробовал консервы и похваливал, с этого началось. Он и бесильным себя чувствовал, он и не в праве себя чувствовал,

безусый, поучать мужицких отцов самым основам жизни, он и обязан был — к чему ж тогда его погоны?

Он заблудился, дал крюк, и ещё места своего не узнал, а увидел первого Вьюшкова, долгого, а с узкой спиной, как он узел из простыни тащил через плечо.

Да Вьюшков ли? Может ещё не он?.. Нагнал, крикнул:
— Вьюшков!!

Вырвалось надорванно, а — резко, и Вьюшков уронил узел, и сделал шаг бежать, но не побежал, а избычась повернулся. И не смотрел, лицо воротил.

И это-то был его залиvistый вагонный рассказчик, такой улыbчивый, симпатичный, душа смоленских мест?! Какое у него уклончивое, непрямоe, замкнутое лицо! Какой, оказывается, нехороший человек...

— Ты — что?? — со всей силой внушения вталкивал ему Ярослав. — Ты — куда? Ты — кому? Ведь мы сейчас под пули пойдём, может завтра в живых не будем, ты — озверел, ошалел? — Но ещё с надеждой, страдательно: — Что с тобой, Вьюшков?

Всё так же закрыто, не глядя, косо-потупленно:

— Простите, ваше благородие. Лукавый попутал.

— Ну пойдём со мной, пойдём!

А ноги Вьюшкова — как вросли, от узла не идут.

А навстречу — Крамчаткин, лучшая служба взвода, — нет, не Крамчаткин! — что он красный такой, он шатается на ходу, он поёт, не то бормочет? — нет, Крамчаткин, он увидел своего офицера — и приструнивается, и берёт шаг, и даже печатает по гладким плитам, — но почему ноги забирают одна за другую, почему глаза такие вылупленные дико — а рука взброшена точно по форме:

— Ваше... пре... благородие, разрешите доложить? Рядовой Крамчаткин Иван Феофанович из отлучки...

Но — косая сила завернула его по дуге вместе с честью — и безжалостно шлёпнулся он на тротуар, и фуражка откатилась.

Младший брат! Гордость моя, Иван Феофанович!

С ужасом, но кажется уже и с гневом, Ярослав спешил дальше. Ведь предупреждали: мародёров — пороть нещадно, наказывать телесно! Но мародёры представлялись далёкими чужими злодеями, не своими же нарвцами, не из своего же взвода!

Сейчас — с оружием и с полной амуницией поставить их на солнцепёке в строй! И — разнести их, прочесть им та-кое внушение! И каждого разобрать — кто что взял! И — каждого заставить бросить...

Вот тот дом! Ворота были нараспашку, и видно, как во дворике обмывался в жарком токе углей закопченный котёл, пристроенный на шестиках. А вокруг сидели на кирпичах, на ящиках и как попало человек пятнадцать из харитоновского взвода. На земле и возле ног стояли у них консервные банки, лежала еда разная, уж ею особенно и не потчевались, а больше — пили, котелками и кружками черпая из котла.

Сразу мелькнуло: перепились! из котла черпают хмельное!?. Но тогда зачем костёр?..

Нет, хмельность лиц была не пьяная, а благодушная, — доброжелательность пасхального розговенья. С застольной мирной неторопливостью улыбались друг другу, беседовали, рассказывали. В стороне, в пирамидках по несколько, стояли ненужные винтовки.

Увидели своего подпоручика — не испугались, а ожились, обрадовались, место расчищали:

— Ваше благородие!.. Ваше благородие, сюда, к нам извольте! — а двое с кружками засуетились, один полоскать, один и так, наперегонки зачерпнули, наперегонки понесли ему, горячие и полные всклень, с улыбками пасхальными:

— Ваше благородие, какáва какая!

А Наберкин — маленький, кругленький — да на ножках быстрых, всё-таки выпередил, и голоском писклявым:

— Испейте какаву, ваше благородие! Вот ведь чем немец подкрепляется, стервец!

И... — не кричать. Не распекать. Не строить в наказание. Даже не отклонить протянутое от изумлённого сердца.

Булькнул Харитонов горлом пустым. Потом уж и глотком какао.

Задняя стена двора была невысока, за ней — незастроенное место, а дальше — горел двухэтажный дом с мансардой. Мелкими выстрелами лопалась черепица в огне. Сперва густо-чёрный дым вываливал из мансарды, а

там прорвалось сразу в несколько языков сильное ровное пламя.

Видели, но никто не бежал тушить.

Дым и пламена с треском выбрасывали, выносили вверх чужой ненужный материал, чужой ненужный труд — и огненными голосами шуршали, стонали, что всё теперь кончено, что ни примирения, ни жизни не будет больше.

30

За ночь отступя от Бишофсбурга на 25 вёрст, отгораясь от немцев обновлённым арьергардом всё того же Нечволодова, — потрясённый Благовещенский с утра 14 августа остановился в местечке Менсгут, и ни он, ни его штаб за весь день не отдали никаких распоряжений по корпусу. Арьергард стоял на позициях, покуда считал нужным. Части дивизий пехотных и кавалерийской отходили, поелику им было удобно так, без спросу и без оповещения корпусного командования. Генерал-от-инфантерии Благовещенский никогда не командовал на войне даже ротой — и вот сразу корпусом. Он бывал заведующим передвижением войск по железным дорогам, начальником военных сообщений, а в японскую войну дежурным генералом при штабе, где выписывал литеры на проезд по железным дорогам и составлял научное руководство, как, в каких случаях и кому эти литеры выписывать. А вчера его жизни был нанесен крушащий удар — и душа генерала нуждалась теперь в покое, собирать и склеивать осколки.

Да весь день было и тихо: отошли за ночь так далеко, что немцы не притесняли. Но военный покой недолог, и суток не дали отдохнуть! В шестом часу вечера послышались звуки боя с севера, со стороны арьергарда. От дальних немецких орудий стали перелетать фугасы и в сторону Менсгута. Снова взмутилась тревога в груди генерала Благовещенского, и помрачнел его штаб.

А тут — не хватало! — совсем с другой стороны, от

выставленной в боковое охранение донской сотни, прискакал в Менсгут казак с донесением. В донесении-то у него всё написано было правильно: что его сотня имела столкновение с противником за 15 вёрст отсюда, — но его самого распирало: рассказать, что и он там был! и он вот, даве, с немцами дрался! И на окраине Менсгута увидя другую сотню своего же полка,

э к р а н

позамедлил ход коня, лихой казачок,
и тряся донесением,
и за плечо себе показывая — мол, бились! — радостно крикнул землякам:
— *Немцы!.. немцы!..*

И поскакал, ему мешкать нельзя, ему в штаб донесение сдавать.

= Но земляки, на просторном дворе, за огорожей, так и окинулись: немцы?!.. вот они — немцы?! Батюшки, а у нас не сёдлано!

Заметались, заседлали,
из конюшни выводят бегом,
в торока вяжут,
вскакивают —
да уж и со двора! со двора!

Конский топот.

= Эх! сотня едва ль не вся — галопом по улице!

Топот

по улице!

= А с поперечной, издалека
подъесаул (их же полка, погоны те ж) как увидел:

= проносится, проносится конница!

= да бежать назад, да бежать!

Тут недалеко — штаб.

И — к драгунскому полковнику. Тот читает как раз

донесенье от первого казачка.

Подъесаул:

— *...сподин ... овник, разрешите доложить?..*

*На соседней улице — немецкая конница,
силой до эскадрона!*

И насколько же не напуган подъесаул:

— Разрешите охрану штаба развернуть на отражение кавалерии!?

Драгунский полковник не медля, полногласой командой:

— Дежурный по штабу! охрану — в ружьё-о!!

= И дежурный капитан, на ходу:

— В ружьё-о-о!!!.. в ружьё-о-о!!!..

= Да какая готовность! — уже выбегает пехота из своих помещений, винтовки в руках!

Да сколько их! тут две роты!

Свои ж командиры-молодцы неоплошно командуют:

— Взводной колонной... становись!.. Разберись!..

Не до разбору. Вот уже выбегают трусцой в ворота распахнутые, и сразу заворачивают, как показывает подъесаул: вон туда! вон туда!

= А в комнате драгунский полковник докладывает генералу седому, измученному, расслабленному, с каждым словом оседающему в бессилии:

— Ваше высокопревосходительство! кавалерия противника прорвалась в селение Менсгут! мною приняты...

О, как это тяжело больному старику! Этого ужаса он и ожидал! Ведь он — болен! он — изболелся, страдалец-генерал!.. к врачам его!.. в больничный покой!.. даже губы его разваливаются, не удерживая формы рта:

— В Ортельсбург... в Ортельсбург...

= Драгунский полковник энергично распоряжается. Грузимся! уезжаем!

= Чины штаба собирались карту развесить на стене — вот и хорошо, что не успели, сворачиваем!

Штабу — недолго собираться! Несут бегом, каждый знает, что.

= А автомобиль уже готов, подан!

Да и генерал поспешает, как может, его под руку ведут.

И уже — полный автомобиль! И — тронулись!
в сопровождении верховых казаков, конечно,
а там — экипажи, двуколки, кто на чём —
за ворота! ехать! ехать! скорей!

= Шоссе.

Не шоссе, а поток бегущих,
не бегущих (слишком тесно) — а льющихся. Каж-
дому, каждому хоц-ца жить, хоц-ца в плен не
попасть —

и пехоте-матушке;

и на зарядных ящиках;

и на пушках самих — все отступают, а мы хуже,
что ль?

и повару при походной кухне, трубное колено на
бок;

и обозникам! и обозникам-то больше всего! им
первым и положено отступать, а им дорогу пе-
ребивают!

Смешанный гул движения.

И в этой реке человеческой
как проплыть автомобилю корпусного командира,
да чтобы всех быстрее, обгоняя? — ему-то осо-
бенно быстро надо, его-то жизнь — самая до-
рогая!

Гудеть?

Не помогает.

А вот как: передние казаки

расчищают дорогу,

ну, хоть в обочину, что тебе, морда?! —

а на пустое место влывает автомобиль,

и сзади замыкается сразу.

Самого-то генерала голова почти не держится, ему
уже всё равно, везите, везите.

= А солнце садится.

И вдаль

плоховато уже видно. Течёт серая масса.

Впрочем, там, впереди — огонь.

Крупней.

Большой огонь.

Ещё крупней, ближе.

Это — Ортельсбург. Он горит.

Он — в едином пожаре.
 Часто и непрерывно трескается взрывками черепица.
 Как видно от головы колонны:
 = да просто ехать туда нельзя, через город.
 = Колонна останавливается, останавливается.
 Только автомобиль корпусного с казачьим содействием, взмахами шашек:
 — Ну что, бараны? Па-теснись! —
 одолевает последние сажени дорожного затора, сворачивает в сторону, в объезд.
 Покачался на бугорках, поехал, дорогу показал, мимо города. Трогаются и за ним (в освещении от городского пожара).
 А назад — уже темно.
 Но там, вдали, позади — движение какое-то. Тревожное, быстрое движение — сюда!

Продирающие вскрики!
 — *Кава-ле-рия!..*
 — *Об-хо-о-дят!*

= Переполох! Куда с шоссе? Пробка!
 Страх и ужас на лицах (при пожаренном свете).
 Эх, была не была! Свернула двуколка в сторону — через канаву, по ухабам! — перевернулась!
 = Ничего! Сворачивают, кто может!

Ружейные выстрелы.
 Это — наши, из колонны. Бьют — туда, назад, в кавалерию!
 Её и не видно. Тени какие-то, исчезли.
 = А тут — лошадь понесла, сшибло кого-то, да под копыта:
 — *А-а-а!..*

А подале слышится „ура-а-а!“. Гуще выстрелы.
 Не поймёшь, кто и бьёт. Вон, в воздух садят.
 — *Ро-та! в це-епь! залегай!*

Фигурки залегают по обе стороны шоссе. Вспыхивают при земле огоньки их выстрелов.
 = Лошадей ранило! Зарядный ящик — понесли! понесли!
 да на людей! да давят!
 — *ра-а-а?.. а-а-а!..*

Обезумевший обоз! люди в сторону прыгают, с дороги бегут. Что несли, что держали — всё кидают.

= Ох, пушку покатило! Сшибла телегу!
другую!

Трещат, ломаются оглобли.

= А тут — постромки рубят! Телегу — в канаву, сами — на лошадей!

Всё это видно то в отсветах городского пожара, то на фоне его.

= Раскатился зарядный ящик — люди прыгают прочь. Чистая стала дорога от людей, только набросанное топчут лошади, перепрыгивают, переваливаются колёса...

И лазаретная линейка — во весь дух!

и вдруг — колесо от неё отскочило! отскочило на ходу —

и само! обгоняя! покатило вперёд!

колесо!! всё больше почему-то делается,

Оно всё больше!!

Оно во весь экран!!!

КОЛЕСО! — катится, озарённое пожаром!

самостийное!

неудержимое!

всё давящее!

Безумная, надрывная ружейная пальба! пулемётная!! пушечные выстрелы!!

Катится колесо, окрашенное пожаром!

Радостным пожаром!!

Багряное колесо!!

= И — лица маленьких испуганных людей: почему оно катится само? почему такое большое?

= Нет, уже нет. Оно уменьшается.

Вот, оно уменьшается.

Это — нормальное колесо от лазаретной линейки, и вот оно уже на издохе. Свалилось.

= А лазаретная линейка — несётся без одного колеса, осью чертит по земле...

а за ней — кухня походная, труба переломленная, будто отваливается.

Стрельба.

- = Цепь лежит и стреляет — туда, назад.
= А оттуда, из мрака, с дорогою рядом — скачут!
да, скачет конница на нас сюда!
ну, пропали, нет нам спасенья! — и кричат,
кричат нам драгуны:
— *Да мы же свои! Да мы же свои, лети ва-
шу мать! В кого стреляете?!*

31

Сквозь пелену и погуживание, мешавшие Самсонову соображать все эти дни, а сегодня особенно, вдруг провалось и выплыло не нужное что-нибудь, а — гимназическое, из немецкой хрестоматии, фраза одна: „Es war die höchste Zeit sich zu retten”. *

Статья была о Наполеоне в горящей Москве, но ничего из неё не запомнилось, а эта фраза всегда была в памяти из-за странного сочетания „die höchste Zeit” — высшее время. Будто время могло быть пиком, и на этом пике миг один, чтобы спастись.

Так ли опасно было Наполеону в Москве, и мгновенье ли крайнее одно было у него на выход, — но сейчас пасмурная тревога обложила сердце командующего, что эти часы у него как раз и есть „die höchste Zeit”.

Только не понимал он, где этот пик торчит, и в какую сторону толчок надо делать. Не мог он ясно охватить всё положение армии и указать решительное действие.

Из-за артамоновской измены опал, обнажился весь левый бок армии — так надо ли было менять приказ корпусам, приготовленный днём? И что же менять? Центральными корпусами удар с поворотом налево — очевидно это и надо как раз? Что же менять? Вообще задержать наступление центральных? Но это больше всего поставится ему в вину. Клеймо *труса* от Жилинского казнило Самсонова

* Было крайнее время спастись.

четвёртый день. Понудить к наступлению фланговые корпуса? Очень бы хорошо, но это невыполнимо сейчас.

И никто из штабных не приходил просить решительных изменений.

И вспомнилось ему из японской войны, как сам он с казачьей дивизией, с уссурийцами и сибирцами, двое суток цепко держался у Янтайских копей, упорно прикрывая левый фланг куропаткинской армии (а Ренненкампф так же был справа), — и предлагал Куропаткину даже охватывать фланг японцев. Но Куропаткин сбобел, и без надобности скомандовал отступить, и так проиграл битву под Ляояном. А — зря, не надо робеть. Один отважный удар может спасти и безнадёжное положение, в этом военная история.

Так не повторить сейчас куропаткинских колебаний — а смело, решительно бить центральными корпусами!

А телеграф — снова работал. Разминувшись с телеграммой о снятии Артамонова, пришло его запоздалое донесение: „После тяжёлых боёв под сильным натиском противника отошёл к Сольдау.” По лживости характера генерала можно было допустить, что и Сольдау уже сдали. Но нет, телеграф через Сольдау продолжал работать весь вечер.

Доложили оттуда, что генерал Душкевич на передовых позициях, а командование корпусом принял пока инспектор артиллерии генерал князь Масальский.

Не сразу и отсюда послали в штаб фронта телеграмму об отрешении Артамонова. Корпус был придан армии условно, отрешения могли не подтвердить. Однако Жилинский-Орановский молчали. Вообще молчали, как будто сегодня не происходило и завтра не предполагалось важных значительных боёв.

Командующий с потемневшим, мрачным, натруженным лицом покинул штабные комнаты, пошёл отдохнуть к себе. По его лицу ещё никто б не догадался снаружи, один он чуял: какой-то пласт его души с какого-то пласта как будто сшибся и стал помаленьку, медленно-медленно сползать.

И Самсонов всё время прислушивался к этому неслышному движению.

В его комнате днём было прохладно, а сейчас к вечеру душно, хотя пол-окна открыто на тонкую сетку.

Самсонов снял лишь сапоги и лёг.

Пока ещё не смерклось, была видна ему с подушки крупная гравюра на стене, как в насмешку: Фридрих Великий в окружении своих генералов, все молодец к молодцу, жгутоусые, и непобедимые.

Странно. Прошло всего несколько часов, и вот уже не держал он сердца ни против Благовещенского, ни против Артамонова за их ложь и за их отступление. Ведь только от стеснения, от худа, от пекла могло у них так получиться. Гнев на них был отводной, обводной, неправый. Что ж гневаться на них, если и сам уже виноват довольно? Переноса на них своё, даже оправдывал их Самсонов: и командиру корпуса плёхо подчиняется ход событий в этой войне, рассеянной по пространству.

Но если оправдывать ошибки подчинённых — что тогда остаётся от генерала?..

За всю свою военную службу не предполагал Самсонов, что может так сразу сойтись тяжело, как ему сейчас.

Как бутылка с подсолнечным маслом, взмученная тряской, нуждается остояться до прозрачно-солнечного цвета, муть книзу, а пустые пузырьки вверх, — так тянулась очиститься и душа командующего. А нужна была для того, он ясно понял: молитва.

Молитва ежедневная, утренняя и вечерняя, бормотомая по привычке и наспех, между мыслями, забегающими на дела, это как умыванье одетому и одною горстью: толика чистоты, а почти и неощутимо. Но молитва сосредоточенная, отданная, молитва как жажда, когда невыносимо без неё и ничем нельзя её заменить, — такая молитва, помнил Самсонов, преображает и укрепляет всегда.

Не зовя своего вестового Купчика, он встал, нашарил спички, зажёл на малый фитиль гранёную настольную лампу, заложил крючок на двери. А окна не задёргивал — напротив не было второго этажа.

Он раскрыл нагрудный походный казачий складень белого металла и тремя створками утвердил его на столе. Тяжёлыми коленями опустил на пол, не справляясь, чисто ли там. И так, грузной тяжестью на коленях, от бо-

ли в них испытывая удовлетворение, уставился в распятие и две иконки складня — Георгия Победоносца и Николая Угодника, вошёл в молитву.

Сперва это были две-три цельных известных молитвы — „Да воскреснет Бог!”, „Живый в помощи”, а там дальше потекла молебная немота, что-то бессознательно составленное, незвучащее, изредка опёртое на крепко сложенные, удержанные памятью опоры: ... „всепресветлое Твое лице, о Жизнеподатель!”, „боголюбивая и щедромилостивая Богоматерь”... — и опять без слов, в дымных туманах, в тумане, перепрыгивая с пласта на пласт, пошевеленные, как льдины в ледоход.

То, что больше всего бременило, то цельней и верней выражалось не готовыми молитвами и не своими даже словами, а — стояньем на ломящих, а вот уже и забытых коленях, смотреньем пристальным и отдающей немотой. Поставить перед Богом всю жизнь свою и всю сегодняшнюю боль охватнее было — вот так. А Бог и сам ведь знал, что не для почестей личных, не для власти служил Самсонов и орденами изувешивался не для них. И сегодня успеха своим войскам просил не для спасения своего имени, но для могущества России, ибо эта начальная битва много могла определить в судьбе её.

Он молился — о ненапрасности жертв. О ненапрасности гибели тех, кто по внезапности свинца и железа, вошедшего в тело, не успел даже перекреститься на смерть. Он молился о ниспослании ясности своему замученному уму, чтобы на пике высшего времени мог бы сложить он верное решение — и так воплотить ненапрасность жертв.

Он стоял коленно, всей тяжестью вдавливаясь в пол, смотрел на складень вровень глаз своих, шептал, молчал, крестился — и тяжесть крестящейся руки с каждым разом становилась как будто менее, и тело не так грузно, и душа не так темна: всё тяжкое и тёмное беззвучно и невидимо отпадало от него, отделялось, возгонялось, — это Бог на себя принимал от него тяготу — Ему ведь всё посильно перенять.

И — чин как будто отлетел от командующего, и сознание города Найденбурга, и армейского штаба в двух шагах отсюда, — молящийся всплывал, чтобы прикоснуться вышних сил и отдаться их воле. Ибо вся стратегия и

тактика, снабжение, связь, разведка — разве не было копошение муравьиное перед волею Божьей? И если благоволил бы Господь вмешаться в ход сраженья, как по преданиям бывало в старину не раз, то чудодейственно выигралось бы оно при всех огрехах.

В мелкую сетку снаружи уже давно билась ярко-тёмная ночная бабочка, такая крупная и слышная, как не бабочка, а птица.

Может быть, её необычная крупность и зловещая расцветка были дурным предзнаменованием?..

Вытирая душный пот, Самсонов поднялся с молитвы. Так никто и не пришёл за ним — ни с нуждою вопроса, ни с радостным, ни с худым донесением. Разбросанные бои десятков тысяч людей как-то шли сами собою, не зацепляя командующего. А, быть может, щадят его отдых. Пригоже пойти узнать самому.

Сперва вышел наружу, мимо часовых. Там было приятно-прохладно, темно (от повреждения электростанции не освещались улицы). Шум боя — глухой, далёкий, как если б наши войска отбросили и отбросили неприятеля. (А если чудо уже начало совершаться?..)

В штаб снесли много керосиновых ламп и свечей, тем душенее и жарче было в комнатах. Все были на местах, все заняты делом. Готовилось за истекший день донесение в штаб фронта.

Принесли, в опасении обнесли командующего, но всё же поднесли ему свежую предвечернюю телеграмму Артамонова:

... После тяжкого боя корпус удержал Сольдау...

Как умеют писать! Что за изворотливые перья! Он бы ещё написал, что у д е р ж а л В а р ш а в у, и можно было бы его представить к Андрею Первозванному.

... Связи все нарушены. Потери огромны, особенно офицерами. Настроение войск хорошее (... ??). Войска послушны...

А недолго им и сорваться.

... Удерживаю город авангардом из остатков разных полков...

И арьергард у него — *авангард*. Умеет выразиться.

... Для перехода в наступление необходим прилив новых сил, все прибывшие уже понесли большие потери.

Приведу все части корпуса в порядок ночью и перейду в наступление...

Уже без „прилива новых сил“? Умопомрачительный прохвост. А почему вообще он подписал эту телеграмму? Как он смеет не принять смещения? Надеется на высшие связи...

Однако мешало Самсонову разгневаться отошедшее сердце. А работа в штабе отлично варилась. И вот уже было дважды начисто переписано и начальником штаба мягкой иноходью поднесено суточное телеграфное донесение в штаб фронта:

... Сегодня второй день армия ведёт бой на всём фронте. По опросу пленных оказалось... (Может быть так, может быть и не так...) На левом фланге 1-й корпус удерживал свои позиции, затем отведен без достаточных оснований (и выругаться-то вволюшку нельзя), за что я удалил генерала Артамонова от командования корпусом. В центре дивизия Мингина понесла большие потери, но доблестный Либавский полк удержал свои позиции. Ревельский полк почти уничтожен.

— Дopiшите, — показал Самсонов. — Остались знамя и взвод.

... Эстляндский полк в большом беспорядке отошёл к Найденбургу... 15-й корпус... атака увенчалась успехом... 13-й взял Алленштейн... Последние сведения о 6-м... выдержав упорные бои у Бишофсбурга...

И получилось совсем не унылое донесение. Получилось даже победное донесение. И как будто ведь... как будто всё верно. Благовещенский? — не так уж сильно и отступил, он держит Менсгут, вот будет переходить к Алленштейну. Так, может, и правда, не так плохи дела?

Хоть узнает завтра утром Жилинский, что немцы отнюдь не бегут за Вислу, но всем туловищем навалились на Вторую армию.

Была половина двенадцатого ночи. Оставалось написать и, пожалуй, пойти уснуть.

Ещё бы только... Ещё бы только одно какое-то важное исправление в приказе на завтра. Какого-то одного главного распоряжения не хватало — и будет разрублена тягучая путаница, и наступит спокойствие духа.

Но голова как запелената была.

И, опустив её, пошёл командующий спать.

Перед тем как Купчик, трубач казачьей конной батареи, задул огонь, ещё раз мелькнули на стене гордые молодчики Фридриха.

Думал Самсонов, что сразу уснёт: темно, тихо, дела возможные свершены, и так ведь, так ведь устал. Пока он вынужден был двигаться и действовать, его клонило лечь и окаменеть. Теперь, когда он лёг, раздевшись в покойной постели, — стала камнем подушка под головой, и потягота к действию стала тянуть ему руки и ноги, воротить его.

Невыносимо столько дней подряд затруживать голову до отупения. Да нервничать над телеграфным аппаратом, когда выползает белой змейкою немая лента, и не знаешь, чем ещё тебя укусит, каким оскорблением унизит. Кажется, больше всего сейчас ненавидел Самсонов — телеграфный аппарат. Прямая телеграфная связь с Жилинским — вот была ему верёвка на шею.

Как всегда в бессоннице, очень быстро, беспощадно утекало время. А запоминалось и словно не двигалось до следующего просмотра — то, которое ты последний раз видел. Отщёлкывая ногтем двойную крышку часов, с тоской углядывал Самсонов на светящемся циферблате: четверть второго... без пяти два... половина третьего...

А в четыре уже будет светать.

Чтобы вернее заснуть, опять читал Самсонов молитвы — много раз „Отче наш” и „Богородицу”.

Не виделось ничего. Но возле уха — ясное, с оттенками вещего голоса, а как дыхание:

— Ты — успишь... Ты — успишь...

И повторялось.

Самсонов оледел от страха: то был знающий, пророческий голос, даже может быть над будущим властный, а понять смысл не удавалось.

— Я — у с п е ю? — спрашивал он с надеждой.

— Нет, успишь, — отклонял непреклонный голос.

— Я — у с н у? — догадывалась лежащая душа.

— Нет, успишь! — отвечал беспощадный ангел.

Совсем непонятно. С напряжением продираясь, про-

дираясь понять — от натуги мысли проснулся командующий.

Уже светло было в комнате, при незадёрнутом окне. И от света сразу прояснился смысл: у с п и ш ь — это от Успения, это значит: умрёшь.

Прилил пот холодный наяву. Ещё струною дозвучивал пророческий голос. А — когда у нас Успение?

Голова сосредоточивалась: мы — в Пруссии, сегодня — август, сегодня — пятнадцатое.

И — холодом, и — льдом, и — мурашками: Успение — сегодня. Вот оно, вот сейчас наступает Успение.

И мне сказано, что я умру. Сегодня.

В страхе Самсонов поднялся. Сидел в белье, с ногами босыми, с руками скрещенными.

Дальний, но уже постоянный, хорошо слышался гул канонады.

И этот гул канонады возвращал Самсонову бодрость. И — ясность!

Солдаты уже умирали — а командующий боялся!

Куда ночь, туда и сон!

Густым свежим голосом кликнул Самсонов Купчику в первую комнату — вставать!

И тот, в минуту оклемавшись и одевшись, уже нёс кувшин и таз умываться.

От холодной воды к лицу, от полного белого света в окно, от настойчивой канонады прояснилось командующему одним ударом: ехать надо! уезжать отсюда! перевезти штаб ещё ближе к войскам! Самому — туда, в пекло! На коня, по-солдатски! Атаман донских казаков, атаман семиреченских — что ж он не на коне?! Да в кавалерийскую атаку поскакал бы сейчас сам! Взять бы налётом батарею врага! — разве такая кровь пойдёт по жилам? разве такая война! Ах, ту-рец-кая!..

Это был — медведь, встающий из берлоги! Без рубахи, телесный, волосатый, он подошёл к окну и настезь его растворил. Потянуло радостной прохладой. Городок был в праздничном тумане, как в подвенечной фате, и отдельно, навстречу восходному солнцу, вытянулись и плавали, ни с чем не связанные: головки, башенки, шпили, коньки отвесных крыш.

Как ещё могло всё хорошо повернуться! Какое осво-

бождение! — не сидеть пленником штабных комнат и телеграфного аппарата, — а ехать вперёд, действовать! Ещё вчера это надо было! Такая простая мысль! Заодно и от Нокса избавиться.

Командующий велел поднимать штаб. В Белостоке долго спят. Пока *Живой труп* проснётся, хватать, — а связи уже нет, нет Самсонова, некого поучать.

Освобождение!!!..

Но прособирались как бабы — ещё два часа. Чины штаба поднимались медленней командующего, проразумевали трудней его.

Штаб делился надвое. Вся канцелярская, штабная и управленческая часть отправлялась за двадцать пять вёрст назад, за русскую границу, в безопасный Янув. Оперативная часть — семь офицеров, ехала с командующим вперёд.

Кому надлежало отступить — приняли решение, не сопротивляясь. Кому надлежало ехать вперёд — были мрачно недовольны. Самсонов, почти натошак, бодримый этим радостным утром, расхаживал быстро и всех торопил. Ещё особенную радость, лёгкость — и примиренье с недоброжелателями — добавила телеграмма, только что поданная ему, а из Белостока в час ночи:

„Генералу Самсонову. Доблестные части вверенной вам армии с честью выполнили трудную задачу в боях 12-го, 13-го и 14-го августа. Приказал генералу Ренненкампфу войти с вами в связь своей конницей. Надеюсь, что сегодня совокупными действиями центральных корпусов вы отбросите противника. Жилинский.”

Было тут — из исполнения молитвы. Все мы — русские, мы можем и помириться. Мы можем и простить прежние обиды. Вот ведь правильно — к центральным корпусам! И Ренненкампф сегодня подскочет. Объединённо, соборно — неужто не одолеем?!

Тем обидней было и задерживало сплочённое недовольство семерых, кого брал с собою. И он созвал их на совещание, стоя:

— Есть соображения, господа офицеры? Прошу высказывать.

Постовский — не посмел. Конечно, ему разумнее было бы ехать в Янув и там руководить. Но он не имел воли спорить с командующим. Да всех офицеров позиция

была слаба, потому что под наименованием штаба они предлагали себе самим ехать назад, а не вперёд. И они мялись. Всех мрачней выглядел Филимонов, и всегда непримиримый к любому суждению, кроме своего:

— Разрешите сказать, Александр Васильич. Найденбург сейчас не менее передовая, чем Надрау, куда вы хотите ехать. Противник непосредственно близок к Найденбургу. Но тогда и всему штабу надо переезжать в Янув. Мартос отлично справляется, какой смысл ехать к нему?

И один из полковников:

— Ваше высокопревосходительство! Вы отвечаете за все корпуса армии, а не только за те, которым сейчас тяжелее. Выезжая вперёд, вы пренебрегаете обязанностями командующего в сей армией. Снимая связь со штабом фронта, вы снимаете связь и с корпусами.

Как умеют запутать любую ясную, простую вещь, обосновать любую уклончивость. Впервые за неделю Самсонов был трезв умом, чист душой, наполнен сильным смелым решением — и сразу же хотели его опетлить и обессилить. Но поздно! Иначе он уже не мог:

— Благодарю, господа офицеры. Через десять минут мы выезжаем верхами в Надрау. Автомобиль повезёт полковника Нокса в Янув.

А полковник Нокс как раз хотел ехать с командующим вперёд! Полковник Нокс сделал гимнастику, позавтракал и, походно одетый, спортивным шагом пришёл, чтобы ехать вперёд. Свой саквояжик он соглашался отправить в тыл. Но Самсонов указал ему на автомобиль. „Что-нибудь плохое?“ — удивился Нокс. Отведя его в сторону без переводчика, Самсонов с усилием строил английские фразы:

— Положение армии — критическое. Я не могу предвидеть, что принесут ближайшие часы. Моё место при войсках, а вам следует вернуться, пока не поздно.

Восьмеро казаков передало своих лошадей восьмерым офицерам. Ещё полторы сотни сопровождало их эскортом, ибо впереди ожидалось беспокойно.

В пять минут восьмого медленною рысью, цокая по гладким камешкам найденбургских мостовых, кавалькада тронулась на северный выезд. В радостном солнце оглянулись на старый орденский замок.

По желанию командующего лишь после его отъезда, в 7.15, перед самым снятием аппарата, была отправлена последняя телеграмма в штаб фронта:

„... Переезжаю в штаб 15-го корпуса, Надрау, для руководства наступающими корпусами. Аппарат Юза снимаю, временно буду без связи с вами. Самсонов.”

*НЕ РОК ГОЛОВЫ ИЩЕТ —
САМА ГОЛОВА НА РОК ИДЁТ*

32'

(14 августа)

День за днём германцы вели цельное армейское сражение, и перерыв связи с дальним корпусом Макензена даже на несколько часов ощущался как чрезвычайный изъян: тотчас посылали авиаторов, тотчас искали окольные звенья восстановить телефонную цепь. Армейская же операция русских день ото дня разваливалась на корпусные: каждый корпусной командир, потеряв ощущение армейского целого, вёл (или даже не вёл) свою отдельную войну. А под Сольдау развал пошёл и дальше: защищал город уже и не корпус, а только те части, кто сами не хотели отойти.

И всё же германцы дали русским лишние сутки очнуться. Хотя генерал Франсуа ещё до полудня занял неожиданно покинутое Уздау и уже была ему открыта дорога на Найденбург, он не почувствовал себя оперативно свободным и не решился ограничиться против Сольдау лёгким заслоном, ещё вечером окапывался, ожидая контрудара. На то ж направлял его и армейский приказ на завтра: отказаться от движенья на Найденбург, отбрасывать русских за Сольдау.

Гинденбург особенно потому настроился так тревожно к своему южному флангу, что 14-го вечером, вернувшись в штаб армии от невесёлых дел в корпусе Шольца, получил известие, будто корпус Франсуа вообще разбит, а остатки его прибывают на железнодорожную станцию за 25 километров от Уздау. Гинденбург тотчас по телефону запросил станционного коменданта, и тот подтвердил. (Лишь ночью выяснилось, что это отскочил один гренадерский батальон, панически испуганный атакою петровцев, — по дороге же захватывал паникой обозы, и обозы докатились до самого штаба армии.)

А усиленный корпус Шольца, лишь на полдивизии меньше всех вместе центральных корпусов Самсонова, батареями же и сильней их, — весь этот день оборонялся на мюленской линии от сильной нажима Мартоса. То казалось, что Мартос обходит через Хохенштейн, то — уже взял Мюлен, — и туда, сорвавши с контрнаступления и даже приказав сбросить ранцы для лёгкости, срочно погнались дивизию — а не понадобилась.

Среди дня узналось и о занятии русскими Алленштейна, отчего германцам приходилось круто повернуть сюда корпус фон-Бёлова, уже стоявший на другой клешне, и Макензена, уже шагавшего на окружение распахнутою улицей, открытой ему Благовещенским, — коридором, двойней, чем требовалось.

Слепота осторожности охватила командование прусской армии: уже сквозил на юг от Шольца провал, уже распался там фронт, еле держалась четвертушка несобранного 23-го корпуса да рысила завесой конная бригада Штемпеля, — а Гинденбург предполагал тут два русских корпуса и не видел пути окружения. День выглядел неудачным, и не только на классические полные Канны не мог быть дан приказ, но даже на глубокий охват флангов русской армии. Мысли прусского командования были — собрать поближе свои разбросанные тринадцать дивизий. В ночном приказе на 15 августа план окружения был ещё умельчен: охватывать единственный только корпус Мартоса, самый помешный и самый успешный.

В генералах помпезной Российской империи всё же не дерзали германцы предположить такое заострение, такое полное отсутствие смысла в водительстве сотысячных масс! Вероятно же был какой-то план в этом странном выдвигании корпусов Самсонова пальцами разбросанной пятерни. Вероятно же был какой-то план и в таинственной неподвижности Ренненкампа, чей молот был занесен и висел над затылком завозившейся прусской армии. Ещё и сегодня успевал бы Ренненкампф вмешаться в армейское сражение своею мощной конницей — и смять германский замысел. Но не пользовал он потерянными германцами суток.

Чтобы окружить Мартоса, намечался удар на Хохенштейн с трёх сторон, а дивизией Зонтага, нацелой пока у Шольца, обходить Мартоса с юга, с рассвета обогнуть Мюленское озеро, взять деревню Ваплиц и её высоты.

Этот приказ пришёл в дивизию в двенадцатом часу ночи. Перед тем она несколько часов окапывалась, предполагая оборону,

с опозданием получила дневной хлеб, и сейчас её солдаты только что ложились спать. Командир дивизии генерал Зонтаг решил опередить рассвет и наступать в темноте, используя внезапность. Тут же, перед полночью, дивизию подняли и стали готовить к движению. Холмистая местность и неторёные песчаные тропы затрудняли ориентировку. Ощупью отыскивали сборные пункты, путались. Авангард сбился правой назначенной линии, голова главных сил — левей, туловище — средней колонной. А драгуны без ведома дивизии и без помех от русских ночью же въехали в Ваплиц и остановились там в расположении Полтавского пехотного полка. Затем русские патрули распознали их — и под стихийным обстрелом немецкая конница карьером ушла. Ещё в темноте русский полевой караул перед Ваплицем заметил приближение головной походной заставы немцев и, отстреливаясь, отступил. Перед рассветом, но в непроглядном молочном тумане, на Ваплиц пошёл в атаку развёрнутый немецкий полк, однако встретил отчаянный ружейно-пулемётный огонь русских, всегда особенно тревожный и злой на рассветном пробуждении.

Тут принялась и артиллерия обеих сторон.

33

К счастью, а больше к несчастью, характер Мартоса был — легко возбуждаться, долго успокаиваться. И все эти дни вскружили его, а последний особенно: переменным характером целодневного боя; препирательствами с Постовским; и вместо помощи от присланной Ключевым бригады — хаосом в Хохенштейне; и напряженьем предугадать немецкие действия.

Обычно он всё-таки с вечера поддавался усталости, а просыпался позже, и гибла ночь. Но тут расколебало его так, что он и с вечера заснуть не мог. И из хуторского дома он уже в полной темноте вышел посидеть-покурить на скамье, как на Полтавщине любят сидеть на завалинках тёмными вечерами. Только там они и в сентябре тёплые, а здесь уже зябковато. Мартос накинул шинель, но без фуражки сидел, холодил голову и от висков поглаживал назад, угоня болевые точки. Принял и пилюлю. Ещё часок посидеть вот так, успокаиваясь, — тогда свалиться заснуть.

Он ждал корпуса Ключева, теперь ему подчинённого. Невозможно было надеяться, чтобы тот подоспел ночью, — но если бы к рассвету! Бой завтрашнего дня предвещал быть крепче всех этих, главный бой всей Восточной Пруссии сосредоточился теперь здесь — и как же надо было удвоиться силами к утру!

К полуночи стрельба вся стихла, уже не отблескивали вспышки. Слабые, беззвучные, изредка засвечивались огоньки и гасли. Звёздное небо обещало и назавтра погожий день. Да при разбросанности их армии это и лучше.

Все эти дни Мартос, по сути, одерживал одни только победы: он не оставлял противнику поля боя, непрерывно и повсюду атаковал его и теснил, хотя артиллерии у него было заметно меньше, и не всегда подвезены снаряды, а тем более продовольствие и фураж. Но никак не видел Мартос, чтоб из этих его непрерывных побед складывалась одна большая. Все его победы оказывались какими-то тщетными.

Нужно было сейчас удвоиться! — и все победы сольются в одну окончательную!

Но корпус Ключева — не шёл, не шёл. Ни даже посланец от него.

И наконец в ночной темноте прискакал казачий разъезд.

Кажется из рук хорунжего взял Мартос письмо — и нервно пошёл с ним к свету, внутрь.

Нет, это было не на войне!! Нет, это было не от генерала!! Это старый подагрик писал своему знакомому за два квартала, что не может придти поиграть в карты. А Мартос надеялся, что Ключев сам пойдёт на помощь! Нет!!! Уже *подчинённый* Мартосу, он отвечал, что *нет возможности* поднять корпус ночью! Что корпус выступит с утра 15 августа, но и это имеет смысл лишь в том случае, если генерал Мартос берётся и гарантирует сохранить своё расположение ещё сутки, до утра 16-го.

Убийственно!! Жбан с квашнёй, а не генерал!

И что ж оставалось?

Воевать...

В Куликовскую битву витязь Мартос из дружины брянского князя — отбил от группы татар великого князя Дмитрия Иоанновича.

Отходить? Выйти из боя теперь ещё трудней, чем наступать.

Значит, продолжать напористо, как продолжает играть опытный актёр, всё равно уже выйдя на сцену, хотя бы видел он, что партнёры его сбились и несут околесицу, что у героини отклеился парик, что отвалился щит от декораций, что сквозняком несёт, что публика громко шепчется и почему-то жмётся к дверям. Продолжать играть воевать с отчаянной лёгкостью: пусть только не от него провалится спектакль, а может ещё и вытянем.

Всё тяжёлое — и войну, и бой, трудно начинать. Но когда уже влез в хомут — какое-то время воспринимаешь его как свой естественный воротник, уже тебе не странно в нём.

Снова — наружу, в темноту.

Нет, всё-таки постреливали слева. За Ваплицем.

Да, там не успокаивались.

Завтра было пятнадцатое число, всегда важное в жизни Мартоса, как и удвоенное, тридцатое. Много роковых и просто заметных, плохих и хороших событий случилось с ним в эти числа. И когда он дивизией командовал — то 15-й, и теперь корпусом — 15-м, а в нём был 30-й полк — и конечно Полтавский, по родине Мартоса. Так что завтра надо было особенно не моргать.

Постреливали, не унимались. Да, это между Ваплицем и Витмансдорфом. Там идёт глубокий овраг. Серьёзное место.

Сколько убитых за эти дни! А как устали те, кто не убит и не ранен! И какие офицеры погибли! — всех их Мартос знал. Годами знал, в неделю слизнуло. Нескоро будет им замена. Какая будет замена настоящим строевым офицерам, если их не делят между фронтом и запасными полками, а с первых же дней всех на фронт? Так можно два-три месяца провоевать. А если больше?

Стреляли и стреляли. Для неопытного уха — ну, просто не угомонятся, чудится им что-нибудь ночью. Но ухо Мартоса отличало: это не случайность. Так бывает, когда в темноте шевелятся массы. Стреляют, может быть, и наши, а готовят что-то немцы.

Он поставил себя на место Шольца, перебирая обстановку прошедшего дня. Да, удобное направление для

охвата фланга. И время удобное. Мартос как *увидел* ночное наступление немцев оттуда.

И как раз уже организм генерала подготовлен был рухнуть спать. Но — предупредительный огонёк загорелся в нём. И он пошёл в комнаты, поднимая от сна неохотливых и ленивых, звоня по телефону и рассылая ординарцев.

Он велел поднять корпусной резерв, вести в ту ложину и ставить поперёк, обещал и сам быть скоро. Он дал распоряжение по артиллерии: двум батареям сменить позиции, другим приготовить новое направление стрельбы. Налево, двум оставшимся, хотя и ослабленным, полкам Мингина — Калужскому и Либавскому, он послал предупреждение о ситуации, в сам Ваплиц командиру Полтавского — приказание подготовиться к возможной ночной атаке.

И вот уже были на ногах штабные, ненавидя своего генерала-зуду с осиной талией. И тем более где-то в темноте чертыхались поднимаемые и перемещаемые полки и батареи. Только бессмысленной дерготнёй и могли показаться измученным сонным людям эти ночные приказы.

А Мартос снова курил, пружинно расхаживал по засвеченным комнатам, пренебрегая недоброжелательством, принимая доклады о предпринятых действиях. Конечно, всё могло быть подозрительностью его ушей и вкрадчивостью рельефа под Ваплицем, — но не для того корпус шёл сюда десять дней и бился пять, чтобы теперь проспать поражение. И уже, кажется, генерал больше желал немецкой атаки, чем мирного рассвета.

И вдруг — в самом Ваплице загремело залиvisto в сотни ружей. Мартос кинулся на свой чердак — и ещё застал багровое мелкое переблескивание у Ваплица, постепенно однако стихавшее.

Так! Он не ошибся! Велел подать коня и поскакал к резерву, в тот овраг.

Рота, в которой был взводным Саша Ленартович, входила в Найденбург одной из первых, с пальбой и манёвром, — а боя не было. Затем неся в Найденбурге ко-

мендантскую службу, они пропустили и бой под Орлау, лишь хоронили трупы там. Только 14-го после обеда они догнали свой Черниговский полк, но их бригаду как раз отвели в корпусной резерв. Однако до вечера гудело со всех сторон, нескончаемо брели и ехали раненые, и видно было, что в следующий день не миновать им мясорубки. А чтоб извермишелить роту, взвод, покалечить отдельного человека — совсем и не надо целой войны, кампании, месяца, недели, даже суток, довольно четверти часа.

Холодную ночь на 15-е взвод Ленартовича спал в сенном сарае, и, если в сено закопаться, было даже жарко. Солдаты спали как будто крепко, с удовольствием, не травя себя завтрашним днём. Теоретически и Саше должна была бы нравиться такая демократическая форма ночлега, но за эти дни неумываний, нераздеваний и возни с быстро гниющими трупами, ему нечистота и неудобства опротивели, вся его кожа зудела и как бы нервами изнывала. И он ворочался в жарком сене и выходил наружу охладиться.

А больше всего не спалось не от близости возможной смерти, нет, но — от неуместности её. За светлое великое дело Саша готов был бы умереть в любую минуту! Не то что с отрочества, но с детства колотилось его сердце от ожидания, что вот-вот произойдёт необыкновенно важное, счастливое не что, вспыхнет, озарит и преобразит всю жизнь и в нашей стране и по всей земле. И не совсем маленьким был Саша, когда уже вспыхивало, уже озаряло, вот кажется дождались! — а погасло, затоптали. Так вот: цепи железные Саша готов был разбивать не то что голым кулаком, но — собственной головой. А что передегривало ему сейчас кожу хуже грязной одежды, что изгрызало его тоской, — это что он попал *не туда*, и теперь с бессмысленной лёгкостью мог умереть *не за то*. Нельзя было влипнуть хуже: в двадцать четыре года погибнуть за самодержавие! После того, что так рано удалось тебе узнать истину, и стать на верную дорогу, и значит остальная жизнь уже пошла бы не на слепые поиски, не на гамлетовские сомнения, а на дело, — погибнуть в кровавом чужом пиру, жалкою пешкой держиморд!..

И как это вышло несчастно, что Саша не попал ни в тюрьму, ни в ссылку, — там среди своих, там цель ясна,

там наверняка б он сохранился и для будущей революции! все порядочные революционеры — там, если не в эмиграции. А его три раза задерживали — за студенческую сходку, за митинг, за листовки, и всякий раз отпускали, так легко отпускали по юности, не давая возмужать! Конечно, ещё не потеряно. Если вот эти ближайшие дни, когда рубят и месят, рубят и месят, проскочить, то надо искать надёжный уход из армии, лучше всего — под суд, только не по военно-уголовному делу, а — за агитацию.

Да в агитации и был бы истинный смысл его пребывания в армии, он пытался, но всё зря. Солдаты его взвода оказались, как на подбор, далёкие не то что от пролетарской идеологии, не то что от зародыша классового самосознания, но даже простейшие экономические лозунги, которые в их прямую пользу идут, — долдонными своими головами не могли освоить. Своей тупостью и покорностью — отчаяние вызывают они!

Как же сложно-петлиста история! Вместо того чтобы прямо идти к революции, заворачивает вот на такую войну — и ты бессилён, и все бессильны.

Поздно ночью стало утихать, но когда Саша наконец задрёмывал — пробивало сон выстрелами, как гвоздями. Потом какие-то крики близко, топот, кто-то кого-то искал, и как же хотелось, чтоб их не коснулось! — улежаться, вжаться, пусть хоть пули сверху свистят, не вставать! — и всё равно подкатило их роте: „в ружьё-о-о!“

Проклятые военные порядки! Какой-нибудь же дурак придумал, и всё зря, а подчиняйся. Из тёплого милого сена выбираться, выминаться наружу, в сырость, во тьму, а там и под пули, и не только самому выходить, путаясь шашкой никчemuшной, но ещё делать бодрый голос перед солдатами, притворяться, что тебе очень важно вывести и построить взвод во всей амуниции и слышать от унтера и от солдат омерзительные рабские „никак нет“ и „так точно“!..

А там — „напра́-во! ша-га́м...“ — покинули они свой тёплый сарай и в полной темноте, спотыкаясь, натываясь, едва не за руки держась, побрели куда-то.

Говорили, что идут на вырубку Полтавскому. Чёрт бы с ней и с вырубкой, не лезьте первые, не надо б и выручать.

По ошупи ног они перешли железнодорожную линию, зацеплялись за стрелки, отводы рельсов, упирались в стену — тут была станция Ваплиц, бездействующая, видели её днём. Спотыкались по неровному, шли по кривому — и выбрались на гладкое шоссе, где команда была перестраиваться по четыре, и Саша повторял и перестраивал своих. Тут на шоссе собрался весь их батальон, и больше, — и всем скопом пошли они дальше в темноту, но хоть по гладкому.

Перешли мост. Потом передавали по цепочке: „Осторожно, слева обрыв!“ А тьма, ничего не видно.

И вдруг — стали сильно, отчаянно, надрывно, гулко палить впереди! Такая стрельба, что и по дню была бы страшная, а тут — ночью! По ним? Нет, не по ним, никто не падал, и пули не свистели, и даже вспышек не было видно почему-то, но очень близко впереди, совсем рядом, вот-вот предстояло столкнуться.

Странно задрожали коленные чашечки, только они одни, крупно запрыгали, запрыгали отдельно от ноги, как никогда не бывает. При свете могло бы стыдно быть, но в темноте и самому не видно.

Стали голосно, зазывисто командовать разворачиваться в цепь, кому вправо, кому влево. Спотыкались с крутой дорожной насыпи, наугад чавкали по болотистому месту, холодную воду напуская в сапоги, там по бугоркам, да по ямкам, да по огородной посадке, что ли, — а пока дошло ложиться, вся стрельба впереди начисто утихла. И раздались команды опять собираться на шоссе и строиться резервным порядком. И опять спотыкались, в канаву попадали, чавкали по тому же мокрому месту, лезли опять на шоссе.

А коленки всё прыгали, скакали, не унимаясь. Сами по себе.

Снова долго окликались, разбирались, строились. Опять пошли. Как ни было темно, но различили, что шоссе вступило в лес. Прошли его. Вот что, из-за леса и не было тогда вспышек видно.

Дальше все батальоны пошли по шоссе, а их опять спустили по откосу — теперь на мельничную плотину, через речку. А там — полезли и полезли вверх, открытым полем, твёрдой землёй.

Стрельбы большой опять не было, и опять решил Саша, что водят их зря, только ноги ломать. Коленки успокаивались. Да это не от страха, он вовсе не боялся. Он только чувствовал, что это *не то, не там*, и уж здесь-то голову складывать никак не надо.

Как будто светало, но видимость нисколько не лучше: ночная мгла заменялась даже и тут, на возвышенности, густой туманной.

Дальше погнали их не то без дороги, не то плохой полевой, об сапоги цеплялось, что там росло, но главное — местность вся была в буераках, в каких-то провалах, ямах, буграх, камнях, и говорили солдаты, что здесь черти в свайку играли, они и наворотили.

И тут — совсем уже близко от них, правей на версту, опять залилась стрельба, в несколько сот ружейных стволов. И пулемёты! Но всё ещё не сюда летело: справа и ниже был бой, а им надо было вёрхом идти, и — скорей, скорей! А вот стала толкать и рвать, толкать и рвать со мглисто-огненными вспышками — артиллерия! Наша! Перелетало через головы и — *на тебе!* на тебе! Шрапнель поблескивала в молочном тумане мутно. Стала и немецкая отвечать, недалеко направо её разрывы.

Нисколько не желая и не добиваясь победы, всё ж с отрадою отметил Ленартович, что наша артиллерия перевешивает. Это противоречило принципу „чем хуже, тем лучше”, но обещало, что осколком не просверлит. В таком грохоте именно *нашей* артиллерии была какая-то жуткая несомненная красота.

Всё светлело, но молочнело, уже в трёх шагах — только туман, и вспышки видны всё хуже. И в этом густом молоке, по этим ломоногим буеракам их уже гнали, ружья наизготове, — бегом, они не успевали куда-то! Они взбегали, задыхаясь, и тут же вниз, и опять вверх, и опять вниз. Безопасней было бежать нагнувшись, но при такой беготне подкашивались ноги. И бежали в рост. Несколько шрапнелей разорвалось над ними, но, видно, так высоко, и в сторону, что пули падали безобидным горохом.

Велено было развернуться в цепь и стрелять навскидку. Стали стрелять, а в кого, куда — ничего не видно, и бежали дальше. (А уж прицелы переставлять — этого Са-

ша не командовал, да и сам не помнил.) Наших убитых и раненых не падало. Бежали каким-то обходом, что ли. И всё больше местность забирала вверх. В груди колотилось, сжималось, сил нет бежать, ещё в этой сырой мгле.

Совсем уже стало светло, уже и солнце могло бы взойти, но в сплошном на весь мир тумане не виделось даже мутным кругом.

А как стала местность чуть спускаться — тут на встречу им, невидимым, невидимый ударил и противник. Вспышки его лишь чуть мельтешили, но близко свистели пули, а одна ударилась о камень и взбила яркий огонёк.

Давно была забыта нёспанная ночь, нехотные блуждания, мокрота ног, и даже грудь заложённая от задоха, — теперь пошло на минуты — сшибём или не сшибём? успеем или не успеем? Или мы их — или они нас! Все солдаты поняли и вошли во вкус, и Саша с ними. Подсумки полные у всех, стреляли охотно, азартно, самим же уши разрывало от своей стрельбы, в своей же гари нечем было дышать — а рвало и рвало огонь в молоко. И — чтоб не по своим! Саша поправлял, кого мог. И заметил, что сам из револьвера стреляет, хоть это было и бесполезно. И через канаву прыгали, и через изгородь перескакивали, а вот уже и через убитых — не наших, немцев! И жуть разбирала, и гордость: ах, здорово идём! ах, всё-таки сила мы, сила ...битская!

Это уже они в деревне бились, за домами прятались, высывались, обходили. Несло солдат с выставленными штыками, не удержать, и Саша со странным удовольствием тоже стрелял, и одного-то немца точно он ранил, тут же его и в плен забрали.

А за всё это время накалился слева от них красный шар — и через белую мглу прорвал наконец: солнце! Ещё весь мир качался в тумане, но вот уже начало отделяться и проясняться. Теперь видна была крупная роса на затворах и на штыках, у кого окровенелых. С их высоты туман уже утягивало клочьями — и хорошо были лица видны: с запыханной радостью злой. И то же чувствовал Ленартович. И бисерилась трава синими, красными, оранжевыми вспышками, и уже пригревало победителей желтеющее солнце нового дня.

Как-то легко всё к концу получилось. Не похвальба, не наслышка, а вот их собственного батальона конвой проводил через деревню назад пленных человек триста, и с дюжину офицеров, мрачно нащуренных против солнца, кто егерскую шапочку потеряв, кто без карабина. А у нас, после разбору, на весь батальон — трое убитых да десяток раненых, в их взводе — один, и в строю остался, весело расхаживал и рассказывал.

А за это время выступала и выступала из тумана как бы театральная декорация на эффект, набиралась высота, глубина и перспектива, точными линиями до дна оврага очертились все предметы, живые существа, и мёртвые, легли солнечные светы, и долинныи тени, и проступили цвета посадок и зелени, — и с их высоты Витмансдорфской, с откоса, хорошо было видно, как по овражному дну ведут колонну остроконечных касок в несколько сот, а глубже того — набито нашей картечью трупов.

Всё это наблюдал Ленартович, уже никуда не спеша, никуда не бежа, уже ничего не боясь, со скамейки за садом, куда сел отдыхать. Странное торжество распирало его — победы не в диспуте, но телом своим, руками и ногами. Он так сидел, как будто и был тот главный полковонец, перед которым внизу проводили его триумф. Солдатам не дали отдохнуть, им крикнуто было окапываться на краю деревни, и Ленартович вынужден был это приказанье им передать, но сам-то он не должен был копать, а мог на скамье посидеть, смотреть на этот завоёванный вид театральный, на тёмноглубую долину, и в замолчавшем мире — никто уже поблизости не стрелял — ещё и ещё перебирать свою радость, анализировать внезапные чувства свои.

Вот сейчас было — легко! Сейчас надежда через край переливала: переживёт он эту войну! И как дорого — жить! Вот на такое утро хотя бы сидеть и смотреть. Или — бежать по холодку. Или — на велосипеде катиться вон той дорогой обсаженной, чтобы ветер свистел. Или — в рот забирать оранжевые мягко тающие южные абрикосы. А — книг ещё не читанных! А — дел даже не начатых! Нет!! — через всю груду книг, конспектов и даже литературы (насушной, нелегальной), лет, месяцев и часов, иссизженных в Публичной библиотеке, — выворо-

шилось, выдвинулось и в небо взнеслось обелиском сожаление острое — а женщины?! А женщин — как мог он эти годы миновать? Разве не они — самое главное, для чего мы все остаёмся жить?

Это была не высокая мысль — но вот именно так она была. Полчаса назад Саша мигом мог потерять всё — и набранные знания, и убеждения, и кровообращенье. А память о женской любви как будто оставалась бы на земле чем-то вещным, не пропащим. Её как будто пуля не брала.

Сейчас это радостно проявилось, что — будет. А последние дни Саша был как с открытой горящей раной, задевало её всё, где не ожидаешь. Увлечённо спорил с врачом на ступеньках госпиталя — вышла сестра милосердия — рослая! крупные груди — с ним не сказала слова, и никогда он её не увидит, — а как полотенцем хлестнула по открытой ране, ушла. И разные такие воспомина-ния прошлых лет в эти дни подступали и щипали всё ту же рану.

А захватистей всего — вот совсем же в Петербурге недавно, в последний приезд, — Еля, сокурсница Вероники. Всего-то видел её несколько раз — приходила к сестре, да компанией ездили на лодках, да на студенческой вечеринке, а отдельно, особо — ни вечера. На лодках он был сердит, надоело это смакование белых ночей, отвечал всем резко, а Еля, молчаливая и тоненькая, сидела на носу лодки, как та женская фигурка, которыми скандинавы украшают носы кораблей. А на вечеринке Саша разошёлся — тогда бывает он остроумен, быстр, неотразим, все его слушают, и Еля слушала пристально, однако с необычной в их компании манерой: все их девушки смело говорят, имеют мнения и отстаивают их, а Еля смотрит тёмными глазами, загадочно промалчивает все рассказы, все споры, нельзя понять — соглашается или протестует, только разжигает к аргументам. На узко-маленьком её лице губы детско-подушечные, но очень запоминаемые — один раз мимоходом, в шутку, они поцеловались.

Однако в Петербурге он ничего не почувствовал, и не искал побыть с ней вдвоём: петербургские дни были наполнены, и не предполагалась же война, а скорый конец его службы. Ещё за её воззрения, не принятые в их круге, он был мало внимателен к ней.

Но с первых же дней войны вдруг как омытая выступила перед ним — Еля! Еленька! — Ёлочка! И он изводился от упущенного сладкого жала, от собственной глупости в Петербурге в июне, как же мог он тогда не разглядеть и не притянуться этим: она вся — колеблемая. Самое порочное, что может быть в мужчине, колебания, в ней было — самое женственное. Недоумённые колебания бровей. Колебания головы. Колебания шеи. Колебания плеча. А особенно — колебания всей узкой маленькой точёной фигуры её, когда, убыстряя ходьбу, она смешно переходила в бежок.

Как скромно-коварная зыбь, дошедшая, начинает качать, кидать корабли, — так Сашу и, более того, его будущую важную жизнь — Еленька этими колебаниями вводила, увлекала за собой. Сейчас-то он понял: ему своими руками надо, необходимо, невозможно не — остановить эти колебания! в своих руках успокоить её — и только тем успокоиться самому.

Но даже её фотографической карточки он тогда не догадался попросить, а теперь взывал в письмах, письма ползли черепахами через цензуру, и только шутливую двухстрочную приписку от Ёлочки он получил в веронином письме.

Теперь — теперь надо было защищать это чёртово отечество.

Русский комендант Найденбурга полковник Доватур только случайно, от телеграфиста, узнал, что армейский штаб из города уехал, последние уезжают сейчас, телеграф снят. А ему — никто не оставил распоряжений. За делами стратегическими о нём забыли. Он кинулся к оставшимся штабным, но те только плечами пожимали, они свои последние ящики торопились укладывать на подводы в Янув.

А тут хорунжий из 6-го Донского привёз командующему донесение от командира сводной конной бригады — и комендант не знал, куда его посылать, а принять доне-

сение тоже не мог. Он слышал ночью краем уха, что бригаду подчинили генералу Кондратовичу, но где этот Кондратович, где его штаб — и вовсе никто не знал. Тут же вынырнул и другой курьер: всю ночь скакал из Млавы, вёз варшавскую почту и в том числе, настаивал, письмо генералу Самсонову от его жены. И обоим этим курьерам, не отнесенным к коменданту, он так же мало мог посоветовать, как ему самому — штабные, к которым он не был отнесен.

Только вчера к вечеру потушили все пожары, хорошо убрали улицы, только бы сейчас, на шестые сутки, начать городу нормально выглядеть, магазинам торговать, — но уехал штаб и, словно того дожидавшись, с севера на юг потянулись по улицам обозы, и пехота, да не строем, а малыми группами, разбродом, даже и в одиночку, и все спрашивали „дорогу в Россию”.

А улицы Найденбурга — две подводы в ряд, и вот уже забита; останови передних на ратушной площади — и вот уже весь городок забит; и нижние чины без офицеров друг другу кричат осадить, подводы сцепляются бёрками, рвут упряжь, солдаты дерутся, а подошедшему вежливому офицеру дерзят. А в окна со внимательным злорадством поглядывают немки. И надо выдержать в городе порядок силами комендантской неполной роты, расставленной ещё и на караулы, да любезным содействием вальяжного бургомистра.

Своими малыми силами комендант заставил два северных въезда в город и велел направлять все части в объезд. И это б ещё пошло, но сбегав в дивизионный лазарет и в госпиталь, комендант изменил своё распоряжение так: подъезжающие обозы просматривать, все мало-важные грузы выбрасывать, а телеги подавать под эвакуацию раненых. И сам отправился на заставу, подготавливая взвод к возможному применению оружия против непокорных.

А в госпитале врачи совещались. За час-другой после отъезда штаба армии в воздухе города уже потянуло сдачей. Война только начиналась, и ещё нельзя было точно знать, как твёрдо будет соблюдаться женеvская конвенция о раненых 1864 года: что госпитали считаются нейтральными, не могут быть ни обстреляны, ни взяты в плен

и обязаны принимать раненых от обеих сторон; что персонал их неприкосновенен и во всякое время волен хоть остаться, хоть уйти; что после оправки от ран отпускают на родину и самих раненых под честное слово больше не касаться оружия; что частный дом, принявший раненого, тоже попадает под охрану конвенции. Нельзя было предположить, почему бы через полвека после подписания конвенции, война могла бы ожесточиться, но газеты уверяли о немцах так, а сами врачи тоже заметили, что при обилии раненых и недостатке коек невозможно совсем равно относиться к своим и чужим. Итак, готовя госпиталь к эвакуации, нельзя было предсказать, что ждёт остающихся. Разделили врачей, кто едет, кто остаётся. Делили сестёр. Оставляли пожилых из общин Красного Креста, с хорошим опытом ухода. Молодых же доброволок, прошмыгнувших на передовую в суматохе мобилизации, отправляли в тыл. При разной степени переимчивости, ничего путного они ещё не умели, только хихикали, одна забавница в коридоре на велосипеде сбила провизора. А вот Таню Белобрагину, всегда безрадостную, Федонин просил старшего врача непременно оставить: хотя не было у неё настоящей подготовки, но очень серьёзно она взялась и кроме общих дежурств сосредоточилась на лицевых и шейных ранениях. Она и не попросится уехать.

Вообще, работа вся скашивалась: ожидая команды на снятие и при многих сотнях уже лежащих раненых, нельзя было оперировать, а только перевязывать. Шли начинать отбор для эвакуации. Но как делить? Даже в неподвижном госпитале не было верных средств борьбы с гангреной, а в тяжёлом пути?

Раненым старались прежде времени не объявлять, но они сами почувствовали необычность обхода, забеспокоились. Каждый, кто в сознании и малом движении, просился ехать. Потому ли что вместе лежали и на виду было, все ощущали как нечестность: остаться отдыхать, когда земляки воюют.

Санитар доложил, что какой-то полковник шибко добывается врачей.

— Валерьян Акимыч, сходите?

Федонин быстро пошёл к выходу. На треугольную площадь уже стягивались пустые подводы, почти забив её

всю. На каменном крыльце, раскрыв планшетку с картой, допрашивал раненого ходячего унтера запалённый помятый полковник с надорванным кителем на приподнятом плече. Порывисто повернулся к Федонину:

— Вы врач? Здравствуйте. Полковник Воротынцев, из Ставки. — Как побыстрей, пожал руку. — Скажите, есть у вас свежие раненые с передовых позиций и в сознании? Разрешите расспросить их? Офицеры?

Кажется, и врачи не засиживались, но темп этого полковника, плотного, а очень подвижного, сильно превосходил. Федонин поддался ему, быстро вспоминал:

— Есть. Ночные. И утренние. Есть подпоручик из 13-го корпуса. Был изрядно контужен, но отошёл, сейчас в полном сознании.

— Из 13-го?? Интересно! — удивился, насторожился, ещё убыстрился полковник. И уже сам вёл Федонина за локоть сильной рукой. — Вы же — 15-го, откуда 13-го?

Лестницей, коридором, через две палаты — идти им было немного, и Федонин тоже заспешил:

— Скажите, что будет с городом?

Полковник метнул ясным взглядом на Федонина, только сейчас рассмотрел его не как дателя справок, покосился вправо, влево, и — тихо:

— Если удастся построить оборону — ещё подержимся.

— *Построить?* — сразу схватил Федонин. — Так неужели... ? И штаб армии?..

Полковник только губами тпрукнул.

— Тут с западной стороны...

Но уже входили в палату — и полковника, со всей его готовностью, как ударило, откинуло, он омрачился, сморщился — на рубеже сгущённого запаха лекарств, крови и гноя.

В первой палате, у самого прохода, батюшка напутствовал отходившего, епитрахилью накрыв его лицо.

— Верую, Господи, и исповедую... — который, который, который раз за эти дни произносил он глуховато, заученным распевом, а как будто свеже, не соскучась.

Во второй палате у окна нашли того подпоручика, и как раз Таня Белобрагина сидела на его кровати, поднялась при подходе их, в межоконьи стала к стене, руки опу-

щенные за спиной, и в глубоком тёмном взгляде застыла.

А подпоручик, обмотанный по лобной полосе головы, но уже с возвратом мальчишески-быстрого зоркого взгляда, ещё стараясь для пришедших, готовно встретил их.

Федонин попробовал его щёки, пульс:

— Вам легче намного, да?

— Да! да! — радостно уверял веснушчатый подпоручик, и подтягивался в кровати выше, не зная, как быть полезнее.

— Вам говорить, отвечать не трудно?

Таня покраснела:

— Мы — немного, он земляк оказался.

Её и не заподозрить, чтобы много.

— Вы какого полка? — уже сидел на кровати полковник и разворачивал карту. — Вы разве при 15-м корпусе?.. А когда вы к нему пришли?.. Где вы стояли? Где ранило вас?.. А какие там части рядом?..

Подпоручик полусидел на подушках, светло-влюблённо смотрел на полковника и отвечал ему как радостный экзамен, гордый, что знает и все билеты и на дополнительные вразброс. Тем невидимым юношеским светом жертвы он был освещён, который зарождается ещё до женщины и без неё. Он слышал через шум, голова слабая, затруднялся в речи, но старался преодолеть и как можно чётче отвечать. Он уверенно показывал по карте, как из Хохенштейна их вчера вечером водили на запад в сторону близкого боя (а про себя: чего стоило всех собрать, дозваться, дослаться, из города вывести), и как опять отозвали (в который раз, никогда не доводя их полка до боя!) и по бездорожью петлёй вернули зачем-то снова в Хохенштейн (и ещё была вечером паника, стрельба по своим, но это не к делу), а из Хохенштейна (опять не без труда) вывели на окраину в боевой порядок и вот тут-то... (Дальше маме можно рассказывать, не полковнику: разрыв до того близкий, что выразить нельзя, и только успеваешь: смерть! — перекреститься! — мама, прости! — а следующего разрыва уже не слышишь...)

— Да, а что у вас с плечом? — вернулся Федонин.

Вспомнил и полковник:

— Вы посмотрите? Меня вчера, видимо, осколком зацепило.

— Трудно ворочать? — щупал хирург.

— С. затруднением.

— Зайдёте ко мне, на этом этаже. Вот, сестра проведёт. — А Тане: — Старший врач согласен вас оставить. Не возражаете? Можно застрять надолго.

Уставленный грустный взгляд сестры нисколько не переменялся, не тронулся даже интересом. Кивнула:

— А кому же? Конечно.

И ждала теперь провести полковника. Когда он быстро водил головой, вся его решительность, кажется, была в короткой, но широкой дуговой бороде. При ней усы и не замечались: они не торчали, не висели, не закручивались — лишь потому осеняли верхнюю губу, что без усов офицеру не полагается.

А у подпоручика — ни усов, ни бороды, и даже никакого ещё характера в губах, — самая ранняя юность и добрые чувства, такой чистенький и вежливый, какие бывают при женском воспитании. Ничего он ещё не знает о жизни. Всего на год была Таня старше его, а умудрённей себе казалась — на десять.

... Плен?.. На всё была согласна Таня. Нечувствительно было бы сейчас — пленение, ранение. Ещё бы лучше — убило её поскорей. С надеждою, что убьёт без греха, руки самой не накладывать, она и спешила на фронт. Всё равно не могло с ней произойти хуже того, что случилось. Легче в пучине, чем в кручине.

Под окном, внизу, на узкой улочке виделась толчея, сумятица. Сновали солдаты разбродными группами и в одиночку, не строем. В тени остановилось несколько, обтирали пот, выбрасывали лишнее из мешков, лопатки, топорики, ящички с патронами — и пошли быстро опять. Никто их не останавливал. А два казака, наоборот, торопили что-то к сёдлам.

... Вместе читали. Вместе гуляли, за руки держась. И постепенными разговорами проходили путь, где каждый вершок незаменим, неупустим, остаётся потом на всю жизнь. Росло как растение, всему своя пора: листочкам, завязи, расцвету. Разве Таня не могла бы ускорить? — но не женская это доля, так нельзя. А та — ничем не лучше, не красивее, не добрей, не верней — налетела, схватила и урвала. И нет того суда, где эту нечестность разбирают.

А мужчины? — только разве и тверды на войне, больше нигде, ни в чём.

Каких толковых офицеров можно воспитать за два года — и как их умеют потом загубить за двадцать. Это движение всеготовности, эта боль за армейскую операцию на мальчишеском лбу!

— Господин полковник! — за рукав удерживал подпоручик, смотрел с надеждой и пересиливал затруднения речи, — я слышал, будет частичная эвакуация. А я — никак не могу остаться, это позор! Я не могу начинать жизнь с плена!! — заблесты слёз смочили ему глаза. — Попросите, чтобы меня вывезли непременно!

— Хорошо! — и полковник с силой пожал ему руку. С быстротой: — Сестра!

Таня круто повернулась от окна, всё оставив окну, о чём думала там, а сюда — внимание, старание неизнеженного, некапризного лица, так частого среди русских девушек.

Что за тёмный пламень взгляда, и твёрдость какая в лице — ещё не сегодняшняя — возможная! Или это от глубокого обхвата косынкой, когда скрыты и лоб, и шея, и уши?

— Сестра, я очень попрошу доктора, а вы уж тогда проследите, чтобы подпоручика Харитонову не оставили. — И, вот уж не легкомыслие было в её лице, вот уж не нуждалась в угрозе! — почему-то пальцем ей погрозил, сам не ожидал, а губы улыбнулись: — Смотрите, везде вас найду! Вы — откуда родом?

— Из Новочеркасска.

— И там найду! — кивнул. Быстро пошёл между кроватями.

А на каждой — замкнутый мир, единственная борьба в единственном каждом теле: буду жив или не буду? оставят руку или не оставят? И вся война с операциями армий и корпусов отступает как ничтожная. Пожилой, но развитой мужичок, может быть запасной унтер, умно-подозрительно поглядывает на всех из-под простыни. Другой катается, катается по подушке головой и хрипло выкрикивает.

Из шибящего, густого смрада палаты — скорее выйти, вздохнуть! Сестра провожала.

Когда вернулась, не сразу к тому окну, подпоручик уже осел, ослабел, побледнел, но ещё нашёл улыбку для Тани:

— А вы остаётесь, землячка? А вы напишите письмо своим, я возьму, аккуратно отправлю. Кто у вас там?

Лицо Тани стянуло как яичным белком. Суровой головой качнула вправо, влево. Не напишет она. Никому. Никого.

После войны — куда угодно, только не в Новочеркасск.

Воротынцев успел бы рано утром в Найденбург и мог бы ещё захватить Самсонова, да сворачивал смотреть по пути, кто же держит фронт, — и не нашёл никого. Ещё гонялся за беглым Кондратовичем — и не нашёл. И к Самсонову опоздал.

Во фронте слева сквозил свищ, боля как в собственном боку, но никто не посылал войск туда, и войск-то не было, кроме Кексгольмского полка, заменившего Эстляндский и Ревельский, а распоряжался им генерал Сирелиус, но тоже кружил где-то непонятно, ни разу не доехав до фронта.

Изумленье вызвал и отъезд Самсонова: почему не велел укреплять Найденбург с северо-запада? почему не стягивал фронта, а уехал вдоль растянутого?

Остатки Эстляндского и Ревельского полков и их обозы едва не бесчинствовали в Найденбурге, но не ими мог заниматься Воротынцев. Он оставил Арсению коней и за полтора часа здесь, в нескольких кварталах мечась, выяснил, что произошло с армейским штабом; и убедил курьера-хорунжего познакомить его с донесением конной бригады, самому же подождать, пока не ехать; и от разных людей, а больше от раненых, неплохо прочертил положение армейского центра; от Харитонова понял, как идёт у Хохенштейна, но что с остальным 13-м корпусом — тёмная молчаливая была загадка; ещё меньше можно было понять, есть ли надежда на вспомогательный удар Благовещенского и Ренненкампфа. И сам бы туда полетел-поскакал, да близкая левая дыра сквозила, звала. И из госпиталя выскакивая, кажется Воротынцев уже имел план.

Ещё и вчерашнее отступление к Сольдау не было последней катастрофой, если исправить его в этих часах.

У приметной скалы Бисмарка условился он встретиться с хорунжим.

Был при Бисмарке союз трёх императоров, и полвека жила спокойно Восточная Европа. Русско-германский мир полезней был этих манифестаций с парижскими циркачами.

Кони стояли там, привязанные к дереву. А в холодке за скалою, за клумбой, Арсений сидел. Он поднялся поспешно, но в полроста, и приглушённо, приклонённо, заветно:

— Ваше выскродие, перекусить надо!

Что-то было в котелке.

— Ты мне и вчера сухарём чуть дело не испортил... А коней покормил?

— А ка-ак же! — обиделся Арсений. И без того большой рот ещё распялил: — На кладбище попас, ха-рошая травка.

Позади скалы стояли два камешка скамеечкой и торчал под руку черенок ложки.

— А ты?

— А я после вас, — отказался Арсений быстрым заученным почтением.

— Нет уж, давай сразу.

— Ну, ин сразу, — легко согласился Благодарёв, бухнул перед котелком на колени и стал таскать себе.

Таскал левой рукой и Воротынцев, то жадно, то рассеянно, так и не вникнув, что там. А правой тут же на приподнятом колене, на твёрдой гладкой коже планшетки, торопился писать, чтобы хорунжего не задерживать:

„Ваше высокопревосходительство!

На левом фланге, потеснённом, но нисколько не разбитом (выиграли бой и отступили по глупому недоразумению!), находится треть вашей армии. Но там сейчас три командира корпуса (Артамонов-Масальский-Душкевич) и никакой единой воли. Если бы Вы сами сочли возможным приехать туда (6-й Донской полк сопровождает Вас в безопасности за 2-3 часа), Вы бы энергичным наступлением могли бы выправить всё положение армии: Вы бы свя-

зали и опрокинули генерала Франсуа, намеренного сейчас отрезать Вас.

Мы вместе с Крымовым настоятельно просим Вас избрать этот шаг. Полковник Крымов сейчас заменил начальника штаба 1-го корпуса.

Я буду западнее Найденбурга, здесь почти никакой обороны, дыра.

Полковник Воротынцев.”

А ещё надо было советовать: отступить центральными корпусами. Но прямо так он не смел, должен был догадаться Самсонов.

Подъехал и хорунжий. Воротынцев предупредил: донесение сжечь, съесть, только не противнику в руки.

А варшавский курьер потерялся куда-то. И письмо жены получить командующему была не судьба.

35

Уже сколько дней не было у Самсонова такой ясности, такой уверенности в своих действиях. Во главе полных штабных он бодро выехал из Найденбурга и бодрой походой шёл конь под ним. Свежесть была в груди, несмотря на короткий сон. Ещё более свежести добавило августовское сырое утро, победный разрыв туманных хлопьев солнцем, разгон пелены, обнесшей небо на рассвете.

Как славно подыматься утром рано! Как славно думается и действуется утром! Как обнадёжливо представляется в утреннем холодке ход сражения! Сколько ещё прекрасных утр может быть впереди у 55-летнего человека!

Путь поездки он не сам выбирал, и повезли его кружно, восточной петлёй, с проездом деревни Грюнфлис и угла Грюнфлисского леса: уверял начальник казачьего конвоя и штабные, что по короткой дороге до Надрау беспокорно, может прорваться немецкий разъезд, могут стрелять из засады. И всё равно на полпути запыхали справа

конные, приближались. Конвой изготовился к бою, выслал навстречу разъезд.

Оказались свои: взвод драгун из 6-го корпуса, взводный эскорт, чтобы сопроводить бумажку донесения на полсотни вёрст ничьей, полупустой, не своей страны. Если б штаб не поехал кружно — и не встретил бы их.

Сейчас было 8.30, а донесенье Благовещенского — от часу ночи, сутками позже вчерашнего, — ночное аккуратное суточное донесение, как если бы в промежутке не случилось важного. Что ж, идёт он на выручку Ключеву? прикрыл спину центральных? или занял твёрдые рубежи? „... отошёл к Ортельсбургу...”

Не сходя с коня — карту! Вчера Благовещенский необъяснимо отходил к Менсгуту, и это казалось грозно. А сегодня — о, если б он остался под Менсгутом! Но он ещё на 20 вёрст откатился — по знакомой дорожке, в Россию скорей...

Корнет порывался, кажется, рассказать и больше об этом откате, но командующий сдержал. Себя самого щадя, свой внешний уверенный плотный вид — для окружающих.

А за те семь часов, что драгуны скакали, — может, Благовещенский уже бросил и Ортельсбург?.. Может быть он уже в России?..

И что ж можно было теперь ему приказать?.. Удерживать во что бы то ни стало Ортельсбург?.. *Во что бы то ни стало...* ни стало... От стойкости вашего корпуса зависит...

И поскакал корнет со взводом и с бумажкой назад. Чтобы доставить её после полудня.

А донесение Благовещенского шло по рукам штабных. Надо было сообщить о нём Ключеву? А как? Да ведь он к Мартосу переходит. И мы к Мартосу едем.

Разве вот что: Живому Трупу надо об этом знать, может быть руки его хоть немного оживеют. И подправят. Сейчас конными в Янув и оттуда по телеграфу.

И всё так же, большой планшет на конской голове, почерком размашистым:

„6-й корпус отошёл южнее Ортельсбурга, по словам офицера-очевидца — в беспорядке. Корпус сильно пострадал, ослабел физически и морально. Еду в Надрау, где при-
му решение относительно наступающих корпусов...”

Он написал „приму решение”, как если б оно ещё не было принято: наступать центральными корпусами! Но теперь, Благовещенский так откатывался, — остановить? отозвать центральные? Но как не хотелось! Всё больше оседали отбитые плечи армии, но как дорог был утренний разгон, державший Самсонова молодцом-солдатом! „Приму решение” — а в том же направлении тронул коня.

И штабные, глухо ропща, тронули за ним. (Большой знаток заполнения бумаг, утешал себя Постовский, что даже несколько часов, проведенных вблизи огня неприятельской артиллерии, можно будет выгодно записать себе в послужной список и в орден.)

С одной вершины открылся распахистый вид на озеро Маранзен — продолговатое, вглубь и вглубь. Солнце светило через плечо, вода не сверкала, темно покоилась. И лес глубокий стоял по берегам. А по склонам холмов разбросались мёртвые фольварки, краснея черепицею.

И, отойдя от забот своих, облегчённой душой принимая мир без нас:

— А красивая страна, господа!.. И откуда здесь такие высоты, такие виды?

Встречью втягивался на высоту обоз раненых, много ран штыковых. Кто стонал, а кто говорил вполне бодро, ещё бодрей при трёх генералах: ночной штыковой бой у деревни, вёрст десять отсюда. В один голос: удачный бой, мы победили!

Да и сейчас гремело слева недалеко.

Кроет, кроет нас Господь и Божья Матерь. Так быстрей же вперёд, господа, мы ничего не знаем!

„Надрау” — так по маленькой деревне только назывался командный пункт Мартоса, а был он западнее, на высотах, в полукруге леса — отличное место с обширным видом. Передняя линия отошла, обстрел уже не достигал сюда, и несколько офицеров стояли открыто на холме, на солнечном уже припёке и передавали друг другу бинокли.

А внизу, по шоссе, к железной дороге и через неё, шла медленная колонна — нет, вели колонну пленных в оцеплении, да! пленных не меньше тысячи!

Узкоплечий невысокий Мартос на стуле сидел, и тоже смотрел в бинокль. О переезде армейского штаба они ни-

чего не знали! Оглянулись, и против солнца не сразу узнали конных.

С юной лёгкостью вскочил на ноги немолодой полководец, передавая в левую руку короткую тросточку, всегда покачиваемую на ходу. И, с честью, вытянулся перед конным дюжим командующим, щурясь против солнца:

— Ваше высокопревосходительство! Противник силою в дивизию пытался атаковать нас ночью лощинным подходом к деревне Ваплиц. Замысел его обнаружен, расстроен и даже нарушено управление: у кладбища Ваплиц противник уничтожил своих же артиллерийским огнём, видимо расчётным, без наблюдения. Наступавшая дивизия разгромлена и отброшена, мы удерживаем важные Витмансдорфские высоты. Имеем пленных две тысячи двести, до ста офицеров, взято двенадцать орудий. Хотя и очень ослабленные, Калужский и Либавский полки пошли в атаку противнику в спину и содействовали победе.

Мартос не захватывал чужого, он делился успехом и с соседями.

Всё зримо: вот и пленных вели, а маленькую группу офицеров завернули сюда, на высоту.

Вот этот торжественный момент и предвидел командующий! К нему он и рвался утром из Найденбурга! Он ехал не зря!

Доклад корпусного Самсонов принял в седле, но тут же грузновато, однако и уверенно, спустился на землю, передал поводья и — не разминаясь, сверху вниз увесистыми руками обхватил за плечи узкого ловкого Мартоса, облобызал его:

— Один вы! Один вы и спасаете нас, голубчик!..

И, отклонясь, смотрел на него, желая ему четверть царства. Ту награду предвидя, которой можно было бы украсить эту узкую грудь — если б не было табеля очередности возможного получения награды...

Вздорная мысль Постовского идти на Алленштейн уже никем не вспоминалась. Но может теперь-то и повернуть корпуса круто налево с сильным ударом в немецкий тыл? теперь-то и пришла пора бокового наступления, вчера ещё определённого в армейском приказе? От кого и услышать первого, как не от победителя:

— Хотелось бы ваше мнение, Николай Николаич!

Мартос ровно держал отважную узкую голову, блеснул глазами. Он не искал времени раздумывать, не изобразил отягощённого думой чела. Подхватисто-ловкий, с плечами сами собою поднятыми, с усами ловко подкрученными, он так же молодцевато и ответил:

— С вашего разрешения — немедленно отступить!

Он не имел докладов об отступлении Артамонова и Благовещенского, но прирождённым чутьём угадывал, что не тут его корпусу место, а — назад и скорей! Как улитки или птицы предчувствуют бурю — давлением воздуха или астральными струями, так утягивало и его.

Но командующий: как? что? — не понял. Почему же?

И Постовский, с помощью казака осторожно сойдя с коня, приблизился и, видя несогласие своего командующего:

— Что-о-о это вы панике поддались! Не-ервы у вас подгуляли! Слева вот-вот подойдёт Кексгольмский полк. Справа вам придана бригада 13-го корпуса. Сам 13-й вот-вот, вот-вот... — Постовский даже оглянулся, ожидая корпус увидеть, но тут лес был стеной, — подойдёт и весь. А ещё ж и конница Ренненкампфа. Кто ж нам позволит отходить?

Уж чего никогда не знал Мартос — это нерешительности. Энергично чеканил своё:

— Корпус бьётся третий день подряд и пятый день из шести. Потеряны лучшие доблестные офицеры, несколько тысяч солдат. Корпус изнемогает и к активным действиям более не способен. Нет кавалерии, действую влепую. Снаряды на исходе, подвоза нет. Недостача уже и патронов. Наши непрерывные атаки не дают выигрыша армии, лишь усложняют её положение. Надо отступить — и немедленно.

И напором его доводов сметён был весь утренний стройный замысел, так что уже ни чёрточки не восстановать. И не было той радостной атаки, куда командующий должен был скакать или послать. Без него тут было всё уже и выиграно, и обсуждено, и предложено, и проиграно.

А ещё ж не знал Мартос об отступлении фланговых корпусов.

Самсонов тяжело помаргивал, как борясь со сном. Снял фуражку с потеснённой чернеды седеющих волос. Отёр лоб.

Как никогда, лоб его был крупен и незащищен: белая мишень над незащитным лицом.

36

В запале и спехе Воротынцев промахнулся: уж начав утро с розысков Кондратовича, надо было не сходить со следа, настигнуть увёртливого генерала, пристыдить или припугнуть Ставкой, — и ещё можно было поставить к западу от Найденбурга всё, что в 23-м корпусе оставалось способно обороняться.

И генерал Кондратович, которому — счастье выпало? — что его корпус раздёргали, и, будто бы собирая его, можно было долго кататься поездами между Варшавой и Вильной, — генерал Кондратович в это утро несомненно побывал где-то тут, не дух же: впервые он приблизился к передовой линии, его видели в одном месте за час до Воротынцева, в другом за полчаса. Но у Воротынцева недостало терпения скакать за ним, и пока он собирал сведения от раненых, Кондратович примчался в Найденбург и, не имея тут никого выше себя чином, распорядился: командиру Эстляндского полка взять шесть рот и пулёмётную команду и с ними уходить на восток, по шоссе, сопровождая и охраняя его, генерала Кондратовича. Он, очевидно, так расчёл, что одна растрёпанная дивизия его несобранного корпуса всё равно уже подчинена Мартосу, Кексгольмский полк занял позиции и сам продержится, остальные гвардейские полки сюда вовсе не дойдут, — и ему, корпусному, делать нечего, а безопаснее отойти за русскую границу и там ждать, чем кончится.

Всё это узнал Воротынцев, спохватясь, уже отослав записку Самсонову.

Ещё сегодня рано утром был Найденбург резиденцией штаба армии, центром и узлом связи и дорог — и вот к полудню в нём не осталось ни одного генерала, ни-

кого старше Воротынцева чином, и никакой связи ни с корпусами, ни с фронтовым штабом, а все покинутые должны были своим умом и совестью сами избирать себе образ действий.

Зато Воротынцев сохранял состояние чистого делания, чрезвычайной лёгкости, свободы от собственного тела, от собственных желаний и мыслей, — он был только подвижным приспособлением спасти и поправить, что можно. Прохват, продох с левого бока армии ощущался им как колотье в своей груди, и только знал он: надо заткнуть эту скважину на те несколько часов, пока командующий успеет проехать к 1-му корпусу.

И в запруженном тревожном Найденбурге он нашёл подполковника Дунина, батальонного командира эстляндцев: четыре его роты, сильно прореженные, оправлялись тут со вчерашнего дня, а подполковник сам ещё не решил, что делать. И ещё с другим подполковником подошло с севера пять рот эстляндцев же — да таких рот, что каждая была едва ли сильнее взвода. Ещё ночью они стояли на позиции, а утром сменили их кексгольмцы.

Этим двум подполковникам и половине сохранившихся ротных Воротынцев в несколько фраз объяснил положение города, положение армии, уход в Россию остальных рот их полка, вместе с полковым командиром, и что от оставшихся надо. Говорил — а сам лица оглядывал, как будто и своеобразные, а в чём-то главным сходные все, какими сделали их: армейская традиция; долгая гарнизонная служба, отдельный от общества мир; и отчуждение, и презрение со стороны этого общества, осмеяние от передовых писателей; и верховный запрет мыслить о политике, о *материях*, обстриженный или потускневший интеллект; и постоянная денежная недостаточность; и через всё это, в очищенном и собранном виде — энергия и мужество нации. Вот это и был их момент, и Воротынцев не сомневался в ответе.

Надо — так надо. Подполковники оба согласились подчиниться Воротынцеву, но выразили, что их солдаты уже стоять не могут, особенно велико ошеломление от тяжёлых немецких снарядов, пережитых без окопов. Попросил Воротынцев по крайней мере построить их всех у западного выхода, при шоссе на Уздау.

Пока роты собирали и выводили из города назад, а те брели понуро, бурчали и оглядывались, Воротынцев успел повидать коменданта Доватура — полненького, с брюшком, очень вежливого и обязательного, и уговорился с ним о патронах, подводах под патроны и указал западней города место, куда прислать ему связного, когда город освободится от обозов и всех уходящих.

Построили солдат плотно, в шесть шеренг, все в тени, не раскиданы фланги, и без крика всем слышен голос. Эти минуты построения Воротынцев, руки за спину и расставив ноги прочно, смотрел на свой неожиданный отряд с длинным чёрным дядькой на правом фланге.

За двое суток, что перемальвали их полк, состарились уцелевшие: появилась в них достойная медленность смертников, никто не тянулся спешить угодить команде, выполнить её лучше, выкатить грудь. Ни одного беззаботного лица, ни с показной бодростью: там, где со смертью они сокоснулись, все обязательства службы стали слупливаться с них. Но не слупились ещё настолько, чтоб и всякие команды перестали быть над ними властны. Ещё и простого приказа могло достать, чтоб они вышли на позиции, — да только разбежались бы вослед, а надо, чтобы держали.

И что ж можно было им сказать сейчас? У них ещё уши не отложило, они ещё не отдышатся, что вырвались из смерти, — и опять туда? Да какой-то чужой полковник, который, смотришь, тут же и сгинет, с ними умирать не потянется, только их погонит.

Уж конечно не „честь” — непонятная барская. Уж конечно не „союзные обязательства”, их не выговоришь. (И сам Воротынцев не слишком к ним расположен.) А призвать на смертную жертву именем батюшки-царя? — это они понимают, на это одно откликнутся. Вообще за Царя — непоименованного, безликого, вечного. Но этого царя, сегодняшнего, Воротынцев стыдился — и фальшиво было бы им заклинать.

Тогда — Богом? Имя Бога — ещё бы не тронуло их! Но самому Воротынцеву и кощунственно и фальшиво невыносимо было бы произнести сейчас заклинанием Божье имя — как будто Вседержителю очень было важно отстоять немецкий горбд Найденбург от немцев же. Да и

каждому из солдат доступно догадаться, что не избира^лельно Бог за нас против немцев, зачем же их такими дураками ожидать?

И оставалась — Россия, Отечество. И это была для Воротынцева — правда, он сам так и понимал. Но понимал и то, что *они* не очень это понимали, недалеко за волюсть распространялось их отечество, — а потому и его голос надломило бы неуверенностью, неправотой, смешным пафосом — и только бы хуже стало. И так, *Отечества* он тоже выговорить не мог.

Речь — не сочинилась.

Но оглядывая тяжёлые, усталые, хмурые лица, он себя самого затолкнул туда, под потные скатки, потные рубахи, под ремни, набившие плечо, в сапоги, пылающие немытыми ступнями. И приняв „смирно” и отдав „вольно”, стал говорить не звонко, не бойко, не рявкая, а с той же усталостью и несдвигностью, как они себя чувствовали, как и сам бы ещё до конца не решив дела:

— Эстляндцы! Вчера и третьего дня досталось вам. Одни из вас отдохнули, другие и нет. Но так смотрите: а третьи, половина ваша, легли. На войне всегда неравно, на то война. И думать мы должны — не как себе выгадать, а как соседей не подвести.

А вот что бы проще всего: высказать им просто, как есть, всю обстановку высказать, боевую задачу, как не принято по уставу нижним чинам, а по-настоящему — только б и надо. Ну, не прямо: „Гибнут наши центральные корпуса! Генералы напутали, генералы у нас — дураки или трусы, но вы-то, мужички, выручайте!” А всё ж туда, под шинельную скатку, под ружейный ремень:

— Братцы! — раскинул руки и в землю врос. И широкость его и прочность увидел строй и ощутил. — Не корыстно нам спастись за счёт других. Нам до России недалеко, уйти можно — но соседним полкам тогда сплошь погибать. А после — и нас догонят, не уйдём и мы... Через силу вам, вижу, но тут близко — во фронте дыра, нет никого! Пока раненых из города вывезут, пока обозы уйдут — надо загородить! надо подержать до вечера! Больше некому, только вам.

Вот так, не приказывал, не грозил — объяснил. И

лица угрюмые, неугворимые — вдруг пересветлели все пониманием, сочувствием, едва ли не улыбками жалости, как бы подбитую птичку видя, — и не хотелось же! и ноги не шли по-прежнему, и проклят был возврат! — а не словами полными, не встречными возгласами, помня строй, но неразборчивым тёплым мычанием, благожелательным ропотом отозвались.

И увидя проблеск этих великодушных улыбок и услышав этот мычащий ропот, полковник скинул вместе руки и ноги, переменялся на „смирно”, вернулся к силе, и крикнул уже командно, звонко:

— Вызываю только охотников! Первая шеренга! Кто пойдёт — три шага вперёд!

И — шагнула вся шеренга!

И — ещё уверенней, уже победно:

— Вторая! Кто пойдёт — три шага вперёд!

И — вторая перешагнула!

И — третья.

И — все шесть шагнули дочиста. С тёмными лицами, крестные шаги — но прошагнули.

И хотя понимая, что радоваться нечему, неприлично, некместно, всё ж заорал Воротынцев:

— Славно, Эстляндский полк! Не оскудела матушка Русь!

Вот тут и матушка принималась...

*И НЕ РАД ХРЕН ТЁРКЕ,
ДА ПО НЕЙ БОКАМИ ПЛЯШЕТ*

А времени в обрез, бегом к своей конной группе — трём приставшим казакам из 6-го Донского и Арсению. Казаки очень кстати пришлись — один чубатый, один дремучемордый, один растрёпа, все — тигры на конях. А вот...

— А вот ты, Арсений, просто меня позоришь. Ты ж говорил — „верхом могу”?

— Так и могу! Только айдаком, без седла. У нас в Каменке и все мужики так. А седло — затея барская.

Вчера Благодарёв сгоряча поехал в седле, набил сестное место, теперь выкинул седло, ехал охлябью. А на укеры полковника изошрился: навязал пуховую подушку на коня, верёвки под брюхо, и сидел довольный, ноги свешены, от трёх гоготающих казаков отбрехиваясь.

— Неуж плохо, ваше высокородие? — и показал готовность хоть сейчас и отвязать подушку, а не двигаясь к тому. — Зато теперь хоть в Турцию скачи! — отговаривался и щёки надувал.

— Вот именно что в Турцию...

Винтовки за плечо наискось, по-кавалерийски, и погнажи.

Одна забота набегала на другую. Только что заботился Воротынцев, убедит ли он солдат повернуть опять в то пекло. А теперь заботился: обещал — до вечера, а если надо будет дольше, то кем сменять? Да ещё — удержит ли их на позиции до вечера? А удержит — так будет ли польза от этой жертвы, не обманул ли он их? Ведь всё остальное, вся армия, — не зависело от него, а как сложится. С его малой головы довольно было: где и как поставить теперь эти пять, хотя и сводных, но слабых рот? как растянуться от кексгольмцев с севера и до уздаусского шоссе на юг? На все вёрсты не могло хватить сил, а смысл-то и был — держать непрерывный фронт.

Несколько вёрст они проскакали по просёлочной — не на запад, а правей, по тому направлению, откуда было

у Воротынцева ощущение дыры. И оказывалось, да, дыра, пустота, вообще ни человека, ни своих, ни чужих, ни жителей, ни бродячих лошадей, ни собак, ни трупов, ни домашней птицы. Как бывает центр циклона: всё кругом уже рвётся, бьётся и темно, а здесь — тишина голубая.

Уже тут, не дальше, надо было принять и расставить эстляндцев, и Воротынцев оставил одного казака маяком, а с остальными хотел ещё непременно поискать фланг левого соседа, соткнуться, лишь потом воротиться.

Не заслонённое облаками солнце переваливало самый жар, накалилась открытая брошенная мёртвая местность, и, казалось, никого уже тут не встретить.

А впереди была высотка, в мелких сосенках, и решил Воротынцев осмотреться оттуда. Сильные кони легко взяли подъём, между соснами скрытно и по мягкой дороге мягко, лишь перед самым верхом странный рычащий звук удивил их, но тут же смолк. На макушку горки они вскакали и —

немцы?! Автомобиль! — стоял против них! в десятке шагов! видно, только что выскочив сюда и заглохнув.

Четверо немцев сидели в автомобиле, изумлённые не меньше четырёх русских всадников.

Сперва только все захолонули.

Казаки со свистящим шорохом вытянули шашки.

Офицер позади генерала выхватил, выставив высоко, револьвер. С другого заднего сиденья, завозясь, высунули ручной пулемёт.

Благодарёв без усилия скинул с плеча винтовку и дослал патрон.

На комара они все были от того, чтоб само начало стрелять и рубить, и покончило бы их тут всех. Но казаки ждали команды. Немцы — тем более.

А низенький генерал — не выхватил револьвера, не подал команды. Головой круть-круть, и остроглазо, изумлённо смотрел как на забавное, редкое, не спугнуть бы.

И Воротынцев, это поймав, лишь руку держал на рукояти шашки. (А винтовку скинуть было долго, непривычно.)

Так стало тихо между заглохшим автомобилем и не заржавшими конями, что на горке нагретой, со смолистым

воздухом только и слышалось лошадиное подыхивание да жужжанье овода или мухи.

И перейдя без выстрела этот миг тишины, нагретости и одинокого жужжания — они все восемь стали выше смерти.

Генерал („вчерашний, вашскродь!..”), подёргивая головой, всё так же присматривался, с большим любопытством, как будто и не допуская, что в него могут выстрелить или зарубить его. Уши у него были отогнутые и прижатые, как в испуге, но он, напротив, не испугался ничуть. Что-то юмористическое было в его лице — от усов ли щёточных, торчком в бока? Да просто юмор понимал. И не промедля доказал это, веселовато укоряя:

— Herr Oberst, ich hatte Sie gefangennehmen sollen. ¹

Этот тон весёлого, не настоящего укора сразу заразил и Воротынцева, ещё прежде, чем он сообразил значение встречи, как быть и что выгодней всего. Откликаясь лишь на тон, Воротынцев ответил ещё веселей, сверкнув ровными зубами:

— Nein, Exzellenz, das bin ich, der Sie gefangennehmen soll! ²

Припустился пулемёт. И револьвер. И шашки.

Генерал же настаивал рассудительно:

— Sie sind ja auf unserem Boden. ³

Входя и в этот тон, Воротынцев нашёл аргумент не хуже:

— Diese Gegend ist in unseren Hand. — Это было фанфаронство, но тем и брать, когда худо дела: может, тут, позади горки, наши пехотные цепи. И несколько построже: — Und ich wage einen Ratschlag, Herr General, lieber entfernen Sie sich. ⁴

Он, он, вчерашний, Арсений верно шептал, это он вчера из автомобиля прыгал, да как легко, молодец, а ведь не моложе Самсонова.

1) Полковник, я должен был бы взять вас в плен.

2) Нет, ваше высокопревосходительство, это я должен взять вас в плен.

3) Вы — на нашей территории.

4) Эта местность — в наших руках. И я осмелюсь вам посоветовать, господин генерал, лучше удалиться.

Но генерал так не хотел и даже не мог разговаривать:
— Bitte, Ihren Namen, Oberst.⁵

Ну что ж, тут тайны нет, пожалуйста:
— Oberst Worotynzeff.⁶

Понимая ли стеснение полковника спросить фамилию полного генерала или находя в разговоре вкус, генерал любезно представился и сам, сохраняя в быстрых глазах юмористический блеск:

— Und ich bin General von-François.⁷

О! Так командир 1-го немецкого корпуса! И почти в руках, можно взять?..

Почти в руках, да неизвестно, кто у кого.

А главное: стрелять и рубить — естественно, ещё не познакомься. А познакомившись — уж как-то и не людски.

— A-ha! Ich erkenne Sie! — непринуждённо, весело воскликнул Воротынцев. — War es gestern Ihr Automobil, das wir beinahe abgeschossen haben? Was suchten Sie denn in Usdau?⁸

Генерал покачал головой и вполне рассмеялся:

— Es wurde gemeldet — meine Truppen seien schon drin.⁹

И с одобрительным прищуром снизу вверх рассматривал Воротынцева. Это была шутка войны, надо уметь её понять.

Казачи — поняли, и, к тону общему ухмыляясь, с освобождающим шумом вставили шашки в ножны — и чубатый косоватый Касьян Чертихин и лукавый нечёса Артюха Серьга.

Уже был вовсе убран и револьвер немецкого офицера. И пулемёт лишь чуть виднелся из-за спины шофёра. И винтовку за спину отправил Благодарёв, и шепнул уже не первый раз:

— Ваш' скородие... Ле в, смотрите! Льва-то нашего упёрли!

5) Как вас зовут, полковник?

6) Полковник Воротынцев.

7) А я — генерал фон-Франсуа.

8) А-а! Я вас узнаю. Вчера это ваш автомобиль мы чуть не подбили? Зачем вы ехали в Уздау?

9) Донесли, что мои войска уже там.

Всё глаз не сводя с генерала и с пулемёта, Воротынцев не видел до сих пор, что на радиаторе автомобиля как-то укреплён был тот самый лев, та самая игрушка, бодрившая звено их окопа под Уздау, давно-давно когда-то... И удивительно, что лев — совсем целый.

Как они — льва, так и немцы что-то заметили и весело шептались.

— *Wer sind Sie aber, ein Russe?* ¹⁰ — присматривался Франсуа. Ему, кажется, хотелось ещё поговорить. Уверенный в своей неотразимости, он явно хотел очаровать и противника.

— *Ein Russe, ja,* — улыбнулся Воротынцев, отчасти понимая этот европейский вопрос.

И окончательно решил: разъедемся, так и лучше. Поверил же, наверно, что мы тут близко. Скорее ставить эстляндцев. И сожалительно поднял руку к козырьку:

— *Pardon, Exzellenz, tut mir leid, aber ich muss mich beeilen!* — Ещё в глаза генералу. Скользнул по пулемётчику. Неужели в спину выстрелят? Невозможно! — *Leben Sie wohl, Exzellenz!* ¹¹

И так же насмешливо-приветливо, и даже с сожалением ответил ему генерал, помахивая тремя пальцами как крылышком:

— *Adieu, adieu!* ¹²

Это помахивание и казаки поняли, и тут же, за полковником, круто повернув коней, карьером взяли с горки, погигикивая, довольные. А вослед доспевал им Благодарёв, ногами длинными болтая без стремян.

И — взрывом засмеялись немцы! Воротынцев успел услышать, понял — и первый раз рассердился на Благодарёва:

— Над твоей подушкой!.. Всю русскую армию позоришь!..

10) А вы — русский ли?

11) Русский... Ну, простите, ваше высокопревосходительство, к сожалению, мне некогда. Будьте здоровы, ваше высокопревосходительство!

12) Приятного пути!

Благодарёв скакал богатырски-ровно, с лицом нахмуренным, обиженным.

Ещё успевал бы немецкий пулемётчик перестрелять их всех.

Но — это невозможно было после уступчивого разговора. И вовсе было бы недостойно полководца, ступающего в Историю.

Полководцу высшего класса недостаточно воевать победно: надо ещё воевать изящно. Для истории не будет безразличен ни один его жест, ни одна деталь его командования. Либо резьбой и отделкой они доведут его образ до совершенства, либо представят как тупого удачника, не более.

Вечером 14 августа генерал Франсуа ещё не мог отдать приказа на 15-е: сердце его рвалось на Найденбург, обстоятельства грозили контрударом от Сольдау, и на Сольдау же толкало его армейское командование. В таком положении мизерный военачальник томится всю ночь и томит свой штаб, ожидая, что подплывёт, и тогда в ночи заскрипят перья, выписывая распоряжения. Но Герман Франсуа написал лаконично: „Дивизиям на своих участках подготовиться для наступления. Время и характер наступления будут даны завтра в 6 утра на высоте 202 близ Уздау. Офицеры соблаговолят быть на месте для принятия приказа”, — и в одном из уцелевших домов Уздау, под перинкой с розовой оболочкой, лёг спать. Это и был жест: командиры дивизий и подчинённых отдельных частей не смели допустить, что завтра не будет наступления, или командир корпуса не знает, что он завтра будет делать.

Важным сопутствующим жестом был и выбор места для сбора командиров: даже не высоту 202, а — мельничную, под Уздау, непременно назначил бы Франсуа, если бы не так сильно продвинулись его войска. Мельничная высота была красивейшим и виднейшим местом тут, особенно вчера, ещё с целю ветряной мельницей, когда Франсуа

по недоразумению ехал сюда, уже этой неудавшейся, но счастливой попыткой связанный с нею. Вчера же половина его артиллерии по сосредоточенной системе, впервые вводимой в эту войну, работала на изрытие этой высоты и уничтожение сидевшего тут полка. Вчера же после полудня генерал Франсуа мог видеть этот навал мёртвых и полумёртвых русских тел в окопах и по склонам высоты, первый такой артиллерийский результат во всей своей военной деятельности. (Правда, на подъёме — и немецких масса, от преждевременной атаки.) И взойдя на эту высоту с тлеющими развалинами мельницы (лишь сыростью ночи и туманом они пригасились), Франсуа понимал, что его каждый здесь шаг есть история. Отсюда начиналось и шоссе на Найденбург, которым предстояло ему совершить исторический прыжок. Здесь не пропустил Франсуа и жёлтое пятнышко в насыпной земле бруствера — и его шофёры с восторгом вытянули из земли перенесшего убийственный обстрел, целого и отлично сделанного игрушечного льва. Этого льва придумали укрепить на радиаторе одного из автомобилей и за взятие Уздау присвоить ему первый унтер-офицерский чин, в предвидении длинного пути побед, возвышающего до маршала.

Однако — ближе к переднему краю надо было собрать командиров. Да густой туман заволакивал даже и высоты, ровняя подробности. Руки скрестив на груди, Франсуа расхаживал ещё прежде назначенного времени. Его одинокость и значительность подчёркивались тем, что уже десятый день он продолжал игнорировать своего начальника штаба, отстранив изменника от всей работы.

Рано утром Франсуа и решил: из трёх подчинённых ему дивизий половиною начать наступать на Сольдау, как требует начальство, а другую половину держать для затаённого прыжка на Найденбург. (И у начала шоссе собирать передовой летучий отряд — мотоциклистов, велосипедистов, уланский полк, конную батарею.) По беспечности и молчанию русских от Сольдау он предчувствовал уверенно, что оттуда не выступит опасность ему, что тамошние русские озабочены только своим отступлением за реку.

Когда великий миг приходит и стучится в дверь, его первый стук бывает не громче твоего сердца — и только

избранное ухо успевает его различить. Хотя не доказано было с Сольдау, хотя и у Шольца, по левую сторону, неожиданная возникла ночью канонада и длилась утром — генерал Франсуа уверенно ощутил неслышимый роковой сигнал! И на свой риск выпустил летучий отряд — на Найденбург, да не прямо, а с южным обхватом: взять русские обозы, которые уже вероятно льются на юг. А прямое шоссе он оставлял для главных сил, чтобы с ними вскоре выступить.

Дела под Сольдау шли обещательно: русские отстреливались вяло, бросали город без контратак. Но тревожно продолжалась канонада у Шольца — и в десятом часу утра, разрушая планы Франсуа, удержав от самовольства в последний миг, подкатил автомобиль со срочным армейским приказом:

„Дивизия генерала Зонтага оттеснена врагом от деревни Ваплиц и находится в дальнейшем отступлении. Ваш корпус должен немедленно направить на помощь свой сконцентрированный резерв. *Это движение должно носить форму атаки.* Начать немедленно. Обстановка требует спешности. О выступлении донести.”

Нет, не родились полководцами ни Людендорф, ни Гинденбург! Рокового стука — не слышали они. Малейшая возня противника вызывала у них страх, протекающая тонкая струйка уже мнилась выбитым дном. Какое трусливое бездарное приказание — гнать его корпус в лобовую контратаку — за 15 километров уже „форма атаки”! — когда созрел и звал красивейший из обхватов!

Но, прослыв до самого кайзера в дерзких, не мог Франсуа не подчиниться.

Но и подчиниться трусливой посредственности — тоже он не мог!

Компромисс на войне — чаще гибель, чем мудрость. Однако вот был выходом только компромисс: куда указали ему, отпустил Франсуа из резерва одну дивизию. Сам же с крепкой бригадой остался на том же старте того же рывка к Найденбургу. А как только, к полудню, был взят Сольдау — с того участка дивизия тут же перетекала, восполняя резерв корпусного командира.

Так и знал он, что недолго держатся людендорфские приказы: к часу дня новый связной офицер с новым при-

казом: изменить направление посланной помощи на более восточное, более пологое.

Нет, Людендорф не был полководцем! Нельзя же водить армии с переменчиво-дамским настроением. Нельзя же послать „в форме атаки”, а потом заворачивать „более полого”. Не знал Людендорф сам, чего именно хочет, а лишь бы, не рискуя, при всех случаях сохранить престиж.

Пожалел Франсуа: не надо было и первого приказа выполнять, отменился бы сам собою.

„... Весь исход операции отныне зависит от вашего корпуса.”

Да зависел он от корпуса Франсуа с начального часа до конечного часа!

И — выпустил подготовленную бригаду с конноегерским полком — по шоссе Уздау-Найденбург! Город — взять и пройти! И как можно скорее протягивая клешню, оставляя пунктиром патрули и заставы — этим же шоссе дальше, на Вилленберг! И отряды эти тут же настичь полевыми кухнями и кормить! (Должен думать полководец о еде своих солдат.)

И сам, не очень теперь дорожа телефонною связью со штабом армии, на двух автомобилях погнал проверять, направлять ушедшие части.

На одинокой высоте в мелких соснах имел он забавную встречу с русским разъездом.

Дивизия, посланная Шольцу на помощь, по пути ввязалась в бой с русским гвардейским полком, когда к трём часам дня нагнал генерала Франсуа ещё третий приказ: эту помощь посылать совсем не надо, отменяется! А задача корпуса Франсуа, как видит её армейское командование: „преградить противнику пути отступления на юг, для чего сегодня же занять Найденбург, а завтра с рассвета двигаться на Вилленберг”.

Стратеги-стратеги, только и ждать вашего прозрения. Эх, не надо было утром раздваиваться — сколько лишних русских обозов было бы захвачено! Компромисс на войне — всегда ошибка.

И как незаметно, в смене приказов, предположений, разочарований и радостей прошёл немалый летний день! Часов около пяти пополудни конноегерский полк вошёл в Найденбург без боя и не обнаружил там русских боевых

частей, лишь тыловые учреждения и обозы. Только и защищалась узкая полоска пехоты, протянутая к северу от шоссе (под её пули из картофельного поля и сам Франсуа попал). Очень удивило генерала: насколько же русские не понимали обстановки, если даже не предполагали защищать ключевой город! И чего ж они ожидали тогда от всей войны? Как посмели на всю на неё отважиться?!

Русские обозы — вот была главная трудность продвижения корпуса Франсуа. Посланный утром летучий отряд создал обозные заторы на дорогах южнее Найденбурга, и была среди трофеев даже воинская касса с третью миллиона рублей. Ещё непроходимее сбились русские обозы в самом городе: перед сумерками въехал в Найденбург Франсуа со штабом, и автомобили его остановились сразу же. До отеля на рыночной площади пришлось идти пешком.

Отряд жандармов и батальон гренадеров (бежавший вчера из-под Уздау на 25 километров, их майор и усердствовал теперь оправдаться) обыскивали дома, чердаки, подвалы, вылавливали, вытягивали и конвоировали укрывшихся русских. Всё это делалось почти без выстрелов.

Перед отелем генералу представились вместе — немецкий бургомистр и русский комендант. Комендант доложил об окончании своих обязанностей, о состоянии госпиталей, складов немецкого же снаряжения и устройстве военнопленных. Бургомистр высоко оценил деятельность коменданта по сохранению порядка в городе, жизни жителей и их имущества. Генерал поблагодарил коменданта и просил его избрать себе комнату, где и самоограничиться в качестве тоже военнопленного. И ещё переспросил его фамилию.

— Доватур, — доложил полненький чёрненький полковник.

Рыжие брови Франсуа подвижно отозвались.

— А зовут?

— Иван, — улыбнулся полковник.

Ещё больше взвились брови Германа Франсуа и в созерцательную усмешку сложились губы.

Два рассеянных семени аристократической Франции двух времён её несчастной эмиграции, гугенотской и бур-

бонской, на минуту встретились на краю Европы, один отдал рапорт, другой отпустил его под арест.

Генералу Франсуа уже приготовили в отеле комнату. Темнело. Город гудел голосами, командами, скрипел телегами, ржал лошадьми — и в хаосе входил в ночь.

А первопосланная бригада и конные егеря в сумерках уже двигались по шоссе дальше Найденбурга — к востоку, на вторую половину замыкающего кольца.

*Ах ты, герман-герман, шельма!
Наплевать нам на Вильгельма!
А уж Франца, дурака,
Раздерём мы до пупка!*

39

Позади командного пункта Мартоса стояла на высоте чистая роща из бука и сосны, а позади неё — два фольварка. В них и поместились пока летучий армейский штаб Самсонова и сопровождающая казачья сотня.

Не отступать? Но делать было что? Офицеры штаба бродили и роптали: без телефонной, телеграфной да и нарочной связи, просто без цели и смысла они были загнаны сюда, под самые передовые позиции. Совсем рядом толклись немецкие разрывы и ахали наши орудия, отчётливо стучали пулемёты. Мюленская линия, вчера и позавчера удержанная немцами, теперь трещала в нашу сторону, одна дивизия Мартоса с обнажёнными флангами час от часу зажималась там. И Полтавскому полку было не додержаться до вечера утренние победные позиции у Ваплица. Отказал командующий отходить — но не мог же и выхода указать из этого тесного состояния. Отступление само начинало

течь, как течёт и твёрдый металл, никого не спрося, лишь свою температуру плавления.

Лишённые выразить свой ропот командующему, но и благоразумно не дожидаящие, пока тот в тугой голове будет осваивать и перемышлять, — штабные отделились теперь составлению изошрённого плана отступления (лишь *отступлением* не называя его, по предвиденью Постовского, чтобы потом не оборотилось пятном на них). На врытом столике под яблоней лежала карта, Филимонов показывал уверенной рукой, и штабные жужжали. Чтоб не оказаться потом упречным, должен был прежде всего быть гордостью оперативной выучки этот сложный план *скользящего щита*: как скользит по шкивам приводной ремень, так, сохраняя защитную стенку с запада, должны были задние с северного края по очереди переходить вперёд на юг и становиться в ту же стенку. Прежде всех под защитой стенки должны были убираться обозы, потом 13-й корпус (да, бишь, он до сих пор не подошёл, вот незадача), а тем временем 15-й должен был держать фронт (свои седьмые боевые сутки), и все обломки 23-го корпуса — тоже. Потом, оставляя Полтавский и Черниговский полки в арьергарде, должен был перескользнуть налево и 15-й корпус. (Каким неповоротливым, каким неуклюже большим кажется корпус, когда ему надо отступить!..) А как только 15-й в отходе достигнет Орлау, своего первого победного поля, он снова займёт фронт, с поворотом уже на юго-запад, к Найденбургу, а остатки 23-го проскользнут по его тылам. А тем временем 13-й, весь завтрашний день отходя тылами (сорок вёрст за сутки), в свою очередь станет ещё левей их всех — и так отпустит их отойти за русскую границу.

В стороне, под елью, на широкой грубой крестьянской скамье без прислона, сидел командующий на виду у всех, но как бы в отдельном кабинете. Золотая шашка и планшет лежали рядом с ним на скамье, фуражка снята, и возвышенно-голый лоб он вытирал время от времени платком, хотя не могло быть ему жарко в продуваемой тени, где разлит был августовский холодок. К отчаянию своего штаба Самсонов несколько часов просидел вот так — с напряжённой шеей, движеньями редкими, глазами малосмысленными, ответами приветливыми, как всегда, но

односложными. То ли он обдумывал выход за всех. То ли уже и думать забыл, что ему подчинена целая армия. Двумя разлапистыми ладонями опершись по бокам в скамью, он и полчаса мог совсем неподвижно смотреть перед собою в землю. Он — не почивал, не отдыхал, не время проводил в ожидании новостей, — он думал и мучился, непосильную думу как камень валунный удерживал на подставленном темени, оттого и пот вытирал.

Чего мог он ждать? С той стороны, куда лицо его смотрело, с северо-востока, ожидал ли он увидеть густопылящие колонны Ключева? Или даже пики конницы Ренненкампфа? Или ничего он не видел и не всматривался никуда, а только слушал, что совершалось в нём внутри, — глухая сдвижка пластов мироздания или уже гулкое рушенье их?

В ту сторону, как сидел он, опадал их холм в торфяной луг, а за ним, всего отсюда в версте, хорошо видная, приподнятая встречным склоном, шла слева направо дорога из Хохенштейна в Надрау. Целый день по той дороге редкое было движение, больше санитарное: дорога была несквозной и мало помогала 15-му корпусу. Но вот, много спустя после полудня, покатали из Хохенштейна густо телеги обоза, зарядные ящики, передки, ни одной пушки, всё беспорядочно, и тут же, вперемешку с ними, — разрозненная пехота. Солнце светило штабным из-за спины, и хорошо виделось, что это — не только не строй, а уже и винтовки брошены или на ходу бросаются, и от снаряжения облегчаются, кто как может.

И вот это бегство Самсонов, в своей теневой неподвижности как будто не видящий ничего, заметил из первых. И быстро поднялся на крепких ногах и зычно командовал офицерам штаба — скакать, бежать наперерез, задержать и восстановить порядок!

И кто больше роптал на командующего, и кто меньше, кто полковник и кто капитан, захватив казаков или только необстрелянный штабной револьвер выхватывая, побежали непробитой травяной дорожкой с холма, потом между проволочной загородью скотьевого выгона и каменной дамбою у болота — и опять наверх. Видно было, как они трясли револьверами, размахивали руками, на дороге спруживалось замешательство, задние ещё бросали сна-

ряжение, а передние понуждались его поднимать. Заскакали туда и сюда связные, докладывая Самсонову: что это бегут в беспорядке из Хохенштейна Нарвский и Копорский полки, покинув артиллерийский дивизион на позициях, без прикрытия; что пулемётная команда тоже бежала; что недостойно вёл себя командир Копорского полка; что отступающие обезумели, настроены так, что всё пропало; но действиями штабных офицеров...

и — от командующего с приказаниями: вдоль дороги произвести разборку бегущих по их частям; об обстоятельствах бегства ещё допросить старших офицеров; кого можно — возвратить в Хохенштейн, а по батальону из провинившихся полков выстроить при полковых знамёнах.

Самсонов оживился, расхаживал туда и сюда, смотрел в бинокль, и мягкий прищур его над тёмным усо-бородым низом лица обещал спокойное руководство, мудрый выход: ничто ни для кого потеряно не было, и командующий всех спасёт! Наконец-то было обретено недохватное дело — то самое, может быть, для которого утром он и выехал сюда! День ото дня всё властней его влекло выйти самому на передний участок фронта — и вот прикатил к нему фронт, в зримой версте.

Уже и лошадь оседланная ждала командующего, но долга была разборка неурядицы, два батальона долго собирались, выстраивались перед Надрау, за это время ещё сотни шрапнелей разорвались над фронтом Мартоса и произошла вряд ли благоприятная передвижка частей, сдвинулось солнце из послеполуденного в предвечернее, — когда, наконец, можно было командующему ехать к строю виновных батальонов. Он без труда поднялся в седло и поехал уверенно.

И вот стояли два батальона в ожидании генеральского суда над собой, и полковое знамя каждого было развёрнуто на правом фланге. И конный командующий, с могучей фигурой, с превосходством божественным подъехал одушевить их к воинскому чуду. Большая плотная голова его была плотно приставлена к плотному телу. Голосом густым, без напряжения сильным, в чём-то родственным русскому колокольному звону, Самсонов загудел, разлил на всю долготу строя и окрест:

— Солдаты Нарвского полка, генерал-фельдмаршала Голицына! Солдаты Копорского полка, генерала Коновницына! С т ы д и т е с ь !! Вы присягали на верность своим знамёнам! Взгляните на них! Вспомните знаменитые битвы, за которые древки их увенчаны орлами! Георгиевскими крестами!

Горше не мог он упрекнуть! Не мог он их бранить и клясть — ведь это были благородные русские люди, и к их благородству взывал он.

Но мощный голос отдельно поплыл над головами — и с ним изошла из командующего сила его уверенности. Он только что хорошо знал, что ему говорить, как вызвать чудо поворота этих батальонов, и их полков, и всех центральных корпусов, — и вдруг оборвало ему память, он потерял, что говорить дальше, — а в смутности наплыл какой-то другой случай из его жизни, как будто это уже было когда-то: едва задержанный строй бежавших солдат перед ним, только ещё раздёрганной рубахи, винтовки, котелки, ещё перекошенной и запалённой лица — и тогда... Что тогда?

Полководческое слово должно удаться, в этой военной истории. В трудный миг сам полководец обращается к войскам, и они, воодушевлённые...

— Так верните же себе солдатское мужество! Так сохраните же верность знамёнам и славным именам, носимым...

Нет, слово — потеряно было, не находилось. Ну, ещё: как же они могли? как могли они так позорно... ?

Полководческое слово ту особенность имеет, что оно призывает к действиям одноуказанным, что оно не терпит возражений от слушателей и не ожидает встречных сведений. Хотя и спрашивал Самсонов, как, но — не как плохо пришлось каждому стоящему здесь офицеру и нижнему чину.

А мог бы штабс-капитан Грохолоц, даже и в позорном строю молодцеватый, с усами взвинченными, объяснить и ответить резким голосом с прифыркиванием: как совсем неплохо простояли они ночь в охране по ту сторону Хохенштейна, а утром по приказу Мартоса ещё и ходили в атаку, помешали противнику загнуть охват на фланге 15-го корпуса; но потом попали под огонь батарей больше

дюжины, под огонь, которого, может быть, сам командующий никогда не испытал, — в огневые клещи с трёх сторон, а своих батарей было только три и снарядов скудно; и так они отступили в город, и ещё держали его — но и патронов уже не хватало, и не шла обещанная помощь остального 13-го корпуса; а противник стал давить на Хохенштейн концентрически, с трёх сторон, от юго-запада и до востока, прорывалась немецкая конница их отрезать, а они всё стояли, и спасал их какой-то русский пулемёт с городской башни — да по наступающим немцам. И вот уже пыль ожидаемая поднялась с северо-востока, но то не Ключев шёл, а враг, — и лишь тогда батальон побежал...

Да и Козеко, моргавший в задней шеренге, мог бы жалобы свои командующему интимно наговорить: как не могло завершиться иначе, чем бегом убежать из Хохенштейна; как худо досталось, и как страшно представить себя окровавленным, разорванным или с проколом штыка через глаз; а исчезновением своим, хоть и в плен, перепугать светика-жёнущку; как уже навидались они трупов за эти дни, не радуясь и немецким, а свои сегодняшние не счесть. Сколько жертв? и зачем? и — оправдано ли?..

А рядовой Вьюшков, чуть одним глазом из-за чужой головы выглядывал: на то вы и поставлены, чтоб нам проповедывать; на то и голова у нас, чтоб знать самим.

А Наберкин на маленьких ножках: да уж больно шибко бьют, ваше высокопревосходительство! К такой ведь шибкости никто не привык.

А Крамчаткин в первой шеренге, прямо перед генералом, так и вытянулся в сто жил, так и голову запрокинул каменно, так и ел генерала глазами выпученными, радостными: что умел, то показывал, а другого смысла не содержал.

И этого достойного воина, с обещанием и верностью обращённого, не мог не заметить генерал — и силу зачерпнул в верности его.

— Я — о т р е ш а ю командира Копорского полка! Новый командир поведёт копорцев в бой — вот этот полковник, Жильцов! Я знаю его с японской кампании, он храбрый солдат. Идите смело за ним и будьте достойны...

На крупном коне крупный генерал — он хорошо си-

дел, он был как памятник. И поднял руку в сторону Хохенштейна. Запевала, по знаку, сокольным взлётом начал походную песню. Батальоны повернули и зашпатыкались дорогой, обратной своему бегству. (А с Жильцова командующий взял слово, что тот не отступит без приказа.) И Самсонов теперь тоже повернул к штабу.

Но... чего-то он не договорил. Он не остался доволен речью. Он, кажется, говаривал и лучше. Главное дело целого дня как будто не состоялось.

И Самсонов огрузнел, ослабел в седле. А поднявшись на холм и видя Мартоса, выезжающего из рощи, — всё того же гибкого, а вот уже и усталого Мартоса, — командующий мгновенно созрел к согласию, которого утром дать не мог. Десять минут назад, подъяв полководческую руку, что указал он батальонам? Не отступление же, нет! А вот в сероватой тени рощи, в загороже от закатного солнца встретил измученные красные глаза Мартоса — и сразу уже был согласен. Ещё не выслушав Мартоса, как сами потекли его полки, сами сдвинулись с места командные пункты, сами замолчали телефоны, какие ещё командиры из лучших убиты за эти часы, — уже был согласен. Батальонам бежавшим произнёс речь — и стал согласен с ними...

Величайшее решение его жизни было принято в единую минуту и как будто даже не потребовало душевного труда. Но когда и как это вступило и повернулось? Все движенья и расположенья, две недели имевшие такой настойчивый связный смысл на картах, — когда ж получили смысл обратный? Будто север стал югом, восток — западом, всё небо повернулось на вершинах сосен, — когда и как Самсонов проиграл сражение? Когда и как? — он не заметил.

А уже подносили ему разумный стройный план *скользящего щита* — и в нём тоже было круговращение, повтравшее вращенье неба.

И ища опоры в этом вращении, Самсонов положил тяжёлые доверчивые лапы на острые плечи своего теперь любимого командира корпуса, не оцененного в первые дни:

— Николай Николаич! По плану ваш корпус завтра станет у Найденбурга. Там будет решаться всё. И Кондратович должен быть где-то там. И Кексгольмский где-то

полк. Вы распоряженья по корпусу отдайте, да поезжайте-ка сами вперёд — на разведку и выбрать позиции для самой упорной защиты города.

Это было высшее доверие командующего: опять на Мартоса ложился главный камень.

Но Мартос — не понял: его отрешали от корпуса?? За что же — от корпуса? За что же — без корпуса? Только от права — назначить, послать?.. Да командующий сам понимал ли, что делал?!

— И — поспешите, голубчик. Завтра там будет решаться всё. И мы тоже поедem туда.

Найденбург, покинутый утром как бремя, теперь представлялся ключом вызволения.

Добрым движением в напутствие целовал Самсонов Мартоса. И ломал.

И что бурлило в Мартосе эти дни — вдруг иссякло. Из прута стального он стал тростинкой. Сказано — и покидал свой корпус, и ехал, куда велят.

А уже смеркалось. Разослали приказ. (В 1-й корпус — капитана: наступать немедленно на Найденбург. А 6-му, что ж, 6-му удерживаться... во что бы то... А непришедший 13-й? Теперь становился от Мартоса независим.) Вот готовы были и штабные. Убеждали они командующего ехать в Янув. Самсонов: только к Найденбургу.

Сегодня утром невыносимый, сейчас манил этот город, хотя б и погибнуть у его стен.

Тогда натеснились штабные, что сегодняшняя утренняя дорога уже кружна недостаточно, надо ехать ещё кружней.

Захлопал противник шрапнелями почти над головою штаба, огнистые вспышки уже хорошо виднелись в полутьме. И в Надрау, куда ехать было неминуче, зажёл фугасами два дома. В Надрау застучали пулемёты — кто? по ком? — расколыханная сумятица несчастного дня. При пожарах видно было перебеганье. Или убеганье?..

Потом стихла стрельба. Никем не тушимые, играли зарева. Днём незаметные, завыли собаки.

День Успения кончился, и вопреки непонятому сну — жив был Самсонов, не умер.

Жив был генерал Самсонов, но не армия его.

В трёхлетней войне, надорвавшей народный дух, кто возьмётся указать решающее сражение? Бесчисленно было их, больше бесславных, чем прославленных, глотавших наши силы и веру в себя, безотрадно и бесполезно забиравших у нас самых смелых и крепких, оставляя разбором пожиже. И всё-таки можно заявить, что первое русское поражение в Восточной Пруссии как бы продолжило череду невыносимых поражений от Японии и задало тот же тон войне начинающейся: как начали первое сражение, не собравши разумно сил, так и никогда впоследствии не успевали их собрать; как усвоили впервые, так и потом бросали необученных без отдышки, сразу по подвозу, затыкали, где прорвало и текло, и всё дергались вернуть утерянное, не соображая смысла, не считая жертв; от первого раза был подавлен наш дух, уже не набравший прежней самоуверенности; от первого ж раза скислились и противники, и союзники — каковы мы вояки, и с печатью этого презрения провоевали мы до развала; от первого ж раза и в нас заронилось: да те ль у нас генералы? справны ли?

Не позволяя себе ни взмаха выдумки, коль можно точно собрать и узнать, держась к историкам ближе, а от романистов подальше, разведём руками и заверим единожды тут: так худо сплошь мы б не осмелились придумывать, для правдоподобия распределяли бы в меру свет и тень. Но с первого же сражения мелькают русские генеральские знаки как метки непригодности, и чем выше, тем безнадежней, и почти что не на ком остановить благодарного взгляда, как на Мартосе. (И тут бы утешиться нам толстовским убеждением, что не генералы ведут войска, не капитаны ведут корабли и роты, не президенты и лидеры правят государствами и партиями, — да слишком много раз показал нам XX век, что именно они.)

Какому же романисту можно бы поверить, что корпусной генерал Клюев, поведший центральный корпус

глубже всего в Пруссию, *никогда* прежде того не воевал?! Нет оснований предположить, что Ключев был глуп, отчего ж, не без уменья, не без ловкости: зряшную опоздавшую гоньбу своей дивизии к Орлау сумел в донесениях так изобразить, что в докладе Верховному и даже императору был представлен победителем под Орлау не Мартос, а он: это *он*, угрожая охватить фланг противника, заставил того отойти; и в мемуарах из плена подточил, подвязал, подплёл всё так, что виноваты все кругом, а не Ключев. И нет у нас прямых сведений, что Ключев был дрянной человек, а по опыту многих других примеров не сомневаемся, что нашлись бы обеляющие искренние свидетельства, что он был хороший семьянин и любил детей (особенно своих), и был застольный приятный собеседник и может быть шутник. Но: никакими добродетелями не загородится, не оправдается тот, кто взялся вести судьбы тысяч — и худо вёл их. Пожалеем солдата-новичка под первыми пулями и разрывами в захвате злой войны, а генерала-новичка, как бы ни было муторно ему и тошно, — не пожалеем, не оправдаем.

Вот действия генерала Ключева. Почти весь день 14-го пробыв своим корпусом в Алленштейне, на самом дальнем выступе самсоновской армии, он не пытается на местности разведать, есть ли противник от него справа, впереди, слева, где и сколько, — но просит штаб армии сообщить ему это всё из Найденбурга. Шифрованную искровку от Благовещенского его штаб расшифровать не сумел. Уверенный, что с востока не может к нему идти никто, кроме Благовещенского, Ключев послал туда лётчика с открытой ориентировкой, что 15-го выступит на запад к Хохенштейну. Лётчик летит доверчиво низко над немецкой колонной, сбит, — и ещё 14-го фон-Бёлов узнаёт о намерениях Ключева. Однако в Алленштейне так хорошо, удобно расположились, войны нет, — и в ночь на 15-е Ключев отказывается от прямого приказа двигаться на помощь Мартосу — потому ли, что жалеет своих солдат? нет, своего покоя нарушать не хочет и лишнего риску от ночного движения. Не выступает он и на раннем летнем рассвете, как обещал Мартосу, — но лишь в 10 часов утра 15-го августа. Покидая Алленштейн, он объявляет об этом открытую радиограмму, сообщая чужим заодно со свои-

ми маршрут, рубежи и сроки своего движения на помощь Мартосу. У Ключева осталось шесть полков, он щедро раскидывается ими. Охранять Алленштейн „до Благовещенского” он оставляет (на погибель) две тысячи — батальон дорогобужцев и батальон можайцев. Вытянув корпусную колонну на юго-запад по шоссе на Хохенштейн, он скоро покидает в смертном арьергарде и остальной Дорогобужский полк, обнаружив за собой преследование почему-то. (А — по ключевской же радиограмме, перехваченной немцами в 8 утра. Пospешили немцы бросить преследователей в спину Ключеву, никак не привыкая, что русские всегда опаздывают, и где Ключев грозитя быть в полдень, он дотянется только к вечеру.) Когда с grisлиненских высот открывается Ключеву Хохенштейн — тот самый узел и город, который и должно удержать в помощь Мартосу и где уже томятся его собственный Нарвский и Копорский полки, — Ключев останавливается ж д а т ь. Ждёт ли он, чтобы подтянулась вся колонна? Колеблется ли, как верно истолковать, кто же именно там, в Хохенштейне, за четыре версты? (А нарвцы и копорцы из городской котловины принимают собственный корпус на высотах за густеющих немцев.) Разворачивается и новый (немецкий) отряд между ним и Хохенштейном — Ключев не препятствует. Ждёт он более ясных событий? Или нового приказа?

Единственное, в чём распоряжается он: посылает свой головной Невский полк — в сторону, в целодневный ненужный бой в густом лесу Каммервальде. И негодный Первушин ведёт туда полк, не получив артиллерии, лишь с пулемётною ротой. Ведёт своих невцев на тот особенный лесной бой, когда ни вперёд, ни по сторонам не видно дальше двадцати шагов, нельзя понять, откуда несутся пули, когда выстрелы особенно громки и зловещи, по верхушкам леса идёт ураганный треск от шрапнели, пули с шумом расщепливают деревья и кажутся разрывными, а рикошеты — новыми выстрелами; когда ранят и отщепки деревьев и сами падающие стволы; когда свои стреляют через головы своих и гибнут от собственных пуль, теряют голову даже храбрые солдаты и всё сбивается в кучу. И в этом бою Невский полк час за часом теснил подбывающих до дивизии немцев (и

штаб дивизии разогнал, оставив генерала при восьми солдатах), пробился несколько вёрст лесной густоты — к сумеркам на западную опушку, победителем. Но вся победа была не нужна, и не нужен лес, и скомандовано ему уйти.

Ещё утром марш 13-го корпуса можно было понимать как вектор наступления. Но в полудневном топтании на грислиненских высотах корпус без выстрелов, без действий, незаметно, в никакую минуту, обращался в кучу рухляди. На помощь ли близкому Мартосу (от него приехал офицер и звал), или хотя бы себя спасти, не тратя часу — на юг, пока свободны межозёрные проходы, — но надо было двигаться! А Ключев промялся в нерешительности весь успенский день до вечера — и там же встретил ночь.

За время этого топтания нарвцы и копорцы бросили немцам Хохенштейн и побежали на юг. За время этого топтания были накрыты, посечены конницей и расстреляны в Алленштейне два покинутых арьергардных батальона (стреляли и жители из окон, и пулемёт из „дома умалишённых, просят не беспокоить“). Разумно посланные утром на отход тылами, обозы корпуса были за это время захвачены, а прикрытие перебито. Обеспечивая никчемное перемирие корпуса, перемолачивался Невский полк в лесном бою. А более всего обеспечил безопасность — не отхода, не спасенья, но топтания ключевского — в десяти верстах за его спиной покинутый арьергардный Дорогобужский полк.

Дорогобужскому полку тремя неполными батальонами выпало вести арьергардные бои недолго после выхода из Алленштейна. Ни рубежей, ни сроков не указал штаб корпуса полковнику Кабанову, а: вести арьергардные бои, пока не снимут. Очень вероятно, что полковник Кабанов имел весьма холодное суждение о генерал-лейтенанте Ключеве, о его распоряжениях и планах, но это не могло оказывать никакого влияния на солдатский долг Кабанова сегодня. Его было дело одно: судить, где и как лучше и дольше задержать нападающего противника. И — задержать.

Мы, в повседневной жизни всегда руководствуясь соображениями своей сохранности, оставляем в стороне

эту загадку профессиональных военных и других людей долга (как будто не из нас же получают такие люди при твёрдом воспитании): как неуклонно они переходят в неестественную готовность умереть и в саму смерть, такую преждевременную и постороннюю им по планам их жизни? Как это: человеческое существо перестаёт отвергать смерть? Всегда во всякой армии есть эти удивительные офицеры, в ком сгущается вся высшая возможная стойкость мужского духа.

Но в такие минуты, как в Успеннин день — Кабанову, уже не это сомнение и решение очевидно представляется главным (если ты военный по профессии, тебе и умереть по профессии, рано или поздно). Очевидно, свою собственную жизнь Кабанов без колебания тут же бы и отдал, если бы этим мог задержать врага. Но — всех солдат своих ему надо было для того, и мало ещё, потому что противника шла внагон дивизия. И если посетили сомненья Кабанова, то могли быть только такие: ему доверенным, его родным полком — жертвовать ли для спасения главных сил корпуса? или стараться самый этот полк спасти? Тяжесть в том, что командиру полка надо принять роль рока для своего полка: это он должен был вынести полку смерть. Артиллерии Кабанову не оставили. Патронные двуколки исчезли, не дойдя до этого места. Патронов так не хватало, что из четырёх пулемётов можно было действовать лишь одним. Скоро и для винтовок должно было их не хватить. На четырнадцатом году Двадцатого века оставался дорогостоящим против немецкой артиллерии — русский штык. Полку, очевидно, предстояло погибнуть, и этот приговор каждому дорогостоящему ложился на совесть командира полка — но так, чтоб не обременить ясности его решений: где выбрать рубеж, где поставить засады для штыковых атак накоротке, как дороже себя отдать и больше выиграть времени.

Такой рубеж Кабанов выбрал у Деретен, где и высоты стояли благоприятно, один фланг замыкало большое озеро, другой — небольшие озёра цепочкой. Там дорогостоящие стали и держались всю солнечную вторую половину дня и светлый вечер. Там кончились у них и все патроны, там трижды всем полком ходили они и в штыковые контратаки, убит был, в пятьдесят три года, и полковник

Кабанов, и в ротах осталось менее одного солдата из двадцати.

И это чудо — ещё большее, чем стойкость офицеров: что солдаты, наполовину запасные, месяц назад пришедшие на призывные пункты в лаптях, ещё со свежим ощущением своей деревни, своего поля, своих помыслов, своей семьи, напротив, ничего не понимая, не зная во всей европейской политике, и этой войне, и этом армейском сражении, в задачах корпуса, даже по номеру им не известного, — не разбежались, не схитрили, не уклонились, но силой неведомой перешли ту грань, до которой любишь себя и родных, и надо сохраниться, — перешли, и уже себе не принадлежа, а только долгу жестокому, три раза поднимались и шли на огонь с беззвучными штыками. Переставьте этот полк вместо Нарвского в пустой богатый Хохенштейн — и так же, очевидно, они бы там добычничали и пировали (да за неделю до того в Вилленберге они уже пили и лили спирт). Перенесите нарвцев на место дорогобужцев на этот неумолимый рубеж (но, с Толстым не смеясь, дайте им Кабанова и его батальонных командиров) — и взойдут они на то возвышение, где простых мужичков мы начинаем понимать богатырями.

Отрезано: такие ж как мы, другие — уходят, уйдут, вернутся домой, а мы — не должники их, не родственники, не кровные братья, останемся умереть, чтоб они жили после нас.

Что в тот день передумали обречённые, взглядывая в небо голубое, а чужое, на чужие озёра и чужие леса? — то там осталось, погребено в русских братских могилах, которые, при немцах, и до второй войны ещё сохранялись под Деретеном.

Как он выглядел, полковник Кабанов? По неизвестности подвига или трудности достачи нигде не была напечатана его фотография, а тем более — ни одного из нижних чинов, которых вовсе было не принято изображать в газетах, журналах, да и неохватно по их численности, лишь тогда уместной, когда надо стоять насмерть. Чо-хом на всех отпустила пресса „серых героев” — и рассчитались. Фотографий — нет, и тем горше жаль, что с тех пор сменился состав нашей нации, сменились лица, и уже тех бород доверчивых, тех дружедюбных глаз, тех нето-

ропливых, несებაлюбивых выражений уже никогда не найдёт объектов.

Никто не прислал сказать, что задача полка выполнена, можно отойти. Дорогобужский полк погиб, немногие вышли. Десять солдат понесли своего убитого полковника и знамя. Достоверно известно, что атаковавшие от Алленштейна немцы так и не продвинулись до глубокой ночи, до законного сна.

Сколько бы Клюев ещё стоял, но близ полуночи провалился на копытах приказ из армии:

„Для лучшего сосредоточения частей армии и снабжения всеми видами довольствия, 13-му корпусу в течении ночи отойти в район ... , воспользовавшись проходом между озёрами ... ” (и назывался проход, накануне упущенный, а сегодня никак уже было туда не повернуть).

Слава Богу, ничего не поминалось обо всех боевых задачах вчерашнего и прежних дней. Рука Постовского, как добропорядочно: будто течёт счастливое мирное время, и вот для лучшего продовольствования удобно 13-му корпусу перепрыгнуть за ночь за двадцать вёрст через семь озёр в крохотную деревню из десятка домов — и там всё найдётся.

А продовольствоваться было нелишне: за минувший день, выйдя из Алленштейна, корпус ничего не ел.

Спасаться! Пришло время спасаться, и вот приказ давал право спасаться, это Клюев понял хорошо.

И — случайными дорогами, другими проходами, где и впритирку к противнику, повалил беззвучно корпус.

Уже не корпус, а три полка из восьми: истрачены были все остальные. Каширский полк с 16 орудиями оставлял Клюев под Хохенштейном ещё на один арьергардный бой, ещё один полк на уничтожение. Невский полк теперь должен был бросить свою победную позицию и ломиться ночью назад через лес, завоёванный днём. А сапёрную роту штаб корпуса просто з а б ы л. Предстояло ей, проснувшись, увидеть, что она одна, куда идти — не сказано, кругом враг, — а после этого уже не многое увидеть.

*
* *

*Ты заржи, мой конь,
Громким голосом,
Услыхал бы мой
Родный батюшка,
Сказал бы он моей
Родной матушке;
Сходила бы она
На сине море,
Достала бы она
Со дна морской песок,
Посеяла бы в зелёном саду
На кирпичике;
И когда тот морской
Песок взойдёт,
Тогда родный её сын
Домой воротится.*

41'

(15 августа)

Генерал-квартирмейстер Верховного главнокомандующего генерал Ю. Данилов, по посту — третье лицо в российской армии, а по участию в руководстве — первое, все последние дни трудолюбиво разрабатывал важные вопросы: составлял проект немедленного обращения завоёванной Восточной Пруссии в отдельное генерал-губернаторство (и генерал-губернатором предназначался многоизвестный генерал Курлов, о нём речь впереди); скорейшего окончания военных действий в ней и переброски освободившейся армии Ренненкампа — за Вислу, для операции в сторону Берлина. Для этого Данилов просил Северо-Западный фронт уже сейчас озаботиться переброской одного корпуса от Ренненкампа к Варшаве.

Начальник штаба фронта Орановский не мог этому противостоять возразительно, ибо всякое возражение снизу вверх всегда подрывает положение и успешность возражающего, и уже отдавал распоряжения о возврате того корпуса к железной дороге. (Ренненкампф, неверно истолковав ночной приказ идти отчасти и на помощь к Самсонову, углубит в Пруссию этот корпус и получит серьёзный упрёк за такой служебный проступок.) Не смел Орановский сколько-нибудь настойчиво доложить наверх и о тревоге, начавшей поселяться в штабе Северо-Западного. Доложено было о некотором потеснении 1-го корпуса под Сольдау *в недостаточном порядке*, о внезапном появлении перед Второй армией корпусов Франсуа и Макензена, которые исчезли перед фронтом Ренненкампфа, — но Ставка ничем этим озабочена не была, и в ночь с 15-го на 16-е в длительном аппаратном разговоре Данилов добивался от Орановского, по своему ещё новому проекту, скорейшей переброски гвардии из-под Варшавы на австрийский фронт, а о Самсонове заметил беспечно, что у него — до пяти корпусов, обойдётся.

Беспокойство этого дня Жилинский и Орановский издёргали бы на Самсонове, но к досаде их, а отчасти и к облегчению (теперь будет сам во всём виноват), Самсонов снял проводную связь. На том они и успокоились. Штаб фронта имел и конницу, и автомобили, и летательные аппараты — но не сделал никаких попыток найти утерянные корпуса, ни — взять в свои руки корпус Благовещенского и бывший артамоновский и толкать их на помощь ядру Второй армии: то было бы для штаба фронта слишком хлопотно, да и унизительно, по службе они не обязаны были.

Тем временем правофланговый корпус Благовещенского жил отдельной жизнью, как если бы не составлял никакого фланга никакой армии и не был перед ней ответственен. Самопроизвольно, неостановимо он откатился почти к русской границе, и вот уже никому более не мешал, никого не трогал, вышел пока из войны. Генералу Благовещенскому, счастливо не отрешённому от корпуса на сутки раньше Артамонова (а всё — благодаря задержке и умелому составлению донесений!), — после этого страха 13 августа, внезапного столкновения с германцами, о чём не предупредило его высшее командование, после страха попасть в плен в Бишофсбурге или быть убиту под Менсгутом, после нескольких кошмарных отступлений 14-го августа и даже 15-го на рассвете, когда волна ужаса подхватывала и несла весь корпус, — потребно было время для излечения нервов, а тем более в 60 лет: пожить без раздражительных приказов извне и самому не тратиться на их создание. Слава Богу, никем уже не преследуемый и оторванный от телеграфов и телефонов, Благовещенский и сам имел время очнуться и дать очнуться корпусу. Он не велел держаться и за Ортельсбург, узел шоссейных и железных дорог, а обтечь его в пожаре, отдать его без боя — и отходить далее, в сторону от дорог, в места глухие.

Как хотел Благовещенский, чтоб не вернулись его драгуны, ночью посланные с донесением к Самсонову! — не то, чтоб их убили, нет, но чтоб задержали при штабе армии, присоединили к какой-

нибудь другой части. Пусть бы и вернулись они с приказом, но не сегодня, а завтра, послезавтра, дали бы переспать и духом укрепиться в покойном уголке. Увы, напрасны надежды! — неутомимые драгуны пробрались по чужой земле полсотни вёрст назад и 15 августа в полдень привезли собственноручные крупноразмашистые строчки командующего: „Удерживайтесь во что бы то ни стало в районе Ортельсбурга. От стойкости вашего корпуса зависит...”

Эк, куда! — тут уже от Ортельсбурга 20 вёрст!.. Благовещенский с глубокой горечью прочёл, перечёл, ещё перечёл неисполнимый приказ. Он вызвал штабных и обстоятельно обсудил с ними, по каким причинам совершенно невозможно выполнить этот неприятный приказ.

И решился Благовещенский во здравие вверенного ему корпуса (и к облегчению многих подчинённых) исправить распоряжение командующего армией: всем корпусом никуда не двигаться не только сегодня, но и на завтра объявить днёвку. И кто только должен был силы положить, это сам Благовещенский: составить пристойное, убедительное донесение, почему был брошен Ортельсбург и иначе быть не могло: „...Подходя к Ортельсбургу, обнаружили, что весь город горит, зажжённый жителями. Конечно, это была подстроенная ловушка. Оставаться на высотах я признал невозможным и отозвал корпус к югу.” А ещё добавить: „Люди утомлены, ходатайствую дать отдых.” И ещё умение: не отсылать бумаги (на конях до русского города, а там телеграфом) точчас, а выждать следующего утра, когда днёвка уже начнётся, тогда и послать.

Что же до левофлангового русского 1-го корпуса, где Артамонов был смещён, но властно присутствовал, Масальский, оглядываясь на него, перенимал командование на сутки, а Душкевич лишь теперь догонял и принимал, — корпус этот, без единой воли, угнетённый своим отступлением, тоже без преследования втягивался в инерцию безопасного отката — за русскую границу, к Млаве. Русская граница — хотя не крепостная линия, не линия окопов, лишь условная черта на земле, — как будто оберегала от немцев, успокаивала. Знали в корпусе, что Найденбург уже у немцев. Но вся дюжина генералов, преизбывавшая тут, не имея неуклонного приказа действовать решительно — действовать решительно не могла.

Так в день 15 августа с русской стороны было сделано всё, что требовалось для торжества противника, для танненбергского реванша. И только назначенные в жертву центральные корпуса не вели себя покорно. Кексгольмский полк, лишь в середине дня впервые достигший передовой, к вечеру потерял уже больше половины состава. Бой под Ваплицем сорвал „узкий” план окружения под Хохенштейном. Все бои этого дня в центре либо были выиграны русскими, либо не были выиграны германцами. Но в карусели боёв так оборачивается лицо войны, что выигранное отличными полками тут же разматывается в прах негодными корпусами и армиями. С каждым боем, тактически выигранным в центре, русские всё больше проигрывали этот день, всё больше ссывались в погибель.

Однако с немецкой стороны не так ясно ещё это было видно. Кровавопролитные наступления корпуса Шольца шли в каких-то нелепых неудачах, когда не сходится то, что сойтись обязано. То и дело свои повернувшие эскадроны принимались своею пехотой за русскую конницу и тяжело обстреливались, даже до рассеяния. Своя артиллерия обстреливала свою пехоту. Попадали под внезапный фланговый обстрел русских и отбрасывались. Бившийся день, почти не продвигались. Из-за утренней неудачи под Ваплицем потеряли темп почти всех частей. Одну из шольцевых дивизий потеряли в утреннем тумане и несколько часов не могли найти. А в лесу Каммервальде была растрёпана Невским полком другая германская дивизия и штаб её. И даже сами Гинденбург и Людендорф в своём автомобиле в этот день попали под Мюленом в скоротечную панику, возникшую... от русских пленных: несли санитарные роты и артиллерийские парки с криками „русские идут!“. Весь день проопасались соединения Ключева с Мартосом. Генералу Франсуа не велели окружать, но идти на выручку в центр. А корпусные фон-Бёлов и Макензен весь день провели в споре, кому идти на Хохенштейн, а кому на юг. Макензен, как старший по чину, приказал Бёлову очистить дорогу для своего корпуса. Бёлов не подчинился. Послали авиатора в штаб армии на разрешение спора. Тогда Макензен вообще перестал куда-либо двигаться и объявил своему корпусу днёвку. Лишь к четырём часам пополудни нашёл Гинденбург телефонный путь к Макензену и приказал ему двигаться на юг, на окружение. Но часу не прошло от этого телефонного звонка, как пришлось отказываться от идеи окружения и поворачивать и Макензена, и Бёлова — против Ренненкампа: дошли сведения (ложные), что три корпуса Ренненкампа и конница движутся на запад. А германские корпуса были все в разбросе и повёрнуты спинами к новой опасности. („Ренненкампу стоило только приблизиться, и мы бы ли бы побиты“, — пишет Людендорф.)

На самом же деле на этот день главный приказ Ренненкампу от Жилинского был: приступить к обложению-наблюдению Кёнигсберга. Но в ночь на 15-е, посещённые всё же тревогой о непонятности на самсоновском фронте и появлении там новых германских корпусов, Жилинский-Орановский дали Ренненкампу телеграмму: идти левым флангом в сторону Самсонова и выдвинуть кавалерию. Уважая сон генерала Ренненкампа, эту телеграмму доложили ему только в шесть утра. Он разослал приказания, однако главные силы конницы (Хан Нахичеванский) сумели шевельнуться лишь к *вечеру* 15-го; генерал Гурко был ближе к сражению, но и он не прикоснулся к нему: его глубокий, но поздний рейд к Алленштейну только доказал, как легко Ренненкамп перед тем мог вмешаться и переменить всю битву.

А тем временем в штабе Прусской армии уже пересоставлялся приказ на 16-е августа. Об *этом* приказе Людендорф не вспоминает в мемуарах, а между тем, считает Головин, приказ этот был отлично сработан, по всей науке: наименьшими возможными перемещениями корпусов Макензена и Бёлова создавался новый фронт

против Ренненкампфа, а корпуса Франсуа и Шольца, преследуя и огибая Самсонова, одновременно заводили невод, полумешок, и на подходящего Ренненкампфа. Но в приказе уже не было окружения самсоновской армии.

Вечером этого дня прусское командование, хороня мечту о Каннах, доносило в Ставку: „Сражение выиграно, преследование завтра возобновляется. Окружение северных корпусов, возможно, более не удастся.”

В решении Гинденбурга-Людендорфа содержалась верная победа средних людей. Лишь не было блеска интуиции.

Эта интуиция светилась у своевольного Франсуа, вероятно, не ведавшего о совете Льва Толстого, что „бессмысленно становиться на дороге людей, всю свою энергию направивших на бегство”. И сверх приказа гнал и гнал Франсуа своих уланов, самокатчиков и блиндированные автомобили через Найденбург — и дальше на восток, к Вилленбергу!

Да строптивый Макензен, чертя от смены армейских приказов, обиженный, как решён его спор с Бёловым, снял связь якобы *перед* последним приказом и, уже недоступный изменениям и поворотам, повалил на юг — к Вилленбергу же!

Не забудем и бесперебойные германские интендантства, при которых, во всех перепрыгах, германские части не терпели недостатка ни в чём: всегда сыты, снабжены и вооружены.

Обходить Москву, прощаясь, — непосильная задача, даже и для молодых неутомимых ног, даже если только по главным местам. С каждого перекрестка — три-четыре пути, за каждой неизбранной улицей — свой потерянный обход. С утра побывали в канцелярии Александровского училища, где назначили им ещё к вечеру, потом последний раз в Университете, и на том дела кончились, всё остальное — прощальное, ненаправленное, для сердца только. И москвичи-то ненастоящие, приезжие, а как защемило, закружило — Москва-а-а, бросать не хочется, покидать больно. На просторных площадках у Храма Спасителя и всеми заведено здороваться-прощаться с Москвой. А оттуда только вдоль набережной сразу видишь два и три десятка конических вершин — домовых наверший, колоколен, кремлёвских башен. И-и потянули сами ноги

по набережным, а набережные во сто шагов ширины, и что видно от домов и что видно от парапета — это разное. Приглашают мосты направо, там Третьяковка, да ведь времени нет, да хоть бы руками дотронуться до узорочной стенки, похлопать, погладить. Тогда через Кремль! — уж это единственная прогулка, уж такой нигде, а за делами вечно некогда, минуешь — но сегодня-то!.. Кремль — город в городе, и Китай-город — в городе город, и Варварка, Ильинка, Никольская, плотно насыщенные резными и лепными домами, на каждом изломе — церквями, сегодня переполненными по Успеньеву дню, и по два монастыря ещё на каждой, зовут, обещают, кто боярские палаты, кто купецкую торговую тесноту. Знаешь, а может и хорошо, что никогда ни по какому плану Москва не строилась? городил каждый, как смыслил, и всякий уголок непохож на другой, и в этом она, Москва? Нам бы ещё и на бульвары, нам бы ещё и на пруды, нам пройти поклониться мимо Художественного, а в Охотном ряду по дороге брюхо набить, а потом бы по всем, по всем арбатским переулкам, — да когда же, слушай? ведь на Знаменку опять — за бумагами. А как у Пушкина не побывать на Страстной? На трамвай садиться? — это не мы, так не прощаются со студенческим прошлым. Уже — прошлым? уже мы не вернёмся? Нет, мы вернёмся! (Кто-то не вернётся, но неужели — мы?..) А будем ли ученье кончать? Непременно будем, а как же!..

Что за чудо быть студентом в России! — кажется: все тобой любуются, все к тебе приветливы, открыты тебе все пути жизни!

Но — уходило... Последний день.

Оставались милые камни, оставались! И легки под подошвами уходящих становились тротуары и мостовые, как если б не во всю силу тяжести ступала на них нога. Саня и Котя, так недавно вышедшие на первую московскую вокзальную площадь робкими южными парубками, за два года узнали Москву, полюбили, а вот уже в чём-то и превзошли её — и в этом своём превосходстве над ней особенно великодушно любили её сегодня.

Но был и ещё оттенок в сегодняшнем обозрении Москвы: что как-то не очень она почувствовала войну, не ждала в ней рока. Если не знать о войне и не прищуривать-

ся близко к объявлениям, кое-где расклеенным, не заметить команду из запасного полка, прошагавшую в баню, так пожалуй и не догадаешься вообще, что Россия уже четыре недели воюет: публики и экипажей с московских улиц нисколько не отбыло, не потемнели ни лица, ни цвета одежд, так же весело пошумливала и красилась витринами торговля, разве только добавилось на улице военных, да кое-где флагов и портретов царя, не снятых после его недавнего пышного приезда в Москву. И все эти наблюдения Котя и Саня тоже живо сообщали друг другу, и только шевеленье последнего вывода, растущего отсюда сомнения, бороздящего в каждом из них, они не высказывали вслух: а — не поторопились они опрометчивой волей исключить себя из этой наполненной неопечаленной жизни? Естественно уходить в Действующую армию из Москвы рыдающей, траурной, гневной, — а из такой живой и весёлой не поторопились ли? Но пока это сомнение шевелилось неуверенно и немо в глубине груди, оно ещё не существовало. Вот если вслух произнести, то дать ему рост и сделать больно другому из них, кто по благородству так не подумал. Особенно Котя не мог этого произнести, потому что вышел бы упрёк Сане: зачем он приехал к нему в Ростов? зачем задал вопрос, не пойти ли добровольцами? — ведь первый задал он. Другое дело, что Котя на лету подхватил: правильно, идём! До приезда Сани, он, честно говоря, не думал так, но тут во мгновение осенило его, что — правильно, конечно надо идти, идём, мама будет решительно против, а всё равно идём! (Так решительно против, что было подряд двенадцатичасовое слезоговорение и нервоистязание, и крепкую мощную маму Котя оставил в упадке бесчувствия.) И ещё сегодня утром в канцелярии военного училища не поздно было отступить (но невозможно друг перед другом!), а сейчас уже поздно, поздно.

И друзья только беззаботней обычного делились мыслями — всеми остальными, и смеялись.

Второй раз в канцелярии им дали отправные бумаги в Сергиевское училище тяжёлой артиллерии, как и хотели они, и назначили, в котором часу завтра утром явиться, что с собой иметь, чего не иметь, — и уже перезывался вечерний колокольный звон, когда от mnogой ходьбы с

приятным зудом ног они пошли через Арбатскую площадь к Никитскому бульвару. Между островками зоологического магазина Бланка, заповедника всех мальчишек, и церкви Бориса и Глеба, по проезду, где двоим пьяным в обнимку, удивительным образом пронизывался трамвайчик, разворачиваясь на Воздвиженку, и своё предупредительное позванивание вплетал в верховой разливистый звон колоколов, в цокот извозчичьих подков, в тяжело-ступ и колёсное громыхание ломовых по булыжнику, в крики газетчиков, зазывы от лотков, в общий слитный гул Арбата. Тут: „эй, сторонись!“ — гордо кричал на пешехода извозчик, там „но, пошла!“ — хлестали лошадь, зацепившую колесом за тумбу.

Молодые люди стали вечером чутче к налетающим, ударяющим запахам — то кондитерскому, то кухмистерскому, то свежепечёного хлеба, и рассчитывали теперь в трактире где-нибудь поесть, а потом ещё кружить пешком.

На Никитском бульваре перед собой увидели они в ту же сторону идущего высокого узкого человека с седым затылком, с книгами под мышкой, не вложенными ни во что, а так, врассыпную. Едва увидели — сразу узнали, они привыкли и со спины часами видеть его: это был их знакомец по Румянцевской библиотеке. И Костя, тыча в бок Исаакию, объявил:

— Смотри, Звездочёт!

Саня с досадой удержал его: не знал Котя пределов своему голосу, никогда не умел говорить тихо, Звездочёт мог бы услышать и обернуться, очень неудобно. Не то чтоб знакомец, они никогда не познакомились и не разговаривали, а один раз в читальном зале укоризненно посмотрел в их сторону, когда они громко шептались, они смолкли; в другой раз по коридору вот так же он нёс под мышкой десяток книг и рассыпал их, а мальчики случились тут и, подскочив с двух сторон, подобрали; и хотя по-прежнему остались, собственно, незнакомы, но уже как бы и знакомы: не полностью здоровались, а всё же приклоняли головы при встрече, в пол-улыбки. А со стороны частенько видели его за столом. Чем-то выделялся Звездочёт и среди весьма важной, умственной библиотечной публики Румянцевского музея: то ли тёмно-блестящими глазами в пещерных впадинах, отчего постоянно

глубоко серьёзно было его лицо; то ли ужастостью с бочков, ужастостью и головы и всей фигуры; то ли особой манерой задумываться: длинные руки локтями в стол упереть, шалашиком свести, пальцы впереплёт, и чуть-чуть вода по ним крайними волосами бороды, упорно глядеть поверх голов на верхние полки и под хоры. В такую-то минуту Котя и назвал его Звездочётом, а чем он на самом деле занимался — понятия они не имели, первым заговорить неудобно. А сейчас:

— Подойдём? — высказали разом.

Прощальная свобода несла их выше Москвы. Невозможно было ничего потерять, только приобрести! И, оба с одного боку обогнав, один через другого глядя, и интонацией исправляя невежливость обратиться без имени:

— Здравствуйте!..

— Здравствуйте!..

Старик не вздрогнул. Он перевёл на юношей свой углублённый взгляд, посмотрел, не столько и с высоты, это от ужастости он таким высоким казался, и признал:

— А-а, молодые люди! Очень рад. — Под калачом левой руки подправив книги, свободную правую протянул им. Кисть из-под рукава выходила тонка, а сама ладонь была разлаписта, как у мастерового. — Варсонофьев.

Назвались и они. Стояли перед ним в светлых льняных рубашках с узкими поясами, в студенческих фуражках, но тут же Котя потрепал свою и громко объявил:

— Всё! Последний денёк! Завтра в армию уходим. Добровольно!

Это не хвастовство у него было, а всегда так: пело внутри и пело вслух, широкое скуластое лицо сияло торжеством, и руки сами разбрасывались показать широту жизни.

И Павел Иванович Варсонофьев дал немного раздвинуться кругло подстриженной крепкой щётке седоватой бороды и седоватым, косо растущим крепким усам. Это была очевидно улыбка, хотя губ не видно почти:

— Вот как? — Посмотрел внимательней на одного, на другого. — Хм-м-м. — Его голос, тоже из пещерной глыбины, с гулком выходил. Ещё присматривался. — И вы не боитесь, что коллеги вас обзовут *патриотами*?

— Так-кы... — подыскивал Саня оправдательно, —

назовут, конечно. Но в известном смысле это так и есть...

— А почему нельзя быть патриотами?! — грозно, громко, налиvisto спросил Котя. — Ведь не мы напали, на нас! На Сербию напали!

Изучающе смотрел на них старик, лоб наклоня.

— Да как будто так. Однако слово „патриот” до последних недель значило у нас почти „черносотенец”, вот я почему.

— А как вы считаете? — напёр на него Котя. — Правильно мы поступаем? Или нет?

Вот был случай! — не обидно для друга, ещё раз проверить для себя. Этот старикан мог что-то веское отпустить.

Поднял одну бровь Варсонофьев:

— Правильность или неправильность можно оценить, только исходя из ваших убеждений. — И с искоркой в тёмно-уставленных глазах: — Вы, вероятно, — социалистических?

Саня застенчиво покачал головой.

Котя сожалительно громко чмокнул.

— Как?! Нет?.. Ну тогда, надеюсь, — анархических?

Нет, не было от мальчиков согласного кивка.

А заметили они, что старик как бы не посмеивался. То есть на его ужасно серьёзном лице усмешка была непредставима, да и раздвижка губ между сошедшимися усами и бородой замечалась мало, а вот — лёгкий таковой блеск нашёл на глаза.

— Я, например, гегельянец! — твёрдо, ответственно заявил Котя старику. У него очень решительная была манера выражаться, подбородок выпяченный и челюсти крепкие.

— Чистый гегельянец? — удивлялся старик. — Ведь это редкость!

— Именно. Чистый! — твёрдо, гордо подтвердил Котя. — А он, — пальцем в санину грудь, — толстовец.

Тем временем переступали, пошли все трое опять к Никитским.

— Тол-стовец? — изумился старик, избоку примеряясь к сдержанному неуверенному Исаакию. — Ба-атюшки, а как же на войну?..

Но заметил, как это Сане сокрушительно: он сам по-

нимал, он запутался, он страдательно смотрел, отбирая пшеничные мягкие волосы со лба:

— Я — не чистый толстовец теперь.

— Это — что! — взвопил Котя, всё более свободно чувствуя себя с этим славным стариком. — Он когда-то и мяса не ел! Ну посудите, как бы он теперь в армии? Там не поковыряешься, там всем одно!

Между друзьями это не обидно было, Саня улыбался мягко, но недовольный собой.

Явно, явно благожелательно смотрел старик на того, на другого:

— А что, молодые люди, если вы не торопитесь к барышням... ? Может быть зайдём, пивка выпьем? Да вы, поди, и проголодались?

Нет, к барышням не торопились. Почти не переглядываясь — да! Для последнего дня очень и интересно познакомиться со стариком.

— Тогда подождите меня здесь минутку, я в аптеку.

Уже и Никитская аптека стояла перед ними задней стеной, загораживая бульвар. Варсонофьев пошёл вокруг. Он немного сутулился на ходу.

— Эх! — спохватился Котя. — Надо было книжки взять поддержать, хоть посмотрели бы! И тогда подбирали, не посмотрели... Слушай, ты только про Толстого не заводи особенно, с Толстым и так всё понятно.

Саня улыбался неоспорчиво:

— Ты же сам.

— Лучше пусть он ответит, правда, как он понимает, что мы в армию... А потом втравим его в какую-нибудь историческую тему, какой-нибудь, знаешь, *общий взгляд* на Восток, на Запад...

А трамваи шелестели дугами и позванивали. А извозчики прокатывали, по седоку — вальяжно или торопливо. А по бульвару текли себе гуляющие, будто никакой войны не зная, девочка с длинными косами несла ноты на урок музыки, неопрятный половой в зашлёпанной белой куртке перебегал с судками через бульвар, кому-то неся заказ. На перекрестке Никитской, у полукруглого здания с весёлой рекламой папирос „дядя Костя” постаивал стройный чёрно-белый городской, наблюдая безусловный вокруг себя порядок. Ещё рекламы разные везли и трам-

ваи при крышах. Да длинная череда вывесок, доведшая их досюда, с именами торговцев, как бессмертных созидателей, выведенными в буквах замысловатых, накладных и рельефных, изогнутых и прямых, утверждала вечность и вечность этого города, — а между тем совсем нереально-го, потому что завтра мальчики уже не будут в нём. Только кинематограф „Унион” и откликнулся им, что знает: *„НА ЗАЩИТУ БРАТЬЕВ-СЛАВЯН, сенсационная киноиллюстрация переживаемого всеми нами величайшего исторического...”*, а в прочем — город стоял и тёк, оставался и переменялся, и в своей нечуткой огромности не мог понять, какой особенный возвышенный сегодня день, последний день, какой рубеж переступается смело. Обрывался, оставался обременённый город — но и нет, груди даже и не было больно, потому что самое лучшее и от этого города и своё — они уносили в себе.

Это у них называлось — „готовится чихнуть”: Саня голову немного отклонил, глаза сузил — и мечтательно, обе руки другу на плечи:

— Слушай... А как всё... Как всё... — Он оглядывался, ища это всё назвать, не называлось. Ну да понятно было обоим, уж кто бы мог друг друга так понимать, как они! — И после войны прийти — и на это самое место, а? Да?

— Да, да! — убеждённо сгрёб его под плечи и Константин. И даже подкинул немного, силы в нём было как в Иване Поддубном.

Лёгкость, лёгкость несла их выше этого всего цветного, звенящего, цокающего. Неистово-радостная сила рвала их в будущее. И даже если беда уже разразилась, уже совершалась — вот наблюдение: даже и в ней можно нести невредимо, ощущая грозную красоту беды!

Из-за аптеки вышел Варсонофьев и манил их идти к „Униону”. Нет, он не сутулился, а голову непокрытую, с седоватым светлым бобриком, держал чуть вперёд, как бы прислушиваясь или присматриваясь.

— Тут, под „Унионом”, очень приличная пивная, и публика хорошая ходит.

Не такой уж неземной был старик, понимал что-то.

За дверью первое — запахи! тёплые, радостные запахи, и с остротой, и с густым пивным духом. Три соединён-

ных помещения, да просто три комнаты, одна на Никитскую, одна — в глухой двор, куда и повернули они. Котя толкнул Саню в бок: сидел у пива и воблы известный университетский профессор с естественного факультета, и студенты с ним. В нескольких местах — офицеры, а то — вроде адвокатов. И нигде ни одной женщины, заповедник мужского досуга. Видно по пустым бутылкам, не убираемым для счёта, что сидели тут часами многими и объяснялись до конца. Читали и газеты, журналы разложенные. Подхватил на ходу Котя „Ниву”, Саня — „Русское Слово”. Выбрали столик у окна в глухое нагромождение пивных ящичков.

— До сих пор всё хорошо, — просматривал Саня. — Наступаем и в Австрии, и в Пруссии, везде удачно.

— Слушайте, слушайте! — громко объявил Котя. — Приказ войскам военного министра лорда Китченера: „Обращайтесь с женщинами вежливо, но избегайте близости с ними!” А? О чём заботятся!.. А?..

Хохотал оглушительно, да правда же смешно. Тут и другие шумели, смеялись, не тихо было в пивной. Да и есть уже очень хотелось, раздражилось, и выпить неплохо, всё кстати.

— Так, молодые люди, селянку, котлеты, что будете? — спрашивал одолжительный старик. — А вы против мяса не возражаете? — заботливо к Сане.

— Селянку! Обоим! — определял Котя.

Селянку пронесли — ароматный парок, сложный ласкающий запах.

И Варсонофьев заказал две.

— А вам, Павел Иванович?

Варсонофьев выставил длинный белый палец свечою:

— В вашем возрасте удовольствие — поесть, в моём удовольствие — ограничиться.

— Да сколько ж вам, Павел Иванович?

— Да считайте кругло пятьдесят пять.

По седине, по впадинам лица они ожидали больше, но и пятьдесят пять немало, не возражали. А заказ давал, и пиво разливал, и заедал мочёным горохом Павел Иванович со вкусом. И спрашивал Саню:

— И что же вас с графом Толстым разъединило?

Саня — не сразу отвечать. Сперва подумать, как же

верней. Он вообще не спешил. Котя за него решительно:

— Телега!

— Телега?

Саня ещё подумал, кивнул:

— Да. Это, знаете, какой-то грамотный крестьянин послал Толстому письмо. Что, мол, государство наше — перекувырнутая телега, а такую телегу очень трудно, неудобно тянуть, так — доколе рабочему народу её тянуть? не пора ли её на колёса поставить? И Толстой ответил: на колёса поставите — и сразу в неё переворачиватели же и налезут, и заставят себя везти, и легче вам не станет. Но что ж тогда делать?

Саня виновато смотрел, не слишком ли долго собой занимается. Нет, Павел Иванович — слушал, не тяготясь.

— А вот, мол, что: бросайте вы к шутам эту телегу, не заботьтесь о ней вовсе! А — распрягайтесь и идите каждый сам по себе, свободно. И будет всем легко... — На Павла Иваныча, оборонительно: — И вот этого толстовского совета я, как тоже крестьянин, принять решительно не могу. В хозяйстве моего отца самую последнюю телегу я б ни за что так не бросил, непременно б её на колёса поставил. И вытянул бы хоть без волов, без лошадей, на себе. — Ещё проверил, не надоел? — А если телега эта означает русское государство — как же такую телегу можно бросить перепрокинутой? Получается: спасай каждый сам себя? Уйти — легче всего. Гораздо трудней — поставить на колёса. И покатить. И сброду пришатному — не дать налезть в кузов. Толстовское решение — не ответственно. И даже, боюсь, по-моему... не честно. — Виновато выговаривал, своё ничтожество понимая: — Вот это нежелание тянуть общую телегу — меня самое первое в Толстом огорчило. Нетерпеливый подход. Потом и другое...

— А что ж другое?

— Да например, если в Толстого вчитаться... Любовь у него получается не больше, как частное следствие ясного полного разума. Так и пишет, что учение Христа, будто, основано на разуме — и потому даже *выгодно* нам. Вот уж нет... Как раз наоборот, по-земному христианство совсем не разумно, оно даже безрассудно. Это в нём и... и... Что чувство правды выше всякого земного расчёта!

Поблескивал старик из пещерных впадин. Но — и с шуткой:

— Да-а-а... Значит, с чистой линии вы сбились... А это в жизни и всего трудней: проводить линию в чистом виде, как вот ваш друг проводит гегельянство. А смешанная линия — всегда легка, всем доступна, у кого и зубов нет — селянка.

Принесли её как раз.

А Котя не выносил этого толстовства и рад был друга защитить:

— Да он не такой уж и толстовец, вы его простите. Не прямо, чтобы вот толстовец. Например, в станице его зовут *народником*.

Варсонофьев продул усы:

— Да в какую я компанию попал!

И заказал ещё две пары пива.

Узнал Варсонофьев, что кончили они по три курса историко-филологического, Котя — больше историк, Сания — больше филолог. Ещё уточнил у Коти с почтительным интересом:

— А разрешите узнать, какая, например, из Гегеля ваша любимая мысль? Ну просто, какая первая вспоминается?

Котино широкоскулое лицо, с большим размахом от виска до виска, переходило легко в широкий смех, но и в думанье тоже. Много было прекрасно — и самодвижение идеи, и начальное отстаивание принципа в его неразвитой напряжённости. А лучше всего:

— Пожалуй, развитие через скачок!

В *скачке* было что-то затягивающее.

Варсонофьев со вкусом сплетал пальцы на столе.

— Но если вы гегельянец, вы же должны утверждать государство.

— Я и... и утверждаю, — с некоторой заминкой согласился Котя.

— А государство — оно не любит резкого разрыва с прошлым. Оно именно постепенность любит. Перерыв, скачок — это для него разрушительно.

Ели. Пили, в меру прохладное и крепкое пиво. Варсонофьев грыз солёные сухарики. Зубы у него пробелевали все целые, ровные.

— А допустимо будет спросить, — трубил Котя, — чем вы, Павел Иванович, занимаетесь? Мы тут гадали...

— Да как сказать... Одни книги читаю, другие пишу... Толстые читаю, тонкие пишу.

— То, что вы говорите, — не вполне ясно.

— А когда слишком ясно — не интересно.

У Коти была эта манера — ломиться, не сообразуясь с вежливостью, Саня от неё страдал. И, помогая увести разговор от допытывания:

— Разве так?

— Да знаете, чем важнее для нас сторона жизни, тем она смутнее. Полная ясность бывает только в простяцком. Лучшая поэзия — в загадках. Вы не замечали, какой там тонкий кружевной ход мысли?

— Два-конца, два-кольца, пос-редине гвоз-дик! — энергичным ритмом считалки выговорил Котя и расхохотался. Впрочем, громкость его не прорывала общего гула, и в круговой стене этого гула они друг друга слышали отчётливо, как в тишине.

— Есть и получше. Со вечера бел заюшка по приволью скачет, со полуночи на блюде лежит.

Слова загадки он выговорил особым поглубевшим распевным голосом, от своего голоса — особным, а тем более от гудящих плотоядных пивных голосов.

— И — что ж это такое? — торопился Котя.

Тем же голосом затаённо выпустил между усами и бородой:

— Невеста.

— А почему — на блюде?

— А прямо на кровати — загадки не будет. Поэтический перенос. На блюде, потому что отданная, беспомощная, распластанная.

Саня не покраснел ли чуть? Нет, он обдумывал.

Ели, пили.

Варсонофьев продул усы:

— Но слова затаскиваются и часто закрывают смысл. А что это значит сегодня — быть народником?

Саня сосредоточился, покинул всё, что на столе. При его здоровости и степной загорелости, заметной даже здесь, от малых окон пивной, было совсем не степное, а мягкое у него лицо; под пропалёнными волосами в голу-

бых без твёрдости глазах всё время шла работа, не оставляя охоты много говорить, а когда говорил, то тут же готов был перед собеседником и потесниться:

— Н-ну... кто любит народ. Верит в его духовные силы. Полагает его вечные интересы выше своих кратких и малых. И живёт не для себя, а для него, для его счастья.

— Для счастья?

— Д-да, для его счастья.

А глаза Варсонофьева из-под надёжной защиты просторных бровных сводов так двумя светами и наслезивали:

— Но счастье народного большинства — это сытость, одетость, благополучие, полная удовлетворённость, так? А накормить, одеть — на это, смотришь, тоже целое столетие понадобится? Пока до вечных интересов — а мешают бедность, рабство, непросвещённость, плохие государственные учреждения, — и пока это всё сменить или исправить, тут и народников три поколения надо?

— Д-да, возможно.

Не мигая, совсем не нуждаясь мигать, мог смотреть Варсонофьев неотрывно, не упуская из глаз наслезненное:

— И все эти народники, спасая не меньше всего народа сразу, до той поры отказываются спасать себя? Вынуждены так. И вынуждены считать негодниками всех других, кто не жертвует собой для народа, — ну там занимается каким-нибудь искусством, или поисками абстрактного смысла жизни, или, хуже того, религией, душу спасает, и так далее?

Саня так внимательно слушал, даже измучивался. Он кисть, палец поднял, чтобы слово вставить, потом забудет:

— А в ходе жертвы для народа — разве душа не спасётся? Сама?

— А вдруг эта жертва — не та? А скажите — у народа *обязанности* есть? Или только одни права? Сидит и ждёт, пока мы ему подадим счастье, потом вечные интересы? А что если он сам-то не готов? Тогда ни сытость, ни просвещение, ни смена учреждений — не помогут?

Саня лоб вытер, глаз не сводил с Варсонофьева, так из глаз в глаза и хотел перенять, понять:

— Не готов — в отношении чего же? Нравственной высоты? Но тогда — кто ж?..

— А вот — кто ж?.. Это, может, до монголов было — нравственная высота, а мы как зачли, так и храним. А как стали народ чёртовой мешалкой мешать — хоть с Грозного считайте, хоть с Петра, хоть с Пугачёва — но до наших кабатчиков непременно, и Пятый год не упустите, — так что теперь на лице его незримом? что там в сокровищем сердце? Вот кельнер наш — довольно неприятная физиономия. А над нами — „Унион”, кино, этот антихрист искусства, там тапёр играет в темноте — а что у него в душе? какая ещё харя высунется из этого „Униона”? И почему же надо всё время для них жертвовать собой?

— Тапёр и кельнер, — объявил Котя, — это не строго народ.

— А где же? — седо-светлую узкую голову со светящимся бобриком повернул на него Варсонофьев. — До каких же пор непременно обязательно один мужик? Уж миллионы из него утекли — и где ж они?

— Но тогда надо строго научно определить народ!

— Да все мы научность любим, а вот народа никто строго не определил. Во всяком случае не одно ж просто народье. И нельзя ж интеллигенцию отдельно от народа считать.

— И интеллигенцию определить! — сил не смерая, ломился Котя.

— И этого тоже никто не умеет. Например, духовные лица у нас никак не интеллигенция, да? — И увидел в кутинном мимолётном фырканьи подтверждение. — И всякий, кто имеет *ретроградные* взгляды, — тоже у нас не интеллигент, хоть будь он первый философ. Но уж студенты — непременно интеллигенты, даже двоечники, второгодники и по шпаргалкам кто...

Не выдержал серьёзности, бороду от усов отодвинул в явном смехе. К усам прилипла пивная пена. Показал неприятному кельнеру:

— Ещё пару, пожалуйста.

Хватка серьёзности за столом ослабла, опала — а Саня всё ещё задерживался в ней: что-то в этом коротком разговоре так и не разрешилось, в сторону повисло и оборвалось. Он не просто думал в разговоре, но удручался.

— А кстати, молодые люди, если это не нескромно,

мне хочется понять: вы — каких родителей дети? Из какого слоя?

Котя густо покраснел и стих, как поперхнулся. Сказал нехотя, к молчанию:

— Мой отец умер.

И пива налил.

Но Саня знал котино больное место: ему стыдно, что его мать — рыночная торговка, он обходит это, как может. И, отрываясь от недодуманного, собою заставил друга:

— А дед у него — донской рыбак. А мои родители — крестьяне. Я в семье — первый, кто учился.

Варсонофьев довольно сплёл и расплёл пальцы:

— Вот вам и пример. Вы и от земли, вы и студенты московского университета. Вы и народ, вы и интеллигенция. Вы и народники — вы и на войну идёте добровольно.

Да, это трудный и лестный был выбор — к кому же себя отнести.

Котя разодрал воблу как грудь себе:

— Но я так начинаю понимать, что вы — не сторонник народовластия?

Покосился Варсонофьев:

— Как вы догадались?

— Что ж, по-вашему, народовластие — не высшая форма правления?

— Не высшая, — тихо, но увесисто.

— А — какую ж вы предложите? — возвращался Котя в свой жизнерадостный, почти детский задор.

— Предлагать? И не посмею. — Повёл, повёл из двух пещер тёмно-блестящими глазами. — Кто это смеет возомнить, что способен придумать идеальные учреждения? Только кто считает, что *до нас*, до нашего юного поколения, ничего важного не было, всё важное лишь сейчас начинается. И знаем истину только наши кумиры и мы, а кто с нами не согласен — дурак или мошенник. — Он, кажется, сердиться начинал, но тут же умерился: — Да не будем упрекать именно наших русских мальчиков, это мировой всеобщий закон: заносчивость — первый признак недостаточного развития. Кто мало развит — тот заносчив, кто развился глубоко — становится смиренен.

Нет, Саня не поспевал за разговором: слушал новое, а додумывал передсказанное. Уж сколько они захватили, бросили и дальше. Но всё то безнадежно упуская, вот этому последнему он выставился навстречу:

— А вообще, идеальный общественный строй — возможен?

Варсонофьев посмотрел на Саню ласково, да, отречённый неуклонный уставленный взгляд его мог быть ласковым. Как и голос. Тихо, с паузами он сказал:

— Слово строй имеет применение ещё лучшее и первое — *с т р о й д у ш и*! И для человека нет, нич-его дороже строя его души, даже благо через-будущих поколений.

Вот оно, вот оно, что выдвигалось! вот что Саня улавливал: надо выбирать! Строй души — это же и есть по Толстому? А счастье народа? — тогда не держится...

Прогонял, прогонял продольные морщины по лбу. А Варсонофьев:

— Мы всего-то и позваны — усовершенствовать строй своей души.

— Как — позваны? — перебил Котя.

— Загадка! — остановил Варсонофьев пальцем. — Вот почему, молясь на народ и для блага народа всем жертвуя, ах, не затопчите собственную душу: а вдруг из вас кому-то и суждено что-то расслышать в сокровенном порядке мира?

Сказал, на обоих посмотрел: не много ли? Притушился. Отхлебнул. В который раз отёр от пены усы.

А юности это заманчиво, так сразу и подпрыгивает навстречу в глазах: а что? а правда? а ведь не зря я что-то чувствую в себе?

Но всё-таки интересовало мальчиков:

— А — общественный строй?

— Общественный? — с интересом заметно меньшим взял Варсонофьев несколько горошинок. — Какой-то должен быть лучше всех худых. Да может и пресовершенен. Но только, друзья мои, этот лучший строй не подлежит нашему самовольному изобретению. Ни даже *научному*, мы же всё научно, составлению. Не заноситесь, что можно придумать — и по придумке самый этот любимый

народ коверкать. История, — покачал вертикальной длинной головой, — не правится разумом.

Вот! Вот ещё! Саня вбирал, Саня и руки сложил, улавливая:

— А — чем же правится история?

Добром? любовью? — что-нибудь такое сказал бы Павел Иванович, и связалось бы слышанное от разных, в разных местах, — как хорошо, когда совпадает!

Но нет, не облегчил Варсонофьев. Ещё по-новому отсек:

— История — и р р а ц и о н а л ь н а, молодые люди. У неё своя органическая, а для нас может быть непостижимая ткань.

Он это — с безнадёжностью сказал. До сих пор прямой в спине, он дал себе согнуться и отклониться к спинке стула. Ни на того, ни на другого не смотрел, а в стол или через мутно-зелёные бутылочные искажения. Ни Котю, ни Саню ни в чём он не убеждал, но стал говорить звучней и не покидая фраз несогласованными — да не читал ли он лекций где-нибудь?

— История растёт как дерево живое. И разум для неё топор, разумом вы её не вырастите. Или, если хотите, история — река, у неё свои законы течений, поворотов, завихрений. Но приходят умники и говорят, что она — загнивающий пруд, и надо перепустить её в другую, лучшую, яму, только правильно выбрать место, где канаву прокопать. Но реку, но струю прервать нельзя, её только на вершок разорви — уже нет струи. А нам предлагают рвать её на тысячу саженей. Связь поколений, учреждений, традиций, обычаев — это и есть связь струи.

— Так что ж, ничего и предлагать нельзя? — отдувался Котя. Устал он.

Саня мягко положил руку на рукав Варсонофьеву:

— А — где же законы струи искать?

— Загадка. Может быть, они нам вовсе не доступны, — не обрадовал Варсонофьев, вздохнул и сам. — Во всяком случае — не на поверхности, где выключет первый горячий умок. — Опять поднял крупный палец как свечу: — Законы лучшего человеческого строя могут лежать только в порядке мировых вещей. В замысле мироздания. И в назначении человека.

Замолчал. В своей библиотечной позе замер: руки на столе шалашиком, и бородой аккуратно подстриженной в круглую лопатку, туда-сюда о переплетенные пальцы.

Может быть, и не надо было им этого всего. Но не совсем обычные студенты.

Котя мрачно тянул пиво. Узелком на лбу надулась у него жила, от думанья:

— Что ж, тогда и делать ничего нельзя? Только наблюдать?

— Всякий истинный путь очень труден, — подбородком в руки отвечал Варсонофьев. — Да почти и незрим.

— А на войну идти — правильно? — очнулся Котя.

— Должен сказать, что — да! — определённо, похвально кивнул Варсонофьев.

— А — почему? Кто это может знать? — заупрямился Котя, хотя бумага-то уже была у него в кармане. — Откуда это доступно?

Все десять пальцев развёл Варсонофьев честно, как с равными:

— Доказать не могу. Но чувствую. Когда трубит труба — мужчина должен быть мужчиной. Хотя бы — для самого себя. Это тоже исповедимо. Зачем-то надо, чтобы России не перешибли хребет. И для этого молодые люди должны идти на войну.

А Саня этого последнего как и не слышал. Он вот что понял: путь или мост должен оказаться незрим. Зрим, да мало кому. А иначе человечество давно б уже по тому мосту...

— А справедливость? — зацепился он всё-таки, вот тут было не досказано. — Разве справедливость — не достаточный принцип построения общества?

— Да! — повернул к нему Варсонофьев светящихся две пещеры. — Но опять-таки не своя, которую б мы измыслили для удобного земного рая. А та справедливость, дух которой существует до нас, без нас и сам по себе. А нам её надо — у г а д а т ь !

Шумно-шумно Котя выдохнул:

— Всё у вас загадки, Пал Иваныч, да всё трудные. Вы б легче какую-нибудь.

Павел Иваныч поиграл губами лукаво:

— Ну, вот какую. Кабы встал — я б до неба достал;

кабы руки да ноги — я б вора связал; кабы рот да глаза — я бы всё рассказал.

— Не-ет, Павел Иванович, — шутил уже немного и опьяневший и довольный одобрением Костя, и хвостом воблы постукивал по тарелке. — Главный вопрос, я чувствую, главный — мы так и упустим вам задать. А потом на войне будем жалеть.

Смягчился Варсонофьев к улыбке, к отдыху:

— А на главные вопросы — и ответы круговые. На г л а в н ы й вопрос и никто никогда не ответит.

*КОРОТКА РАЗГАДКА,
ДА СЕМЬ ВЁРСТ ПРАВДЫ В НЕЙ*

Отца родного чуть помнил Терентий Чернега, воспитывала его мачеха по́конец рук, потом и отчим пришёл, а Терентий ушёл, — не много он от них набрался. И в двухклассном сельском училище и в одноклассной торговой школе тоже не богато подобрал. Да учење и книги тому ни к чему, у кого на жизнь глаза и уши правильные. Когда надо, оборотистым смыслом своим Чернега легко поспевал за разговором образованных, хоть бы вот и офицеров.

Слышал Чернега, как командир бригады полковник Христинич разговаривал с командиром батареи подполковником Венецким о делах вообще в артиллерии: как у нас пустая трата тяги и простой пушек из-за того, что восемь орудий в батарее, а у немца — шесть или четыре, а перестроить шесть восьмиорудийных в восемь шестиорудийных — нет у казны денег, дешевле пушки возить, не стреляя; и как командиры батарей погрязли в батарейном хозяйстве, в содержании да чистке запасного имущества, так что некогда стрелять, некогда боевых наставлений читать, да и они-то все устаревшие, а новое последнее — и до рук не дошло, война.

Тем более утвердился Чернега, что если кто в артиллерии что и значит — это фельдфебель! — на ком же то хозяйство?

На действительной прослужил Чернега от хоботного до первого номера и до начальника орудия. А на войну теперь в первый же день призванный, в третий день представленный в Смоленск, попался на глаза полковнику Христиничу, тот посмотрел мимоходом седо-мохнато и сказал Венецкому:

— Такого молодца грех унтером держать, поставьте его фельдфебелем!

Это он правильно догадался, про себя Чернега знал, что будет фельдфебель отменный. А узнав подполковника Венецкого, ещё раз догадался, что не во всякую батарею Христинич бы стал и фельдфебеля советовать. Венецкий знал свои прицелы, трубки, дистанции, а барин был нежный, с солдатами объяснялся извинчиво, команду подавал просительно, — и не было бы в батарее единого сжатого кулака, если б не назначили Чернегу фельдфебелем. И с первого же зыка-рокота природнился он к новой должности, и вся батарея разом признала его. А по такой войне, какая пошла, кто ж и был в батарее главный, как не фельдфебель? Две недели пушки не снимались с передков, не занимали позиций, и были в головах господ офицеров боевые наставления или нет — это не влияло нисколько. Ещё показывали они, по какой дороге двигаться, так это и так было ясно по общей дивизионной колонне; ещё — донесенья писали. А вёл батарею, кормил-поил батарею, размещал на ночёвки, за лошадьми следил, снаряды обе-

регал — Чернега, и вся батарея признала его главным человеком, и лошади ушами вели, что он их понимает. (Да лошади-то всегда отзывались Чернеге с первого прихлопа по шее. Ох, он их знал-перезнал, покупал-продавал — не для барыша, из задора! Страстовал Чернега по лошадям больше, чем по бабам.)

Терентий переносил на плече шестиведерный бочонок с квашеной капустой, гнул подковы, гривенники, выколачивал молотом на ярмарках — всё, как мериться любили на Руси от лишних досугов и лишней силы. Он и сам был как бочонок. Ростом не добрал, но на силе это не отозвалось. Да в с ю-то силу, кроме пожара да подтопа, почитай никогда не приходилось ему и пускать. Вполсилы доставалось ему в жизни всё, чего он хотел, — потому что и умений, и ремёсел много знал, ремесло не коромысло, плеча не гнетёт, а своеродную поберегал на запас. И вот теперь на войне Чернега тоже ещё всей силы не показывал, обходилось и так, командовал он вполдрёма-вполсмеха: война ворвалась совсем ни к ляду, в тридцать два года, в сок, и, как всегда кажется, на самом захватном месте. Так протолкаться бы её, не повредя себя.

Но когда середь ночи подняли по тревоге, и то томленье безвестности, безлюдности, капкана, накопившееся в солдатских грудях всю неделю, прорвалось теперь ясным приказом, нет, разрешением: „айда, ребята, наутёк!“ — Чернега в два толчка сердца разрешил всю силу, какая таилась в нём, и кинулся к подполковнику:

— Ваше выс-родие, только скажите: что надо?

Подполковник Венецкий при свечке, в палатке, схватился за узластое предплечье фельдфебеля:

— Через вот эту речушку надо бы, Чернега! — и, белый локончик на лбу, по карте на раскладной походной койке, оставляемой теперь тут навек, показал быстрее обычного, не мямля: — ... чтоб нам на шоссе не выходить, крюка не давать, и там вообще немцы, а вот здесь на речушке какой-то мост, может повреждён, может сгнил, подходы к нему болотистые — а нам бы вот перейти! Десять вёрст сбережём, и немца минуем, и сразу вот на этот перешеечек, Шлагу-М.

По карте мудрость не столь велика. Зелёное, чёрное, голубое, озёра-озёра-озёра, ног не протащить, это всё

Чернега круглыми глазами быстро вбирал, тем быстрее, чем надо было, — а всё-таки зацепило его:

— Шлага-эм, это что такое?

Шляга — молот большой, а по-польски „шлаг графи” — сдохни, удар бы тебя хватил...

— Очевидно, так плотина называется — или мельничная, или от деревни Меркен. Но Меркен мы обойдём тогда, а Шлагу-М не обойти. Только кто Шлагу-М перейдёт — тот будет жив, а здесь...

А здесь — мы и не будем! И тож у плечика, да чтоб не раздавить, привзят Чернега подполковника:

— Ваш' выс-благородь, сосватано! Шлите только офицеров по маршруту, а мы всей упрягой возьмёмся!

— И... снаряды... ты понимаешь, Чернега?..

— Да неужель не понимаю! — выскакивал Чернега из палатки. — Лучше руки отвинтим, бросим — а снаряды возьмём. Доколыхаем как бабьи груши!

Вот и настал пожар-подтоп, даже выше захлёстывало, и в такие минуты нет у офицера рук, а руки — у фельдфебеля! У них только покашливание с извинкой, за двести лет заминаются, — а ну-ка их на ... однажды пошлют? Вот задумал бы Чернега снарядов не взять — хоть сто раз приказывайте, а покинули б. Но печёт Чернегу, что — мало снарядов, а каждый снаряд пять солдатских голов спасает, если не двадцать.

И — зарычал Чернега на своих львино, перекрывая все другие команды, ропот, ржанье и лязг. Знала батарея своего фельдфебеля, но ещё и не знала, до этой ночи не было войны! Рык этот львиный всем передавал, чтобы теперь ни одна поджилка не проленилась, что если лошади откажут — пушки на себе понесём. (Рык-то рык, а и с приглушью: в ночь далеко разносится, не проведали б немцы, что мы стронули и куда пошли.)

И — завертелась невзгодю погожая тихая ночь, после оброна месяца с одними только звёзданьками. Не объявлялось, а быстрый слух разнёсся и усвоился всеми без отказа: где-то есть мост, и на тот мост надо спешить, а снимут его — мы пропали. Без задышки бегал Чернега вдоль колонны вперёд-назад и попевал везде разобратся. Гнулись и тянули как против косога дождя, как под обстрелом — не передыхая. Полевая дорога кривуляла и

перекрещивалась, на развилках от офицерской разведки ждали маяки. Ближе к речке у Чернеги была своя разведка: ногой дознаться, где топко и насколько. Поработали и до моста: заминались, топли, перепрягали выносы, брали урывком, все подхватывая. И на мосту поработали: на последнем хуторе разобрали сарай — и потом в темноте меняли брёвна, достраивали мост. И лошадей поили. И после моста долго тянулись низинкой, как бы не встрять, ещё перепрягали. А там — крутенько пошло наверх, и опять подпрягали, толкали — и взъехали, наконец, на твёрдое. Вот война: в полуночи перебуженные, чего днём осилить нельзя — одолели ночью. А за тем и вся краткая ночь прошла. Оставив мосток и прорытую тёмную дорогу остальному дивизиону, их батарея уже на свете, прикрываясь справа лесной полосой, беззвучно потянула к шоссе. Никто не стрелял, никто не пересекал им дорогу, отпалились за прошлые дни. Простояла тихая ночь, как будто нет войны.

Перед самым шоссе, не выводя из лесу, батарею остановили. Они пришли первые, значит долог оказался кружной путь, а может полки блукают. Уже довольно развиднелось, но и неполный свет ещё. В версте направо на высоте лежала у шоссе та самая деревня Меркен. Налево же по шоссе, всего за триста саженей, но по откосу и в провале — ждала их заклятая Шлага-М, и если разведка сейчас не встретит на ней огня — через пятнадцать минут батарея уже будет за нею. Ну да сказал командир первого взвода, что через пять вёрст ещё одна такая будет закупорка. А когда и вторую проскочут — донесёт их туда, где были они неполных три дня назад.

Надо было три дня таскаться со всеми орудиями, парками, обозами, ни одного снаряда не выпустив, отломав сорокавёрстный крюк, чтоб теперь дониматься и рваться: ах, если б назад угодить!

На широком пне, на закрайке леса, присел Чернега — и руки свесил, и ноги ослабил: ныли. А есть и спать — перехотелось.

Слышался уже из деревни стук колёс и разговоры. Это — по шоссе наши подходили. Теперь попрут, только успеть бы перед ними.

Вернулась разведка: свободна Шлага-М! Никого!

Свободна. Плотинка — две сажени ширины, но свободна. Две сажени? — ой-ой.

И вот уже не таясь, звонкими голосами, на отлёт: „По ко-о-ня-ам!.. Ездовые сади-ись!” — и батарее выворачивать на шоссе и спускаться вниз, к Шлаге.

А вдруг — ударили по деревне Меркен немецкие пушки! И сразу — дом загорелся. И тут же занялись пулемёты с немецкой стороны — да где она, немецкая сторона? — там и немцы, там и наши, там наших больше, там весь корпус наш ещё идёт-бредёт. А в неразгоревшемся дне огневатые вспышки стрельбы помелькивают со всех сторон — и отлева деревни и отправа деревни, и переносом сзади. И только одна сторона верная, несомненная: Шлага-М свободна, вот тут, под откосом, Шлага-М, до которой они измеси́ли болотце, и ногти срывали в кровь, и надорвали лошадей до упаду. И если теперь побыстрей дорогу занять и туда спускаться, то ещё опережаем обоз — тот, что галопом из Меркена кинулся сюда от обстрела, гудят колёса, а там и пехота бежит по обочинам.

Эти миги поворотные, когда не знает себя ни человек, ни целая часть, когда голос не слышен, и начальник не виден, и ты один решаешь за себя — да не решаешь, ведь думать некогда, — и вдруг решается всё.

Пушки подъехали — лучше позиции не надо! — и спускаться под откос? оттуда не постреляешь. Вскочил Чернега и размахом руки, как тысячу рублей пуская на ветер, показал первому орудию, где ему разворачиваться. И второму!

Могли б не послушать: почему фельдфебель? Подождём командира. Там плотинка нас ждёт, эта плотинка — в Россию! Мы целую ночь спотыкались, потели, толкали, мы — первые, мы имеем право в Россию!

Но щедрость передавалась как переимная зараза, и разученными движениями ездовые заводили пушки, и Коломыка, рожа скулая, уже свою снимал с передка. И бежал штабс-капитан, во все руки махая! что́ махая? не надо? не надо было? Надо! надо... правильно, молодцы!!

И подполковник Венецкий, узенький, из лесу вывернулся и, придерживая на боках шашку и сумку, бежал на высотку сбок деревни. А телефонисты — за ним, разматывая свои катушки.

Уже полный был превосходный свет, а заря запрятана за лесом, за спиной. По открытым холмам впереди и за холмами во все стороны расширялся гремёж. Не ушли, как хотели ночью, — не ушли, не ушёл 13-й корпус, запутался.

Четыре орудия чернегиной батареи развернулись по эту сторону шоссе, передки отъезжали в лес, отсюда же подтягивались зарядные ящики, позиция — лучше не придумать! По шоссе проносились первые безумные повозки, обгоняя друг друга и сцепливаясь, — это здесь, а что на плотине будет? Перебивая их бег, перевалили шоссе, потянули на ту сторону становиться — пятое, шестое, седьмое орудия...

А тут — пехотка поддала, что за скоробеги, где таких берут?

— Кто такие? — львиным рыком через кювет от орудия окликнул их Чернега. — Кто такие? По каким делам? — Звенигородцы! — отвечали.

Налился Чернега бычьей кровью:

— Да что же вы, грёб вашу мать, — говядину спасать звенигородскую? А мы за вас — отстреливаться? А ну, ворочайсь, давай прикрытие!

И батарейцы на холмик при Чернеге выскочили и не столько голосами, сколько руками, кулаками — остановили звенигородцев. Затолклись, обернулись, соткнулись — и пошла первая волна назад, ещё робко, ещё готовая повернуть. Но и там, как у нас, повиднелся офицер — и не погнался на Шлагу, а повёл в сторону от шоссе показывать, куда.

Ещё не вышло солнце из-за леса, только первым алым разгаром оттуда отдало — звенигородцы окапывались на склоне впереди, батарейцы обносили валками позиции, закладывали снаряды за подрытый холмок, — и утвердилось оборона Шлаг-М, не предусмотренная командиром корпуса, катящего, как попало.

Не сразу она вступила в стрельбу: на ближних вёрстах били неразборно друг по другу, справа и слева, из середины в круговую, из круга в середину. Оттуда стали отваливать, бежать на правое крыло, на ту ж дорогу, какой тащилась чернегина батарея, — и тем же краем леса сюда выбрались два батальона Невского полка с рослым грозным полков-

ником Первушиным, хорошо его знали и узнавали вся дивизия и все артиллеристы. Тут в овражке они собрались, отдышались, раненые перевязались, рассказали, что с ночи идут из дальнего леса, два батальона отбились на город, и нет их, а их батальоны попали меж огня своего и немецкого, вперекрест по ним били, и вот еле выскочили. Звенигородцы же и палили.

Размежевались теперь, где свои, где чужие. Немцы напирала справа — и сюда, и на деревню, и на город. Как стало солнце вываливать из-за сосен — завиднелся из запада местности черепичными верхушками, трубами и он, город этот Хохенштейн, куда они вчера целый день шли, не дошли. Видать в городе наши были, но в круговом мешке, и завязка затягивалась.

А уже от Венецкого и команды: „Пер-вое! Угло-мер... прицел... шрапнелью... трубка... беглый!” — и за первым орудием зарыгала вся батарея.

Шрапнель — она здорово сечёт, если батальон идёт строем — в три минуты его не будет.

В ответ ложились и немецкие снаряды, всё ближе, — но против солнца не находили нашей батареи.

А Софийский полк — прошёл!

Шли батарее, парки!

Шёл Можайский полк!

И — не на минуты, не на снаряды, не на раненых своих пошёл счёт, а вот на эти проходящие колонны: сколько их успеет пронырнуть? сколько отрежут?

Выбило наводчика — стал Чернега за наводчика.

Во многих местах уже горела деревня, клубились дымы — а наши вываливали из дыма, ехали, шли и бежали, и не было конца.

Два батальона звенигородцев. Какие-то остатки перемешанных, разбитых частей, откуда-то кучка дорогобужцев, и свой же батя полковник Христинич с отставшей полубатареей.

Узнал! Руками затряс: молодцы, славно! И ему замахали, закричали. Соскочил, обнял штабс-капитана.

И — в канаву, тут долго не наобнимаешься. Стали немцы метко класть по самой дороге — и сбежали с неё, кого не пришибло. Очистилось. Отрезано. Больше уже не пойдут.

Этого и ждал Первушин: теперь и его невцы спускались к освободившейся Шлаге.

Снимались, бежали из прикрытия звенигородцы.

И сам Христинич скомандовал: по одному орудью — на передки! И едва только брали лошади орудие — тут же и гнали широким аллюром на Шлагу.

А Венецкий наш — там не останется?.. Жалко бы, барин уходчивый. Нет, вон сбегают как зайцы, с телефонистами. А уж провод пусть немцы себе мотают.

Ещё две пушки дорыгивали.

Что смогли, то сделали, братцы, не поминайте лихом!

А уж кто в Хохенштейне остался — тому конец.

ДОКУМЕНТЫ — 5

16 августа

ОТ ШТАБА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

... На Восточно-прусском фронте 12-го, 13-го и 14-го августа продолжалось упорное сражение в районе Сольдау-Алленштейн-Бишофсбург, куда неприятель сосредоточил корпуса, отступившие от Гумбинена, и свежие силы. Алленштейн занят русскими войсками. Особенно большие потери германские войска понесли у Мюлена, где они находятся в полном отступлении...

... Наш энергичный натиск продолжается.

Кажется так: эдесский князь Авгарь, покрытый язвами проказы, услышал о пророке в Иудее и уверовал, что это — Господь, и послал просьбу: прийти к нему во княжество и тут найти гостеприимство. А если нельзя, то дать художнику нарисовать себя и прислать изображение. И когда Христос учил народ, художник всестарательно

пытался запечатлеть его черты. Но так дивно менялись они, что тщетен был его труд и опала рука: изобразить Христа недоступно было человеку. Тогда Христос, видя отчаяние художника, умылся и приложился к полотенцу — и вода обратилась в краски. Так создан был Нерукотворный Образ Христа, от полотенца этого и излечился Аугарь. Потом на воротах города оно висело, защищая его от набегов. И древнерусские князья переняли Спас Нерукотворный в свои дружины.

Это когда-то рассказывал Самсонову настоятель новочеркасского войскового собора. От деревенской церковки своего детства в Екатеринославской губернии перестоял Самсонов во многих храмах сотни всеобщих, литургий, молебнов, панихид, сложить те часы можно в месяцы и месяцы молитв, размышлений, душевных подъятий. Во многих храмах удостаивался он снисшествия примирающего ладанно-сизого духа, во многих храмах было чем полюбоваться запрокинутой голове. Но нигде не бывало Самсонову так уместно и так душевно-просторно, как в могучем крутоплечем новочеркасском соборе, слитом и с Войском Донским и с городом. Да весь Новочеркасск был сложен по характеру Самсонова: круго-обрывисто, незыблемо, а по горе — раскидисто, с тремя проспектами едва ль не шире петербургских, с Гостиным двором в соревнование с Петербургом же, с соборной площадью перед Ермаком, где нестеснённо можно принять парад десяти полков. Два года в Новочеркасске были из самых счастливых в жизни Самсонова, и именно их, тепло и печально, вспоминал он сегодня бессонною ночью, — именно тамошние соборные августовские службы.

День Нерукотворного Образа идёт вослед за днём Успения. Эту полночь — с Успения Божьей Матери на Христов Нерукотворный Образ, генерал Самсонов нынче проводил в седле, отступая. До последней минуты исчерпался, минул, канул день Успения — и не протянула Божья Матерь своей сострадательной руки к русской армии. И уже мало было похоже, что протянет Христос.

Как будто и Христос и Божья Матерь отказались от России.

Близ двух часов ночи, в самое тёмное время, штабная группа кружным путём, еле битыми дорожками, до-

бралась к шестидомовой деревушке близ Орлау — теперь звучащее насмешкой славное имя первого боя. И тут, в топтани, неразберихе, наощупь, на слух без глаза, от казачьей сотни всё того же 6-го Донского и от обозов Калужского полка узналось, что никакого *щита* с запада, как задумано было по „скользящему” плану, — уже нет: что Калужский и Либавский полки (меру сил человеческих изойдя) уже вечером отошли от рубежа, указанного им держать весь наступающий день, — и теперь во тьме, близко тут, в трёх верстах отсюда — передний край! А в самом Орлау столкнулись обозы и дракой расчищают путь.

Ещё два корпуса оставались наверху, в опрокинутом кувшине — а горловина сжималась. И Найденбург — так все гомонили согласно, да иначе и трудно бы нарисовать по карте, — Найденбург был уже у немцев.

Тем жёстче рвались штабные — ехать дальше скорей! Тем правей они были, остерегая Самсонова, что и не надо было им в Найденбург, а — глубже, на Янув сразу! Но командующий, увы, не слышал их, не понимал, он терял ощущение и своего поста и своих обязанностей! Вместо того чтобы думать обо всей армии, он стал управлять командирами батальонов.

Час от часу становился Самсонов уверенней и независимей от штабных советчиков. Как будто не стало для него армейского штаба, а — группа нестроевых побочных офицеров зачем-то. В комнате, расчищенной от ночёвщиков, при керосиновой лампе, за столом, сидел без фуражки крупноголовый Самсонов, с недоумённым как будто лбом, — и вызываемым офицерам одному за другим давал по карте приказания, как вернуть Калужский и Либавский полки на позиции; какая артиллерия их поддержит; какие дороги в каких местах проверить, очистить для подходящих обозов 15-го корпуса. Он подробно объяснял, до конца выслушивал возражения, не давая вырваться дурному настроению, говорил приветливо: „голубчик”, „пожалуйста”.

А вот и рассвет забелился, и утро налилось за окнами, оспаривая лампу. Нисколько не торопясь, ещё досиживал Самсонов над картой (он всё ещё примерялся, надеялся на подход 6-го корпуса), медленно проводил пальцами по

крупно-расчёсанной бороде спокойными витыми линиями влево, и вправо, и объёмля, по кругло-покойной подстрижке. Его неприкрытые большие глаза будто и не нуждались во сне.

Теперь-то он мог бы эвакуировать штаб, наконец! Нет, потерял он всякий смысл своего назначения — и штабные, пожимая плечами и ёжась от холода, взлезали на коней — ехать ещё вдоль передовой линии в само Орлау зачем-то.

Неторная лесная дорога, на карте пунктирная, была уже разезжена и забита чередой повозок, двуколок, ящиков, увозили куда-то патроны и снаряды, нужные здесь. От остановки одной пароконной повозки все останавливались, объехать было нельзя, — и представлялось, как будут томиться на таких дорогах два закапканенных корпуса. Черета верховых, штабных и казаков, гуськом обходила повозки, отклоняя ветви.

А лес ещё сужался, он был — узкий клин. До сих лишь на сосенные вершины отсвечивало солнце, но вот их дорогу вывело к левому краю — и, после полумрака, сразу окатило их полное алое ярое солнце, только что выплывшее поверх вершин другого леса — двадцативёрстного, бесконечного Грюнфлисского, густо-тёмного, в тёмном ожидании отступающей русской армии. А двести саженей до того леса были — обрыв в луговую речную низину, и вся она шевелилась туманом, кверху редющим в пар.

Самсонов вздрогнул, воззрился на этот пар, на солнце, как увиденное в первый раз.

Это плавающее величие осветило ему больше, чем он понимал даже последние сутки, не бедные мыслями.

В этот пар и туман кавалькада их спустилась на повреждённую мельничную плотину, и снова поднялась — в Орлау. То было самое поле недавнего боя, атак и потерь, схватки за знамя Черниговского полка, — и если отъехать и поискать, тут много свежих братских могил должно было ожидать их. А тяжёлый трупный запах, навеваемый то там, то здесь, значил, что и похоронены не все. Но никто о том поле, кроме командующего, как будто и не думал, — а вот на скрестьи дорог всё ещё не было растянута стесненность обозов. С запада же подпирали новые.

Тут провели они утро. Были разорваны пути оповещения, в чужой стране в неожиданных и крайних положениях были раскинуты пять пехотных дивизий, пять артиллерийских бригад, конница, сапёры, — а новости, и только дурные, приходили от случайных людей с такой быстротой и уверенностью со всех лесных сторон, как не мог бы наладить их поступление лучший начальник связи.

Узналось, что убит полковник Кабанов и выбит Дорогобужский полк. Узналось, что Копорский полк под Хохенштейном вчера после возврата и часу не простоял, снова бежал, и новоназначенный полковой командир Жильцов застрелился на коленях у воткнутого в землю знамени. Узналось и хуже: что убит генерал Мартос, достоверно говорили казаки из его сопровождения.

Тройную эту весть донесли до Самсонова. Трижды он снял фуражку, перекрестился. Жильцова — он так и поставил вчера. И Мартоса — так послал. Но печальный покой и новый смысл его лица уже и это не могло нарушить.

Самсонов как будто стал прислушиваться. И не к гаму вокруг. И не к отдалённой стрельбе. А — помимо.

Он покинул или даже забыл свою ведущую мысль — ехать оборонять Найденбург. Теперь он оставил штаб в Орлау и с малым конвоем поехал на передовые позиции, к Калужскому полку. Там, на подъезде, застал в овраге командира батальона, выгоняющего стёком из кустов своих солдат, бежавших с позиции, — и покинув свою цель — укрепление позиции, беседовал с этим подполковником отдельно.

А по Орлау слонялся без дела сердитый, пепельный армейский штаб — и не смел уехать без командующего. Но тут случилось кое-что и бодрое: внезапно приехал, доложиться и за приказаньями, начальник штаба 13-го корпуса генерал Пестич. Оказывается, корпус — жил, был, существовал, шёл сюда, только не знал обстановки и не имел приказа. А вот стали подходить к Орлау и полки 15-го корпуса. Рассказывали о славном деле Кременчугского и Алексопольского полков в арьергардной засаде у Кухенгута: в сумерках успели промерить расстояния, закрепить пулемёты и ружья — и в темноте облили огнём и откинули немецкую колонну трёх родов войск, густо шедшую в преследование. Полки и сейчас были бодры, и

все старшие офицеры верили, что сегодня же, вот-вот, подойдёт выручка от фланговых корпусов, 6-го и 1-го.

И — оживились штабные: восстановить скользящий щит, и всё могло ещё обойтись хорошо. Сели сочинять, писать исправленный план. 13-му корпусу форсированно (а он и без того не медлил) отходить в направлении... с расчётом... 15-му, остаткам 23-го... держать фронт... Затрудненье было в том, что недоставало корпусных и дивизионных командиров, а если их наскрести и правильно ими распорядиться, то штаб свободен и может уезжать на русскую территорию. Для этого вот что придумали: назначить единого командира над всеми частями, попавшими в беду. Вчера таким был Мартос, но Мартос убит. Как нельзя кстати был бы Кондратович, но никто его не видел, Кондратовича. Так естественно было передать руководство общим отходом — Ключеву, хотя он и позади всех, а Пестич сам возьмёт и отвезёт ему приказ. Ещё был вопрос — подпишет ли такой приказ Самсонов.

Тут пришло достоверное известие, что сегодня утром под деревней Меркен лёг весь Каширский полк, и его полковник Каховской со знаменем в последней атаке.

Тем временем в Орлау — нет, на поле близ него, натоплялись части, отдельные и перемешанные, и тут всё запруживалось, ожидая своего назначения. Уходили обозы, парки, увозили раненых, но сгущенье не разрежалось. Место было открытое, предполуденное солнце пекло, не хватало воды, а еды и вовсе не спрашивай, и попахивало догниванием боя, бывшего тут шесть дней назад. Беззащитным потерянным табором сгущались военные люди.

А фронт, все пять дней гудевший, какой-то вялый стал. Как если бы немцы помягчели, простили, не хотели догонять, выгонять русских.

Аэроплан пролетел над табором — и по нему не схватились бить.

Близ полудня возвращался с передовых Самсонов, но от излома дороги поехал не к дому, где оставил штаб, а напрямик, по жнивью, по холмистому взгорью — прямо к табору, в его густоту.

Необычно было перемешанное расположение частей, не имевших распоряжений. Необычен был подъезд генерала без команд на строй, равненье, отклики в двести гло-

ток. Ещё необычнее сам генерал, грузно усталый, на коне: со снятой фуражкой в опущенной руке, подставленным солнцепёку теменем, с выраженьем не начальственным, но — сочувственным, но — печальным. Неуставно расстёгнута и его шинель лейб-гвардейского Атаманского полка с синими лацканами, с георгиевской ленточкой в петлице. Это был как храмовый праздник, но странный, без колокольного звона, без бабьих весёлых платков: съехались на гору хмурые мужики из окрестных деревень и объезжал их шагом то ли помещик, то ли поп верховой и обещал им не то землю дать, не то райскую жизнь за страдания в этой.

Командующий не кричал на солдат, что они ушли с передовых, никуда не гнал их, не требовал ничего. Негромко приветливо окликал он ближайших: „Из какой части, ребята?“ (отвечали), „Велики ли потери?“ (отвечали), крестился в память погибших, „Спасибо за службу!.. Спасибо за службу!..“ — кивал в одну, в другую сторону. И солдаты не знали, что отвечать, отзывался генералу вздох или стон неполных звуков, не полных до „рады стараться!“. С тем проезжал командующий дальше. И снова, глуше: из какой части, ребята?.. велики ли потери?.. спасибо за службу!..

В то самое время, как генерал начал этот прощальный объезд табора, другой полевой дорогой, под углом, подъехали верховые: полковник и солдат с длинными ногами, свешенными без стремян. По другому времени полковник этого солдата хотел представить командующему и просить Георгия. Сейчас оставил его на краю табора, а сам пробирался вглубь.

Полковник приехал на слух, что здесь — командующий. Вот добрался, вот уже был с Самсоновым рядом, начинал говорить — но тот, рассеянно отрешённый, не замечал его. И полковник сопровождал генерала вблизи.

Голос командующего был добр, и все, кого миновал он, прощаясь и благодаря, смотрели вослед ему добро, не было взглядов злых. Эта обнажённая голова с возвышенной печалью; это опознаваемо-русское, несмешанно-русское волосатое лицо, чернедь густой бороды, простые крупные уши и нос; эти плечи богатыря, придавленные невидимой тяжестью; этот проезд медленный, царский, допетровский, — не подвержены были проклятью.

Только сейчас Воротынцев разглядел (как он в первый раз не заметил? это не могло быть выражением минуты!), разглядел отродную обречённость во всём лице Самсонова: это был агнец семипудовый! Поглядывая чуть выше, чуть выше себя, он так и ждал себе сверху большой дубины в свой выкаченный подставленный лоб. Всю жизнь, может быть, ждал, ждал, сам не зная, а в сии минуты уже был вполне представлен.

Все эти дни, что они не виделись, Воротынцев старался думать о командующем хорошо, выплывало многое в обвиненье ему, а он искал в защиту и тревожился, чтобы решительны и неопозданы были действия того. В первый вечер он почувствовал, что мог бы иметь на него верное и сильное влияние в главные минуты. Даже было колебанье — задержаться в армейском штабе, никем, ничем, пришлёпкой, чужим глазом, ненужным и досадным всем. И минувшие дни порывало его вернуться повидать Самсонова, предупредить, помочь не оступиться — потому что эту оступку, оказывается, Воротынцев с первой минуты и ждал.

А за четверо с половиной суток совершилась вся катастрофа Второй армии. Вообще — русской Армии. Если (на торжественно-отпускающее лицо Самсонова глядя), если не (на это прощание допетровское, домосковское), если... не вообще...

С чем теперь он достиг Самсонова: как, со вчерашнего дня отступая и отступая, они ещё там держатся с остатками эстляндцев, на открытом месте, с одним пулемётом и последними патронами, — и для чего же? К 1-му корпусу отчего не переехал командующий? И почему в защищаемом месте здесь — табор? Зачем текут бессильными малыми массаами? хотя б задержась на полсуток, а собрать ударный клин и лишь тогда прорываться! Но всё это, несомненно нужное Самсонову, почему-то не было ему нужно.

— Ваше высокопревосходительство!

Самсонов обернулся на запаленного, запыленного полковника с подмотанным плечом, с багровиной на челюсти, — и доброжелательно, но без ясного воспоминания кивнул и ему. Простил и его. Поблагодарил и его за службу.

— Ваше высокопревосходительство! Вы получили мою записку из Найденбурга, вчера?

Облако вины, вот только что и было на челе Самсонова. Может быть полуузнавая, может быть бессознательно:

— Нет, не получил.

И — что же теперь? И кому ж теперь рассказывать, как было под Уздау? как ещё вчера под Найденбургом?..

Поздно, ненужно: на такой высоте парил Самсонов, что это было ненужно ему, уже не окружённому наземным противником, уже не угрожаемому, уже превзошедшему все опасности. Нет, не облако вины, но облако непонятого величия проплывало по челу командующего: может быть по внешности он и сделал что противоречащее обычной земной стратегии и тактике, но с его новой точки зрения всё было глубоко верно.

— Я — полковник Воротынцев! Из Ставки! Я...

В своём не проезде, но проплывти над этим табором, над всем полем сражения, не нуждался командующий вспоминать прошлые земные встречи и прошлые дела.

Почему он — прощался? Куда уезжал? Вчера утром выехав к центральным корпусам — на кого ж сегодня покидал их? Почему не готовил группу прорыва? Его собственный револьвера барабан — полон ли?

Нет. И возрастом, и многолетним положением генерал-от-кавалерии всё равно был закрыт от доброго совета полковника, даже и не паря. В возвышенности и была беззащитность.

Головы их коней оказались рядом. И вдруг Самсонов улыбнулся Воротынцеву просто и сказал просто:

— Теперь мне остаётся только куропаткинское существование.

Узнал?..

Не оспаривая, он подписал подложенный ему приказ по армии.

Он вдруг осунулся, одряб. Когда после полудня штаб армии выехал из Орлау верхами, генерал Самсонов ещё держался в седле. Но по пути достали тележку — и Самсонов и Постовский сели в ней рядом, вплотную. И покачивались на ходу.

Только утром испытал Саша Ленартович это дико-радостное, скотски-радостное ощущение *победы* — победы над кем?.. победы — зачем? Он долго не простил бы себе этого животного чувства, если б само оно не улетучилось в час-другой.

Что дала их полку эта победа — взятые орудия, и колонна пленных в полторы тысячи, которую теперь надо таскать за полком? Ничего. И дать не могла. Только продолжила мучения, увеличила жертвы. От этой победы не прекратились бои и нисколько не легче прошёл день, напротив, тяжелее: целый день теперь с яростью била по ним немецкая артиллерия, немцы не тратили людей на контратаки, а били и били из орудий. И насколько ж они крупней калибрами, богаче снарядами! — целый день просидели утренние победители живыми мишенями, не раз ожидая себе верной смерти, и под обстрелом глубже вкапывались, и бросали выкопанное, оттягивались, а раненые отползали, уходили, их уносили.

И всё время обстрел был не редкий, а порой учащался в шквальные налёты. Опустошённый, умственно усталый, вялый, сам себе чужой, Саша отчаивался дожить до вечера. Скрючась в окопчике неполной глубины, он сидел, презирая себя как пушечное мясо, презирая в себе — пушечное мясо. Что ж можно было ждать от других, неразвитых и неграмотных, если вот он, активно-мыслящий человек, ничего не мог придумать, противопоставить, а сидел в мелкой ямке, для безопасности загнав голову меж колен, и весь день ожидал только — шмякнет или не шмякнет, пассивно ожидал, и даже уже без воли к жизни. Он пытался собирать свои мысли на чём-нибудь умном, интересном, — но ничто не входило в голову, а пустая костяная коробка свисала на шее и ждала: попадут в неё или не попадут.

Да при всеобщей воинской повинности никакой дру-

гой и не может быть война, вот только такой бессмысленной: людей гонят насильно, не спрашивая с них ненависти, гонят против неизвестных им, подобных же несчастных. Такая война не имеет оправданий. Другое дело — война добровольная, война против твоих действительных извечных социальных врагов: ты сам этих врагов узнал, ты сам их выбрал, ты — хочешь их уничтожить, потому тебе не страшно, что могут убить и тебя.

Если б десятую часть этих потерь, десятую часть этого терпения да половину этих снарядов потратить бы на революцию — какую прекрасную можно было бы устроить жизнь!

Один такой день пережить под обстрелом — постареешь. Вот этот один день пережить последний — и что-то надо менять. Твёрдо понял Саша: менять! Сегодня же ночью, как стихнет обстрел.

Но как — менять? Не в силах Саши было остановить всю войну. Значит, остановить её для самого себя. А для себя — как? Разумнее всего бы — эмигрировать, упущенная блаженная возможность — эмигрировать, как многие друзья. Там, в Швейцарии, во Франции, у них, не взирая на войну, конечно, продолжается свободная партийная жизнь, обмен идеями, живая работа. Но отсюда, из прусских окопчиков, *эмигрировать* можно только через линию фронта. То есть сдаться в плен.

Можно! Сдаться в плен и разумно и можно: сохраняется главное — твоя жизнь, твои знания, общественные навыки. Потом ты возвратишь их трудящимся — и предосудительного ничего нет. Сдаться в плен — можно, но трудно. Под обстрелом открыто — не пойдёшь. Ночью — заблудишься, запорешься, убьют. Сдаться в плен — это нужно счастливое сильное перемешивание войск. А — сдавшись? Где уверенность, что немцы поверят, увидят в тебе социалиста? Какой-нибудь кайзеровский офицер — будет много разбираться? Да вообще — нужны им социалисты? Они и своих воевать гонят. В Швейцарию не отпустят, пошлют в лагерь военнопленных. Конечно, всё-таки спасение жизни. Но как перейти?..

Эти логические звенья трудно давались голове, словно распухшей. День — кончится когда-нибудь? Обстрел — кончится когда-нибудь? Откуда у немцев столько орудий?

столько снарядов? Безмозглые наши дураки — как же смели войну начинать при таком неравенстве?

Но солнце спасительно опускалось, опускалось за немецкие спины — и кончился, всё-таки, день 15 августа. И обстрел стих. Не весь, ещё пулемёты раздирающе стучали долго в темноте. Но — пришла ночь. И Саша был жив.

Постепенная ночная свежесть. Подъехали кухни, кормили. Много было разборки по взводу — строевая записка, имущество убитых, всё это Саша поручил унтеру. Все постепенно распрямлялись, разминались, голоса громчели. Перебирали события от ночи до ночи, кто ранен и кто убит, как всё было, — и вот уже смех раздался там и здесь — неисправимый народ! Не спешили спать — дышали, жили наступившей ночью. Навещали друг друга офицеры.

Час прошёл, два прошло — а Саша ничего не предпринимал, поужинал и в каком-то окостенении сидел просто так на чурбаке под разнесенным забором. Трудно было собраться, начать. А надо было просто — уйти. Опасно, но не опасней, чем на рассвете бежали в атаку.

Сила слухов. Не было передано никакого распоряжения, извещения, полк стоял в темноте, но откуда-то и по солдатам, и по офицерам просочилось: начали отступать... — мы отступаем... — Кременчугскому полку уже приказали... — Муромский и Нижегородский тоже готовятся... — генерал Мартос уехал... — фон-Торклуса нигде не могут найти... — скоро и нам... — скоро и нам...

Это ощущение разливается сверху: начальники бегут! нет их! Откуда становится известно, что их нет? Может быть убиты, в плен попали? Нет, слух как зараза: бегут начальники! Скоро и мы.

И сердце Саши заколотилось: верный момент! именно теперь! Нет, не ждать, пока прикажут полку отходить: и отведя, положат его под такой же обстрел, только деревней дальше. Но — уходить самому. Чем он хуже фон-Торклуса? Началась общая путаница, и оправдаться будет легко.

Взять кого-нибудь с собой — не приходило в голову. Вестовым Ленартович почти не пользовался. А вообще солдаты во взводе были замкнутые, запуганные, идейного пути к ним не было. Даже самых развязных спросить под

вид шутки — а не сковырнуть ли нам начальство? — губы сожмут, молчат.

Не было у Ленартовича карты. Сейчас он пошёл к штабс-капитану с каким-то предложением, и в доме при свече смотрел, запоминал. Улица Витмансдорфа переходила в дорогу на восток. Версты три... перейдёшь железную... ещё две... свернуть на церковь... дальше развилок трёх дорог... можно ещё и к передовым позициям назад угодить... а там — речка... там деревня Орлау... Что-то название знакомое.

Ленартович ловко всё это высмотрел и ушёл.

А больше у него дел не было: во взводе всё знал унтер. Самое дорогое — записная книжка с мыслями, она в кармане. Глупая палка — шашка, хоть сейчас её выкинуть по дороге. И револьвер, из которого Саша стрелял неважно.

Совсем уже стало тихо, почти мирно: после пулемётов одиночные ружейные выстрелы не угнетали, а успокаивали. Темно, а дорога жила: скрипели колёса, цокали подковы, хлопали кнуты, на лошадей ругались. Кто-то времени не терял; уходил.

И не возвращаясь ко взводу, шагом освобождённым, Ленартович зашагал туда же. Не связанный ни строем, ни колёсами, он легко обгонял поток. На случай задержки придумывал отговорки, почему идёт.

Но никто не проверял дорожного движения, все лились, куда им надо было. Ползли тяжёлые санитарные фургоны. Грохотали зарядные ящики, призывая цепями постромок. Сперва в один ряд, а там вливались сбоку, и шло уже дальше в два ряда, занимая всю дорогу. При встречных — матерились, не пропускали, теснились. А вереницею двигались мирно, ездые шли рядом в разговорах, попыхивали цыгарочные огоньки.

Никто не проверял, и радостные ноги несли прапорщика дальше. Ещё было время вернуться, ещё б отлучки его не заметили, но он верно решил, что не имеет права бессмысленно так погибать за чужое. Он твёрдо отталкивался от твёрдой дороги — и укреплялся в достоинстве не быть пушечным мясом.

Но не так просто оказалось на дороге, как по карте, и это мешало рассвободиться мыслям. Подъёмы, спуски,

мосты, дамба — этого всего он не заметил, когда смотрел. Церковь он нашёл, но дальше опять шли дома, а Саша забыл, как скоро главный развилоч. Какой-то развилоч нашёлся, но вела дальше обсаженная дорога, а он ждал полевую.

Никого спрашивать не хотелось. И совсем темно. И вот когда утомленье разобрало, сказались черезсильные сутки. Саша отошёл, в копну лёг. Пить хотелось очень, но фляжки не было, и искать воду негде.

Он проснулся на рассвете — пробрало холодком и в соломе. Обобрался и возвращался к дороге, как увидел на ней казаков, проходящих шагом, малыми отрядами, через перерывы, — и вернулся в копну. Это было сильней разума, как врождено. Каждый казак ощущался с детства инстинктивным врагом, их строй — сомкнутой тупой силой. И даже наряженный в офицеры (а впрочем, форма хорошо к нему пришлась, говорили), всё равно Саша чувствовал себя перед казаками студентом.

Миновали казаки, покати́л длинный обоз, и Саша выходил на дорогу. Наткнулся на сваленную кучу, это оказался хлеб, армейский печёный хлеб — уже чёрствый и даже заплесневелый. Наступали без хлеба, а вот — выкинут хлеб! — кто-то повозку освобождал для другого.

А есть хотелось! Но странно бы офицеру нести буханки под мышкой. Он шашкою разрезал одну, рассовал, пожевал — и пошёл.

Взошло солнце. Всё так же никто никого не задерживал, не спрашивал. А во всех, кто ехал и шёл, было новое, сразу даже не назвать: будто при оружии, при амуниции, по делу или в составе части, будто ещё не бегство, ещё подчинённая своим командирам армия, а уже не та: не так оборачивались на офицеров и на лица появилось выражение *своей* озабоченности, не общего дела.

Отлично! Тем безопаснее было Саше.

Дорога оказалась верная, на Орлау, и спускалась к мельничной плотине, но тут из лесу вливалась и другая, и по двум дорогам набралось столько пушек, ящичков, телег, конных и пеших, что не обогнать было по краю и дожидаться очереди не просто. Павших заморенных лошадей подстреливали, выпрягали. Ближе к плотине тесней стояли, зацепливались повозки. Один зарядный ящик с раска-

ту врезался дышлом в спину передней запряжке и убил лошадь. Перепрягали, кричали, чуть не дрались. Ожесточались солдаты и офицеры, маленький штабс-капитан, перевязанный по лбу, свирепо кричал высокому командиру батареи:

— Штыками вас задержу, а не пропущу!

а командир батареи намахивал на него длинной рукой:

— Колёсами буду вашу пехоту давить!

Каждый старался пропускать своих, а чужих никого. Но тут провалились две доски на плотине — и стали скликать на ремонт. Из солдат выдвинулись и плотники-охотники. Сверху видно было, как там столпились офицеры и каждый показывал и учил, как надо делать. Но старший плотник — дородный старик с богатыми седыми усами и в рубахе навыпуск без пояса, отстранял без разбору хоть офицеров, хоть солдат, и показывал и делал по-своему.

А солнце уже высоко стало, накаляло эту тесноту. И в речке — неширокой, а глубиной по грудь, стали лошадей поить и купаться до полного взмучиванья — сперва солдаты, там и офицеры.

А по ту сторону, на откосе и на высоте, как раз и было место знаменитого боя, здесь-то и положили первые несколько тысяч, набившие найденбургские госпитали, — и тем бессмысленнее показывала себя война: для того и клались тысячи, чтобы немного потеснить немцев на север; из-за того теперь скоплялись, голодные, злые, хлестали друг другу лошадей и лезли к морде, что немцы по тому же месту теснили нас на юг.

Но никакие беды, никакая кровь не может разбудить русского терпения. Из тысяч полутора, стеснившихся перед плотиной, никто этого не понимал, никому нельзя было объяснить.

Уже не от одного слышал Ленартович, что Найденбург этой ночью сдан. Куда ж тогда лился весь поток и на что сам Ленартович надеялся? Он плохо понимал. Он посмотрел дорогу только до Орлау, а дальше не представлял.

Наверху, в стороне, ожидая очереди на переправу, стояли лазаретные линейки, в одной из них лежал раненый приветливый подполковник. Разговорились, подполковник достал карту, развернули поверх его тела и смотрели вместе. Что-то плёл ему Саша, зачем он послан и куда, а

сам смекал: большой лесной язык... если его пересечь по просеке... деревня Грюнфлис в сторону Найденбурга... Отбиться в лесу и дожидаться немцев? Но теперь уже — жалко в плен, в этом хаосе можно и чистеньким выйти. Да выйти ли? Огромный лес зеленел на пути отступающей армии — а уж за ним, наверно, пулемёты. „О к р у ж а ю т” — откуда-то все вывели и знали.

Раздеваться и вброд по топкому дну Саша не захотел, много времени потерял на плотине.

Близ Орлау на поле беспорядочно скоплялись части и чего-то ждали. На огородах копали, что придётся, — репу, морковь, ели. Через это скопище и приходилось Саше идти в намеченный лес. Но теперь вполне бесстрашно он пробирался, зная, что уж в этом расстройстве и перепутанности никто его не спросит, не задержит.

И ошибся. Хотя это было скопище, однако его как на параде объезжали, здоровались, что-то говорили. И Ленартович узнал командующего армией (он близко видел его в Найденбурге).

Да, это был генерал Самсонов! На крупном коне и крупный сам, как олеографический картинный богатырь, он медленно объезжал цыганоподобный табор, словно не замечая его позорного отличия от парадного строя. Никто не подавал ему „смирно”, никому он не разрешал „вольно”, иногда брал руку к козырьку, а то не по-военному, по-человечески снимал фуражку и прощался этим движением. Он был задумчив, рассеян, не влёк при себе главной силы командира — страха.

Он близко уже наезжал, а прапорщик Ленартович не поспешил посторониться, он глаз не мог оторвать от этого зрелища, радостных глаз! А-а-а, вот как с вами надо! — и какие ж вы сразу становитесь добренькие. А-а-а, вот когда вы смякаете, иконостасные, — когда вас трахнут хорошо по лбу! По-до-ждите, подождите, ещё получите!

Так он смотрел с зачарованной ненавистью — а командующий ехал прямо на него. И прямо как будто его, только что не назвав по чину, но прапорщику в глаза своими коровьими, покорными, отсутственными глядя, отечески спросил:

— А здесь? А вы?

Вот так сплошал! — и думать некогда, и уйти нельзя,

все соседи ждут от него, а — что сказать? Соврать? — тоже нельзя... Так чем выпалительней, тем лучше:

— 29-го Черниговского, ваше высокопревосходительство! — и какое-то там движение рукой как рыбьим плавником, вместо чести. (Когда-нибудь Веронике и друзьям петербургским рассказывать, если уцелеть!)

Не удивился Самсонов. Нисколько не задумался: откуда ж тут Черниговский полк, его быть не должно. Нет, улыбнулся, тёплый вспоминающий свет прошёл по его лицу:

— А-а, славные черниговцы!..

(Ну, влип! Вот начнёт спрашивать?)

— ... Вам, черниговцы, особенное спасибо...

И кивнул — отпускаяще. Понимающе. Благодарно.

И поехал шагом дальше.

Конь его тоже как будто закивался, глубоко опустил шею.

И в широкую спину ещё больше был похож командующий на богатыря из сказки, понуро-печального перед раздором: „вправо пойдёшь... влево пойдёшь...”

Как бы игрой нарочитой был загнан 13-й корпус, чтобы наименее ему отступить. Так легли озёра, чтобы не проскочить корпусу по единственному пути спасения. Ему надо было уходить косо на юго-восток — но сразу же навстречу семивёрстное озеро Плауцигер, два дальних плёса как две останавливающих руки раскинув, голубой глубиной зло мерцало ему: „не выпущу!”. За кончиком левой руки зыбилась двухметровая плотина Шлага-М — и тут же цепочкою малых озёр и снова раскинутыми шестивёрстными крылами озера Маранзен закрывала дорогу корпусу враждебная прусская вода. Дорого отдав за Шлагу-М и прорвавшись всё-таки на юго-восток, имел корпус опять единственную лазейку у Шведриха — мост и дамбу, и должен был узкой ниткой проскочить через неё. А проскочивши, попадал не на простор своему

искосному движению, но оказывался загнан в северо-южный коридор между двумя водными заградами: позади — цепью пройденных озёр, впереди — десятивёрстным озером Ланскер и ожерельем мелких, соединённых заболоченною рекою Алле. А и эту, вторую, заграду проскочив, упирался корпус в третьи водные объятия — снова в шесть вёрст запретно раскинутых крыл разветвлённого хвостатого озера Омулёв. И — никак уже не мог идти, куда ему надо, а должен был покорно ссовываться на юг, на столкновенье с соседним 15-м корпусом, и далее, где дороги уже будут пересечены неприятелем. И даже обогнув озеро Омулёв, попадал он в бескрайнем грюнфлисском лесу так, что единственная прямая мощёная дорога Грюнфлис-Кальтенборн шла ему точно поперёк, а пробираться оставалось извилистыми лесными.

Именно этому злосчастному 13-му, уж и так отшагавшему более всех, досталось от Алленштейна за 40 часов сделать 70 вёрст, без куска сухаря и с лошадьми некормленными, нераспрягаемыми.

Но разве только лошадей и не понимается особенность этого вида боя — бегства. Чтобы слать низших в наступление, приходится высшим искать лозунги, доводы, выдвигать награды и угрозы, а то и самим непременно идти впереди. Задача же бегства понимается мгновенно и непротиворечиво сверху донизу всеми, и нижний чин проникается ею несопротивительней корпусного командира. Всем порывом готовно отзывается на неё разбуженный, три дня не евший, разутый, обезноженный, безоружный, больной, раненый, тупоумный, — и только тот безучастен, кого уже нельзя добудиться. В ночь ли, в ненастье, единая эта идея ухватывается всеми, и все готовы на жертвы, не прося наград.

Ещё прошлую ночью 13-й не мог идти на выручку 15-му, потому что был утомлён и снабженье отстало. А в следующую — никто не ворчал об отставших кухнях, не спрашивал о днёвках, но со скоростью необычайной из чужих лесов и озёрных проходов убирал своё распученное тело корпус.

Кроме только арьергардов.

В русской армии Четырнадцатого года арьергарды — не спасали себя сдачею. Арьергарды — умирали.

В хохенштейнской котловине Каширский полк и два батальона отставшего Невского были вкруговую атакованы подошедшим корпусом фон-Бёлова, а две русских батарейки заглохли под шестнадцатью тяжёлыми немецкими орудиями и семью десятками полевых. Но и без артиллерии бились каширцы до двух часов дня, ещё контратаковав вокзал, и ещё до вечера держались одиночки в зданиях. Убитый при знамени полковник Каховской выиграл время, как было ему приказано.

В межозёрном суженьи у Шведриха окопался наиболее пока уцелевший Софийский полк и тут кровопролитно бился до трёх часов дня, так искупив и свою вину двухлетней давности: с 1912 года лежало на нём пятно и не был он выводим на парады за то, что в столетие Бородине, на бородинском поле, один солдат-софиец бросился с челобитной к царю. Теперь по три роты его сводились в одну, и то не набиралось сотни. Но отстали и преследователи.

Изо всех опасных дальних мест убрался 13-й корпус.

Однако не помогла ему доблесть его арьергардов: он и дальше не мог растечься широким фронтом, а шло уже к концу 16-е августа. За ночь надо было ему проскользнуть за спиной 15-го корпуса, а тот сам теснился, сбивался на те же дороги. Да и корпус уже не был корпусом, редкий полк — полком, а то — в нескольких ротах. Правда, ещё сохранялась сотня орудий и не отбилась парковая бригада со снарядами, а близ полудня представился генералу Ключеву — 40-й Донской полк, целёхонький, бодрый, только что из России, в отличном виде, — та самая корпусная конница, которой не хватало всё сражение...

Генерал Ключев не обрадовался этой ещё новой обузе и не придумал, что с донским полком делать. Ещё меньше обрадовался он привезенному Пестичем приказу принять командование всеми тремя корпусами. Вот это ловкачи! — они все бежали, а Ключева оставили погибать в мешке. И где эти чужие корпуса искать, когда своего не досчитаешься?

Одна была выгода: до сих пор Ключев считал, что Мартосу отвели на отход более удобные западные пути, а ему — лесные, глухие. Теперь же он мог перераспорядиться.

И перед вечером, от озера Омулёв, не разведав дорог,

ни — кто на них, свернул всем корпусом не налево, как ему было велено, а направо. И врезался в тылы 15-го корпуса.

А 15-й за предыдущие дни так изнурил противника, что обеспечил теперь себе в меру беспрепятственный отход: только артиллерия постреливала ему вослед, и занимали немцы лишь те места, которые корпус уже покинул. Но отступал он уже не как целое — без штаба, без многих старших командиров, убитых или исчезнувших, и отступал на полдня раньше, чем требовал „скользящий” план, тем самым разрушая его: боевые участки, заграждающие с запада, таяли. До темноты держали „щит” только остатки 23-го корпуса, неведомо какой ещё кровью, а 15-й, из-за перехвата немцами дорог под Найденбургом, всё более втягивался в необъятный Грюнфлисский лес, чёрно-мрачный задолго до сумерок.

Тут-то и столкнулись корпуса под прямым углом на роковом перекрестке в непроглядной уже черноте лесной ночи; тут, где днём четыре телеги разехаться не могли, должны были ночью пройти с квозь друга друга два корпуса! Если до сего часа ещё как-нибудь существовала Вторая русская армия — с этого перекрестка она перестала существовать.

Что там выкрикано было, взахлёб и матерно, что за поводья, за дышла схвачено, отведено, по лошадиной морде бито, в сторону отжато, в хруст веток вломлено — только те знают, кто сам на фронте попадал. Во главе колонн не оказалось, конечно, старших командиров, а те младшие, что были, не сразу друг до друга докричались, опознались и придумали: стать на перекрестке, как врытые; солдата каждого, за плечи схватив, спрашивать, из какой он части; и весь 13-й корпус направлять на восток, на Кальтенборн; а 15-й и 23-й — на юг. Так руками перещупать оба корпуса и пустить их не вперекрест, а вразводку.

Показался адовой чёрной щелью тот лесной перекресток, где днями светило мирное солнце через мирные сосны. Горло своё на перекрестке довольно поупражняв, а всё не прихрипнув, замолчал Чернега, только пересчитавши, что все его колёса повернули, — и не узнал, что на этом-то перекрестке пять дней назад их уже подталкивала

пехтура услужливого веснушчатого подпоручика Харитонова. И в той заглотной чёрной дороге, какую они потянулись дальше, тоже не прознавалась прежняя дневная, прохладная в зной, по которой они уже тягались раз из Омуплефффена и возвращались в него же.

Разведенные двумя дорогами массы потекли по лесу наудачу, наощупь, то и дело останавливаясь. Брели солдаты, двое суток не евшие; без воды в баклажках, а во рту пересохло, хоть грязь сосать; без веры уже в своих генералов и в то, что разум есть, как их гоняют; и уже скрывая свои номера рот, не давая себя разбирать; и просто отваливаясь в сторону, да на земле засыпая.

И только конница, чья подвижность и скорость не приходилась к месту все эти дни, теперь использовала свою способность. Потянулся конный к конному, а пуще — донец к донцу: кто видел, узнал, успел — собирались к одной конной колонне. Дошла до них та непоправимая сдвигка частей и сдвигка в умах, после которой уже не восстанавливается армия. И конница пошла туда, где, как понимала, ещё есть выход: у самого дальнего завяза мешка. Роковой перекресток, где всё смешалось, обошли они прежде, засветло. Деревни, где на рассвете и завтра достанется биться российской пехоте, прошли они, опережая немцев. И двадцативёрстную лесную дорогу до Вилленберга, какая завтра будет пехоте бесконечней пути на небо, бодро отмахали кони. По пути прихватили донцы легендарного фон-Торклуса, кого своя дивизия найти не могла, а драгуны — армейский штаб. Вилленберг уже был у немцев, ещё раз свернули, прорвали в лесу, поставили у Хоржеле арьергардную переправу, а сами уходили дальше.

Не так-то мало: сюда, батареи! сюда, парки! сюда, пехота! Пробивайтесь, мы ждём, мы держим.

Да что-то ребятушки не шли, не катили. Только завтра, уже при свете, они будут выбираться из лесу — и немцы коварно будут выпускать их на километр на голое пространство — а потом повально расстреливать из пулемётов и пушек.

К вечеру 16-го уже не существовала Вторая армия, а — перемешанная неуправляемая толпа. Утром 16-го дон-

ские казаки были верной частью общероссийского воинства, к вечеру самостийно смекнули они, что своя донская рубашка к телу ближе.

С Россией-матушкой пропадёшь к этой самой матушке!.. У донцов — своя судьба, айда пробиваться, казачки!

И не в упрёк им, ибо не с них началось.

Так в разряде школьной магнитной катушки предвещательно умеет явить себя несравненная небесная гроза.

ЦАРЬ И НАРОД — ВСЁ В ЗЕМЛЮ ПОЙДЁТ

47

Ощущение чистоты мягко вливалось в отдыхающее тело. Как он заснул — он не заметил, и как проснулся — не заметил, и даже он ещё не проснулся. Он только имел силы размежить веки и увидеть близко перед глазами эту травку — такую нетронутую, ровную, шёлковую, от которой и вливалась в тело чистота. Может быть ощутил он себя на боку, может ещё угол поляны видел, но не доясна, а травка заняла всё его размягчённое ненаправленное внимание.

Травка его детства. Такая точно, как сеянная, ну может с подмесью калачиков, росла в их поместном запустевшем дворе в Застружьи, и такая же — по широкой улице деревни: густая, сильная, а короткая, не для косы. Дворов было в Застружьи мало, скот на улицу не выгоняли,

и так редко по ней ездили, что ни дороги, ни даже вдавленных травяных колеи не оставалось, а сплошная мурава, по которой они с деревенскими ребятами катались.

Он силу нашёл только пальцами нижней руки пошевелить, потрогать травку. Да, такая.

А больше — не было сил. Спасительно, охранительно не было сил даже вспомнить: которое число, какое место, отчего он здесь, почему так покойно? А вот от муравы легко-легко скользила память.

К часовне. Каменная часовенка на той улице, за особым заборцем. Даже не часовенка, потому что и один человек, войдя в неё, не мог бы распрямиться. Как бы — деревенский алтарёк под крышей.

К молебнам. Их служили и перед часовней и просто в поле, когда за пять вёрст из приходской церкви к ним приходил крестный ход в храмовый праздник Успения, по костромскому лету может быть и выбранный так, чтобы кончать собой уборку хлеба.

Успеный день — когда? Это — было, будет?.. Не вспоминалось. Предупредительно загорожено было всё, что вело к приближению, к пробуждению.

Седовласый почтенный батюшка никогда не приезжал в тарантасе, а всегда шёл пешком, с непокрытой головой. И две иконы несли, по две бабы каждую. Но главный добровольный состав шествия был — подростки. Двое-трое старших напряжённо-важно несли хоругви, а горохом вокруг — головастые, голостриженные ребята в белых и тёмных рубашёнках под поясками, со снятыми картузёнками в руках, без смеха, без шалостей. И девочки — в длинных-преддлинных юбках и, до самой малой, всегда в платочках: женской голове не полагалось бывать открытой. Приходили в лапотках и босиком, но в чистенькой всегда одежде, и столько доверия простодушного (обязывающего), столько чистой веры было в лицах, разлитая мягкость смывала озорную остроту. И две одинокие хоругви двигались праздником на всю распаханную окрестность.

Щемит всякая память о том месте, где ты вырос. Пусть оно другим безразлично, ничем не отменно, — а тебе всегда лучшее на Земле. Неповторимые тоскливые изгибы полевой дороги в обмин оградных столбов. Поко-

сельный каретный сарай. Солнечные часы посреди двора. Изгорбленная запущенная неогороженная теннисная площадка. Безверхая беседка, сложенная из берёзовых прясел.

Когда делилось между пятью детьми оскуделое имущество деда, отец отказался от всяких долей и просил только отдать ему Застружье — для души, для одиноких прогулок-размышлений о неудавшейся жизни, потому что угодий там уже тогда не оставалось никаких, польца хватало только чтобы прокормить семью управляющего (он же и конюх), лишь на Рождество и Пасху присылали в Москву хозяевам двух-трёх индюшек да круг топлёного масла. А когда-то строил их каменный двухэтажный дом ампирный строгий дом поручик-конногвардеец Егор Воротынцев, о пожаловании которого именной указ Елизаветы хранился у них на московской квартире, каллиграфический.

От того указа, от того поручика конногвардейцев и протянулась жизнь нового Георгия — в армию опять, после двух поколений гражданских. (Смутно был он уверен в большем: что они — какая-то линия от угасшего рода бояр Воротынских на Угре, от славного воеводы Михайлы Воротынского, сожжённого Грозным на костре, из-за того что видел в нём соперника престолу. Но — не хватало звеньев, недоказуемо.)

Глаза уже полностью были открыты и видели всю поляну, вкрапленье нескольких дубов в замкнутое меднохвойное море, предвечерний свет, — а тут отложило разом и уши, и услышалось погромыхивание артиллерии, не так далеко и не редкое. И — одним рывком унесло всё ослабленное успокоение, опять загудел пустой котёл души, вступило раскалённым кузнечным ковом:

Самсонов — прощался с армией! Это было сегодня, несколько вёрст отсюда. Всё пропало, помочь нельзя.

И его эстляндцев уже не было с ним — убеждённых им, возвращённых им и не зря ли погубленных?

И коня уже не было при нём. Коней, их двое. Арсений?..

Воротынцев на локте поднял лomotное тело, посмотрел вправо, влево — не было Арсения. Через спину, шею изворачивая, в плече и в челюсти боль, окинулся — здесь. Лежал на спине во всю растяжку, головой на чурке. Если

спал, то с недокрытыми глазами. Нет, не спал, поглядывал, но лицо покойно, как у сонного.

Этот один и остался на нём. Рвался Воротынцев повлиять, помочь целой армии. И остался с одним солдатом.

— Мы спали? — тревожно проверил.

Арсений не сразу, не по-военному, сладко рот растянул:

— А-га.

— Как это? Мы не должны были спать! — изумлялся Воротынцев, а всё ещё не было полной силы вскочить, и он только перевалился на другой бок, к Арсению. Вытянул часы, но и глядя на них, не мог точно сообразить.

У тела свой ритм, свой допустимый темп. Как быстро ни завихривались полки и дивизии, воронкой втягиваемые в пропасть поражения, — комочек тела не мог начать в этой круговерти своего самостоятельного противного движения, пока в нём что-то предыдущее не замкнулось и не отпало через сон неподвижный и ленивое это лежанье с разглядыванием близких былинки. Какой-то срок оцепенения и самовозврата должно было перебыть тело от прежней скорости с одним смыслом до новой скорости с другим.

Как же можно было спать? И едва ль не четыре часа! На пять минут прилегли... Армия гибнет, кого-то можно выводить, что-то делать, — а он спал!

— Почему ж ты меня не разбудил? Ты же знал, что спать нельзя?!

Арсений чмокнул, вздохнул, зевнул:

— Так и я же спал, ваше... ваше... Я — три ночи не спамши. А вы вон пятаю. Куды ж нам идти?

Ну, сон ладно, он прав, тело лежит, придавленное к земле, благодарное, и ещё сейчас не может подняться. Но не знает солдат, что полковник свалился на землю не от усталости. Пятеро суток от Остроленки он скакал, убеждал, призывал — а тут свалился. От отчаянья. Вот отчаянья он за собой прежде не знал, вот этого и не мог простить. Лежал, мямлил, вспоминал прошлое — а прошлое не помнится в добрый час.

Возвращалось ошеломлённое сознание, но и сейчас Воротынцев не мог охватить всех размеров катастрофы — необъятной, неуправляемой. Ни всего, ни большей части

спасти уже было нельзя. Но что-то же можно? что-то же делать! Да-а-а, вспомнил он, — карта пропала, с конём и карта. Так он ослеп.

Воротынцев промычал, кулаком постучал по лбу. Через немочь тела — благодарного, благодарного за отдых, подтянул колени, обнял их. Хоть бы карту! хоть бы карту!..

Осталась голова — осталась в голове и примерная обшая конфигурация, но это не то.

Воротынцев больше повернулся на Арсения. Под вниманием полковника нехотя приподнялся и тот, руками сзади подпёр туловище, а длинные ноги так и не пошевелил. Фуражка его опрокинулась на землю, волосы были заложмачены и вид хмурый, как с перепоя. Моргал.

— Завёл я тебя, — сообразил Воротынцев. — Остался бы ты там, не окружили.

— Може б там уже и без головы, — уступчиво шатнул её Арсений. — Что выпито, что пролито, того не разделишь.

Ещё раз удивился Воротынцев самодостоинству этого солдата: как он умел, не выходя из подчинения, быть и сам по себе особо. Без офицерской снисходительности, как человеку своего круга, тихо сказал ему:

— Но мы выберемся, ты не думай.

— Ещё б не выбраться! — выпятил шлёпистые губы Арсений. — По такому-то лесу!

— Да он к шоссе, кажется, не подходит. А по шоссе — немцы.

— Ну, так и здесь переосенём. Пока цепь снимут.

— Как это переосеняем?

— Да в шалаше сокроемся, до зимы. Кореньями да ягодами всегда живы будем.

— Три месяца?

Благодарёв сощурился важно, будто вдаль:

— Жива-али люди. И годами.

— Кто такие?

— Да хоть и в пúстынях.

— Да мы ж с тобой не пустынные! Мы — подохнем.

Со знанием покосился Благодарёв из своего подпёрто-высокого положения:

— Коли надо — всё можно.

— Но мы не монахи, мы военные. Мы пробиваться будем. И как можно скорей, пока силы ещё. Ведь живот грызёт?

— Да уж и отгрызло, — пустыми зубами жевнул Арсений.

Этот сон вповалку придал силы им. Уже не батальоны собирать, а — самим пробиться. Ему, Воротынцеву, пробиться в Ставку, правду найти и правду рассказать. И тогда вся поездка будет не зря! Вот и долг его, и во всей окружённой армии — его одного. А батальоны собирать — есть офицеры кроме.

И вновь — как отложило уши. Воротынцев услышал — тишину. Артиллерия не била больше. Иногда — ружейный дальний выстрел. Иногда — очередь из двух-трёх.

Это могло значить: кончено всё!

И он оперся — вскочить! (Да не той рукой, кольнуло плечо.) А получилось — насторожился вслед за Арсением: тот, кажется, ушами шевельнул отдельно и, скинув отупенье, живо смотрел между деревьями.

Хрустя, шли сюда.

Шёл — один. Неуверенно.

— Наш, — определил Арсений.

Раз один — не могло быть иначе.

Но остались у земли.

А тот — шёл. Брёл. Офицер. Худенький. Не молодой даже, юный. Раненый? — так шашка ему тяжела. Что-то знакомое.

— Подпоручик! — узнал, крикнул, поднялся Воротынцев. — Ростовский?

Из испуга — и сразу в радость перекинуло безусого дитятного подпоручика:

— О-о, господин полковник!

— А вас — не эвакуировали? Вы что ж, пешком из госпиталя? — Но ответить не дав: — А карты — нет у вас случайно, а?

На подпоручике — не портупея, но с особой важностью вертикальные подпогонные ремни с пряжками — от каждого плеча и прямо к поясу. А при узенькой фигуре — офицерская сумка самого большого размера, и набитая.

— А как же! — ещё просиял бледный подпоручик и

расстёгивал сумку. И, похвалы ища: — Да какая чёткая, немецкая! Я в Хохенштейне нашёл! А в госпитале подклеил.

Но говорил — с усилием. И стоял с усилием. Тошнило ли, лечь хотелось?

— Ах вы, молодец! ах вы, молодец! — потрепал его Воротынцев по спине. — Вы куда ранены? Да, вы контужены. Голова? Ну всё-таки проходит? Вы вот что, шинель на землю и ложитесь пока, вы бледный!.. Я сказал — ложитесь!

А сам уже разворачивал, раскидывал карту по траве — надвое, надвое, надвое. И уже нависал над ней, наклонился как сокол над жертвой. Что он спал полчаса назад, что он вообще способен успокоиться и лежать — было непредставимо.

— Арсений, подай сучков, углы придавить. Так, подпоручик, объясните, как вы шли.

Воротынцев стоял перед картой на коленях, а Харитонов лежал на животе, скрутку шинели держа под грудью и тем возвышаясь. Иногда он отдышивался, а то глаза прикрывал, но старался говорить без перерывов, чётко и пободрей. Он рассказывал и тут же показывал по карте, пальцами без всякой отделки и отроста ногтей, как вчера вечером вышел из Найденбурга, как уже было перехвачено шоссе. Как он приближался к нему, и отходил, и где ночевал. А сегодня пошёл на деревню Грюнфлис, но...

— Как, и Грюнфлис? Когда они вошли?

— Да не соврать... часа три назад...

Пока тут спали...

... Как он думал найти свой полк при 15-м корпусе...

— И где, по-вашему, мы сейчас находимся?

— Вот здесь точно. Если дальше идти, должна быть вырубка справа, а потом край леса и должно открыться Орлау.

— Правильно, подпоручик! Мы оттуда, всё правильно. Только вам уже полка не искать.

Карта — была, исходная точка — была, остальное — на свой глаз и свой ум. Мысли быстро собирались к нужному, как прислуга к орудию, как рота „в ружьё!". Там, где зев большого мешка, — туда бросятся все русские:

ещё, может быть, не завязано. Все постараются выходить *дальше* от немецкой западной стенки, а мы выйдем как можно *ближе*. Немцы тут тоже не очень задерживаются, они гонят дальше — закруглить, замкнуть кольцо. И нет тут езженных дорог, тем лучше для малой группы. А просеки идут как раз на юго-восток, как нам и надо. Только сделать петлю версты на три, обойти безлесный грюнфлиссский треугольник. И — всё лесом, и дальше. Железная дорога в густом лесу, по ней никого не будет. И опять просеками. И вот единственное малое место, два раза по полуверсте, у деревни Мольткен, где лес подходит к шоссе вплотную, совсем вплотную. Вот здесь и переходить! И ещё хорошо получается: как можно меньше вёрст. Меньше вёрст — меньше сил, быстрее выйдут, — ложный расчёт, они ещё и колючую проволоку натянут. Нет, как можно скорей! Но сегодня ночью уже не успеть. Значит, завтрашней ночью. А за сутки подобраться к шоссе. Вот и маршрут, и время, и место, и план — готовы.

На раскинутой карте зеленел перед Воротынцевым Грюнфлиссский лес — огромный, но всё же расчерченный аккуратно на четверть тысячи прямоугольных пронумерованных кварталов, подсчитанный, исхоженный, подчинённый бежавшим лесникам — почему же не Воротынцеву?

Из своих рассуждений он часть выговаривал вслух Харитонову. Контуженный — это будет слабое место. Но так неотклонен военный порыв подпоручика, с таким сияньем и освобожденьем слушал он план старшего офицера, ещё от травы, от земли набирая сил, что не было сомнений: он не поддаст.

— А какого вы училища, подпоручик?

— Александровского.

— Нашего??

Обрадовались оба. Да вспоминать некогда.

Благодарёв босиком, нежа крупные лапы в траве, стоял рядом в рост, вольно изваяясь на одну ногу. Он как бы с высоты аэроплана поглядывал на распростёртую Пруссию. Теперь она была схвачена, была — их.

Несколько часов назад в тупом упадке и бессилии свалился Воротынцев на этом месте. Час назад он не имел

силы даже подумать о том, что надо было делать. А сейчас просверкнул и выстроился бесспорный план — и уже казалось Воротынцеву немисливо минуту упускать, а разжимались и вытаскивали пружины: скорей! скорей бы!

— А ну-ка, Арсений, возьми за два угла.

Прокрутили и по компасу сориентировали карту. И маленькая их затерянная полянка стала в строгую систему леса. И поперечная просека показала, как надо начинать идти.

— Ну что ж, ребята? — не терпелось Воротынцеву. — Пошли? — И с опасением на подпоручика: — Трудно? Ещё полежать?

Да, ему бы полежать, но:

— Я готов, я готов, господин полковник!

Арсений чмокнул громко и стал обуваться.

Воротынцев бережно сложил карту, соображая, какие ближайшие развороты понадобятся, и прокладывая новые сгибы, чтоб обтёртые старые береглись.

На запад от них ближе всего был простор, но даже оттуда не пробивалось солнце, канувшее за лесную глубину. Бронзово-шелушистые лесины стояли тёмные, и только хвойные головки их, за десятой саженью высоты, отзолачивали ещё.

— Так! — решительно скомандовал Воротынцев, оглядывая, как на больном подпоручике болтается шашка. — Бросьте её!

— Как? — не понял Харитонов. Изумился: — Как?

— Кидайте-кидайте! — властно показывал Воротынцев. — Я вам приказываю! Я отвечаю. Я и сам свою скоро брошу.

Однако оставил.

— Тогда я... сломаю, господин полковник?

— Силы нет ломать. Ты, Арсений, пойдёшь последним. Возьми у подпоручика шинель. — И пальцем ответил Харитонову на протест.

Пошли гуськом. Теперь только с сумкой полевой и револьвером, в ременной „шлее”, худенький юноша старательно, прямо, с головой неопущенной, пошёл между коренастым легконогим полковником и загребающим редкими шагами солдатом. Кроме двух шинелей, двух винтовок, заспинного мешка, котелка, баклажки, ещё нёс Бла-

годарёв свинцовый патронный ящик нераспечатанный, и была сапёрная лопатка по бедру, — а всё как будто налегке.

Прошли они намеченные три квартала, свернули. Ещё с полквартала прошли. Тонкий лунный серпик тоже задал, преждевременная темнота уже наступала в лесу, но Арсений заметил в стороне от просеки, деревьев за десять, человека на пне.

— Хо! — как в бочку гакнул он. — Сидит!

Весь лес теперь так, каждый куст мог ожить.

Всмотрелись и офицеры. Сидел. Не стрелял. Не бежал. Не прятался. Но и не бросился навстречу землякам.

Встал. Медленно пошёл к ним.

На просеке ещё хватало света увидеть, что всё на нём землёй измазано, и лицо грязное, а гордо-поставленное и строгое. Прапорщик. Тоже без шашки. Заметил полковничьи погоны, колебнулся, отдавать ли честь. Не отдал, не подтянулся особо. Ну да по-лесному. Хмурился. Как будто задумавшись или в груди его кололо, сообщил не сразу:

— Прапорщик Ленартович, Черниговского полка.

Воротынцев за эту минуту уже разглядел на груди под расстёгнутой шинелью — университетский значок. И, как всякого солдата и офицера привык примерять, что́ б он был у него в полку, примерил и этого. И ещё додумывал донесенное ушами: Черниговского полка, вот уж какого наверняка близко не было. А впрочем, всё перемешалось.

— Вы ранены?

— Нет. — Хмуро, независимо, а добавил: — Но чуть не убит.

— Не понимаю, — резко поправил Воротынцев.

Мало ли кто „чуть” не убит, об этом бабе после войны рассказывают.

Ленартович показал назад через плечо:

— Я думал на деревню выйти. А там уже немцы. Меня в картофельном поле прижали пулемётом, не знаю, как отполз.

— А где ваш взвод? — торопился Воротынцев. Ночь терять нельзя. Растянулась по небу полоса клочковатых оливковых тучек, но не обещала непогоды. И — пропус-

тил, что тем временем ответил прапорщик, да может и не поверил бы его объяснению, да смешалось и падало больше и крупней, чем судьба этого прапорщика. Не хотел бы он себе такого в полк, а впрочем угадывал, как и из этого студента, с его презрением к военной службе, ещё какого военного человека можно было бы отработать. Статен, голова хорошо стоит.

Быстро:

— Останетесь тут? Или идёте? Мы — на прорыв.

Миг колебания, и вот живей прежнего и вполне готовно:

— Если позволите.

Полковник — резко, жёстко:

— Предупреждаю: все наряды и обязанности у нас будут без чинов. Есть здоровые, есть раненые, вот все различия.

— Хорошо, хорошо! — живо соглашался Ленартович.

Да он ведь был и демократ, его-то особенно мучили эти „вышние” и „низшие”.

— Марш! — кивнул своим Воротынцев.

И пошли.

Ленартович и правда был рад, что попал, видно, в верные руки. Сейчас, ртом изъев крупитчатую землю у картофельных клубней, осыпанный брызгами земли от близких пуль, уже простясь со всей своей жизнью — неисполненной, почти не начатой, такой любимой жизнью! попятным червячным движением вылез из бесконечной борозды, ни разу голову не отняв от земли, — он беспмятно пробродил по лесу и, оглохший, с оцарапанными дрожащими руками и вывихнутым пальцем, доплёвывал и доплёвывал землю изо рта, выбирал из носа и ушей.

Сдаться в плен оказалось ещё опаснее, чем биться до последнего. Вот она, война! — её и бросить нельзя, от неё отвязаться нельзя. И если здесь не заподозрили, не упрекнули, обещали вывести — оставалось идти, стрелять, воевать. Если тебя хотели убить, почти убивали — ты вправе ответить тем же, а то дошутимся.

Он у солдата заметил баклажку, горло обмело и трескалось от жажды, — а попросить попить почему-то не решился.

Его — вели, везли. Его тело двигал не он сам. Сам он только размышлял. Пласты окончательно рухнули, пыль осела, прорвало, и расчистило, — и кончились все смутные неопределённые движения. И с ясностью предстал мир нынешний и всех прошлых лет.

Снялась тугая пелена с разума — и с сердца тоже свалился камень: с того часа, как под Орлау он объехал солдат и благодарил их и попрощался с ними, — свалился камень, облегчилась душа. Хотя немногие те солдаты на холме под Орлау не могли простить его за всю армию или за всю Россию, но именно их прощения жаждала душа. О суде чиновном не думал он много: не бывает судов над теми, кто поставлен высоко, — упрекнул, поддержат в резерве, дадут другое назначение, стыд не выедает глаз. И хотя назначат, быть может, следственную комиссию, но вотще будет ей разыскать — этого уже никому не разобрать, не разложить, поздно. Был на то — замысел Божий, а понять его не нам и не сейчас.

Не гордым верховым уже, а тележным ездоком, подбиваясь на корнях и кочках, оталкиваясь плечом с Постовским, но нисколько с ним не беседуя, а даже совсем о нём забыв, Самсонов вёл и вёл свою думу.

О штабе фронта, о Жилинском не думал он, не перебирал обид и оскорблений, в недавние дни так травивших ему душу. Не изыскивал, как доказать, что во всём произошедшем виноват Жилинский больше, чем он. Охладело и осветлело внутри него, и уже не саднило, что вот Жилинский сумеет теперь извернуться, выйти сухим. Было странно, что упрёк в трусости от этого ничтожного чело- века ещё недавно так задевал Самсонова и влиял на его решения относительно целых корпусов.

Пожалуй, вот о чём думал он: как нелегко Государю выбирать себе достойных помощников. Ведь худые корыстные люди ретивее добрых и преданных, они особенно изощраются выказать перед Государем свою мнимую вер-

ность, свои мнимые способности. Никому не достаётся видеть столько лжецов и обманщиков, как царю, — и где же ему, человеку, набраться божественной пронизательности разглядеть чужие потёмки? Так и становится он жертвой ошибочных выборов, и эти корыстные люди как черви истачивают крепкий русский ствол.

Мысли его приличествовали всаднику возвышенному, а трясло и качало его — в телеге.

Так спокойны и общи текли самсоновские размышления, не сообразованные с целью движения штабной группы: найти просвет в окружении и выскользнуть. И в перерыве думы не сразу понял, что ему докладывали: дорога на Янув, как едут они, перерезана, на шоссе перед ними — немцы, и обстреливают выход из лесу. Предлагали штабные: сменить южное направление на восточное, предпринять крюк с дальним плечом на Вилленберг, зато уж Вилленберг должен быть наш, у Благовещенского. Самсонов кивал, Самсонов не возражал.

Пришлось возвращаться, теряя вёрсты и время, потом сворачивать подходящей просекою на восток. И в выбор просеки, и в потерю времени и расстояний Самсонов опять не вникал. Как бы защитная духовная стена оградила его от всяких возможных неприятностей и раздражений внешней жизни. И чем быстрее и непоправимее текли внешние события, тем медленнее всё текло в теле Самсонова, тем обстоятельней отстаивались его мысли.

Он хотел только хорошего, а совершилось — крайне худо, некуда хуже. Но если при лучших намерениях можно вот так до пера распушиться — что ж проистечёт в этой войне от действий корыстных? А если поражения повторятся — не возобновится ли в России смута, как после японской войны?

Страшно и больно было, что он, генерал Самсонов, так худо сослужил Государю и России.

Уж было и к вечеру, невысоко солнце. Возобладало среди штабных попробовать свернуть ещё раз к югу и поискать проходного места тут. Командующий кивнул, кивнул, не очень вникая.

Какие-то места пошли здесь заклятые: покинули они сухой высокий красный бор, и ехали местностью низменной, закустаренной, вязкими песчаными просёлками и

через многие неожиданные ручьи и канавы, канавы, перебирались только вброд.

Несколько раз казачья разведка выезжала вперёд, но вскоре слышался пулемётный стук, и разведка возвращалась: занято. Занято и здесь.

Да что́ то были за казаки, в конвойной сотне штаба? — второй и третьей очереди, трухлявые, боязливые, при первых выстрелах спешивались в кусты. Как будто и казаками иссякла Россия — семиреченский и донской казачий атаман сотни добрых казаков не имел при себе!

Командующему требовалось — думать, ещё много сегодня думать. Могли бы Постовский или Филимонов заменять его в руководительстве хоть штабной группой, но оба смякли они, и жадно-заглатывающее выражение как смылось с лица Филимонова, а стал он нахохленный, сопящий, будто инфлуэнцей болен. И у деревни Саддек, всего 4 вёрсты до шоссе, молодые штабные просили самого командующего дать разрешение атаковать казачьей сотней на прорыв.

Больше версты было от их опушки до прихоссейных высоток, открытая местность мало обещала успеха, но офицеры горячо настаивали хоть раз попробовать, и Самсонов разрешил. Как во сне, не вникая достаточно.

Полковник Вялов уговаривал негожих казаков к атаке, они мялись, не выходили из леска, возражали, что лошади истомлены. Тогда штабс-капитан Дюсиметьер с криком „ура” и выхваченною шашкой поскакал один в сторону пулемёта, за ним Вялов, ещё два офицера — лишь тогда двинулись и казаки. А уж ринулись нестройной толпой, беспорядочно стреляя в воздух, с гиком, криком, не столько врага пугая, сколько подбадривая себя. Однако сбило троих с лошадей, и за пятьдесят шагов до пулемёта свернули казаки в боковой лесок.

Вид этого позора возвратил Самсонова к действиям и решениям. Он всех отозвал, запретил офицерам вторую атаку, теперь уже спешенную, велел возвращаться на север и опять поворачивать на восток, к Вилленбергу.

И снова они въехали в бор, уже темнеющий, выбрались на каменистую дорогу и беспрепятственно, быстро двинулись к Вилленбергу. Но в трёх верстах от него, на выезде из лесу, в сумерках, встретили крестьянина-поля-

ка, спросили: „Много ли русских солдат в городе?“, он за голову: „Не, панове, там фцале нема росьян, тьлько немцы, дужо немцув джись пшышло.“*

Штабные так и обвисли. Сидели в отчаянии. Где же мог быть корпус Благовещенского?..

А Самсонов сел на широкий пень, опустил голову бородой в грудь. Если опаздывал прорваться даже штаб армии, то что могло ждать саму армию завтра?

Штабные советовались: надо ночью где-то прокрасться, эта ночь — последняя надежда.

А Самсонов подумал: то Божий перст. Кто затемнил его, чтоб он покинул свою армию? То перст!

И объявил твёрдо:

— Я отпускаю вас всех, господа. Генерал Постовский, возглавьте прорыв штаба. Я возвращаюсь к 15-му корпусу.

(Где 15-й, где 13-й — именно в эти минуты сумерок, в двадцати пяти верстах за спиною командующего на роковом лесном перекрестке необратимо перемешивалось и переставало существовать.)

Однако все чины штаба в едином приступе окружили командующего и в едином говоре, каждый своими аргументами, стали доказывать ему невозможность, ошибочность, абсурдность, недопустимость, недодуманность его решения. Он командовал *всею* армией и не меньше обязанностей имел... перед фланговыми корпусами... и перед штабом фронта... только он один мог в краткие часы объединить оставшиеся силы... охранить Россию от вторжения неприятеля...

Ещё вчера, при несогласии ехать из Найденбурга в Надрау, они не смели так настойчиво возражать ему. Да многое сдвинулось за эти часы.

Самсонов сидел на своём природном лесном пониженном троне, слушал их и закрывал глаза. Он думал, какие все в штабе ему чужие, все до одного — случайно собранные, умами и душами — другие. Один Крымов был свой, а услан.

* Нет, панове, там совсем нет русских, только немцы, много немцев сегодня пришло.

Аргументы штабных складывались прочно, да не слышал Самсонов чистого звона в них. Не упрекнул открыто, но расслышивал: не о нём они заботились и не об армии, а о себе: никто не хотел идти с ним назад, а выйти без него было для них служебно невозможно.

Но и сил уже не было у Самсонова спорить с десятком заседающих подчинённых. Хуже: сил не оставалось тронуться сейчас одному с ординарцем Купчиком в дальнюю темноту, назад.

А чего-нибудь третьего — созвать сюда боевые части, прорываться с боем, как-то не предложил никто. В голову никому не пришло. И оставалось: как же выйти? „С этой бандой мы не выйдем”, — едино думалось о казачьей сотне. И объявили им вольную: выбираться самим, а штаб дальше пойдёт пешком. Представлялось разумным, что ночью по бездорожью будет легче выйти без коней. А живут в этой местности поляки, они сочувствуют.

Самсонов сидел на пне, бородой в грудь, как забывшись. Проигравший полководец, он был самый спокойный среди штабных.

Он ждал конца суеты, отвлекающей от мыслей. Он ждал, когда опять начнётся ровное движение, и можно будет спокойно думать.

Но и от казаков освободясь, и коней разнуздав и отпустив, штабные ещё не были готовы к ночному походу, ещё возились. При последнем сером свете с присветом месяца смутно видно было Самсонову, что копаются ямка и туда кладут офицеры что-то из карманов. Он видел это, но не придал значения, он уже не чувствовал себя командиром над ними — указывать или запрещать. Он ждал, когда, наконец, его поведут.

Но — услужливо-настойчивая фигура Постовского приблизилась, приклонилась к нему:

— Ваше высокопревосходительство! Разрешите вам заметить... Неизвестно, что с нами будет... Если мы попадём в руки неприятеля, — может быть, лишние документы или знаки?.. Зачем доставлять им такой успех?..

Не понял Самсонов: какой ещё успех? какие знаки?

— Александр Васильич, всё лишнее мы прячем в землю... Это место мы замечаем... Мы вернёмся потом, приплём... Если документы... всё, что выдаёт имена...

С той вершины понимания, которой достиг Самсонов за этот длинный день, — лепетны показались ему такие заботы. А вот и молодые сошагнули к нему и заговорили уверенно: что нельзя дать врагу понять, кого они взяли в плен, пусть думают, что упустили; что так и полковое знамя, если вынести его нельзя, — разрезается, сжигается, закапывается, только не отдаётся...

Как это повернулось быстро: четверть часа назад он ещё мог согласиться или не согласиться вообще идти с ними, только об этом они умоляли его. А вот — они уже и не очень его спрашивали, что им делать. Как золотого идола, как божка дикари, они только статую его доставят с собой, и тогда проклятие не падёт на головы их.

А — на его.

Вот они уже — шли. Шли гуськом, Самсонов где-то в середине, а Купчик позади него нёс чепрак с отпущенного коня. Несильный свет месяца, проникая в лес там, где было реже, позволял различать стволы, заросли, кучи хвороста или свободное пространство, но лишь в самой близи, и фигуры только ближайšie. Потом не стало его. Впереди шли со светящимся компасом, полуощупью, останавливались свериться, и все тогда останавливались. Прямо идти никак не удавалось: то надо было обойти ямину, то мокрое место, то чащу, а потом опять выверять направление.

Освободилось генералу Самсонову — думать. Теперь-то, без разговоров, без помех, он мог додумывать.

Однако... нечего оказалось додумывать. Да, нечего. Всё было уже дорешено и додумано. Очищено, поднято. Разве что оставалось — вспоминать.

Но и вспоминалось — не екатеринославское сельское детство. Не военная гимназия. Не кавалерийское училище. Не многие-многие места служб, события, сослуживцы. Всё обойдя, надвигался опять почему-то — мощный, грозный, а с затейной кирпичной кладкой, войсковой собор на горе. Родился в Малороссии, бывал в Москве, живал в Петербурге, в Варшаве, в Туркестане, в Заамурьи, — нет! неуроженного дончака, несло его на обширный новочеркасский холм! Сюда прилетать привольно душе! И не на верхнюю сторону, где взнесен Ермак, а на нижнюю, к спуску Крещенскому, где лишь немного поднимается гранит над

бульжником, и на нём покинута литая бурка с папайхой, а сам хозяин, Бакланов, — вот только что был, сбросил, ушёл.

В могилу, в подвальную церковь.

Так — хоронят солдат.

Когда есть победы, чтоб на граните высечь...

А идти было трудно: ноги отучились ходить хорошо, сильнее же того захватывала одышка, астменная задышка от простой ходьбы, без бремени.

Проверяется наше тело, когда мы теряем возвышение над другими людьми, и средства передвижения, и средства охраны, и вот уже не генеральские погоны оказываются выражением твоей сути, а — сердце непоспевающее, неполный объём лёгких, как будто заложило две трети их, и — ноги слабые, ноги ненадёжные: ступают неровно, упинаяются, спотыкаются о кочки, о мох, о хвостяной завал.

И радуешься не успешному проходу, не тому, что мы выскользнем, может быть, а — всякой задержке впереди, когда остановились, и можно к стволу прислониться, подышаться немного.

Самсонову стыдно было просить об отдыхе, но, в оглядке ли на него, останавливались каждый час, садились. Купчик, тут как тут, проворно расстилал под командующим чепрак. Ноющие ноги рады были протяжке и покою.

Да много времени нельзя было сидеть: уходили краткие ночные часы, последние возможности. К полуночи заволакивало и звёзды. Совсем стало темно, ничего уже не видно, лишь по хрусту, сопенью да наощупь чуяла бредущая цепочка друг друга. А дорога портилась, то чавкало болотце под ногами, перегораживал дорогу непродёрный кустарник, частый ельник. Полагали опасным сбиться в сторону Вилленберга. Опасно было наскочить на немецкий разъезд. Опасно было растеряться. Собирались кучкой, шёпотом перекликались. Привалов не было больше. Когда попадались канавы — Купчик и есаул под обе руки помогали Самсонову перейти. Перетаскивали...

Что тяжело было у Самсонова — это тело. Единственно — тело. Только оно и тянуло его в груз, в боль, в страдания, в стыд, в позор. Освободиться же от позора, от боли, от груза — всего и требовало: освободиться

от тела. Это был переход свободный, желанный — как первый полный-полный вздох во всю заложенную грудь.

Ещё вечером — искупительный идол для штабных, он пополуночи уже становился жерновом неуносимым, каменной бабой.

Трудно было ускользнуть только от Купчика: он всё время держался за спиной своего генерала и притрагивался то к спине, то к руке. Но при обходе частых кустов обманул Самсонов вестового казака: отступил и затаился.

И хруст, и лом, тяжёлый переступ — миновали. Отдалились. Затихли.

Повсюду было тихо. Полная мировая тишина, никакого армейского сражения. Лишь подвевал свежий ночной ветерок. Пошумливали вершины. Лес этот не был враждебен: не немецкий, не русский, а Божий, всякую тварь приючал в себе.

Привалясь к стволу, Самсонов постоял и послушал шум леса. Близкий шелест отрываемой сосновой кожицы. И — надверхний, поднебесный, очищающий шум.

Всё легче и легче становилось ему. Прослужил он долгую военную службу, обрекал себя опасностям и смерти, попадал под неё и готов был к ней — и никогда не знал, что так это просто, такое облегчение.

Только вот почисляется грехом самоубийство.

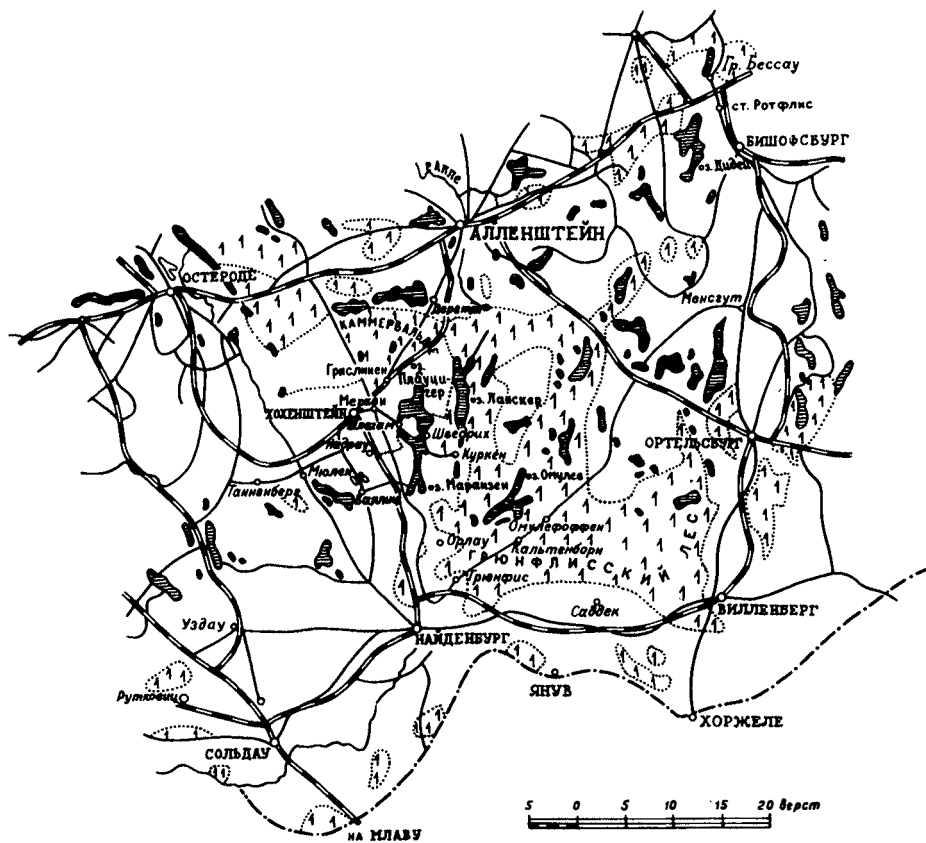
Револьвер его охотно, с тихим шорохом, перешёл на боевой взвод. В опрокинутую фуражку наземь Самсонов его положил. Снял шашку, поцеловал её. Нащупал, поцеловал медальон жены.

Отошёл на несколько шагов на чистое поднебное место.

Заволокло, одна единственная звёздочка виднелась. Её закрыло, опять открыло. Опустясь на колени, на тёплые иглы, не зная востока — он молился на эту звёздочку.

Сперва — готовыми молитвами. Потом — никакими: стоял на коленях, смотрел в небо, дышал. Потом просто: вслух, не стесняясь, как всякое умирающее лесное:

— Господи! Если можешь — прости меня и прими меня. Ты видишь: ничего я не мог иначе и ничего не могу.



СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1	11
Кавказский Хребет. — Саня Лаженицын едет на станцию. — Своё станичное. — Первые газеты. — Встреча с Варей. — Её зов. — Как они встречались раньше. — Впечатления Вари от первых дней войны. — Её отговоры.	
Документы — 1	21
23 июля — Посол Палеолог — императору Николаю II.	
Документы — 2	21
31 июля — Запись маршала Жоффра.	
Документы — 3	22
1 августа — Николай II — министру Сазонову.	
Глава 2	22
Неготовность души к войне. — Занывание. — Саня в поезде ночью. — История семьи Лаженицыных. — Степной восход. — Посещение Льва Толстого. — Запутался в изобилии истин. — Прощанье со степью. — Вид на кубанскую экономию.	
Глава 3	30
Ирина в ссоре с мужем. — Утверждаться на том, что есть. — Завтрак со свекровью. — Из быта семьи. — Дом и парк.	
Глава 4	38
Пробуждение Ксеньи. — Брат у сейфа. — Где Ксенья учиться. — Танец. — В гамаке. С Ириной. — О нравах экономистов. — Смешное или неподдельное? — Письмо от Ярика Харитонова.	
Глава 5	47
Ростовские дела Захара Томчака. — Какая гимназия наилучшая? — Беседа с Аглаидой Федосеевной. — Пристроил жить у начальницы. — Успехи Ксеньи. — Одно забыл спросить Томчак.	

Документы — 4	53
Французское м. и. д. — послу Палеологу.	
Глава 6	54
Роман Томчак в одиночестве. — Его путешествия. — Политические грёзы. — Как отдавал деньги террористам.	
Глава 7" (Вскользь по газетам)	58
Глава 8	63
Купец Саратовкин. — Облегчение у одра. — Чаша родины. — Летний Пятигорск. — Ларёк жестянщика. — Эманации анархизма. — Заслужить доверие! — Чёрный колодец.	
Глава 9	76
Возвращение Захара Томчака в экономию. — „Война — бисова дурость.“ — Освобождение мастерам. — Тревоги Евдокии. — „Россию кормлю!“ — Досада на сына. — Забрать с курсов дочь. — Мечта о герое. — Любовь Ирины к загадочному. — Примирение с мужем. — Флажки на Восточной Пруссии.	
Глава 10	87
В штабе Второй армии. — Генерал Самсонов не поспевает за ходом событий. — Неготовность войск. — Наступление в пустоту. — Споры с Жилинским. — Возврат генерал-квартирмейстера из штаба фронта. — Весть о победе генерала Мартоса. — Клеймо труса. — Полковник с бумагой от великого князя.	
Глава 11	99
Воротынцев у Самсонова. — Проблемы Второй армии. — Права на корпус Артамонова. — Воротынцев туда поедет. — Незашифрованные искровки. — Ужин.	
Глава 12	115
Воротынцев на выезде из Остроленки. — Нет совершенных штабов! — Сражение Первой армии под Каушеном и Гумбиненом. — Трения со Ставкой. — Ренненкампф не преследует противника. — Куда делись немцы? — Обгон обоза. — Как Россия приняла войну. — Лестница армейских возвышений. — В ночной дороге. — История армейской реформы. „Младотурки“. — В соревновании с германскими генштабистами. — План этой кампании. — О генералах. — Ночной путь.	
Глава 13	128
Лёгкость уехать на войну. — Совет генерала Левачёва. — Любовь или Долг? — Разлад родителей. — История счастливой женить-	

бы. — Что-то обронено. — Всё растущее лубенеет. — Ничтожность личных драм. — А искровки текут.

Глава 14 134

Ярослав Харитонов. — Восхищение солдатами. — Неполадки маршей. — Впечатления от немецкого благоустройства. — Шутки штабс-капитана Грохольца. — Подпоручик Козеко и его дневник. — Пустота Пруссии угнетает. — Замотали штабные немцы.

Глава 15 147

В Найденбурге, тушение дымов. — Прапорщик Ленартович и военный врач Федонин. — „Чем хуже, тем лучше”. — Помогать ли раненым? — Всё у нас плохо. — „Это вам не университет!”

Глава 16 155

Город Сольдау. — Воротынцев находит Крымова. — Здешние сведения. — Умеем ли мы использовать кавалерию? — Согласности и разногласия. — Немцы подошли.

Глава 17 165

Снова колебания, куда наступать. — Английский представитель в штабе Самсонова. — Переезд штаба. — Англичанину обо всех корпусах. — По пути. — Въезд в Найденбург. — Близость боя слева. — Обед, тосты. — Телеграфные переговоры с Артамоновым.

Глава 18 175

Генерал Нечволодов ведёт корпусной резерв. — Расспросы встречных о сегодняшнем бое. — Капитан Райцев-Ярцев. — Сведения о нелепых передвижениях. — Бишофсбург, смятение в штабе корпуса.

Глава 19 184

Солдатское у колодца. — Подпоручик Харитонов и фельдфебель Чернега. — Козеко у дневника. — Пожива. — Офицерский разъезд из штаба корпуса.

Глава 20 192

Нечволодов собирает силы. — Полковник Смысловский. — Пристрелка. — Кончик рога. — Белозерцы просят разрешения не отступать.

Глава 21 197

Природный командир. — Немцев задержали. — Ночное стояние отряда у станции Ротфлис. — Нечволодов и Смысловский. — Под звёздами. — Разговор звучащий и незвучащий. — Резерв покинут и забыт. — Команды к отступлению.

Глава 22 209

Жила азарта у Ленина. — В борьбе с объединенчеством. — Убаюкивает безмятежность быта. — Сам влопался! — Успешные хлопоты Ганецкого. — Смертельная опасность от мужиков. — Деньги — ноги и руки партии. — Чтобы свергнуть капитализм, надо стать капиталистами. — Отъезд из Нового Тарга. — Закон сменя приближённых. — Годы всеобщего отпада. — Как использовать счастливую войну. — Теперь уж не будут мирить. — Ошибки домашних. — Как посылал Инессу в Брюссель. — Надя. Долг революционной подруги. — Расчёты семьи Ульяновых. — Преимущества Швейцарии. — Как повернуть Колесо? — На краковском вокзале. — Не останавливать войну, но разгонять её! — Германия — союзник. — Вынос раненых. — Превратить войну в гражданскую!..

Глава 23' (Обзор по 13 августа) 232

Русские странности на немецкий глаз. — Отрыв Прусской армии от Ренненкампа. — Смена командования в ней. — Снятие германских корпусов с Марны и судьба войны. — Помощь от русских радиogramм. — Военные действия по 13 августа. Как складывалось окружение самсоновской армии. — Места Танненберга.

Глава 24 236

Трудно в армии таланту! — Генерал Франсуа. — Конфликт с командованием под Сталупененом. — Объяснения для истории. — Зарождение плана охватить русских. — Гинденбург и Людендорф. — Перед ударом.

Глава 25 243

Генерал Артамонов и тяготы войны. — Подкрепления его корпусу. — Загадка с корпусом Франсуа. — Что перед боем надо и что Артамонов делал. — Ночная поездка ободрять войска. — Выборгский полк. — Воротынцев не находит верного применения. — Сон в Уздау. — Бодрое утро. — Игрушечный лев. — Арсений Благодарёв. — Вылазка генерала Франсуа. — Под артиллерийской молотбой. — Мельница горит. — Отбитая атака немцев. — Дымное состояние. — Воротынцев с Благодарёвым через поле боя. — Собрание усилий. — Катёна, жена Арсения. — В разгромленном имении. — Атака петровцев и нейшлотцев. — Внезапный приказ на отступление. — Метания Воротынцева. — Все в откате, бой проигран. — Артамонов отрекается от приказа. — „Держусь как скала.“

Глава 26 285

Вошли в Алленштейн. — Полковник Первушин. — Неудачный доклад корпусному. — Призрачность города. — Генерал Ключев. — Сведения лётчика с правого фланга.

Глава 27	291
Генерал Мартос, „не пролей капельки”. — Готовность и разорение его корпуса. — Бой под Орлау. — Как Мартос распознал обстановку в Пруссии. — Рокировка. — Тщетная попытка получить помощь Ключева. — Бой за Мюлен. — Приказ идти на Алленштейн. — Мартос грозит отставкой.	
Глава 28	298
Томление Самсонова в Найденбурге. — Что с дивизией Мингина? — Смутное донесение от Благовещенского, правый фланг завален. — Артамонов держится „как скала”. — Подготовка армейского приказа на завтра. — Прогулка по городку. — Бегущие эстляндцы. — „Без сухарей!” — Донесение Крымова: завален и левый фланг. — Отрешение Артамонова от корпуса.	
Глава 29	309
Околдовка пустого города. — Начало мародёрства. — Ярослав запасается картами. — Козеко защищает самоснабжение. — И взвод Харитонова. — Пир солдат у какао.	
Глава 30	317
Генерал Благовещенский в упадке. — Панический ночной откат 6-го корпуса.	
Глава 31	323
„Die Höchste Zeit”. — Сомнения Самсонова. — Отважный удар спасает! — Молитва. — Артамонов сдаёт и Сольдау. — Суточное армейское донесение. — Вещий сон Самсонова. — День Успения. — Ехать вперёд! — Разномнения в штабе. — Выезд и последняя телеграмма.	
Глава 32' (14 августа)	333
Обзор военных действий за 14 августа. — Немцы мало верят в успех, мельчат свой замысел. — Ночные действия под деревней Ваплиц.	
Глава 33	335
Бессонные ночи Мартоса. — Ключев не придёт! — Втянулся, воевался. — Догадка о ночном наступлении противника. — Бессонные сожаления Саши Ленартовича. — Подъём по ночной тревоге. — Блуканья в темноте. — Атака в тумане. — Саша увлёкся. — Витмансдорфский утренний вид. — Воспоминание о Еленьке.	
Глава 34	346
Заботы найденбургского коменданта. — Госпиталь готовится к эвакуации. — Воротынцев расспрашивает контуженного Харито-	

нова. — Таня Белобрагина. — Воротынцев собирает обстановку. — У скалы Бисмарка. — Донесение Самсонову.

Глава 35 355

Утренний конный переезд Самсонова. — Благовещенский доносит о новом отступлении. — На командном пункте Мартоса. — Мартос победил — и предлагает отступить.

Глава 36 360

Воротынцев ищет, кем заслонить Найденбург. — Речь к эстляндцам. — Славно, Эстляндский полк!

Глава 37 365

Разведка Воротынцева с казаками. — Встреча с генералом Франсуа.

Глава 38 370

Жесты полководца. — Мешают приказы высшего штаба. — Генерал Франсуа рвётся на окружение. — Во взятом Найденбурге. — Два французских аристократа.

Глава 39 375

Штабные готовят план „скользящего щита”. — Часы раздумья Самсонова под Надрау. — Бегут нарвцы и копорцы. — Остановили. Самсонов стыдит бежавших. — В чём не оправдаешься... — Самсонов согласен на общее отступление. — Отрывает Мартоса от его корпуса.

Глава 40 383

Первое поражение задало тон. — Генеральские знаки как метки непригодности. — Поведение генерала Ключева. — Бездарность его распоряжений 15 августа. — Бесцельный бой Невского полка в Каммервальде. — Дорогобужский полк в арьергарде. Полковник Кабанов. — Приказ 13-му корпусу на отступление.

Глава 41' (15 августа) 390

Русская Ставка готовится наступать на Берлин. — Невмешательство штаба Северо-Западного фронта. — Благовещенский отвлёл корпус на покой. — Артамоновский корпус без возглавления. — Тщетность русских побед в центре. — Обзор военных действий за 15 августа с немецкой стороны. — А Ренненкампф не идёт. — Штаб Прусской армии отказался от окружения. — Франсуа завершает его.

Глава 42 394

Саня и Котя уходят в армию. Прощание с Москвой. — Не сделано ли ошибки? — Звездочёт. — Лёгкость уносит в будущее. —

Пивная под „Унионом”. — Что развело Саню с Толстым. — Скачок и государство. — Народное счастье и народники. — Народ и интеллигенция. — Общественный строй и строй души. — Струя истории. — Когда трубит труба. — Загадки.

Глава 43 412

Повадки Чернеги. — Фельдфебель ведёт батарею. — Ночной выход к Шлаге-М. — Самостийный разворот на оборону. — Пропуск отступающих. — А кто не вышел — тому не выйти.

Документы — 5 420

16 августа — От штаба Верховного Главнокомандующего.

Глава 44 420

День Нерукотворного Образа. — Воспоминания Самсонова о Новочеркасске. — Оборона больше нет. — Самсонов вникает в батальонные задачи. — Плавающее величие восхода. — Худые вести по лесу. — Новое состояние Самсонова. — Исправленный план штабных. — Стеченье перемешанных частей под Орлау. — Прощальный объезд Самсонова. — Воротынцев тщетно приступает. — Штаб уходит дальше.

Глава 45 429

Саша Ленартович день под обстрелом. — Где же выход? — Вечерние слухи об отходе. — Ленартович дезертирует. — Картины отступления. — Бессмыслица войны. — Наскочил на генерала Самсонова. — Вам, черниговцы, особенное спасибо!

Глава 46 436

Трудности к отступлению 13-го корпуса. — Как легко схватывается задача бегства. — Арьергарды — умирали. — Пересечение корпусов в Грюнфлиссском лесу. — Откат конницы. Расстрел пехоты. — Вестник будущего распада.

Глава 47 441

Воспоминание о костромском детстве. — Полевые молебны. — Род Воротынцевых. — Инерция тела. — Воротынцев и Благодарёв в Грюнфлиссском лесу. — Присоединяется Харитонов. — Карта, план выхода. — Встреча с Ленартовичем. — Не так просто сдать-ся в плен.

Глава 48 452

Обиды уже не бередают. — Мелкие метанья штаба. — Атака под Саддеком. — Самсонов пытается отпустить штаб. — Баклановская могила. — Последние часы генерала Самсонова.

